



ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Олег Хлебников*
Из потерянных стихов
- *Татьяна Морозова*
За августом следует август
Повесть
- *Инна Лиснянская*
Черновик
Стихи
- *Максим Калашников*
После битвы — единый мир
- *Алла Марченко*
Свет мой зеркальце, скажи...
Субъективные заметки о поэзии и критике

8'2012

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

8'2012

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олег ХЛЕБНИКОВ. Из потерянных стихов	3
Герман САДУЛАЕВ. Рассказы	8
Инна ЛИСНЯНСКАЯ. Черновик. Стихи	34
СОБЫТИЯ. СУЖДЕНИЯ. СУДЬБЫ	
Игорь КУЗНЕЦОВ. Путь. Повесть о Тане	37
Татьяна МОРОЗОВА. За августом следует август. Повесть	67
Алла МАРЧЕНКО. Неизбежный текст	97
Андрей ГРИЦМАН. За отчетный период. Стихи	100
Валерий ЕСИПОВ. Шаламов. Главы из жизни	103
Вадим МУРАТХАНОВ. Градус покоя. Стихи	156
Александр ВЕРГЕЛИС. Хлам. Рассказ	159
Марина ГЕОРГАДЗЕ. Из разрушенного рая. Стихи	168

Публицистика

Максим КАЛАШНИКОВ. После битвы — Единый мир	173
Александр ЗОРИН. Угол зрения Ефросинии Керсновской	193
Валерий СТОЛОВ. Холокост: ожившее Средневековье или явление Модерна?	201

Нация и мир

Илья СМИРНОВ. Мой Китай. В воспоминаниях, дневниках, заметках. Окончание	206
--	-----

Критика

Алла МАРЧЕНКО. Свет мой, зеркальце, скажи... Субъективные заметки о поэзии и критике	222
---	-----

Книжный развал

Елена МАРИНИЧЕВА. Над пропастью в овсе?	239
Вадим МУРАТХАНОВ. Поэт на пути к метатексту	244
Дмитрий ШЕВАРОВ. Утренняя книга	246
Анна АПОСТОЛОВА. Солнце, уменьшенное до яблока	248

Эхо

Никогда и всегда. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
---	-----

Summary	256
---------	-----

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по культуре и кинематографии
и Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Фарит НАГИМОВ (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ,
Александр КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЁДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, Эльчин,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Олег Хлебников

Из потерянных стихов

* * *

Вещи, как люди, вдруг пропадают куда-то,
и непонятно, куда же могли они деться.
Вот не осталось уже ни вещички из детства,
которое было сокровищами богато.

Запропалились ножички, вечные перья,
даже подаренные бабушками иконки...
Жалко ужасно! Как беден, растерян теперь я —
прямо как бывший Союз без своей «оборонки».

Был я богатым людьми, но они исчезают —
даже внезапней и безвозвратней, чем вещи.
Кто всех дороже — заранее оповещают
кратким письмом или сном до отчаянья вещим.

* * *

Потерял тетрадку со стихами —
жизни месяца примерно три.
Вот какими мучим пустяками!
А вообще — огнем оно гори:
и стихи, и месяцы, и годы!..
Есть предназначенье: все терять, —
это от рожденья, от природы,
непреодолимо, как теракт.
То, что потерял и не заметил,
тяжелее видимых потерь.
...Вроде бы и день сегодня светел,
сам поосмотрительней теперь...
Из-за осмотнительности этой
потеряешь и последний грош —
за душой, за плотью приодетой...
А потом — не мучься, не найдешь.

Хлебников Олег Николаевич — поэт, кандидат физико-математических наук. Родился в г. Ижевске в 1956 г. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается с 1973-го. Автор десяти книг стихов, в т.ч. последние — «Инстинкт сохранения» (М., 2008) и «Люди Страстной субботы» (М., 2010). Работает заместителем главного редактора «Новой газеты». Живет в Переделкине.

Алкоголическое

Мгновенья счастья, причастные алкоголю,
ведут к семейному горю.
Но в эти мгновенья приходит то, что
в другие не встретишь точно.

В голову лезут светлые мысли —
к примеру, заныкать грамм двести,
и возвращаются те, что зависли
с прошлым похмельем вместе.

Чтобы их снова поймать и снова
вдруг испытать озаренье,
требуется не так уж много спиртного,
кореш — иль уединенье.

В споре с другом рождается столько
истин! А в споре с Богом —
вообще немерено! Сбитый с толку
топчется Он за порогом.

Вот, например, я спрошу по пьяни,
значит, Творца Вселенной —
а кто ж Его сотворил?.. В тумане
Он лишь разводит длани.

Или, конечно, задам о смерти
каверзные вопросы
и дерзко гляну сквозь дым папиросы...
А Он — только: «Верьте! Верьте!»

Верю, Он любит меня, уважает,
хоть мордой об стол, а все же
до дому бережно провожает —
благодарю тебя, Боже!

И разве не ты мне припас на утро
бутылку холодного пива?!
В общем-то мир Ты устроил мудро...
Кто тут до следующего утра? —
всем счастливо!

* * *

Весь этот ужас тела
Ахматова хотела
преодолеть при помощи других
не столь ужасных тел.
А мне какое дело
до этих тел, не слишком дорогих?

Я сам свое несу
к земле, столь не брезгливой,
что принимает всех, берет в себя...
Вместилища души
с их прелестью потливой,
с пустой потугой выжить не любя.

Молитва старого Адама

Боже, зачем Ты женщин после трехсот тридцати
делаешь немолодыми, не трепетными в итоге?
Отче, Ты, уж конечно, дерзость мою прости,
но — эти лица, груди, задницы, ноги!..

Ты ж по своему подобию всех нас сотворил
(мужчину и женщину — с ребром, извини, сомненье).
Столько придумал тонкостей! Столько потратил сил!
И после всего — такое преображение!

Помилуй! Как с этой Евой снова ложиться в кровать —
старому и ленивому — чтобы снова
любить ее, рыбкой-ласточкой называть
и знать, что ей нигде не найти другого.

★ ★ ★

Лишь распятого Бога
славят стены церквей,
где и тесно, а все-таки пусто.
«В городах слишком много
похотливых людей», —
это Ницше сказал Заратустра.

В городах слишком мало
матерей и сестер,
слишком много — призов в лотерее.

И почти не бывало
с незапамятных пор
тех, кто старше тебя и мудрее.

Но давно понимаешь:
не сбежать никуда —
пойман их электрической сетью.
И пока причитаешь:
«Города... города...», —
сгинет целое тысячелетье.

Точечная застройка

С Марса, Венеры, Сатурна, с невидимой Зги? —
прибыли Землю погрызть.
Но тот белозубый,
который велит уничтожить твои уголки
заветные, — вроде с виду совсем не грубый.

И эти киргизы с Сатурна, которыми руководит
он, невзначай подчеркивая превосходство,
они-то в чем виноваты —
делая безвидным вид
земли не своей и тем избывая сиротство?

Ну а твоя земля — она не твоя совсем,
ты на ней недобросовестный арендатор.
Вот и грызут ее на потеху всем
динозаврообразный бульдозер и экскаватор.

На Алтае

1

Где-то там Катынь,
ну а здесь — Катунь.
Перед ней застынь —
каждый миг застань.

Как застыл тогда
у катынских ям,

где лиха беда,
да лесок упрям.

Ну а здесь, а здесь
так чиста вода,
словно мир наш весь
Божий навсегда.

2

А еще тут рядом *Шамбала* —
туристический отель.
Милость свыше корешам была?
Иль пургу гнала метель?

Все, что Словом вызывается
к новой жизни на века,

омертвляется, взвивается
сладким дымом шашлыка.

Вот вам и страна заветная:
горы, водка, шашлычок.
И сверкающий за ветками
серебра живой пучок.

3

«Рулите выше — все равно снесет», —
вещал Толстой. А тут — как ни рули...
Лет до двухсот бы надо, до трехсот
сначала изучать словарь Земли,
потом уж предложенья предлагать
тем силам, что составили его.
А это — лет пятьсот еще, видать,
и дня не пропускать ни одного.
И значит, лучше сделаться горой
Белухой, порождающей Катунь
как вечный текст — вскипающий порой,
студеный, пылкий и седой, как лунь.

* * *

Свет в ноябре означает другое —
типа наличие тепла и покоя
лишь в отведенных местах:
в тесной хрущобе под лампочкой голой,
в сельском автобусе, горы и доли
превозмогающем в тряске веселой,
как вожденье и страх.

Дождь в ноябре означает не то, что
будут грибы, — будет скучно и тошно
вновь препираться с судьбой —
в мороси зябкой, укрывшей от взгляда
все, что вдали. И хлестнет — так и надо! —
ветер из черно-сырого райсада,
где мы остались с тобой.

Жизнь в ноябре означает потерю
жизни под небом. Мурашки по телу
не от пронзительных строк —
только от сырости. В ней зародилась
вся эта жизнь — и насмешка, и милость...
Жизнь в ноябре — чтобы только продлилась
на приговоренный срок.

* * *

На другую не заменяя,
жизнь — работа без выходных.
И уходят с нее любимые,
раньше всех уходят любимые.
Хорошо, что я не из них.

* * *

Волны света сквозь волны моря
омывают волны песка.
Я отсюда уеду вскоре —
чуть подольше, чем на века.

Льется солнце во все сосуды,
море выплеснется вот-вот...
Если здесь никогда не буду —
что иное меня зовет?

Герман Садулаев

Рассказы

Мясокомбинат

Кабинет был пятиугольным. То есть базово это было обычное четырехугольное помещение, но две перегородки, выстроенные перпендикулярно стенам и сходящиеся в точке примерно трех четвертей длины и одной четверти ширины, создавали новую геометрическую фигуру с пятью внутренними углами и одним выступающим. Дверь, скрытая от глаз посетителей, вела в пространство за перегородками, как в алтарь.

В алтаре, однако, не было божеств и парафеналий, а только кожаный диван, бар с различными крепкими напитками и плоский плазменный экран. Здесь любил коротать рабочее время хозяин кабинета, иногда не один.

Стены кабинета, как и перегородки, воздвигнутые до самого потолка, были обшиты кожаной итальянской плиткой, потолок крыт дубом, пол — свежим, неистертым паркетом. Мебель в кабинете была массивная, основательная. Директорский стол раскинулся так широко и раздольно, что дистанция, установленная его величиной, не позволяла посетителю надеяться, что хозяин подаст ему руку.

Кабинет директора остался на мясокомбинате с советских времен. Новый владелец обновил интерьер и сменил мебель, но сохранил большой начальственный стиль.

Основным акционером и генеральным директором ОАО «Мясокомбинат «Прометей» был Руслан Иванович Салманов. В его крепкие руки бедовое предприятие попало не сразу, а после череды сменявших друг друга приватизаторов, рейдеров, антирейдеров, менеджеров и инвесторов. Но, раз попав, затихло и успокоилось. Так конь признает сильного седока, и женщина покоряется уверенному в себе мужчине.

Руслан Иванович в полгода прекратил разброд и шатание, пресек воровство, установил контроль качества и строгую трудовую дисциплину. Пролоббировал в городской администрации меры по поддержке местных производителей и получил гарантированный сбыт своей продукции. Через два года бывшее ранее убыточным и проблемным хозяйство стало флагманом бизнеса. И, как следствие, лакомым кусочком для хищников капиталистических джунглей. Нет, юристов-рейдеров и очкастых активистов гринмейла Руслан Иванович не боялся: зубы обломают. Гораздо опасней столкнуться со зверьми, у которых мигалки, гербовые удостоверения, оружие и размытые, но властные полномочия. Не так давно несколько автоматчиков, бывших

Герман Садулаев — родился в 1973 году в селе Шали Чечено-Ингушской АССР. По образованию юрист. Автор книг «Я — чеченец», «Радио Fuck», «Пурга, или Миф о конце света», «Таблетка», «АД», романа «Шалинский рейд». Финалист премий «Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер». Живет в Санкт-Петербурге. Последняя публикация в «ДН» — № 7, 2009.

земляков, ворвались прямо в кабинет Салманова. Избили. Требовали переписать комбинат на их человека или отдавать половину прибыли. Пока ушли ни с чем, но обещали вернуться.

Эти звери вернутся. Они всегда возвращаются, пока не получают свое.

И кто защитит? Обращаться к таким же зверям? Или к тихим животным в синей прокурорской форме? В суд? Может, в Контору? А смысл? Ту же половину отдай.

Салманов чувствовал, что ему нужна защита иного рода. Совсем другая защита.

Потому, с какой-то суеверной надеждой, он согласился лично принять странно-го посетителя.

Теперь визитер сидел через стол от Руслана Ивановича, на низком стуле, и директор смотрел на него со своего высокого кресла сверху вниз, как и было задумано. Посетители должны чувствовать субординацию.

Впрочем, гость держал себя спокойно и с достоинством: его спина была прямой, руки лежали ладонями на коленях, взгляд был нацелен в точку чуть выше головы Салманова. Он говорил негромко, странным, слегка певучим голосом.

Руслан Иванович не в полной мере вдавался в смысл слов, которые произносил посетитель. Он, как обычно, пытался понять, что за тип перед ним. Посмотрел в глаза и не заметил ничего особенного: ни лихорадочного блеска, ни сияния, ни пустоты или отрешенности. Глаза как глаза. Руслан Иванович догадался, что у визитера бесцветные контактные линзы.

Это был молодой человек лет тридцати—тридцати двух, худой, загорелый. Он был одет просто, но аккуратно и стильно, в синие джинсы и строгий черный джемпер. Коротко остриженный, но не лысый, без косички на затылке, без бороды и прочих сектантских атрибутов. Он не принес с собой ни портфеля, ни папки с презентацией, не пытался накормить «освященной пищей» или всучить талмуд нового откровения. Ничего, пустые чистые руки с ровно подстриженными ногтями.

Салманов не смог зацепиться ни за какую деталь в его внешности или речи, но вдруг устал молчать и, сделав нетерпеливый жест рукой, прервал просителя:

— Знаете, сколько раз я слышал все эти доводы о том, что мясо есть вредно или грешно? Мне кажется, люди сами делают свой выбор. Одна актриса хорошо сказала: «Если Бог не хотел, чтобы мы ели животных, почему он сделал их из мяса?»

Руслан Иванович засмеялся собственной шутке. Гость улыбнулся. Директор продолжил:

— А по поводу того, что мясо нужно как-то там освящать, то это не ко мне. У меня промышленные объемы, я нацелен на массового потребителя. Есть частные скотобойни, они занимаются. Кошерное, халяльное. У них есть свой узкий сегмент. А у вас, при всем уважении, даже небольшой устойчивой группы потребителей нет. Ничего не слышал про последователей этих, как вы их там называете...

Молодой человек кивнул головой и ответил без дерзости в голосе, но тоном твердым, как если бы он был не просителем в кабинете крупного бизнесмена, а учителем или экзаменатором:

— Вы меня не дослушали и, как следствие, не поняли. Совершенно согласен, люди сами делают свой выбор. На санскрите есть такая формула: мамша кадати ити мамша. Она означает: сегодня я съем тебя, а завтра ты съешь меня. Все люди, которые едят коров и баранов, становятся в следующем воплощении животными и попадают под нож мясника. И это нормально: звери тоже должны рождаться. Я не собирался вам проповедовать. Повторяю, у меня чисто деловое предложение.

— В чем же оно состоит?

Салманов вздохнул и посмотрел на часы. Его уже тянуло за перегородку, в алтарь Бахуса, принять двести грамм виски и отдохнуть на диване. И может, позвать ту брюнетку из маркетинга, чтобы было не скучно, чтобы забыть про зверей-автоматчиков, которые не сегодня-завтра вернутся, и...

— Сколько коров забивают на вашем комбинате каждый день?
— Крупный рогатый скот — сотню голов. Еще мелкий скот, пара сотен.
— Сто коров в день! До двух, трех тысяч в месяц, только коров. Поверьте мне, не все цари, даже и в древности, могли себе позволить жертвоприношения такого масштаба! Конечно, в книгах написано про приношение десятков и даже сотен тысяч коров. Но мы справедливо полагаем, что это не более чем поэтическое преувеличение. Что же касается нынешних жертвоприношений, то это просто смех... так, козу зарежут. Тысяча коров! Представьте, каких результатов можно достичь! И такой мощный ресурс пропадает зря. Мясо, обороты, прибыли — все это никуда не денется. Но можно получить еще и нечто другое, чистым бонусом! И не использовать... это как если бы у вас была нефтяная скважина, а вы бы подожгли фонтан, чтобы сэкономить на освещении.

Сравнение мясокомбината с нефтяной скважиной заинтересовало Салманова, и он спросил:

— О каком бонусе вы говорите?
— С помощью жертвоприношений человек может получить все, чего можно желать в этой жизни и в жизни следующей.
— Ну, про следующую жизнь пока не будем, рано еще. А в этой?
— Пожалуйста. Победа над врагами. Богатство. Хорошее потомство. Прочная власть. Слава. Здоровье и долголетие...
— Победа, говоришь...

Руслан Иванович заинтересовался. Вспомнил зверей-налетчиков. Он поднялся с кресла, вышел из-за стола и принялся ходить по кабинету. Гость сидел неподвижно.

— Как тебя зовут? Ты не против, если я буду обращаться к тебе на «ты»?

Салманов не сказал «давай перейдем на "ты"». То есть визитер должен был обращаться к нему на «вы», как и прежде. Но гостя это нисколько не задело.

— Конечно. Меня зовут Вадим. Вадим-свами.

— С кем? — не понял Салманов.

— Свами — это не с кем. Это духовный титул. Полностью звучит «го-свами». Что значит, хозяин своих чувств. Или коров. Потому что «го» на санскрите имеет два значения — коровы и чувства. Этот титул мне дали в Индии, когда я завершил обучение и принял монашеский сан. Вы тоже го-свами, потому что вы хозяин мясокомбината и всех коров, которых привезли на заклание. А у меня нет коров, я просто хозяин своих чувств.

— Ты Вадим-свами, а я Руслан-госвами? — Салманов засмеялся.

Визитер снова тихо улыбнулся в ответ.

— Вообще при посвящении положено еще и менять имя. Но мой гуру, учитель, сказал, что это не обязательно. Имя Вадим практически санскритское. Его можно перевести как «ученый», «знающий», «основоположник», так как «вада» — это теория, метод познания. Например, майа-вада, теория иллюзии. Или брахма-вада, теория абсолюта.

— А мое имя можно перевести?

— Нет... не думаю. Если только очень приблизительно.

— Ладно, Вадим-с-нами, все это очень интересно, но почему ты? Как я могу быть уверен?

— Я долго изучал эту тему, не только в Индии. Я ведь закончил институт. Моя специальность — управление. У меня диплом менеджера. Но я всегда интересовался древними практиками. И изучил их с обеих сторон. Понимаете, западные ученые, востоковеды и индологи, они много написали, что-то даже правильно поняли. Но никогда не пытались попробовать, потому что считают все это мифом, интересным заблуждением. А индусы, брахманы, которые и доныне совершают ритуалы, они забыли их смысл. И конечно, не признают труды востоковедов. И потому кое-что

делают неправильно. Они сосредоточены на второстепенных деталях, а суть упускают. Я по-другому, я смог избавиться от предрассудков и увидеть целое.

— И все же...

— Понимаю, это только слова... но вот вам небольшое подтверждение моих способностей. Для совершения огненного ритуала нужно вызвать пламя, без помощи спичек или зажигалки. Просто извлечь его из дерева, так как в дереве есть огонь. Помолчите минутку...

Свами прикрыл глаза, сосредоточился. Пробормотал какое-то заклинание. Потом протянул руку над столом.

Прямо посередине столешницы затеплился огонек.

На следующий день в штатное расписание управления мясокомбината была добавлена новая должность: менеджер по ж.п. Приказом генерального директора на вакансию был назначен Вадим Петрович Кривошеин, высшее образование, без опыта работы. В отделе кадров сначала потешались над смешными словами — менеджер по ж.п. Вот, говорили, всякие менеджеры у нас есть — и по развитию, и по продвижению, и по мотивации, и по аттестации, только по ж.п. не хватало. И то сказать, нужно. Настанет ж.п., а где ее менеджер? Без менеджера никак нельзя, даже ж.п. Видно, ж.п. совсем близко, раз специального менеджера назначили!

Но тетки и девки-персональщицы враз закусили языки, когда пришел оформляться на работу сам Кривошеин, серьезный молодой мужчина, похожий на модного ламу из Англии, с девственно чистой трудовой книжкой.

А через час новый менеджер уже знакомился с производственным процессом. Он попросил отвести его сразу в убойный цех. Бригадир показывал, как умерщвляют животных:

— Вот оно, тута. Оглушаем, значит, электричеством. Такое напряжение, что ебать-колотить! Бывали несчастные случаи. В основном по пьяни. Но это раньше. Сейчас строго, Руслан Иванович такие порядки установил! Перед сменой забойщики в трубку дышат, как в ГАИ. Мужики пьют, конечно, — работа такая, если не пить, то никак. Но — после смены. После смены хоть в свинтуса нажрись, а наутро чтобы как стеклышко. Держатся, потому что у забойщиков самый хороший заработок. Хороший забойщик в месяц получает столько, сколько в управлении целый отдел!

Рабочие в суровой прорезиненной спецодежде ловко управлялись с тумблерами и электродами. Мычащие коровы после удара синтезированной молнией дергались и умолкали навсегда.

— Это насмерть?

— Не, хер там их убьешь разрядом. В отключку, чтобы не орала и не дрыгалась. А дальше ножичками, ножичками.

Ножи мясников были угрожающих размеров и наточены так, что дунь волос — разрежет. Разделявали еще живые туши, агония длилась до самого конца конвейера. Бывало, отрезанная скотская голова приходила в себя после электрошока и недоуменно вращала зрачками.

Вадим удовлетворенно кивал головой: все как надо.

После экскурсии он вновь оказался в кабинете директора.

— Как тебе мое хозяйство?

— Впечатляет.

— И что можно сделать в плане твоих ритуалов? Если без фанатизма и всякой мистики. Ты пойми, я не хочу, чтобы меня на весь город сатанистом ославили. Такой пиар комбинату совсем ни к чему.

— В том то и дело. Вообще, положено, чтобы жертвенное животное привязывали к священному столбу. Потом специальный жрец читает формулы, другой специаль-

ный жрец умерщвляет животное, третий в это время совершает литургию... но я подумал, если такое устроить, то у работяг крышу снесет.

— Этого не надо! Они и так полоумные. Большинство в жизни тихие, добрые — мухи не обижают. Но некоторые срываются. В прошлом месяце лучшего забойщика потеряли: в тюрьму сел. Зарезал кухонным ножом жену и тещу. До детей хорошо не добрался. Успели сбежать.

— Да и по технологии. Не переделывать же конвейер?

— Только что новую линию поставил, импортную. Года не отработала.

— Ладно, есть у меня одна идея.

— Ну, озвучивай.

— В ритуале есть еще и четвертый жрец. Его роль темная, непонятная. Он сидит и молчит, ничего не делает. Но считается самым главным и получает половину комиссии. А остальные трое, значит, только по шестой части. Ученые вывели, на основе араньяк, секретных лесных книг, что этот жрец, брахман, занят тем, что помещает всё жертвоприношение в свой ум. И там его совершает, в целостности. Есть у него особая формула: йа эвам веда — кто так знает. Я думаю, без прочих жрецов можно совсем обойтись. Они в ритуале для красочности и экзотики. Чтобы туристам было что фотографировать. Я могу совершать жертвоприношение сам, в уме. Только мне нужно место, из которого видны все убойные участки одновременно.

Руслан Иванович на пару минут задумался и сказал:

— Есть такое место. Я когда на комбинат пришел работяги тащили все что гвоздями не прибито. Внаглую мясо воровали. У них в заборе лазы были, а к лазам чуть ли не асфальт проложили — грузовиками таскали! Я в службу безопасности взял ветеранов Конторы. Во всех цехах камеры установили. Половину персонала потом пришлось по статье уволить, несколько уголовных дел завели. Зато теперь не воруют, боятся. И местом своим дорожат: у меня зарплата хорошая, премии, соцобеспечение. ДМС за счет комбината, даже зубная страховка, а детишкам — путевки в Крым. Так что надобность в круглосуточном видеонаблюдении отпала. Но оборудование осталось, пишет на всякий случай.

— Круто!

— А ты как думал? Двадцать первый век.

— И то верно.

— Так вот, на отшибе территории стоит сарайчик один. Там раньше баня была. Душевые я сделал в новом бытовом корпусе. А в старой бане — мониторы камер слежения. Туда все провода протянуты. Я дам спецам задание, они настроят, чтобы изображение шло с убойных участков, как тебе надо.

— Это хорошо. И вот еще, одна деталь. Эти, адхварью...

— Кто?

— Ну, забойщики. Пусть они перед сменой полное омовение делают. Они должны быть чистыми.

— Не вопрос. Обяжем. Санитарные нормы пересмотрим.

— Ну, тогда слава Индре и Всем богам.

Рано утром, до восхода светила, Вадим-свами пришел в свой новый офис. Помещение было убрано, чисто, но свами развел в металлическом ведре коровий навоз и священную белую глину, пахнущую сандалом, и еще раз вымыл каменный пол. Потом разделся, обмотал вокруг бедер купальную повязку, гамчу, и, выйдя на территорию, облился водой, бормоча утренние молитвы.

Вернувшись в бывшую баню он сложил дрова в печь и воспламенил взглядом. Огонь заплесал в очаге; в ту же минуту зардел восток и солнце начало подниматься над горизонтом. Жрец воскурил благовонные палочки и воткнул их по углам. Дальше он сделал сурья-намаскар, комплекс молитв и упражнений для физического и мен-

тального здоровья, посвященный солнцу. Потом открыл железные банки с молоком, смешанным с простоквашей, и очищенным топленным маслом, деревянную ложку, и стал вливать подношения в огонь, распевая гудящие гимны.

Завершив утренние процедуры, Вадим-свами расстелил посередине помывочной коврик, сплетенный из травы, и сел, забросив лодыжки на голени. Выпрямил спину, прикрыл глаза, уравнивал дыхание и погрузился в медитацию.

К началу рабочего дня свами очнулся, словно в нем прозвенел будильник. Он поднялся, нашел на столе с записывающей аппаратурой пульт дистанционного управления и включил все мониторы, расставленные полукругом.

Помещение залил синий мерцающий свет. Ошалелые животные толклись в механических загонах, лента конвейера влекла их к электрическому ничто.

Первое жертвоприношение, по просьбе Руслана Ивановича, было совершено во имя победы над врагами. Вадим-свами сказал, что это самое легкое — достаточно одной сотни коров. В конце рабочей смены жрец в заброшенной бане прочитал заклинание черной магии из Атхарва-веды.

Уже через день стало известно, что звери-автоматчики насмерть рассорились между собой. Одного завалили, другие начали вендетту. Погононосная банда распалась, каждый старался спрятаться от других, но никому не удавалось. Еще не один месяц в прессе сообщалось, как то тут, то там, то в столице, то за границей, один за другим падали на землю окровавленные трупы врагов Салманова, прошитые автоматными очередями.

Дальше были заговоры на богатство из Сама-веды. Целый месяц Вадим сосредоточивал свое внимание исключительно на алых коровах. Когда число жертвенных животных достигло тысячи, капитализация ОАО «Мясокомбинат «Прометей» удвоилась. Собрание акционеров приняло решение о выпуске привилегированных акций и успешно разместило их на бирже.

Крупная партия из откормленных среднеазиатских баранов, числом в четыре тысячи голов, была принесена в жертву богу Индре для славы жертвователя. Комбинат прошел ребрендинг, уникальное фирменное наименование стало звучать как «Мамшакомбинат», потому что «мамша» — это и есть мясо на санскрите, «я-тебя». Сегодня я тебя съем, завтра ты меня. Это имя стало известно по всей России и даже за рубежом. О комбинате снимали телепередачи, у Салманова каждый день брали интервью. Самый популярный глянцевого журнала назвал его «человеком года» в номинации «бизнес-инновации».

Лицо Руслана Ивановича постоянно светилось на экране телевизора, его фотографии не сходили с газетных полос. Но имиджмейкеры Салманова не остановились на раскрутке образа успешного дельца. Было решено, что для большей популярности и народной любви к концепции бизнесмена и эффективного собственника нужно добавить нотки человечности, лирики и эстетической утонченности.

Стартовым тиражом 10 тысяч экземпляров вышел поэтический сборник Руслана Салманова «Бойня». Книга открывалась задушевым и философским стихотворением:

Мое детство прошло у заброшенной бойни,
Мы играли костями убитых зверей,
И, наверное, там я увидел и понял —
Чтобы мы могли жить, они должны умереть...

Тираж был продан за три дня, что дало литературоведам повод говорить о возрождении интереса к поэзии. Второе издание, с оригинальными иллюстрациями и в неповторимом дизайне, вышло тиражом 100 тысяч экземпляров и стало хитом,

маст-хэв для всех книголюбов страны. Салманов получил престижную премию Аполлона и был назван поэтом века.

Все это время Вадим Кривошеин практически не вылезал из старой бани. Руслан Иванович, будучи человеком по природе благодарным, старался, как мог, вознаградить жреца. Открытый на его имя банковский счет пух от перечислений. Салманов построил своему спасителю двухэтажный особняк на берегу озера, в престижной курортной зоне. В гараже рядом стояли «порше-кайен», «брабус» и даже «феррари», пригнанные для Кривошеина из Европы. Но сваи пару раз только зашел на виллу, предпочитая устраиваться на ночь в предбаннике, у станка. Привозил Руслан Иванович и волооких дев с губернского конкурса красоты, и омаров с бургундскими винами, и коллекции модных домов. Но жрец оставался безучастным ко всему. На женщин смотрел, как на деревья или на камни, питался простым вареным рисом и простоквашей, а носил на службе два куска желтой ткани, один обернутый вокруг бедер, другой накиннутый на плечи, а вне работы — те же синие джинсы и черный джемпер.

Вадим был поглощен совершенствованием ритуала, и на это не жалел ни сил, ни средств. Сосуды и утварь для символических жертвоприношений под мониторами были из драгоценных металлов, сваи выписывал невероятные артефакты из музеев и частных коллекций, а еще в бане появилась пара красивых белокурых мальчиков, которых Вадим выкупил из детского дома. Салманов заподозрил, что у сваи интересная ориентация в этом вопросе — понятно, почему его не заинтересовали губернные красавицы. Но пустое, мальчики только помогали наполнять сосуды водой и маслом да удивительно звонко пели гимны на санскрите.

Чтобы не смущать работников комбината, баню обшили звукоизоляцией.

Шесть лучших санскритологов университета по заказу Кривошеина составляли переводы и интерпретации самых темных и загадочных древних текстов. Сам сваи все глубже и глубже погружался в священную медитацию, постигая немыслимые тонкости, достигая заоблачных высот.

И свершилось.

Однажды в конце смены, когда расчлененный труп последней коровы добрался до конца конвейера смерти, ниоткуда — невероятно, оглушительно — в цехе появилось существо. Существо это было светлым юношей. Он был красив, голубоглаз, правильно сложен. И совершенно гол.

Вызвали охрану. Но секьюрити сообразили, что к чему, и отвели нарушителя к менеджеру по ж.п.

На следующий день голых людей было с дюжину.

Директор прилетел на Ч.П. с вечеринки в свою честь, которую устраивала самая известная светская львица и сразу кинулся в баню.

— Что это, Вадим Петрович? Что происходит???

— Все хорошо, Руслан Иванович. Все правильно.

— Кто эти блондины? И... блондинки...

Среди новых людей, которые все еще голыми сидели на полу, были неземной красоты девушки.

— Это они, Руслан Иванович.

— Кто????????

— Коровы.

— Как... коровы?..

— Коровы, принесенные в жертву. Понимаете, животное, принесенное в жертву в соответствии с обрядом, очищается и получает следующее воплощение на более высокой ступени, в теле человека. Ну обычно, рождается. Но если обряд проведен абсолютно точно, то...

— То оно получает человеческое тело сразу???

— Да, сразу. Прямо на жертвенной арене. Такие случаи описаны в книгах. Сказано, что очень давно, в древние времена, это получалось. У некоторых жрецов. Ученые считали, что это вымысел, но я... сами видите! Все правда.

— И... что теперь?

— Теперь они будут появляться. Но не обещаю, что все будут такими славными. Просто коровы — они в благости. Начнем воплощать баранов и козлов, которые в невежестве, там будут особи попроще. Но все же люди.

— А что нам с ними делать? У них же нет паспортов! Нагрянет ФМС, выпишет штраф, депортация... только вот куда депортация? В какую страну?

— Некуда их депортировать. Пусть им паспорта оформляют. А пока прикажите прислать одежду. И пару школьных учителей. Ведь они ни читать, ни писать не умеют. И даже разговаривать.

— А люди? Что я людям скажу? Работникам!

— Для начала наймите психолога. Он будет говорить, что это массовый психоз, галлюцинация. А потом пригласим с десятков ученых, философов и генетиков, чтобы объяснили: это нормально, так и должно быть. Но сначала — психоз. Людей надо приучать постепенно.

Теперь кроме мяса и субпродуктов Мамшакомбинат стал выпускать людей. Кстати, с этого момента и мясо стало совсем другим — нежным, легким, невесомым. Диетологи провели свои лабораторные исследования и с изумлением сообщили, что в продукции Мамшакомбината — 0 калорий! Это породило новый бум спроса. Тысячи тонн пошли на экспорт. Женщины во всем мире платили любые деньги, чтобы насладиться телячьими отбивными и бараньим шашлыком, объедаться под завязку без ущерба для фигуры.

А люди, новые люди были арийской внешности, после краткого обучения прекрасно говорили по-русски и полностью соответствовали местному менталитету. Коровы становились интеллигентами, а мелкий рогатый скот — старательными рабочими. Миграционная служба признала новых людей позитивными мигрантами и стала выдавать им паспорта. Пресса провозгласила, что найден способ решения демографической проблемы: Мамшакомбинат выпускает настоящих русских людей, причем сразу в детородном и продуктивном возрасте.

Свежие блондины наводнили город. Смуглые и узкоглазые гастарбайтеры были вынуждены освободить место под солнцем. Гонимые и палимые они погрузились вместе со своим цыганским скарбом в плацкартные вагоны и отбыли кто в неизвестность, подальше от Мамшакомбината, а кто и вернулся на брошенную родину. Преступность стала снижаться, межнациональные конфликты — сходить на нет. Салманова назвали спасителем нации.

Тогда Руслан Иванович решил, что пришло время.

Он сказал Вадиму-свами только одно слово: власть.

Кривошеин задумался и ответил: мне нужен конь. Белый жеребец. Год времени. И 400 дисциплинированных парней.

Все сходилась. Ровно год оставался до перевыборов мэра. Салманов выписал из Англии чистокровного арабского скакуна. Парней в группу поддержки без труда собрали за неделю в убойном цехе. После двухнедельного семинара началась предвыборная кампания.

Строго по правилам обряда ашва-медха коня пустили гулять по городу. На нем была расшитая золотом и драгоценными камнями попона с лозунгом «Иваныча — в мэры!». Скакуна повсюду сопровождали активисты, поднося ему овес и воду, убирая навоз, а заодно ведя агитацию среди местных жителей.

Когда солнце сделало полный круг в созвездиях неба, скакун был принесен в жертву, удушен тонкой нитью за баней.

Салманов выиграл выборы. Да с таким отрывом от конкурентов, что оспорить его победу никто не решился. Даже столичные власти пришли к выводу, что с Салмановым лучше договариваться, бороться с Салмановым — себе дороже. Хотя и стали ревновать, побаиваться, что Салманов может дойти и до Кремля, может занять их место.

Но не только в Кремле, не только на земле стали ревновать Руслана Ивановича. И виноват он был сам.

Кто знает, может, история человечества могла повернуться вспять. Может, нас ждало возвращение в золотой век. Но человек, человек не может остановиться. И чем больше ему дано, тем больше он алчет.

В ясный вечер, когда цикады, невесть откуда взявшиеся в нашем суровом климате, стрекотали у бани, крупнейший акционер Мамшакомбината и еще десятка предприятий, богач, поэт и мэр, начальник целого города, по населению равного большому царству ведийских времен, настоящий маха-раджа, Руслан Иванович Салманов зашел в скромную обитель своего жреца. Вадим-свами встретил патрона в предбаннике и предложил деревянное сиденье. Далее между ними состоялся такой разговор:

— Скажи мне, Вадим-свами, значит, любое живое существо, принесенное в жертву строго по обряду, поднимается на более высокую ступень, получает новое воплощение прямо на арене жертвоприношения?

— Да, Руслан Иванович, все так, как вы сказали.

— Поэтому коровы и бараны, принесенные в жертву, становятся людьми?

— Не просто людьми, а лучшими среди людей. Потому что они поднимаются вверх. Многие, рожденные в человеческом теле, опускаются вниз и только один, самый последний шаг отделяет их от того, чтобы воплотиться в теле козла или кошки.

— А кто выше людей?

— Выше людей — боги, Руслан Иванович. Дэвы, так мы их зовем.

— А есть ли что-то, что выше дэвов, Вадим-свами?

— Есть, Руслан Иванович. Выше дэвов — Абсолют, Основа, Высшая вечность.

— А есть ли что выше Абсолюта, Вадим-свами?

— Есть, Руслан Иванович. Выше Абсолюта, выше Вечности и Чистого Бытия — Он, Первопричина, Верховный непогрешимый, Ачьюта. Нарайана. Он — Высшая личность, выше вечности.

— А есть ли кто-то или что-то выше Нарайаны, Вадим-свами?

— Нет, Руслан Иванович. Выше Нарайаны никого и ничего нет.

— Какое жертвоприношение нужно совершить, чтобы стать Высшим?

— Нет такого жертвоприношения. Никто не может стать Нарайаной. Он — Единый, без второго. Душа может достичь Нарайаны, Его мира, чтобы быть с Ним. Но никто не может сравняться с Ним. И к Нему нельзя приблизиться, совершая жертвоприношения и распевая ведийские гимны. Только чистое любовное служение Нарайане, Верховному Божеству, приводит к Нарайане.

— Ладно, упростим задачу. Что ты там говорил про дэвов?

— Дэвы — это боги. Вернее, полубоги, так как Бог один — это Нарайана.

— Будем двигаться поэтапно. Значит, дэвы выше людей?

— Да, конечно. Дэвы выше людей. Дэвы живут в раю. Есть еще гандхарвы, но с ними не все понятно. Некоторые индологи считают их существами скорее демоническими, чем райскими...

— Не путай меня. Остановимся на рае. И много там этих дэвов?

— Много. 3, 33, 333, 3333, 33333, 333333... Варуна, Вайу, Митра, Ушас, Ашвины, Маруты, Брихаспати, Сурья, Чандра и Сома, много.

— А кто главный?

— Главный среди полубогов, начальник райского царства, мэр дэва-пура, города дэвов, это Индра, царь небес.

— Слушай меня, Вадим-свами. Я хочу, чтобы ты принес меня в жертву.

— ?..

— Я хочу стать богом, бессмертным. Я хочу стать Индрой.

Напрасно Кривошеин пытался отговорить Салманова от его затеи. Мысль, что можно вот так запросто стать богом втемяшилась в голову этого баловня судьбы, засела крепко, как железная свая, вбитая пневматическим молотом. Вадим-свами долго отказывался, но Руслан Иванович настаивал; так прошло недели две или даже больше, и жрец начал сдавать позиции. Свами поддался напору Салманова, но не только: он и сам начал испытывать некоторый весьма противоестественный, так называемый спортивный интерес. Иначе говоря, Салманов взял его «на слабо». Поистине, гордыня — любимый порок Нечестивого, как о том говорится в финальных титрах блокбастера «Адвокат Дьявола».

Мэр захотел стать богом, небожителем, а Кривошеин мысленно примерял на себя хитон величайшего жреца современности, равного по чистоте и могуществу древним риши, таким, как Ангирасы или Пуластья.

Сначала он утверждал, что человеческие жертвоприношения не установлены ведийским ритуалом, это дикость и варварство! Что до кровавых подношений богине Кали, то их практикуют в джунглях нецивилизованные племена, далекие от арийской культуры.

Потом, с величайшим сомнением и осторожностью, свами поведал, что есть в принципе один ритуал... весьма спорный. Пуруша-медха. Он описан в Шатапта Брахмане, «книге сотни путей». Типа как вариант. Большинство ученых уверены, что это чисто символический обряд. Вселенский Человек, Пуруша, макрокосм-микрокосм, акт творения через самоуничтожение и прочие оккультные мотивы. И лишь некоторые считают, что в глубокой древности приношение в жертву человека могло реально практиковаться.

Если так, то становится жутковато: 142 человека должно быть умерщвлено на алтаре во время 5-дневной церемонии.

Хотя, если подумать, что такое 142 смерти по сравнению с нашей самой незначительной локальной войной?

В пуруша-медхе было все по науке — для принесения в жертву назначались самые яркие представители общества: евнух, проститутка, негр, бизнесмен и так далее. Это была красочная церемония, собиравшая толпы зрителей. В дошедшей до нас поздней версии ритуала перед самым финалом участников шоу отвязывали от жертвенных столбов и пускали на волю, а вместо них, в порядке субституции, резали козлов и баранов.

Руслан Иванович сказал: годится. Только обойдемся без козлов, субституции и прочих извращений. Восстановим обряд, так сказать, в изначальном виде. И еще: если можно, в индивидуальном порядке. Без массовки.

Салманов не хотел скандалов вокруг своего имени, пусть даже и посмертных. А кроме того, желал отправиться в рай один.

И снова жрец заартачился. Он убеждал заказчика, что обряд очень сложный и важна каждая деталь. Малейшее нарушение — и результат может быть непредсказуем, даже противоположен желаемому. Вадим напомнил Салманову, что он не один месяц оттачивал мастерство в приношении животных, прежде чем достиг совершенства, и в убойном цеху стали появляться голые блондины и блондинки, перевоплощенные души коров. А тут — с первого раза! Желательно бы попрактиковаться...

Просьба дать ему возможность поставить сотню-другую опытов по принесению в жертву людей звучала кощунственно, и сам свами это понял.

Ничего, ободрял Вадима заказчик, у нас все получится!

Пуруша-медха в деталях обряда была похожа на ашва-медху, которую Вадим и Руслан Иванович уже совершили для победы на выборах и обретения власти над городом. Только вместо коня — человек.

Свами объяснил Салманову, что будущая жертва, то есть он, Салманов, должна приготавливаться целый год. Весь год он должен жить как царь — вкушать лучшие яства, пить самые вкусные напитки, украшать свое тело роскошными одеждами, умащать ароматными мазями, слушать славословия в свой адрес. В общем, не отказывать себе ни в чем. Салманов захохотал и ответил: «Это будет трудно, ведь я привык жить скромно. Но я постараюсь».

Он шутил. Потому что на самом деле Руслан Иванович и так ни в чем себе не отказывал, будто загодя готовился к принесению себя на алтарь.

Но Вадим-свами не разделял веселья своего патрона. Ему было не до шуток. Он продолжил: не отказывать себе ни в чем кроме одного. Кроме секса. Жертва должна соблюдать полное половое воздержание. Следует избегать не только совокупления, но и любой потери семени.

Новость Салманова озадачила. Но он пообещал, что справится.

Следующий год был сложным и для Салманова, и для Кривошеина. Жрец погрузился в изучение пуруша-медхи, от чего ежедневные его обязанности как менеджера по ж.п. заметно страдали. Руслан Иванович тоже не мог сосредоточиться на отправлении властных полномочий и пресечении интриг. Подняли голову недруги и завистники мэра. Появились оппозиционные партийки, которые вопили о том, что Салманов хочет выжить из города всех нормальных людей и заместить их своими послушными клонами с конвейера комбината. Международные правозащитные организации открыли в городе свои представительства, чтобы следить за соблюдением прав коренного населения. Местные бизнес-круги отбились от рук. А и Москва не спешила оказать поддержку, ждала, когда Акела совсем ослабнет и промахнется, чтобы не упустить момент и первой вцепиться в глотку волчары.

Да только вся эта суэта мало заботила Салманова. Руслан Иванович был напоен предвкушением своей скорой божественности. Даже стихи перестал писать, только мычал в беспамятстве, наполнив утробу лучшими сортами виски и коньяка.

Смутно, как сквозь сон, помнил он, что приходил к нему в кабинет свами, читать нотации. Один раз он рассказывал про Индру. Что Индра ревнив и внимательно следит, не пытается ли кто прибрать к рукам его трон? Если подвижник накапливает слишком много могущества, то царь небес постарается его опустить. Для этой цели у него есть соблазны, например небесные девы, апсары. Он посылает их к сопернику под видом земных женщин, и те сбивают подвижника с пути.

Салманов заверил Вадима, что клал он на Индру с прибором. Не такие разводили. Бывший мэр тоже не хотел уступать места. И проститутки посылали с видеокameraми, вмонтированными в причинное место под видом пирсинга, и по-всякому. Был посрамлен, злодей. И у райского топ-менеджера ничего не получится.

Свами настаивал, что опасность очень велика. Апсары так привлекательны, что рядом с ними любая земная красавица покажется мерзкой лягушкой!

Ушел ни с чем. А часом позже из-за перегородки выпорхнуло чудесное создание, девочка лет тринадцати-четырнадцати. Руслан Иванович заметил ее то ли на школьном утреннике, то ли на каком-то другом официальном мероприятии с разрезанием ленточек и захотел познакомиться поближе. Познакомился, но, насколько он помнил, ничего такого не было.

Дату жертвоприношения Кривошеин вычислил по астрологическим таблицам. За неделю до дэд-лайна он давал заказчику и жертве в одном лице последние инструкции:

— Согласно правилам обряда вы, Руслан Иванович, должны разделить свое имущество на четыре равные доли и раздать четверем жрецам, которые будут проводить церемонию.

— Но жрец у меня один — ты!

— Да. Значит, отдать все мне.

— Бери, не жалко. Сейчас позовем юристов, нотариусов, и я перепишу на тебя все счета, акции и недвижимость.

— И что я со всем этим буду делать?

— А мне какая разница?

— И то верно... но ведь у вас есть, наверное, жена, дети...

Салманов махнул рукой:

— Бывшую жену и ребенка я и так обеспечил на всю жизнь. У них дома за границей, депозиты в банках. А нынешняя моя спутница, как я перестал с ней спать, весь год ходит злая. Не заслужила. И все равно я и ей раньше еще подарил пару автосервисов.

— Кстати, спутница нам понадобится. Она должна принять участие в обряде. Ммм... несколько необычным образом.

— Это будет сложно устроить.

— Иначе никак нельзя.

— А можно ее, к примеру, слегка... эээ...

— Накачать наркотиками? Пожалуйста. Даже лучше.

— Заметано, братан.

— И последнее.

— Что?

— Мы еще можем все отменить.

Полная церемония заняла сорок дней. Тридцать пять дней длились подготовительные обряды. Пять дней было отведено на основной ритуал. Кривошеину помогал человек сто, узкий круг посвященных, в который входили его белобрысые мальчишки-певуны, клоны и несколько ветеранов Конторы из службы безопасности Мамшакомбината.

Для мирских властей все было обставлено так, чтобы доказать версию добровольного ухода из жизни Салманова. Руслан Иванович собственноручно написал прощальное письмо, в котором сетовал на неблагодарность современников, на непризнание его заслуг и непонимание его планов по спасению России и заявлял, что желает упокоиться с миром на дне глубокого озера далеко-далеко от родной земли, где его тело не найдут и не выставят на всеобщее обозрение и поругание в мавзолее; а также выражал надежду, что город помянет его добрым словом, а народ отыщет свой путь к свободе и процветанию.

На закате пятого дня Салманов предстал на арене жертвоприношения, особой огороженной трехметровым забором и охраняемой по периметру вооруженными сотрудниками службы безопасности территории комбината, одетый в белоснежный шелк и украшенный гирляндой из лотосов. Охранники подвели его к жертвенному столбу, отлитому из бронзы, и, сорвав одежды, привязали грубой веревкой. Подошел задумчивый клон и расчертил охрой тело Руслана Ивановича, превратив его в оригинал-макет вселенной, какой ее видели арии — с миром дэвов вверху, миром людей посередине, миром змей внизу и светилом, солнцем в центре, на месте пупка. Далее второй клон нанес куркумой на тело Руслана Ивановича схему социальной стратифи-

кации: голова — это интеллигенция, руки — силовики, живот — предприниматели, а стопы — пролетариат.

Мальчики читали нараспев Пуруша-сукту, гимн первочеловеку, существу с тысячей голов, тысячей глаз, тысячей рук, тысячей ног, которое принесло самого себя в жертву самому себе и так сотворило из самого себя вселенную.

Над свежей травой плыл ароматный дым, шипело в костре топленое масло, звенели серебряные колокольчики.

К жертвенному столбу со стороны спины Салманова подошел ветеран, набросил на шею жертвы тонкую блестящую нить и в несколько секунд удушил мэра. Ноги мэра-пуруши дрыгнулись, тело свело судорогой, а потом обмякло. Подскочили клоны с широкими медными тесаками, перерезали веревки. Жертва сползла по столбу на траву. Вытянув пурушу по оси север-юг, головой на юг, ногами на север, клоны стали разделять жертву строго по линиям, начертанным охрой на голой коже. Траву залила густая, вязкая кровь.

Кривошеин сидел чуть в отдалении, в позе йога на потертой циновке из священной травы куша, молчал, смотря на церемонию и помещая ее в ум. Его помощники действовали по заранее отработанному сценарию. Лишь изредка свами знаками давал указания.

Расчлененную жертву аккуратно сложили на белую ткань, как пазл целого человека, и накрыли другим куском непромокаемого белого полотна.

Свами поднял левую руку.

Два голых мускулистых клона бросились к палатке, стоявшей у края жертвенной арены. Через минуту они под руки вывели красивую молодую женщину, одетую в яркое алое сари. Женщина двигалась как сомнамбула, ее зрачки закатились. Клоны аккуратно сняли сари, под которым ничего не было, надели на женщину гирлянду из благоухающих цветов и драгоценные ожерелья, подвели к центру арены. Там подняли покров и уложили жену рядом с расчлененным пурушей. И снова накрыли обоих.

Довольно долго ничего не происходило, ткань не двигалась. А потом... потом началось шевеление... казалось, части тела мэра соединяются вновь, срastaются, образуя нечто иное, неведомое.

Мальчики пели громче, огонь языками рвался к небесам, присутствующие, казалось, впали в транс — наступила кульминация обряда.

Нечто под тканью взгромоздилось, задергалось. И стало двигаться ритмично, в такт песнопению, это были фрикции, нет сомнений, рецитация набирала темп, фрикции убыстрялись, еще, еще, еще, еще, еще, еще, и...!

На финальной ноте литургии белая ткань опала.

Кривошеин встал со своего сиденья и поднял руки к небу:

— Джайа! Слава тебе, о, Индра, лучший среди дэвов, владыка небес! Приветствуем тебя!

— Джайа! Джайа! Джайа! — отвечивал стройный хор.

Четверо в оранжевом одеянии вышли в центр арены и опустились на колени с углов покрыва. Они поклонились. Потом встали с колен и подняли ткань.

На залитой кровью простыне лежала, раздвинув ноги, голая женщина в смятых цветах и вращала глазами, выкатывающимися из орбит.

Над ее бедрами поднялся, разогнув ноги, крупный короткорогий козел с запутавшейся в ожерелье бородой. Козел мотнул головой и заблеял победно и торжественно.

Белое платье

Старый брахман Ачьюта Випра преставился около полудня, в третью мухурту, когда деревенька оцепенела от зноя и палящего солнца. Люди прятались под навесами и в хижинах из тростника, буйволы лежали в грязи на берегу мутной речки, и даже куры не суетились, не ковыряли землю, а ловили жидкую ускользящую тень пожухлых баньянов и перемещались из пекла в полосы относительной прохлады, чтобы распластать крылья и зарыть голову в песок.

Старику пришло время читать гаятри, но он, вместо того, чтобы сесть в углу дома, намотать священный шнур на большой палец правой руки и раскачиваться, беззвучно шевеля губами, для чего-то вышел во двор. То ли вздумал облиться водой, то ли справить нужду. Но, не пройдя и трех шагов от порога, скрючился и упал.

Старшая жена, выйдя вслед за мужем, подняла крик. Брахмана втащили в дом и уложили на циновку. Послали за знахарем. Знахарь приковылял, укрываясь от солнца под зеленым пальмовым листом, недовольный, что его разбудили. Бормотал что-то про равновесие дош и прикладывал ко лбу старика лепешки из коровьего навоза.

У старика был инсульт, обширное кровоизлияние в мозг. Он лежал, закатив глаза, и мелко подрагивал. Потом его зрачки остекленели, тело расслабилось. Из заднего прохода вышли газы и жидкий кал, а вместе с ними — душа.

С другого конца деревни пришли сыновья, живущие своими домами. Начали готовить погребальный обряд.

Младшая жена брахмана, Лакшми Прийя, сидела одесную мертвого мужа и тихо плакала. Старшая, Нандини, металась по дому и причитала в голос. Все должны были отметить ее неподдельное страдание столь непохожее на лицемерную печаль молодой Лакшми.

Покойный Ачьюта Випра надумал привести в дом вторую жену будучи уже сильно в возрасте, на пороге странствия в иные миры. Однажды он проводил самскар для сына другого брахмана. Тот брахман, по имени Даридра, был беден и голоден, как больной пес. На маленькую общину деревни было слишком много брахманов, и не всем доставались заказы на церемонии и благодарственные подношения. К тому же Даридра и не умел делать ничего полезного и прибыльного: ни жертвоприношение провести, ни пропеть заклинание от дурного глаза, ни женить, ни похоронить толком не мог. Он посвятил себя изучению грамматики Панини и корпуса упанишад. Это было бы хорошо где-нибудь в Бенаресе, где богатые купцы и правители охотно кормят ученых-фундаменталистов. Но в Хемапуре никому не было интересно.

Хемапур, что значит «золотой город», уже тысячу лет как никаким городом не был, и золото в нем водилось разве что в мнистах женщин пары сравнительно богатых семейств. На деле это была деревенька в сто дворов, живущая дойкой коров и выделкой кожи буйволов, павших естественной смертью.

Завершив обряд, Ачьюта Випра оглядел хижину заказчика. Хозяин очевидно не мог предложить жрецу достойной дакшины: обстановка была более чем скудна, глиняный пол пуст, только у стен сидели рядом многочисленные дети Даридры, которых он плодил с регулярностью хорошей овцы — изучение упанишад, видимо, ничуть этому не препятствовало. Дети были худы и глазасты. Взгляд Випры остановился на девушке с длинными темными волосами в рваном поношенном сари.

Жрец хмыкнул и указал на нее заскорузлым мизинцем.

Лакшми Прийе было 11 лет.

В тот же день объявили о помолвке.

Даридра не мог отказать брахману, авторитету в обряде и кула-гuru. Мать Лакшми радовалась: в доме Випры достаточно риса и гхи, девочка не будет голодать. Все равно другой партии в Хемапуре не было. Правда, на дочь заглядывался местный

пастух, отец которого имеет стадо в двадцать коров. Но он, хоть и двиджа, а все же более низкой касты — вайшья, скотопас. Подобный мезальянс не благословляют ни предки, ни боги.

Еще год Лакшми Прийя жила в своей семье. Випра заходил с подарками: приносил засохшие сладости и украшения из тусклой меди. Когда девушка отметила двенадцатую весну, провели свадебный обряд и отвели ее в дом мужа.

За четыре года супружества Лакшми Прийя так и не понесла. Хотя брахман проводил с ней много времени. Слишком много, как сетовала обожженная солнцем и неумолимым временем Нандини. Она ныла родне мужа, что девица высасывает из старого Випры прану, жизненный сок. Она не иначе ракшаси, из тех, кто бродит в ночи! И вот доказательство — ни разу не забеременела!

Но дело было не в Лакшми, конечно, а в Випре, который был немощен. Долгими часами уединения он лишь раскладывал на плоском животе своей возлюбленной лепестки цветов, гладил ее по волосам, да рассказывал про свое детство, далекое время, когда дхарма была еще не в таком упадке и век Кали не испортил людей настолько, что они стали отказываться от самых необходимых ритуалов, лишь бы сэкономить на оплате жрецу! О да! Это было время, когда не только скромные домашние хома, но и пышные шраута проводились каждый год!

Иногда Випра брал в свои смуглые руки маленькие и твердые груди Лакшми и долго смотрел на них, словно бы в удивлении.

Теперь он был мертв, слишком мертв. А вокруг суетились родственники. Обряд готовили спешно, на скорую руку. В такую жару труп уже на следующие сутки будет разлагаться и дурно пахнуть.

На берегу мутной реки складывали дрова погребального костра. Речонка так себе, но почиталась святой, так как впадала в Ганг. По правилам нужно спустить плот с остатками кремации в Ганг, но до него далеко, можно спустить и в речку, которая уже сама доставит останки покойного в священные воды, стекающие с большого пальца на стопе Вишну на голову всеблагого Шивы, властителя смерти и распада.

В дом зашли старухи, что омывают тело умершего, чандалы. Даже тень чандалы оскверняет дважды рожденного. Лакшми позвали на женскую половину, надо было готовиться к церемонии, одеться соответствующим образом. Лакшми Прийя встала на войлочных ногах и не чувствуя себя пошла в спальню. Нандини уже облачилась в белое сари. Белое — цвет траура. Теперь она будет носить белое сари до конца своей жизни.

Посвящение во вдовство положено проводить на 10-й день после смерти мужа, но Нандини настояла, чтобы это было сделано немедленно. Она даже побрила голову налысо, хоть это было и необязательно: быстро, как будто боялась не успеть.

Лакшми приблизилась к вдове и тихо сказала:

— Нандини, дай и мне белое сари.

Лысая женщина отвернулась. Лакшми Прийя повторила:

— Нандини, дай и мне белое сари!

Вдова открыла сундук, порылась в нем, достала что-то с самого дна, обернулась к девушке, подошла и молча протянула сложенную ткань.

Ткань была ярко алого цвета.

Это было красное сари, свадебное, то самое, в котором Лакшми Прийя четыре года назад вышла замуж за старого брахмана Ачьюта Випру.

По кругу стоявших в спальне женщин, жительниц Хемапура, пробежал изумленный шепот: «сати! сати!..»

У Лакшми Прийи помутнело в глазах, она зашаталась и упала в обморок.

Когда Лакшми очнулась, она ощутила свое тело на жесткой лежанке. У изголовья сидел знахарь и протягивал ей глиняную чашку с дымящимся отваром. Кто-то

приподнял ее голову, знахарь влил снадобье в рот девушке. Жидкость была со странным вкусом грибов. Лакшми сделала несколько глотков и посмотрела на себя. На ней уже было одето красное сари! Девушку охватил ужас, и она снова потеряла сознание.

Потом ее приводили в чувство, давали еще отвар. Когда труп понесли к реке, Лакшми вели следом, как жертвенное животное. Две тетки из мужниной родни держали ее под руки, крепко сжимали локти и подталкивали. Лакшми передвигалась как во сне, плыла перед глазами деревенька Хемапур, пустоши и баньяновая роща, коровы и люди. Иногда голова сама собой запрокидывалась, и плыло небо, населенное странными существами, которые сияли, сверкали и смотрели на Лакшми с восхищением и жалостью. В небе или на земле, или повсюду, со всех сторон, играли литавры. Лакшми Прийя шествовала, не касаясь стопами земли, или ей так казалось, и бормотала одно и то же:

— Белое! Белое сари! Нандини, дай и мне белое сари! Я хочу надеть белое сари! Белое!

Покойник был уложен на погребальный костер головой к югу. Правую руку Лакшми испачкали красным кункумом и подвели девушку к большому камню, что стоял на месте кремации. Безвольно, как кукла, Лакшми Прийя подняла руку и приложила к камню ладонь. Остался отпечаток, свежий, в ряду других, древних, полустертых дождями и ветром.

Ее возвели на костер. Усадили ошуюю мужа и положили мертвую голову к ней на колени. Жалкая морщинистая голова окоченевшего трупа зарылась в складки красного сари. Лакшми заплакала. Пасынок незаметно привязывал ноги Лакшми к большому бревну скотской веревкой.

Стали подходить женщины, подносили засахаренные фрукты. Лакшми едва приоткрывала рот и глотала, чуть не задыхаясь. Украшали ожерельями из дешевых металлов и деревянными бусами, клали вокруг цветы и надевали гирлянды. Когда закончились подношения, выступил вперед распорядитель обряда:

— О, сати, сушая, целомудренная, следующая светлым путем! Благослови нас! Дай наставление женщинам и девушкам, остающимся в среднем мире!

Стихли все разговоры. Только ушедший в себя жрец продолжал рецитацию похоронной песни, гимна X.18.8 Ригведы, сочиненного в древние времена поэтом и мудрецом, риши, ведущим род от царя мертвых, Яма-раджи:

Изыди, смерть! Иди другим путем! Твой путь — не тот, которым ходят боги.
Печаль и мрак, и плач, зола и пепел на твоей дороге.
Оставь детей, оставь мужей, нам — радость, нам — богатства, годы многие.
Ты слышишь, видишь, я к тебе взываю! Взяла свое — а нашего не трогай!

Вся песня была о том, что живые остаются жить и радоваться жизни, чтобы смерть не забрала по ошибке того, что не выделено ей как ее доля. О том, что место кремации обильно польют водой, превратят в болото и громкие лягушки будут по весне справлять здесь свои брачные церемонии. Потому что жизнь продолжается.

Но жизнь продолжается без нее, без Лакшми, сати, обреченной, поставленной за черту.

Все ждали, что скажет сати. В сати вселяется истина. Перед тем как воспламенится ее тело, она видит будущее. Все ждали, что скажет сати.

Лакшми Прийя зашевелила губами:

— Белое. Белое сари. Я хочу одеть белое сари.

Толпа зашумела:

— Громче, сати! Что нам делать, сати! Сати, что нас ждет?

— Все... девушки... хотят... белое...

Пасынок поднес просмоленный факел к костру. Сухие ветки полыхнули, заня-

лись поленья, обильно политые маслом. Пламя охватило труп и сгорбленную фигурку девушки.

Над поляной пепла раздался крик, полный боли и страха. Неясный силуэт в огне взвился, сию секунду вырваться и опал, корчась.

Крик оборвался. Только треск горящего дерева, лопающихся костей, шипение масла и человеческого жира, да гудение ветра в огне, ветра, в котором вечно звучат Веды.

Индийская свадебная церемония связывает брачующихся не на одну, а на семь жизней. На семь жизней привязываются друг к другу муж и жена ритуальным шнуром.

Говорят, что жена, идущая на погребальный костер мужа, очищает себя и покойного от всех грехов, от плохой кармы. Наградой становится рай. Тридцать пять миллионов лет в раю. Говорят.

Но что-то пошло не так. Может, Ачюта Випра был плохим брахманом и совершал много оскорблений. Ведь он не должен был брать вторую жену — законы Ману позволяют брахману брать вторую жену, только если от первой у него нет сыновей, а у Випры было два сына! Кшатрии, раджи, могут брать сколько угодно жен. Что до шудр, они обходятся гражданским браком. Чандалы вообще живут как звери и совокупляются с кем попало.

Может жрец неправильно совершил обряд. Может, чтец делал много ошибок, читая Веды — не там удлинял «а», не вовремя повышал и понижал тон и забывал придыхание после «х» в конце стиха размера триштубх.

Может, и вовсе, как сказано в книгах, обряд сати запрещен, его нельзя проводить в век Кали, когда люди слишком привязаны к телу, брэнной оболочке из пяти элементов: земля, вода, воздух, огонь, эфир, и к шестому элементу — уму.

Лакшми Прийя не попала в рай на тридцать пять миллионов лет. Ее душа, вместе с душой мужа, оказалась в иных, темных областях. О великий дар забвения! Даже те, кто помнят прошлые воплощения, не могут рассказать, что они испытали там. И это милость. Потому что такая память способна свести с ума.

Да и что помнить?

Мрак, холод, кошмарное забытие, боль и отчаяние — вот все, что составляет бытие в аду, в месте, где ничего не происходит. И муж, страдающий рядом, безразличен, как безразлично все остальное. Представьте сильную зубную боль — каким неважным становится все вокруг! Мир сжимается до одного больного зуба. А это только зуб! В аду вся душа становится одним гниющим болезненным зубом.

Но даже в аду живые существа ухитряются совокупляться. Не испытывая радости, наслаждения, а только усугубляя страдания горящей как мучительный огонь внутри похотью.

После темного мира душа Лакшми получила тело собаки. Облезлой и больной, покрытой лишаями проказы. Однажды в свору затесался такой же облезлый пес, злее других. У суки была течка, и он, кусаемый сородичами, покрыл ее, лая и извиваясь в смешении боли и оргазма.

Потом Лакшми была змеей. Она была коброй в джунглях. У нее была нора, свой участок охоты и предчувствие материнского счастья — она была беременна, носила в себе яйца змеенышей. Она не успела отложить яйца. В ее царство заполз самец, гневный, словно имеющий на нее право. Убил, как изменницу, и сожрал, заглотив вместе с детьми.

Жизнь птицы — это простая жизнь. Озеро с кувшинками и лотосами. Белая лебедь — Лакшми. Ее супруг. И охотники, поймавшие их в силки. Лакшми видела, как Випре свернули голову. Потом и ее мир перевернулся и померк.

Корова-пеструха жила в колхозном амбаре, с другими коровами. Одну зиму она осталась пустой, яловой. Зато в другой год была уже стельной — ее возили к племен-

ному быку, который стоял в загоне, широко расставив копыта и мыча, одуревший от стахановской нормы совокуплений. И все же ее заклали. Отправили на мясокомбинат — району повесили план по мясозаготовкам.

Леночка всегда, сколько она себя помнила, хотела выйти замуж. И дело вовсе не в том, что она мечтала поскорее стать домохозяйкой или — о, ужас! — нарожать детей. Нет. Леночка просто хотела надеть белое платье. Пышное, с кружавчиками и фестонами. А можно и прямое, атласное. Но обязательно с дымчатой белой фатой, изощренно пристегнутой сотнями невидимых шпилек к высокой прическе. Леночка мечтала надеть белое платье. Что в этом удивительного? Многие девушки хотят. По правде говоря, все. Абсолютно. Исполон веков, тому уже несколько столетий, как все незамужние девушки мечтают о белом платье с фатой, о наряде невесты. Многие только ради этого выходят замуж. Чтобы заливаясь слезами в окружении помогающих и утешающих (на самом деле, завидующих) подружек облачиться в свадебное платье, сесть в белый лимузин, или хотя бы в «Волгу», отправиться к ритуальному камню, холму или источнику — к могиле Канта, к набережной Невы, на Воробьевы горы — в разных городах по-разному — и там сфотографироваться на память себе и на восхищение человечеству. Для того чтобы человечество могло восхищаться, свадебные картинки закачиваются на сайт социальной сети, или, если это видеоролик — на youtube. Каждая толстуха и дурнушка убеждена, что в свадебном белом платье она будет выглядеть неотразимо. Откуда только берется такая уверенность? И все бы ничего, да жених на этом празднике жизни выглядит лишним. Некоторые девушки доходят до того, что обрезают парные фото, сканируют только себя одну, красавицу, невесту. От жениха остается лишь кусок черного локтя с края фотографии или обрубленная ладонь на талии. В брачную ночь никто не занимается сексом. Все, кто мог и хотел, уже занимались им до бракосочетания. В брачную ночь перебирают подарки, или отдыхают от праздничной сутолоки на диване перед телевизором, или пьют, пока не напиваются до совершенной свиньи и после спят мертвецким сном. А утром невеста, обнаружив рядом с собой теплое и вонючее тело мужа, искренне удивляется: что оно здесь делает? Ведь все уже было: и подарки, и праздник, и я сфотографировалась в белом платье. Так зачем мне муж? Он шевелится! Какая низость! Порядочный человек должен был умереть. Ведь я надевала белое платье! Значит, мой муж должен быть мертвым. Конечно, редко бывает так, что невеста сразу устранит недоразумение с помощью одного из подарков — кривого охотничьего ножа. Нет, живет дальше, даже производит детей. Но безотчетно относится к мужу как к мертвому человеку. Или чувствует, что лучше бы он был таковым. Все девушки хотят надеть белое платье. И мы с вами знаем, что это значит.

Так что Леночка не была в этом смысле какой-то особенной. И все же она была особенной. Все девушки хотят и так далее, но Леночка, Леночка была на этом свихнута, белое платье стало для нее навязчивой идеей. Каждая девушка в каждом своем действии имеет в виду с дальним прицелом и тому подобное, но Леночка, Леночка — какие еще дальние прицелы? — прямой наводкой, бронебойными, пли! Поэтому в общении с парнями у Леночки всегда были трудности, несмотря даже на то, что Леночка была на редкость симпатичной. Знаете, даже если девушка симпатична, как Леночка, все же если сразу про давай поженимся — это пугает. Разбегались, но Леночка не расстраивалась. Она знала: мой от меня не уйдет. Возьмет замуж, куда он денется! Судьба. А этот, получается, был не мой. Если мой — то чего ради резину тянуть? А если нет, то тем более. Леночка знала, что он есть, иногда ей казалось, что она узнает или вспоминает, но оказывалось — перепутала. Последней проверкой было: давай поженимся. Леночка обозналась не раз и не два, послушно предоставляя свое тело во временное пользование каждому статисту, предъявленному усталым лейтенантом-судьбой для опознания, и спокойно забирала свою зубную щетку и

пакет с прокладками, когда выяснялось — опять не тот. Так все происходило, пока Леночка не встретила Анатолия Викторовича.

Леночке было едва двадцать четыре года, Анатолию Викторовичу — чуть более сорока. Они познакомились и встретились так банально для нашего времени, что я даже не буду об этом писать. Прежде Анатолий Викторович был женат то ли два, то ли четыре раза; это если считать только штампы в паспорте. На момент встречи с Леночкой он был свободен, в чем, без сомнения, проявился так называемый перст судьбы. Поначалу Леночка не выделяла имя Анатолия Викторовича из мортиролога своих надежд на белое платье, полагая — вот, следующий корабль в списке. Готовилась озвучить тестовое предложение, но Анатолий Викторович опередил, и первый попросил у Леночки руку и сердце. Что до всего остального в Леночкином хозяйстве, то, как понимаете, Анатолий Викторович этим уже пользовался, то ли со второй, то ли с первой встречи. Леночка была настолько ошеломлена, что ответила отказом. Тогда Анатолий Викторович удивил Леночку еще больше: он собрал свои носки и зубную щетку и ушел молча, даже не кинув на прощание профилактическую утреннюю палку, как практичные мужчины в возрасте чуть более сорока лет имеют обыкновение делать перед расставанием.

Тогда Леночка поняла — он! И хотела ему позвонить. Но, как это часто случается в кинофильмах, оказалось, что номер телефона Анатолия Викторовича Леночка потеряла. Вернее, номер украли вместе с телефонным аппаратом Леночки, вытащили из сумки в метро. Леночка писала Анатолию Викторовичу в Интернете, но Анатолий Викторович из Интернета пропал. Леночка погрузилась в полное уныние, терзалась и корила себя. Но прошло две или три недели и Анатолий Викторович позвонил сам. Пригласил поужинать, как ни в чем не бывало. Леночка согласилась. И сразу после того, как пригубила минеральной водички, начала путано объяснять, что, мол, она не в том смысле, а наоборот, и... Анатолий Викторович улыбнулся и поставил перед Леночкой бархатную коробочку. В коробочке было золотое колечко с маленьким бриллиантом. Совсем как в кинофильмах! Оказывается, он все знал, все предвидел!

Свадьбу решили сыграть в феврале. Можно было и в мае, на май можно было заказать время во Дворце бракосочетания — до мая все дни забиты, такая прорва брачующихся! Но в мае — плохая примета, всю жизнь потом маяться. Хотя Леночка, Леночка ни во что такое не верила. Она была согласна и в мае, она была почему-то уверена, что долго маяться ей не придется. В мае так в мае. А в феврале так в феврале. Все организационные вопросы взял на себя Анатолий Викторович. Лимузин, цветы, ресторан, музыканты, гости. И главное, главное — белое платье! Анатолий Викторович отвез Леночку в специальный магазин на втором этаже в доме по улице Садовая, где продавались одни только белые свадебные платья, много, много белых свадебных платьев. Анатолий Викторович не только отвез, не только снабдил Леночку своей платиновой кредиткой, но и терпеливо прождал часа два, или четыре, или шесть — все время, пока Леночка выбирала наряд.

И все было как надо, все было красиво. Когда Леночку наряжали, Леночка ни разу не заплакала даже для приличия, а смеялась все время, так что подружки не знали, что им делать, как Леночку утешать, и плакали сами, не скрывая своей зависти. Во время церемонии и гуляний пять фотографов и два видеооператора фиксировали образ Леночки-невесты во всех ракурсах. Танцы, салюты и даже целый речной катер. Анатолий Викторович практически не пил, держался комильфо — кругом репортеры. Анатолий Викторович был не то чтобы олигарх, но вполне успешный мужчина. По образованию Анатолий Викторович был филолог, чуть ли не востоковед, но вовремя оставил изучение тонкостей палийской письменности и через связи и родство по матушке попал в команду губернатора, то ли спичрайтером, то ли еще кем.

Ближе к финалу публичной оргии Анатолий Викторович, Леночка и узкий круг

близких друзей Анатолия Викторовича сбежали от лыка не вяжущих гостей за город. На двух внедорожниках за час с небольшим добрались до дачи Анатолия Викторовича. Дача была не то чтобы дворец, но добротная и с баней. Ради бани и приехали. Леночка как была в белом платье с наброшенной на фестончики песцовой шубейкой по глубокому снегу прошла к крыльцу, за ней вся компания. Леночку усадили в домике, в зале с камином, на тахту крытую натуральной медвежьей шкурой. Мужчины пошли хлопотать: кто топить камин, кто накрывать на стол, кто греть баню. Скоро стало тепло от камина снаружи и от глинтвейна изнутри. А как протопилась баня все разом ушли.

Леночке стало скучно. Леночка увидела на кухне литровую пластиковую бутылку с жидкостью для розжига. Такая специальная жидкость, горит без запаха. Если надо разжечь костер для шашлыка, то пользуются специальной жидкостью. Раньше помогали сырым дровам бензином, но бензин воняет, и мясо потом отдает бензином. Еще раньше в костер поливали топленое масло, но это было давно, очень давно, Леночка помнила смутно, словно прошлые жизни, дежавю. Леночка взяла сигареты, зажигалку, пластиковую бутылку и вышла из домика. Баня была недалеко, бревенчатый домик. Леночка подошла к бане. Внутри было шумно, весело. Маленькое окошко совершенно запотело. Леночка подперла дверь доской. Побрызгала на бревна из бутылки. Щелкнула зажигалкой и закурила.

Пламя радостно занялось, и скоро вся баня полыхала, как полный спичками коробок. Спички недолго трещали, кричали, бились в дверь, лезли в окошко, куда не просунуть и полголовы. Прежде чем рухнули потолочные балки, обмякли, затихли, угорели, Леночка вызвала пожарных. Едва сообразила про адрес, прочла с таблички на доме. Нажав клавишу отбоя на мобильном телефоне, звонко смеялась. Светло от костра, светло на душе, светло в памяти. Словно что-то свершилось!

Леночка не забыла упрятать пустую бутылку из-под жидкости для розжига в компостную яму. Когда приехали специальные автомобили, Леночка улыбалась и смотрела потусторонними и красными от жара глазами на догорающее зарево. Ее пытались увести. Леночка вырвалась. Леночка подошла к пепелищу, залитому водой и пеной из пожарных брандспойтов. Лужа — море разливанное! Новое зарево занялось на востоке — солнце взошло. Леночка глянула под ноги и увидела оттаявшую прежде весны, разбуженную от зимнего анабиоза многолетнюю жабу. Жаба зимовала под банной стеной. Огонь показался ей солнцем, что, пройдя равноденствие, в зените полдня призывает живое к соитию, толкает почки, смягчит мерзлую землю, разжигает вязкую кровь. Жаба издала сиплый слабый звук и попробовала спрыгнуть в темную воду, но завалилась на спинку, обратив к розовеющему небосклону свое ядовитое желтое брюшко, и зашевелила беспомощно лапками. Леночка взяла жабу в ладони и заплакала горько и безутешно.

Колоски

Благословенны колосья, остающиеся в поле после жатвы, ибо они символ Брахмы, прародителя вселенной.

Брахма-Ваиварта Пурана, I.3.6.

Пройдя семь кругов ада и паспортный контроль, мы вознеслись над облаками и после короткого сна упали вместе с бархатными снежинками на взлетно-посадочную полосу аэропорта Тигель. Снежинки растаяли, а мы в дубленых русских полушубках

на холодном автобусе до станции Шарлоттенбург и дальше поездом к станции Ванзее на берегу одноименного озера. Моя спутница — белокурая девица с розовым фотоаппаратом и я — писатель, милостью Божьей и своего литературного агента стипендиат фонда Роберта Боша, того самого, кто делает лучшие в мире стиральные машины и дрели. Ванзее — идеальная деревня, гегелевская деревня, деревня Платона — идея деревни, как она есть в платоновском мире идей. Все другие деревни, от Конопатова до Малых Мудищ, только неверные отражения, пиратские копии лицензионного небесного оригинала — идеальной деревни Ванзее. Чистые дороги и тротуары, голубой дымок автономных котельных, припаркованный на красивом холме «фольксваген-жук», единственное сельпо в радиусе десяти километров — супермаркет Риве. Ключ от своего номера мы нашли в сейфе у аварийного выхода. И оказались одни в целом замке. Прибегнув к логике, любимому детищу Аристотеля, я пришел к выводу, что кроме нас в замке должен быть кто-то еще: перед нашим приездом он заботливо включил в номере, состоящем из спальни и кабинета, батареи отопления; по вечерам после двадцати ноль ноль массивная дверь главного входа оказывалась запертой на ключ, а с восьми тридцати снова открытой; каждое утро на террасе был накрыт столик для завтрака, сыр и ветчина нарезаны тонкими прозрачными ломтиками, в полном порядке разложены йогурты с хлопьями и кофе в кувшине подогрет. Но кельнеров и дворецкого мы никогда не видели, поэтому служители замка оставались для нас категорией умственной проекции, подобно атлантам: раз небо не падает на землю, значит, кто-то держит его на своих плечах; следовательно, атланты существуют. В день первый, будучи прежде поселения в замке не спавшим четверо суток, я видел тени и смутные силуэты офицеров Люфтваффе в строгой форме от-куюр: галифе заправлены в высокие лакированные сапоги, рубашка выглажена, на коротко стриженной голове фуражка с кокардой, летящие одины. Офицеры курили, прислонившись к дубовым перилам винтовых лестниц, стояли за моей спиной, когда я включал свой лэп-топ, проходили быстрым чеканным шагом по залу в горизонте бокового зрения и исчезали, стоило мне повернуть голову, чтобы рассмотреть призрака в упор. Ко дню второму я выпался и офицеров больше не видел. В брошюре, обнаруженной в ящике письменного стола, я прочитал, что когда-то вилла на берегу Ванзее была ведомственным пансионатом для подопечных рейхсфюрера Германа Геринга. В день третий моя невеста размазывала багровый клубничный джем по белому тосту. На застекленной террасе было прохладно. Я пил большими глотками горячий кофе. Сделав пару укусов своими прелестными белыми зубками, невеста изобразила на лице некоторую гримасу, отложила тост и принялась вынимать из обертки миниатюрную головку сыра. Я взглянул на отвергнутый хлеб и укоризненно покачал головой.

— Юная фрау, это не хорошо.

— Warum?

— Хлеб нельзя выбрасывать.

— Разве я выбрасываю? Я просто оставила для них. Им тоже надо оставлять.

— Кому им?

— Как будто ты сам не знаешь! Им. Тем, кому надо оставлять.

— Надеюсь, ты не думаешь, что невидимый кельнер подъедает за гостями остатки завтрака?

Невеста фыркнула и наградила меня дураком.

Бабушка моя, Мария Иоанновна, была женщиной из белого мяса в розовой белковой оболочке не стареющей гладкой кожи. Были у нее глаза, озорные темносиние. Седой волос на бабушке был крашен египетской хной, от чего бабушка пахла как кукла. Здоровья и силы баба Маша была сверхъестественных, таких, что дай бог каждому! И светлая радости полна. А умерла удивительно. Истончившись враз, слов-

но лучина истлев. Доктора порезали бабу Машу, вынули из белого чрева половину желудка. А все равно через месяц Мария Иоанновна преставилась, отошла, со святыми упокой.

Бабушка моя покойная была по части выпечки большая мастерица. Когда приезжала к нам в город, в двухкомнатную квартиру, на кухню было не зайти — все мука, мука, и дым дымится. Отец после работы сразу отправлялся в сарайку, велосипед починить или чем другим руки занять, чтобы не расстраиваться. А мама совалась помочь, но была прогоняема, как вредливая кошка от бидона сметаны. Зато потом! Du Lieben Zeit! Чего только не оказывалось на столе! Ватрушки, пампушки, блины, оладьи, сырники, штруделя с вишнею, рыбные пироги, коржики, плетенки, косички, кексы и кулебяки! А самое главное — хлеб, круглый, белый, похожий на саму бабушку. После пира мама неделю постилась, сидела на ряженке с зелеными яблоками, по диете, вырезанной из журнала «Работница», чтобы похудеть в талии до размера синего в вертикальную полоску польского сарафана, которым мамочка гордилась. И клялась впредь не налегать на пампушки; но что ты будешь делать, когда такой der Duft, разве кто устоит? А за меня радовалась: посмотри, отец, какой у Шурика der Appetit! Бабушкин хлеб я мог кушать целыми ломтями, даже без масла, запивая простой водой.

Магазинного хлеба баба Маша не признавала. Баба Маша говорила:

— Нешто я знаю, как его месят? Можа, они опилки в тесто кладут!

— Мама, ну какие опилки! Рецепт по ГОСТу.

Это моя мама так отвечала. Моя мама была технолог пищевой промышленности и работала в лаборатории. «Лаботара в раболатории» — так я говорил, когда был совсем маленький. Но бабушка продолжала бурчать:

— А руки они моют?

— И руки моют. Есть же СанПИН.

— Кто эти дядьки, Хост и Сам-Пим? — ехидно выпытывала баба Маша. — Разве батюшки, что хлеб освящают?

— Это инструкции, мама. Бумаги такие.

— А крысы? Крысы у вас в общественной пекарне перед как в чан с тестом сигануть, тожа бумаги читают?

— Ну, мама, это уже слишком!

Мама возмущалась, а папа с недоверием смотрел на бутерброд из магазинного хлеба с вареной колбасой. Бабушка не сдавалась:

— Хлеб должен в доме печься. На то и дом. А то взяли моду — все покупать! Можа, ты и борщ будешь в магазине брать?

— Нет, что ты, мама. Я же готовлю! И борщ готовлю. Да и нету такого магазина, чтобы борщ продавался.

Про то, что в городе есть фабрика-кухня, откуда мама приносила мне морковные котлеты и капустные шницели, бабушке было лучше не знать.

Так что хлеб из городской пекарни баба Маша не жаловала. Но если к ее приезду в плетеной хлебнице, что стояла у нас на кухонной полке из фанеры, покрашенной морилкой под ольху, не оказывалось совсем никакого хлеба, бабушка беспокоилась. Бабушка впадала в форменную панику. Бабушка звонила маме в лабораторию:

— Доченька, у вас все хорошо?

— Да, мама, а что?

— Почему в квартире ни кусочка хлебушка, а? Можа, Витю с завода уволили? Или тебе в лаборатории не платят? Так у меня осталось еще с пенсии...

— Мама, перестань, у нас есть деньги!

— Можа, в магазину хлеба не подвезли?

— Все подвезли, мама! Вчера, наверное, Шурик в булочную не сходил, вот и все!

Бабушка успокаивалась, но охала и гнала меня за мукой, напекала хлеба на целую роту, половину сразу определяя в сухари.

Мама говорила, что у бабы Маши было тяжелое детство. Что по поводу хлеба у бабы Маши психологическая травма. Тогда папа о чем-то задумывался, глядя поверх газеты «Красный Шимск». А я воображал бабу Машу потерпевшей кораблекрушение у берегов необитаемого острова, оставшейся с одним мешком сухарей и двумя бутылками рома, и как она обедает сухарями, размоченными в горячем роме, а ром мне представлялся чем-то вроде чая с вареньем, и вот сухари заканчиваются, и баба Маша начинает плакать, но тут на горизонте показываются паруса фрегата, бабушку спасает дедушка-капитан корабля, и они плывут в Шимск рожать мою маму, чтобы моя мама потом смогла встретить моего папу и родить меня. Когда я рассказал эту историю своей старшей сестре то она, наверное, чтобы не причинять мне психологическую травму, согласилась, что в принципе так все и было. Только случилось это раньше, когда баба Маша была совсем маленькой, а вовсе не невестой на выданье, и дедушка был не моряк, а летчик.

Когда я видел бабу Машу в последний раз, она была словно уже и не баба Маша. Обтянутый желтой кожей скелет напоминал девочку-уродца, девочку-переростка, седые волосы осыпались с детской головы как хвоинки, а морщины выглядели как недоразумение, вроде тех злых шуток Бога, что заспиртованы в Кунсткамере. Мне казалось, что бабушка не умирает, а растет назад. Вскоре после операции Мария Иоанновна не помнила — или не хотела вспоминать — обстоятельств недавнего времени, даже и того, что домик ее в деревне мы продали, а саму бабушку перевезли к себе в город. Зато вспоминала дедушку, как будто тот был совсем живой и только что вышел в ларек за папиросами «Казбек», своими любимыми, а не погиб в небе над Берлином, в одном из последних воздушных боев Второй мировой войны, сбитый одним из последних немецких асов — а ведь асы, как я уже знал, в германской мифологии — это боги, товарищи Одина, но индусы называют их асурами, демонами — как только этот фанатик смог поднять с разбитого аэродрома свой самолет! А после и дедушка, и война — все подвинулось в будущее, и баба Маша рассказывала мне, сидящему тихо, как мышь, у больничной койки, напуганному запахом, предчувствием чего-то неведомого, жуткого, но обморочно приторного на вкус, рассказывала только про самые ранние годы.

В деревне Струпенка Шимской волости белогвардейцев не привечали. И битвы Гражданской войны отгремели в стороне. Так, бывает, гроза проходит мимо: ты стоишь на пригорке, глядишь, приставив ладонь козырьком, а в небесах далеке громы и молнии, и тучи клубятся, заволокло горизонт — верно, ливень идет! а где ливень? не иначе над Коростенью, что в десяти верстах; а здесь сушь, только ветер порой принесет шальные брызги и бросит в лицо. И с чего бы деревенским привечать белых? Своих кулаков не было, Струпенка стоит на суглинке, урожай сам-два, сам-полтора, какое уж тут кулачество! Самый зажиточный крестьянин в деревне был Ипполит Матвеев, у которого целая корова и три козы. За веру, царя и отечество Струпенка выставила против германца пятерых солдат: с фронта Первой мировой ни один не вернулся. Потому, когда прискакали большевики на одном коне и бричке-тарантайке, струпенковцы вручили им полную власть над жизнью и смертью. Большевики огляделись и даже комбед формировать не стали: какой комитет, когда вся деревня — одна голытьба! И оставили матроса с деревянной ногой. Матроса звали Афанасий, он плавал в торговом флоте, бывал даже в Индии, а ноги лишился при страшных и загадочных обстоятельствах, о которых, выпив самогону из картофельной шелухи, рассказывал всегда по-разному: то акула откусила, то картечью при Цусиме оторвало, то индусские дикари отрезали и скормили своему идолищу поганому. Афанасий был, как все нормальные русские люди, православный христианин и

коммунист, но говорил и думал порой парадоксально: видно, индийская лихорадка повредила его ум.

Матрос Афанасий был в деревне Струпенка советская власть. И когда вышел указ организовать по всей России колхозы, Афанасий стал председателем. Для прогрессивного животноводства у Ипполита Матвеева обобществили корову и коз. С прочих дворов Афанасий собрал дюжину кур, гусака с гусыней и рябого котенка по прозвищу Котофей. Надо сказать, котенка Афанасий рыдающей пигалице Машутке вскорости вернул, рассудив, что пользы с него для построения коммунизма и Царства Божьего на земле никакого, а молоко лакать этот зверь горазд. Землю, на которой крестьяне растили свои жидкие хлеба, матрос отмерил всю в колхозную пахоту. Выгоды коллективного хозяйства председатель объяснял так: единоличник, будь он хоть кулак и сельский буржуа, не может купить трактор. А всем миром на общий надел мы получим от советских властей железного коня, который сделан американским пролетариатом и будет сам обрабатывать почву и собирать урожай, чтобы колхозник имел время и силы на политическую грамотность и культурный досуг. Струпенковцы вздыхали и просили матроса, чтобы тот ходатайствовал перед начальством дать им в колхоз хотя бы и не железного, а простого коня, из шкуры и мяса. А то пахали все на себе, впрягая в соху даже малых детей.

По осени собрали весь урожай и ссыпали в один амбар под замок. Ночью из уезда приехала экспедиция и вымела тот амбар под чистую. Даже мышам ничего не осталось. А нету мышей, так и рябой котяра лишился должности, сызнова был отдан Машутке. Афанасий сказал, что поедет в район и получит за сданный хлеб изделия промышленного производства. И, правда, принес: четыре гвоздя, из которых только один был гнутый, а три хорошие; банку черного гуталина; патроны к маузеру и газету «Красный Шимск», в которую прежде заворачивали что-то масляное, но основные мысли можно было прочесть.

Холода уже веяли над бедной землей. Дышали на стекла узорной изморозью. По утрам роса обращалась в иней, мертвыми светляками блестела на усохшей траве. Добрый дед-колотун готовил снежное покрывало милосердно укрыть нивы и пажити, деревню и лес: спите, спите, бедные мои, горькие мои, нежные! спите: пока спишь сам, и голод спит вместе с тобою!

Машутка проснулась до зари, проснулась от радости. Снилось ей солнце — большой каравай. Она стояла у берега реки, а все кругом было такое чудное, как на картинках: деревья-пальмы и хлебное дерево, с которого висят калачи, слоны с хоботами в рядок мал мала меньше, летучие обезьяны. А солнце в полнеба, румяное, теплое! «Это сколько же теста надо было замесить?» — удивлялась Машутка. «Сколько ты и не видывала!» — отвечало безмолвно солнце. «Да где же печь, чтобы выпечь такой каравай?» — восхищалась девочка. «А смотри — небо! Небо — моя печь. Ветры меня месили. Летний жар поднимал!» — «И что же теперь всем хватит хлеба?» — «Всем, Машутка! Всем хватит! Еще и останется!..»

Машутка дрыгнула ногой, на которой прилачился спать котяра. Зверь недовольно мявкнул и перевалился с боку на бок. Кот был завзятый единоличник и наел себе толстое брюхо невзирая на трудности переходного периода. Бог весть как, но ему удавалось добывать себе порядочное пропитание. То землеройку изловит, то воробышку распотрошит. Рябой был лютый хищник: сущий тигра! Одна даже зайчонка удавил. Котофей понимал, что хозяйшюшка голодает. Как-то ночью от охотничьих щедрот принес и Машутке дебелого мыша, специальной оказией арестованного у председательской избы. Да глупая девчонка завизжала только и улепетнула в сени. А теперь вот поднялась ни свет ни заря! Одевает кофты и валенки, зовет шепотком: «Котофей, Котофеюшка, айда с Машуткой в поле!» Ну, щас! Из топлённой избы, с гретой лежаночки — на сырую дрыгу! И, ежели рассудить, я же не псина какая, а кот!

Машутка пошла одна. Старенькая бабуля поворочалась на печи, но не проснулась. Машутка выбралась из сеней на крыльцо, затянула потуже платочек и потопала к колхозному полю. Долго ли коротко ли, порядком продрогнув, но добралась до межи. И поползла на корточках по острой стерне. То там, то тут попадались Машутке оброненные колоски. А то и стебель, прижатый к земле, но не срезанный. Машутка подбирала и за пазуху, на теплый животик. Коленки в кровь, ладошки посинели, но чудилось девочке, что ползет она к караваю-солнцу: да так оно и было — над краем колхозной нивы поднялось светило. Туман прижался к земле, стекал в низины. Машутка, как маленький трактор, собранный гномиками-пролетариями, все ползла и ползла, сажень за саженью, и вот уже не один, не два, а целых пять — да куда там пять! — все семь колосков щекотали под кофтою. И ближе казался каравай, вот уже тут! Как вдруг уткнулась лбом в культю. Девочка в ужасе подняла глаза и узрела над стелющимся туманом полтуловища и крытую бескозыркой голову. Матрос Афанасий стоял над пожатой нивой как истукан, чисто идол на деревянной ноге. И оттудова, из-за облаков, раздался голос:

— Что же ты творишь, шелупонь струпенковская, несознательный элемент, едрить твою! Разве я не читал на сходе перед всей деревней постановление семь-восемь за охрану солистической собственности?

Машутка обмерла вся, не могуци слова молвити абэ встати с преклону.

— Я тебя спрашиваю, тать конопатая!

— Дядюшка! Дядюшка Афанасий!.. — Машутка заплакала.

— Я тебе не дядюшка, а ты мне не дедушка. Отвечай по уставу! Читал, али не читал?

— Читали...

— А ты, стало быть, пока весь трудовой народ и лично товарищ Калинин утомляют себя борьбой с мировым империализмом, ты, стало быть, потихоньку воруеть?

— Дядюшка Афанасий! Какое же это воровство? Колоски ничьи, они пропадут! Как снежок выпадет, так их уже и не собрать будет! Ничьи колоски, остатние!..

Матрос вздохнул и достал из деревянной кобуры маузер.

— Много ты понимаешь, пигалица, про ничье и остатнее. На то она и есть солистическая собственность, что умом не понять — чье. И кажется, что ничье. А ведь ничьего на земле нету, все Богово. Человеку выдана доля, каждому своя, а всем общая. Но, кроме того, что поделено, должен остаться хотя бы один сноп. Никому, ничему, ни в колхоз, ни в район, ни в уезд. Ни крестьянам, ни рабочим, ни комиссарам. Ни в учет, ни в доход, ни в реквизицию. Вот это она и есть — чистая солистическая собственность. Священная собственность. Небу и солнцу от человека поклон со значением: знаем, мол, отцы родные, помним, на чьем мы состоим иждивении. Вот она в чем, древняя мудрость постановления за номером семь-восемь!..

В один воскресный вечер на первом этаже замка появились люди. Они образовались ниоткуда, словно выползли из подпола, из нор и щелей, как крысы в новелле Александра Грина, в новелле «Крысолов», где серые твари перекинулись людьми и устроили бал в заброшенном доме. В большой зале с картиной накрыли столы и включили забойный рок-н-ролл. Крысы стали танцевать; кажется, они справляли чей-то Geburtstag. Я спулся в кухню, налить себе чаю, и сталкивался с немцами на лестнице и в коридоре; они меня как будто бы и не замечали, даже не говорили hallo! Я решил в свою очередь не обращать на них внимания, вернулся в номер и продолжил работать. Моя блондинка скучала: я отказался пойти с ней в Bierstube. Заведение располагалось у станции Ванзее, в пяти минутах от замка, его держали хохлы. Мы уже были там вчера, пили темное нефильтованное пиво, которое было не хуже и не лучше такого же пойла в питерских пабах. Снова выползть из замка мне не хотелось — на улице был трескучий русский мороз. К тому же я исполнился решимости дописать

рассказ. Невеста от нечего делать стояла со стаканчиком йогурта у меня за спиной, облизывала ложку и смотрела на монитор, в котором медленно, трудно, словно просеянные через сито или преодолевшие сопротивление материала с низкой электропроводимостью, появлялись буквы и строчки.

— Ну? Что там твой матрос, застрелил бабу Машу?

— Если бы он ее застрелил, откуда бы я взялся?

— Мало ли, может, у тебя воображение разыгралось.

— Фрау, все имеет свои пределы. Даже воображение.

— Ха!

— Нет, конечно. Не застрелил. Афанасий был, в сущности, добрым человеком.

Он арестовал девочку и доложил куда следует. Машутку и ее бабулю с другими такими же горемыками отправили в Сибирь. По дороге бабуля умерла. Других родственников у девочки не было, она прибилась к семье из Коростени. После того как Вышинский реабилитировал осужденных «за колоски», шимские возвращались на родину, но баба Маша зацепилась в Можайске. Там она встретила дедушку, и они поженились. В Струпенку баба Маша так и не вернулась, а после войны стала жить с дитем в другом местечке под Шимском, в деревне Теребутицы. Кажется, объявилась двоюродная тетка и отказала бабе Маше свой дом.

— Ясно. А про колоски я еще стихотворение помню. Как-то там «грачи улетели...»

— Сердце мое, это не совсем про те колоски. Даже совсем про другие. Это стихотворение «Несжатая полоса», его Некрасов написал, лет за сто до коллективизации. Чему вас только учат в новых российских школах?

— Какой ты смешной, зайчик! Я знаю, когда жил Некрасов. А ты стихотворение помнишь?

— «Поздняя осень. Грачи улетели, / Лес обнажился, поля опустели, // Только не сжата полоска одна. / Грустную думу наводит она... //». Столичный барин и кутила Некрасов совершенно не знал народной жизни. Проезжая по сельской местности он случайно увидел несжатую делянку. И навоображал себе всякого: про крестьянина, обессиленного на барщине так, что не может убрать собственный хлеб и прочие ужасы. На деле, крестьянин мог, конечно, и ослабнуть, и заболеть, но урожаю пропасть все равно не дали бы: мир, то есть община деревни, собрал бы хлеба за него. А то, что оставили несжатой полоску — это специально. По всей Руси был обычай, с незапамятных времен, от индоевропейских предков — оставлять в поле пшеницу «Волосу на бороду». Но откуда было про то знать Николаю Алексеевичу, он же в своей деревне бывал только проездом из Петербурга в Берлин или Париж!

— Видишь, а ты говорил — не про те колоски!

— Извини, дорогая. Я сразу как-то не додумался.

— Напиши про это.

— Думаешь, стоит?..

Моя невеста пожала круглыми плечиками и хмыкнула:

— Какая разница? Все равно тебя почти не печатают.

— Неправда, у меня, может, скоро выйдет вторая книжка.

— Ну-ну.

— Просто я много пишу. Издатели и переводчики за мною не успевают.

— А ты не пиши так много! Зачем ты так много пишешь? Ты пиши только то, что нужно. Что опубликуют. Тогда, может, и время будет, чтобы просто погулять. Ты даже в Потсдам со мной не поехал! Вот чего ты тут сидишь взаперти целыми днями, коптишь, корчишься?

— Знаешь, наверное, это для меня как те колоски.

— Was?

Я промолчал. На окно прилетела сойка, берлинская сойка с красным клювом, и стала подбирать крошки, выложенные на подоконник после завтрака.

Инна Лиснянская

Черновик

* * *

Куда я, Господи, поденусь?
Сейчас я встану и оденусь
Без помощи чужой.
Пройдусь по дому без ходилок.
Какой я все-таки обмылок,
Ах, Боже, Боже мой.

* * *

Опять подслащенные мюсли
Поем я на завтрак,
Ко мне подслащенные мысли
Приходят на завтрак.
О том, что гонять перестанут
'Детей на чужбины,
О том, что все следствия станут
Идти от причины.

* * *

Что тут сказать?
Я в дальней дальности
Никак за дело не возьмусь,
То плачу от сентиментальности,
А то от глупости смеюсь.
То поболтаю с биссектрисой,
То катеты ко мне придут.
Меня за это не актрисой,
А математиком зовут.

* * *

Давно я бисер не метала
Ни перед кем,
И оттого мне скучно стало, —
Не пью, не ем.
Все перемелется и будет
Сплошняк — мука.
Начну метать я бисер людям
И жемчуга.

* * *

Бывает сумасшедший городской,
Бывает и безумец океанский.
Так Одиссей, на первый взгляд простой,
Предпочитает барабан шаманский.

С сиренами колдует заодно,
Выкрикивает тысячи историй,
Окурки он бросает за окно
И никогда не подметает в море.

* * *

Распыл и разруха.
Молчать нету силы.
Зачем ты, старуха,
Скорбеть зарядила?
Нет в плаче порядка —
Лишь всхлипы и только.
И сердцу не сладко.
И разуму горько.

* * *

Где жизни этой фабула
Там и сюжет.
Иду будто сомнамбула
На лунный свет.
И всё, что в поле зрения,
Беру на штык.
При всем моем почтении
Я — черновик.

* * *

От разрядов электрических
Испытав понятный страх,
Говорю о политических
Доморощенных делах.
В них не смыслю ничегошеньки.
В том не вижу я вины.
Спи солдатик, спи хорошенький,
Ты рожден не для войны.

* * *

Надену белые кроссовки
И черный бархатный жакет
И выйду в сей экипировке
И в высший свет, и в низший свет.
Смотрите, как я разодела!
И по какой такой причине, —
Мною объявлена вендетта
Американской вкусовщине.

* * *

Ничего кроме плача,
Ничего кроме смеха, —
Я мечту свою нянча,
Добиваюсь успеха.
А мечта моя нынче —
Где пройдёт, там и клякса:
Вот вам доберман-пинчер
И болонка, и такса.

* * *

В компьютере пишу курсивом,
Пишу я почерком красивым,
А некрасивые поступки
Свершаю при ходьбе.
Толку потом, как воду в ступке,
Я слухи о себе.

* * *

Люблю я песни колыбельные,
Себе их перед сном пою.
Я славить мачты корабельные
В чужих краях не устаю.
Ах, баю, баю, баю, баиньки,
Спою я и на посошок.
Спи, мой послушный, спи мой паинька,
В опале выросший стишок.

Отдавая дань памяти Татьяны Морозовой (1956–2011), мы публикуем ее собственную повесть, повесть о ней ее мужа, писателя Игоря Кузнецова, эссе критика и литературоведа Аллы Марченко, а также несколько живописных работ Татьяны. Кто-нибудь может недоуменно воскликнуть: не слишком ли много для автора «не первого ряда»?.. Мы, однако, отнюдь не руководствовались задачей поставить Т. Морозову в какой-нибудь «ряд». Более того, решились пойти на некоторый эксперимент и поломать привычные трафареты. Разве только «великие» заслуживают нашего интереса? Разве личность, особенно многогранно талантливая, не значима сама по себе? Действительно, не о каждом художнике пишутся монографии, но каждый оставляет свой след. Поприспальнее взглянуть в этот след пока он еще дышит, пока его еще не затерли...

Это представляется важным. А рисовать табель о рангах? — будущее нарисует.

Игорь Кузнецов

Путь

Повесть о Тане

До времени

Таня до трех лет не говорила. Думали — немая. А она просто не хотела. Не хотела — и все.

Зато в созерцательном молчании миновав все младенческие мило-беспомощные «агу-агу», сразу заговорила ясно и поразительно разумно. Есть ощущение, что она с рождения могла изъясняться здраво и внятно, но приличия ради, да чтоб не пугать окружающих своим тайным даром, взяла до времени паузу. Так было и с другими ее талантами.

Изначально питая пристрастие к некоему абстрактно-позитивному миротворчеству, она серьезно начала писать прозу довольно поздно, а рисовать — и тем паче, после двадцати пяти примерно.

Характер у нее с детства был железный и независимый. Богатая и деспотичная львовская бабушка вывозила их со старшей сестрой в Крым, что по тем временам

Игорь Робертович Кузнецов родился 24 декабря 1959 года. Окончил Литературный институт им. Горького в 1987 (семинар прозы Анатолия Кима). Автор многих публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Иностранная литература» и др., книги «Бестиарий» с иллюстрациями Татьяны Морозовой (М.: 2010). Составитель нескольких изданий И.А.Гончарова (биография, комментарии). В соавторстве с Татьяной Морозовой (под общим псевдонимом Павел Генералов) написаны «Бригада: история создания сериала», романы «Команда. Хроника передела 1997–2004», «РРосто быть богом: ВВП». Живет в Москве.

должно было казаться пределом детской мечты: море, песок, солнце... и бабушка. После первого или второго раза, скорее, сразу после первого, Таня навсегда выбрала свободу и предпочла вольный воздух пионерского лагеря под Звенигородом — иногда на все три летних месяца. Сестра отправлялась на море одна, то есть с изумленной от неблагодарности бабушкой. Я потом видел эту бабушку, когда ее привезли много лет спустя в Москву. Она была уже немного не в себе — все время ехала куда-то в бесконечном поезде, а по стенам московской квартиры искала свои львовские часы. Они, видимо, должны были ей показать какое-то заветное время.

Потом Таня ездила в Крым — без бабушки, а с друзьями-подругами — по два раза в году.

И еще Таня не любила фотографироваться. До «девичьих» расцветных лет она была круглолицая, а на одном детском фото даже похожа на ребенка со свинкой — в смысле болезнью, а не со мной или моим прототипом, ибо по гороскопу я — абсолютная свинья. Фотографий ее осталось мало, а вот автопортретов — великое множество и всех цветов радуги.

Потом она мгновенно постройнела, чтобы никогда больше не сетовать всерьез на проблемы излишнего веса и не стремиться маниакально к похуданию любой ценой. Хотя кличкой «толстый» мы награждали друг друга ласково и регулярно. Что было забавно, так это то, как в те времена при каждой встрече наш друг Анатолий Андреевич Ким говорил с тихой укоризной: «Таня, он у тебя опять похудел!» Учитывая частоту встреч, можно было предположить, что в какой-то очередной раз меня просто не будет: истончусь до основания.

Впрочем, тогда меня и в самом деле не было: ведь пока я пишу о времени, когда мы существовали в мире отдельно. Правда, я не верю, что такое могло быть. И ловлю себя на мысли, что «вспоминаю» о ней — той, до меня — с Таниной неподражаемой интонацией.

Портрет Зверева

Дядечка из металлоремонта, классический такой — с несколько помятым лицом и умелыми умными руками — поинтересовался невзначай:

— Сама, что ли, рисовала?

Дабы не разводить лишних антимоний, Таня согласно кивнула. Хотя это был ее и подруги Иры карандашный портрет работы Анатолия Зверева, уже тогда известного многим за исключением деятелей советского бытового сервиса.

Тогда все было иначе, и багетных мастерских на каждом шагу не попадалось, большинство вообще не догадывалось об их существовании. Так что портрет обрамили в металлоремонте, забрав под стекло, в некие латунные или медные трубки, спаянные по углам.

Двойной портрет всего несколькими росчерками карандаша был нарисован в 1985 году в выставочном зале профкома графики, располагавшемся в жилой высотке на Малой Грузинской напротив краснокирпичного католического храма Непорочного Зачатия. Во дворе храма за металлической оградой в снегах виднелись циклопические деревянные катушки с кабелем, а в том творчески-кооперативном доме с выставочным залом еще совсем недавно жил Владимир Высоцкий. И там же проходили самые интересные московские выставки той поры — это было едва ли не единственное место, где имело право существовать в относительно общественном, хотя и реально подвальном пространстве так называемое неофициальное искусство.

Трудно определить дату создания портрета, а вот время суток обозначить можно весьма точно: где-то минут за двадцать — двадцать пять до семи, вечера, естественно, когда закрывались винные отделы магазинов. Это была довольно известная практика. В надежде собрать необходимую сумму на дополнительную выпивку, Зве-

рев быстро рисовал такие карандашные портреты знакомых и полужнакомых, кто был ему представлен и готов легко расстаться с одним рублем: такова была цена высокохудожественной услуги впоследствии совсем уж знаменитого и даже практически великого художника.

Я тоже хорошо его помню в этом выставочном подвале, похожего на репинский портрет Мусоргского, только в несколько более бурном и буйном настроении — видимо, уже после создания портретов и отоваривания рублей в гастрономе возле общежития консерватории.

Причем это вполне могло быть как раз в том самом восьмидесятом, когда мы с Таней и познакомились.

Хотя и раньше, как выясняется, «близко было», как по иному поводу писал Солженицын, «Архипелаг» которого мне потом давала Таня, а я пускал его по рукам в общаге Литинститута.

Атомный проект

На самом деле мы познакомились благодаря разным обстоятельствам и многим людям, в том числе Лаврентию Палычу Берия, расстрелянному еще до Таниного и моего рождения в качестве английского шпиона. Ведь именно он, как ни крути, запустил советский атомный проект, уже после его смерти переросший в проект ядерный, а потом и в термоядерный, в котором принимали участие и Танины родители — выпускники мехмата МГУ. «Мехмат» в нашей жизни и вовсе окажется знаковым словом.

Родившись в Москве, немалую часть детства Таня провела в Челябинске-70, одном из закрытых советских научных центров, где ее родители вместе с академиками Келдышем и Зельдовичем «считали» бомбу. В уральских дебрях жили по тем временам едва ли не роскошно — хорошие квартиры с высокими потолками, московское снабжение, книги на любой вкус — почти коммунизм, в общем. Но потихоньку «роскошь» истончалась и мудрая моя будущая теща, бросив все, в том числе и отличную библиотеку, вернулась с двумя дочерьми в московскую коммуналку в знаменитых красных домах недалеко от метро «Университет». Таня вспоминала эту коммунальную квартиру с детской нежностью — там ее окружали исключительно хорошие люди. Потом переехали в окраинную пятиэтажку на улице Обручева — близлежащее Беляево тогда еще было настоящей деревней с яблоневыми садами, и в городскую Танину школу ходили наравне с московскими сельские дети. В Беляево и мы потом вместе жили. Долго ли, коротко ли — теперь судить трудно. Но точно — счастливо.

Математика Таню не слишком интересовала, зато годам к шестнадцати она перечитала практически всю мировую классику — чему немало способствовали ее феноменальные способности к быстрому чтению: я потом долго восхищался и завидовал этому ее таланту — любимую «Анну Каренину» она прочитывала за два-три вечера. В правильном девическом возрасте она подружилась и с русской поэзией: хотя сама позывов к сочинению стихов не испытывала, но наизусть знала многое и к месту могла вспомнить и много лет спустя.

Среди родительских ее знакомых был и знаменитый физик и математик, кибернетик, остролов и диссидент Валентин Турчин, соавтор-составитель знаменитого сборника «Физики шутят» — во многом благодаря ему «запрещенные» книги тоже входили в обычный круг домашнего чтения.

Работать Таня пошла сразу после школы, в семнадцать лет — в библиотеку одного из академических научных институтов, заочно учась в институте культуры, на библиотечном же отделении.

Когда Таня начала писать свои первые короткие истории — в стиле Хармса пополам с Кортасаром — есть у него такой чудесно-сумасшедший цикл «Про хронопов и фамов» — она дала их почитать коллеге матери по ИПМ (Институту прикладной

математики), который «по совместительству» был однокурсником Владимира Маканина, тогда только-только набравшего курс в Литературном институте. Маканин истории прочитал и позвал Таню ходить вольнослушательницей на его семинар. Я же тогда учился в том же Литинституте курсом старше маканинских семинаристов — у Анатолия Кима. А на наш семинар, в том же качестве, что и Таня, ходил тоже выпускник мехмата МГУ Леня Костюков. Откуда он знал Таню — уже не помню, но именно он-то нас и познакомил у себя дома, на 5-й улице 8 марта, где собиралась тогда милая математически-литературная компания.

Каждая хорошая история имеет свойство «зацикливаться». Уже много позже я как-то говорил по телефону с поэтом Иваном Ждановым, умеющим давать вещам и людям лапидарно-точные определения. На какую-то его реплику я ответил: «Я же мирный, Ваня». «Атом», — резюмировал Иван. Таню это, к счастью, не смущало. Своего рода «мирным атомом» была и она сама.

ЦЭМИ

Ко времени нашего знакомства Таня работала в библиотеке ЦЭМИ — Центрального экономико-математического института, к которому так или иначе имели отношение многие будущие деятели перестройки и первого российского правительства. Во всяком случае, Егор Гайдар и Сергей Глазьев были среди ее усердных читателей — библиотека, одна из немногих, получала заграничные экономические журналы.

Уже тогда Таня обладала удивительным свойством «обрастать» историями. Их она с удовольствием рассказывала друзьям, после чего эти невыдуманные «случаи», смешные, а порой и довольно жесткие, уходили в народ, теряя по пути авторскую принадлежность.

ЦЭМИ располагался в плоском стеклянном здании неподалеку от метро «Профсоюзная». Фасад его украшала циклопических размеров лента Мебиуса. Изначально предполагалось, что по высокой лестнице люди будут входить в здание прямо сквозь нее — видимо, у архитектора было предчувствие будущих бесконечных экономических и прочих преобразований, к чему руку должны были приложить входившие в это здание и из него выходившие. Однако столь смелое решение одобрено в «охранительных» верхах не было — входили и выходили через обычные двери, зато прямо под лентой. Тем не менее, с легкой и единственной руки профессора Лемешева лента получила неприличное название, связанное с деторождением, вызванное двусмысленными ассоциациями по поводу формы скульптурно-бесконечной композиции с дыркой посередине. Руку профессору Лемешеву — самородку из российской деревенской глубинки — по слухам, откусила в детстве лошадь.

Начальницей Тани была одинокая молодящаяся блондинка Наталья Ивановна. Больше всего на свете она ненавидела читателей, а любила только своего «мальчика» — огромный библиотечный фикус, за которым ухаживала с нежностью и остервенением ко всем его потенциальным обидчикам.

На соседнем Черемушкинском рынке продавали отличные веники — в данном предмете домашнего обихода Наталья Ивановна давно и сильно нуждалась. Она много о нем говорила, описывая его полезные и незамысловатые свойства, но все никак не покупала. На прямой вопрос Тани о причинах бесконечного откладывания покупки Наталья Ивановна, подняв брови, ответила с явным возмущением и укоризной: «Как же это я поеду в метро с веником?»

Таня тогда уже рисовала и писала свои короткие рассказы — прямо как Набоков — на каталожных карточках. И относилась к этому вполне серьезно и усердно. В минуты, свободные от читателей и прочих библиотечных дел, она уединялась где-нибудь в уголке. Однажды к ней подошла Наталья Ивановна, в общем-то зная, чем Таня в данный момент занимается, и поинтересовалась от безделья: «Ты что дела-

есть?» «Работаю!» — отмахнулась погруженная в сочинительство Таня. «Так тебе же это нравится!» — воскликнула изумленная начальница. Таким образом выяснилось, что в ее представлении «работой» можно назвать только то, что ненавидишь.

Вообще-то вокруг и около было немало и умных людей. Один доктор наук, видимо, в порядке национальной самоидентификации, при очередной смене паспорта потребовал у молоденькой паспортистки в графе «национальность» написать «иудей». Простодушная и не слишком образованная девушка послушно вписала «индей». Потом доктор наук ходил по ЦЭМИ (или ИПМ — не суть важно) и радостно всем демонстрировал запись о своей уникальной национальной принадлежности. Другой научный сотрудник по блату выправил в отделе кадров справку с печатью, что он, такой-то такой-то, не является верблюдом. И поспорил, что с этой справкой пройдет в институт, предъявив ее охране. Прошел. Третий на сто пятьдесят первой странице своей докторской диссертации в одной из строк впечатал фразу: «Тот, кто досюда дочитает, получит от меня пятьдесят рублей. Обращаться в отдел...» В течение года никто за предлагаемой суммой, немалой по тем временам, так и не явился.

Диссертации хранились в дальнем закутке библиотеки в металлических шкафах. Там же был столик с креслами и спиртовкой, на которой Таня варила чудесный кофе. Сюда приходили друзья: Лам, Нур, подруга Виноградова, Игорь Минтусов, Валя Писаревский. И я. Некоторые даже стали героями ее художественных и литературных произведений. А я вскоре — еще и мужем.

Все были людьми в своем роде выдающимися, а на тот момент значились младшими научными сотрудниками института. Только Нур был аспирантом. Он приехал из Ферганы покорять Москву с кучей идей и билетом члена КПСС в кармане — над ним поэтому много и часто смеялись. Еще иронизировали по поводу игры «Что? Где? Когда?», в которую он тогда активно играл и даже временно стал телезвездой: однажды, смущаясь, рассказал, что у него в метро симпатичная девушка попросила автограф. В другой раз они с Таней несли в авоське большой колючий кактус. К ним заговорщицки склонился человек с вопросом: «Где ананас брали?» Ананасы и кактусы тоже станут значимыми приметами нашей с Таней жизни.

С Нуром же мы потом много всего совместного затевали — вроде кооператива «Параграф», производившего сережки по Нуровой технологии, но заработавшего единственные приличные деньги на перепродаже в Фергану нескольких компьютеров. Еще мы провели Всесоюзный конкурс идей, средства на который выделил один из центров НТТМ (научно-технического творчества молодежи) во главе чуть ли не с МБХ (Михаилом Борисовичем Ходорковским). Идеи потом долго хранились у нас дома в сломанном холодильнике «ЗИЛ». Еще Нур изобрел шар. Компьютерный. С ноутбуком в рюкзаке и в специальных очках в этом шаре можно было, оказавшись в виртуальном пространстве, реально ходить в разные стороны, физически ощущая себя внутри компьютерной игры. Таня, я и наша дочь в этом шаре были. Продвигать свой шар Нур уехал в Америку, клятвенно пообещав, когда разбогатеет, поддерживать материально всякие наши с Таней творческие инициативы. Пока — не разбогател, но, надеюсь, к тому идет.

Лам был не только подающим надежды молодым экономистом, но и автором «Записок Генерального секретаря». Писал он их, временно вообразив себя таковым и подзабыв, что в отдельно взятой великой стране, впадающей в маразм, Генеральный секретарь может быть только один. Еще Лам был очень любвеобилен, на чем и погорел. Одна из немилосердно брошенных им девиц собрала странички с этими самыми мемуарами и отнесла куда следует. Лама вызвали на допрос, участниками которого с противной стороны были молодой куратор ЦЭМИ от КГБ и его старший коллега. Допрос велся без протокола, в корректно-уничижительной форме, отчего Ламу стало страшно и все окончательно ясно про родную советскую власть. После исторической беседы Лама в одночасье выперли из института. Лам не унывал, про-

должая быть почетным героем Таниных циклов «Много маленьких бессмысленных историй про Лама» и «Небылицы, или Истории, которые могли бы произойти с Ламом, если бы они с ним не произошли». Однажды Лам с Таней зашли в магазин головных уборов. У Лама была большая голова и все шапки и шляпы были ему малы. А у Тани — маленькая, и все ей оказывалось велико. Продавщица по этому поводу посетовала: «Да у вас же голова — детская». Лам потом долго звал Таню не Морозовой, а Голдетской.

Игорь Минтусов стал чуть ли не первым в стране профессиональным политехнологом и основал фирму «Никколо М». Благодаря ему и мы приохотились к этому тогда еще забавному, широкому, с мощными выплесками адреналина имиджмейкерскому бизнесу. Во всяком случае, если сложить наши с Таней выборные проекты на бескрайних просторах Родины и окрестностей, то география их будет простирается от Калининграда до Сахалина с захватом Монголии.

Валя Писаревский из всех был фигурой наименее «исторической» — он просто из научных сотрудников переквалифицировался в компьютерного дизайнера — долго ваял всякие глянцевые журналы, ныне передает опыт молодому поколению.

Все так и остались нашими друзьями, только подруга Виноградова куда-то канула, сохранившись лишь на страницах Таниных рассказов.

Третья черточка

Снился Тане сон, что муж ее — Чехов. И не какой-нибудь там однофамилец, а именно Антон Павлович. И она обращалась к нему: Антоша, что явно свидетельствовало об определенной доверительности и привычке друг к другу. Во сне Антоша был в халате. И, кажется, снился он Тане не один раз. И Чехов, и халат. Поэтому, когда мы поженились, нашим едва ли не первым «семейным» приобретением был полосатый халат — для меня. Раньше я никогда не носил халатов, позже, когда он истаял от времени, тоже.

Но до этого была свадьба, а до нее еще и подача заявления в ЗАГС, хотя мы тогда уже вместе снимали комнату в Теплом Стане у смурной хозяйки с сумасшедшим сыном, о котором при вселении нас не предупредили, — зато он потом стал героем наших отдельных и совместных произведений.

Вроде бы обычная процедура подачи заявления тоже превратилась в историю. Когда мы передали наши паспорта загсовской тетушке, она быстро ознакомилась с документом Тани, а вот на моем сосредоточила пристальное внимание и вдруг предложила мне выйти и подождать в коридоре. Когда я вернулся, то обнаружил, что Таня едва сдерживает смех.

Заявление у нас приняли. Но когда мы покинули кабинет озабоченной сотрудницы, Таня, уже открыто хихикая — на нас оборачивались, — поведала мне об участливо-суровом предупреждении тетушки: «Вы бы поосторожнее, девушка. Возможно он, — последовал кивок в сторону двери, — брачный аферист!»

Дело было в том, что в те времена бескрайнего дефицита брачующимся выдавали приглашения в специальные брачные магазины, где можно было реально купить и одежду, и вкусную еду для свадебного стола. А чтоб этой возможностью не пользовались кто попало и по многу раз, на страничке паспорта, посвященной семейному положению, ставились черточки шариковой ручкой — у меня таковых было две, так как до этого я и в самом деле дважды собирался жениться. Но не только не женился, но даже ни разу не использовал свадебное приглашение — за элементарным отсутствием лишних или просто свободных денег.

Еще тогда, после очередного подорожания золота, государство выплачивало молодоженам компенсацию за кольца — что-то около 250 рублей, деньги немалые.

Кольца мы благоразумно покупать не стали, а взяли попользоваться у друзей. На компенсацию же, собственно, и справили свадьбу, заранее заняв денег. Из ЗАГСа мы отправились сразу в сберкасса. Увидев дату свадьбы, кассирша посоветовала: «Что ж вы сразу не подошли? Могли бы и без очереди». К свадебному пиршеству мы отправились на такси.

Справляли в квартире на Обручева. Водки и копченой колбасы хватило каждому. Неутомимым тамадой был Игорь Минтусов. Он выпрашивал о каждом госте, потом ему (ей) предоставлял слово для тоста. Гостей было порядка человек двадцати пяти, соответственно — и тостов. Промежутки между тостами получались минимальные. В конце концов все весело напилось — был как раз период горбачевско-лигачевского сухого закона, — а некоторые даже остались ночевать, так что молодоженам пришлось провести брачную ночь на самом маленьком диванчике. Зато свадьбу нашу потом многие вспоминали с добрым умилением, хотя мы общими усилиями и сломали магнитофон Светы Перепелкиной — единственный источник музыкального сопровождения торжественного мероприятия.

В этой же «свадебной» комнате, перегородженной шифоньером, мы потом, спустя года три, поселились. На гвоздике висел мой полосатый халат. Наша дочь Маша, уже лет двух с половиной, этот халат очень уважала. И когда я сидел за столом и стучал на машинке, она входила в комнату, обнимала халат и всех остальных громко и строго предупреждала: «Тихо! Папа работает!»

Игры в Герцена у Птичьего рынка

Зачиналась перестройка. В воздухе пахло свободой.

Лам снимал квартиру на Калитниковской улице по соседству с Птичьим рынком. У него собирались большие и разношерстные компании. Разношерстность им придавали в основном часто меняющиеся подруги Лама — иногда их бывало сразу несколько. Одна-то из них и сдала Лама органам. Но остальные подруги, друзья и гости были по большей части приличными — многие потом, что называется, даже вышли в люди, хотя и никто — в олигархи. Видимо, все были достаточно ленивы — в добром русском смысле этого слова.

Много говорили, а еще играли в разные забавные игры. Например, в «Три источника и три составные части марксизма» — так, кажется, называлось знаменитое сочинение Ленина, которого Лам всегда умел идеально изображать, точнее, копировать картавую ленинскую речь, записанную на пластинке, в классически ускоренном и замедленном вариантах. Таня, помню, лежа на диванчике, изображала спящего Герцена. Кто-то — декабристов. В нашем варианте разбудить Герцена у них не получалось — отказывался Герцен напрочь — и российская история, естественно, шла совсем иным путем.

Случилась там однажды рыжая девица, которой Таня предложила почистить морковку для приготовления общего ужина, — мы там иногда еще и ели. Девица с возмущением отказалась: «Она же красится!» Имелась в виду морковка. Морковку Таня с изумлением почистила сама. Девица, кажется, больше никогда не появлялась.

А Таня потом много раз рисовала Птичий рынок: некоторые персонажи на этих картинках удивительно были похожи на посетителей ламовского салона.

С Ламом мы еще ходили в клуб «Перестройка», заседавший как раз в ЦЭМИ, откуда Лама тогда уже выгнали и обратно не взяли, несмотря на расцветающий либерализм. И даже пару раз на какие-то митинги. Кто бы мог тогда представить, что спустя четверть века мы с ним снова пойдем митинговать, а я посоветую Ламу продолжить «Записки Генерального секретаря» вторым томом? И вместе мы задумаемся о том, не пора ли и впрямь будить Александра Ивановича?

Литинститут и теплый бренди

Александр Иванович Герцен — в виде небольшого уютного памятника — стоит в центре сквера во дворе Литературного института. Он в этом доме на Тверском бульваре родился. Некоторые шансы повторить этот его опыт имел и наш с Таней будущий ребенок, потому как вступительные экзамены в институт она сдавала на серьезном, восьмом, месяце беременности.

Поступать в Литинститут, да еще в таком виде уговорили ее мы с Мишей Новиковым, который тогда учился на заочном в знаменитом семинаре Михаила Петровича Лобанова, где в одном пространстве собирались, читали и ругали друг друга люди самые разнообразные — тот же Новиков, Миша Умнов, Виктор Пелевин, психолог Крашенинников. Помнится, про одного семинариста Лобанов сказал так: «Н. жизнь знает! Он в тюрьме сидел!» Вскоре в эти ряды влилась и Таня — тогда все студенты-заочники москвичи автоматически попадали в семинар Лобанова. Надо отдать должное Михаилу Петровичу — я сам тому свидетель — он, несмотря на свое почвенничество и «канонические» литературные пристрастия, обладал отменным вкусом и немалой широтой восприятия иной, даже чуждой ему литературы. Главное — КАК это написано — он прекрасно видел и знал цену каждому. Любили семинаристы и «позлить старика»: Пелевин там, например, читал свой ныне знаменитый рассказ, где бывшие комсомольские вожаки встречаются после перемены пола в качестве, кажется, проститутки. И — ничего, с рук сходило, и даже одобрялось.

А пока беременная Таня писала вступительное сочинение, мы с Мишей Новиковым, волнуясь за ее живот, ходили вокруг памятника Герцену.

Миша был, конечно, одним из самых красивых, свободных и легких среди наших друзей. До всякой моды подрабатывал горнолыжным инструктором в Приэльбрусье, одним из первых окунулся в бизнес в качестве топ-менеджера с большой зарплатой. Служил он в швейцарской фирме. И ему выдали тогда еще редкую вещь — мобильный телефон. Он им, конечно же, очень гордился и при случае невзначай демонстрировал — особенно барышням. Но потом съездил в Швейцарию, увидел, что там каждый дворник с мобильным, и почему-то стал своего телефона очень стесняться. Он же научил нас с Таней есть устрицы.

Когда Миша уже работал в «Коммерсанте», где равно блистательно писал еженедельные колонки, книжные рецензии, освещал литературную жизнь, горнолыжные соревнования и гонки «Формула-1», он с какой-то экспедицией совершил восхождение на Килиманджаро (между прочим, 5895 м над уровнем моря — высочайшая вершина Африки). По приезде он сказал почему-то именно Тане: «Старуха, никогда этого не делай!»

Однажды мы сидели у нас дома, в съемной квартире на Ленинском, и выпивали. Естественно, не хватило. За окном — летняя ночь. И мы решили добраться к его Тане, в Теплый Стан — благо повод, по мнению Миши, был бесспорным:

— У меня там есть немного теплого бренди!

Так мы втроем и поехали — дочь на этот вечер, видимо, была сдана бабушке — на лихо пойманной Мишей поливалке.

В другой раз, уже с Мишей за рулем, мы отправились с Ленинградского проспекта, из Мишиной квартиры, к общей знакомой, жившей у Савеловского вокзала. По Бутырскому Валу домчались за несколько минут. Выйдя из машины, Таня скорбно сказала:

— Миша, я с тобой больше никогда не поеду. У меня — маленькая дочь.

В 2000 году Миша разбился в автомобильной катастрофе, не вписавшись в скользкий поворот на скорости в сто шестьдесят. О Мише, Килиманджаро и теплом бренди мне тогда пришлось писать в некрологе для «Литературной газеты».

На двух Таниных выставках, случившихся в Москве, Миша смог побывать. Для некролога мы как раз сканировали его фото с ее выставки в Зверевском центре.

Лобанов, кстати, тоже приходил на Танину выставку, другую, в Фотоцентре, на Гоголевском бульваре. И ему все очень понравилось. Эту выставку в Фотоцентре почтили своим вниманием и многие другие — Сергей Гандлевский и Гриша Чхартишвили, тогда еще не ставший Акуниным, Петя Паламарчук, мечтавший писать языком Набокова на темы Солженицына, и Женя Лапутин, изысканно сложный писатель и знаменитый пластический хирург.

А новая книга Миши Новикова «Природа сенсаций» только что вышла (январь 2012 года). Так что все, несмотря ни на что, и впрямь продолжается.

Иуда Игоревич и мировая война

Мы хотели только девочку. По имени Маша. Живот у Тани был уже огромный и чрезвычайно красивый, с полосочками — как розовый арбуз. Приложив к нему ухо, я с буквальным замиранием сердца слушал биение новой жизни, происходившей в нем. УЗИ на 85 % подтверждало наши надежды. Но 15 % на теоретического мальчика все же оставалось. На всякий случай мы вяло перебирали возможные мужские имена: Арсений, Кирилл, Никита, Евлампий. Как-то все не срасталось.

И вот однажды ранним утром я проснулся рядом с Таней после каких-то вечерних посиделок, с некоторого похмелья, когда голова тяжела, но пуста, а сознание таинственно мерцает.

И я сказал:

— Если родится мальчик, мы назовем его Иудой.

— Почему Иудой? — изумилась Таня.

— Он же будет И.И.Кузнецов?

— Да. Ну и что?

— Все будут думать, что он Иван Иванович. А он — Иуда Игоревич!

Таня смеялась так, что чуть не родила.

Иуде Игоревичу появиться на свет было не суждено. Очень вовремя, в Первой градской, родилась наша Маша и спасла от него мир.

Чуть позже подруга Кьяра из Италии привезла Ламу настольную игру «Ризико».

Игра состояла из большой карты мира, четырех игровых кубиков и нескольких наборов маленьких разноцветных танков. Тут надо объяснить: Лам не впал в детство — он из него никогда не выходил. Всю жизнь он клеил пластмассовые танки (теперь просто собирает коробки с моделями, клеить некогда — мы с ним вместе недавно купили 201-ю по счету), ваял и вырезал искусно из профессионального серого пластика модели кораблей, а мне на день рождения как-то подарил роскошную книгу «Артиллерия Третьего рейха». Еще мы с ним по телефону любим беседовать о подводных лодках.

Смысл игры был совершенно милитаристский. Каждый игрок получал некоторое количество танков и изначальную территорию, с которой и начинал завоевывать мир, что и являлось конечной целью. Крупные страны, как СССР и США, были разделены на более мелкие сегменты — вроде Алабамы с Калифорнией и Сибири с Москвией. Кстати, стал понятен интерес разных завоевателей, например, к Балканам — это идеальный плацдарм для танковых атак как на Европу, так и на Азию с Африкой. Правила мы придумывали сами, усложняя их с каждым разом.

Играли в «Ризико» на кухне у нас на Ленинском, иногда ночи напролет. Только мудрая Таня отправлялась спать более или менее вовремя — ей надо было поддерживать силу тела и духа для кормления Маши. Ну, и я мог к ним иногда присоединить-

ся. Остальным спать было негде — квартира состояла из комнаты, кухни и темной кладовки. Однажды утром Таня, заглянув в кладовку, чуть не наступила на чью-то голову. Это была большая голова Лама, который пристроился передохнуть, видимо, потерпев случайное поражение — вообще-то он был мастером танкового боя. Мирровая война на кухне тем временем продолжалась.

Так мы и жили — весело и воинственно.

Почем счастье?

Таня тогда уже рисовала — сначала школьной гуашью из баночек, а потом темперой из тюбиков на картоне. Я ее к этому всячески поощрял — мне всегда нравилось все, что она делает. Свои картинки она просто дарила — друзьям и знакомым. Теперь едва ли не каждый, с кем мы дружески пересекались по жизни в разные времена, говорит с удивлением и гордостью: «И у меня есть Танино!» А потом картинки даже стали приносить некоторый доход.

Художественная жизнь бурно расцветала в Измайлово — сначала на аллеях парка, потом на острове — и на Арбате.

Мы выбирались в Измайлово большими компаниями и, выставив вдоль асфальта картинки, всячески развлекались. Пытались продавать Нуровы сережки. Таня придумала рекламу. Из заграничного журнала вырезала портрет испанского писателя Эдуардо Мендосы. Он-то, в собственном ухе, и рекламировал сережки, сделанные из проволоки и залитые внутри — словно мыльным раствором — разноцветным лаком. Проходившая мимо стайка испанцев радостно распознала соотечественника. Испанцы купили несколько пар сережек и Танину картинку.

Тогда же у нас появились первые доллары, еще не разрешенные к свободному обращению. Одну картинку купил финн и, отведя Таню в сторону, в снега, дал ей потихоньку двадцатидолларовую бумажку. На эти доллары подруга Лаура привезла из Италии хорошие масляные краски, кажется, «Леонардо да Винчи».

Таня же придумала продавать счастье. Сочинила разные веселые пожелания, которые мы печатали на цветной бумаге, разрезали на полосочки, складывали, скрепляли степлером и стоймя помещали в пластмассовую банку для сыпучих продуктов.

Пожелания были примерно такие:

«Ваша удача — в пищевом бизнесе. Открывайте собственный ресторан под названием "Вечный зов". И не бойтесь налогового инспектора — он тоже человек. Гарантируем Вам к 90 годам прекрасную дачу в Ницце с мраморным бассейном и парашютной вышкой».

«Очень скоро Вы прославитесь. Выбирайте любой из четырех вариантов: 1. Вы победите на местном конкурсе красоты; 2. Опубликуют Ваши стихи; 3. Ваша фотография украсит обложку журнала «Новый мир»; 4. Вы победите дракона (если найдете)».

«Лес — Ваше богатство. Скоро в лесу под развесистой клюквой Вы обнаружите банковский счет на предъявителя в коробке из-под торта "Птичье молоко". Это — нетрудовые доходы шпиона Гадюкина. Спокойно воспользуйтесь ими».

Продавали мы счастье по 20 копеек за штуку. И оно пользовалось бешеным успехом. За пару выходных мы зарабатывали до семидесяти рублей мелочью — примерно половину ежемесячной зарплаты инженера. В Измайлово все с этим бизнесом шло хорошо, а вот как-то на Арбате нас забрали в милицию, в местное отделение. Как ни странно, у милиционеров тоже оказалось чувство юмора — мы откупились все тем же счастьем безо всяких иных штрафных санкций.

А масляные краски, привезенные Лаурой, пришлись очень кстати. Художник Володя Наумец, муж Иры Порудоминской, с которой Таню на пару когда-то рисовал Анатолий Зверев, говорил:

— Мурзик! — так звали ее близкие друзья. — Рисуи маслом. На холсте. Ты такая счастливая!

— В смысле? — интересовалась Таня.

— Ничего не умеешь! — отвечал Володя и пояснял: — Я окончил Одесское художественное училище и Строгановку. А потом пять лет разучивался всему тому, чему меня там научили. А тебе и разучиваться не надо! У тебя и так все получается.

С тех пор Таня начала рисовать уже и маслом, никогда не смешивая краски — не хотела и не умела.

Итальянская история, рассказанная самой Таней Морозовой

Это была моя первая заграница. Италия — не страна, а мечта. Мы ехали с мужем по приглашению моей итальянской подруги Лауры, которая прежде училась в МГУ и всего год-полтора назад не верила, что мы сможем когда-нибудь приехать к ней в гости. Но стены рухнули, Союз дал трещину, в нее-то мы и просочились. Да еще и прихватили с собой мои картинки — надеялись устроить выставку. Надо признаться, заграница нам казалась местом, где сбываются все мечты: где можно запросто опубликовать свою книжку, устроить выставку, купить, наконец, джинсы. Теперь-то я хорошо понимаю, что все не так просто там, к тому же многое стало куда как проще здесь (были бы деньги). Но тогда, имея за плечами лишь московские квартирные выставки да участия в коллективных «вывешиваниях» в фойе Дома литераторов, я втайне, конечно, хотела свою, настоящую выставку — экзибишн.

Тогда я рисовала в основном темперой на картоне, и мои яркие картинки удивляли зрителей своей агрессивной жизнерадостностью. Я любила (люблю и поныне) свои картинки.

Так вот, в Италию мы с мужем везли пятнадцать моих работ. Провозить можно было только пять, но — все художники так делали — в списке работы объединялись в триптихи, так вот и получалась вполне солидная для выставки цифра 15. Когда на вокзале в Триесте мы вылезли со своими громоздкими (из-за деревянных рам) пакетами, Лаура ахнула. Она, зная свою страну, была убеждена, что никакой выставки вот так, за тот месяц, на который мы приехали, устроить невозможно. Но жизнь улыбалась нам, диким русским, талантливым и умеренно беззастенчивым.

В первый наш итальянский вечер на одной из узких улочек Триеста мы зашли в первую встретившуюся нам на пути галерею. И попали на закрытие сезона — заканчивалась выставка местного художника, а галерейщик, Алекс Козмини, на следующий день собирался в отпуск, бороздить на своей яхте близлежащее Средиземное море. Мы показали Алексу слайды моих работ. Посмотрев, он сказал: «Бене» (Лаура переводила), и мы поехали к Лауре смотреть еще не распакованные мои картинки. Увидев работы, Алекс снова сказал: «Бене». Он вообще очень много говорил, наши русские уши выделили из потока его речи два слова — «бене» и «коза», что означало «хорошо» и «что». Кстати, Лаура потом нам сказала, что Алекс вообще немного странный.

Так вот, Алекс посмотрел картины и принял мгновенное решение: он переносит отпуск, а открытие моей выставки состоится через неделю. Это было и в самом деле — чудо. Только сейчас, когда прошло много лет, я понимаю, что совершилось что-то невозможное.

Выставка прошла на пять с плюсом. Были публикации в местных газетах — русские тогда в Италии были в диковинку, а моя варварская живопись отлично смотрелась на страницах чопорных триестинских газет. Алекс был в восторге — его

маленькую галерею не слишком баловали вниманием. К тому же на открытие пришел самый известный критик города, разразившийся после большой веселой статьей. И, что для нас было крайне важно, — работы покупали. И живопись, и графику. Так что потом мы путешествовали по стране с удивительным комфортом.

И последнее: плату за галерею Алекс взял моими картинками. В каждой он искал политический контекст. И — что удивительно — находил!

Я знаю, что именно такой — волшебной и неожиданной — должна быть для каждого художника его первая выставка. Ведь это — как первая любовь, не так ли?

Некоторые дополнения к итальянской истории, или Почему Таня разлюбила Пушкинский музей

Вспоминаются забавные детали нашего первого заграничного путешествия, о которых Таня не упомянула.

В Чопе, на рассвете, я смотрел в окно поезда, вдоль которого туда-сюда ходили суровые пограничники с огромными овчарками. На вышке, напоминавшей тюремную, крутилась вокруг своей оси телекамера. Таня в купе спала — она вообще отличалась этой завидной способностью засыпать мгновенно и не просыпаться когда ни попадя. А я смотрел в окно и до последнего не верил, что нас выпустят. Поезд наконец тронулся. На советской стороне Тисы в будке едва не по стойке смирно стоял советский солдатик, с венгерской из чуть более аккуратной будки торчали ноги спящего солдатика венгерского. Вот тут-то я и понял, что мы наконец-то не в СССР! Столь значимое для меня событие Таня восприняла естественно, как должное — уже где-то на подъезде к Будапешту.

Между прочим, на советско-венгерской границе нашими драгоценными картинами никто не поинтересовался: советские таможенники удовлетворились созерцанием справки-разрешения на вывоз «культурных ценностей», венгров и последующих югославов наш багаж и вовсе не волновал. Потребовал распаковать картинки лишь жизнерадостный и шумный итальянский таможенник — явно из любопытства. Тогда-то мы впервые и услышали таинственное пока слово «бене», но уже поняли, что Танина живопись ему понравилась и он ничего не имеет против ввоза ее на территорию Итальянской Республики.

Галерейщик Алекс говорил много и страстно, но только не на доступном нам английском. Зато частенько приглашал нас в соседний бар пропустить по рюмочке в компании приятеля-скульптора, по убеждениям — фашиста. В чем была суть этих убеждений, даже Лаура не смогла нам пояснить. А так скульптор в джинсовом комбинезоне был бородат, улыбчив и очень мил.

Кроме критика выставку посетил жадный — и самый популярный соответственно — адвокат: абокат по-итальянски. Он даже купил Танину картину, о чем потом долго шелестели в триестинских околхудожественных кругах. Мы абокату были особенно благодарны — своим выдающимся поступком он сделал выставке лучшую рекламу.

В компании Лауры мы тем временем отправились по маршруту Венеция—Флоренция—Рим. Не буду останавливаться на всем известных архитектурно-художественных красотах и прочих итальянских чудесах — вроде венецианских дворцов с призрачными живыми отражениями, флорентийского Понто Веккио с золотыми лавками-магазинчиками, прилепившимися к нему ласточкиными гнездами над тихим течением Арно, римских форумов, фресок Рафаэля и Сикстинской капеллы в Ватикане, видов на Рим с купола собора Святого Петра. Обо всем этом можно говорить или много — или ничего.

Только о «нашем», личном.

Лаура всегда была девушкой эмоциональной и темпераментной, а уж в юности — тем паче. Придя в себя от нашей безумной затеи с картинками, фантастическим образом реализовавшейся, она все же никак не могла привыкнуть к тому, что нам и дальше, как настоящим варварам, везет.

Мы знали, что в это же время в городе Бергамо с русской делегацией должен был быть наш любимый литинститутский преподаватель Владимир Павлович Смирнов — В.П., если между своими.

Накануне отъезда в Венецию я попросил:

— Лаура, дорогая, позвони в Бергамо, в университет, вдруг они тоже собираются...

Последовал бурный взрыв по поводу невозможности подобного развития чужих событий и послушный звонок.

По мере громкого итальянского разговора мы начали понимать, что все, похоже, опять складывается в нашу пользу. Лаура повесила трубку и тихим голосом, вообще без эмоций, сказала:

— Они завтра будут в Венеции.

Ранним утром мы спустились по ступенькам вокзала Санта-Лючия и на носу едва ли не первого рейсового «трамвайчика» проследовали по гигантскому зигзагу Канале Гранде к площади Сан-Марко. Голубей на ней пока было больше, чем людей. Мы бродили по площади, далеко не отходя от собора и оранжевой колокольни — Лаура собиралась на утреннюю службу. К причалу между тем подходили все новые кораблики — народу на глазах прибавлялось.

И я, честное слово, не удивился, когда увидел среди туристов метрах в тридцати от нас В.П. Мы пошли к нему. Он нас тоже заметил. Мы встретились и — наверное, единственный раз в жизни — обнялись. Лаура отправилась на службу в собор Сан-Марко. В.П. проигнорировал запланированную экскурсию во Дворец дождей.

Мы с Таней и В.П. сидели на ступеньках Рыбного рынка и сплетничали про Сидорова Евгения Юрьевича, только что ставшего наконец — нет, еще не министром культуры, а из вечных проректоров ректором Литинститута. Вернулась Лаура, и мы гуляли по самым нетуристическим задворкам Венеции и говорили, конечно, о русской литературе: Лаура тогда занималась Аполлоном Григорьевым, про которого В.П. тоже кое-что знал.

Во Флоренции нам достался гостиничный номер с видом на купол Санта-Мария дель Фьоре. Гостиница была маленькой и новой, а мы — первыми в ней русскими. В честь этого хозяин прислал нам бутылку игристого вина, а мы ответно одарили его советским рублем с профилем В.И.Ленина.

Там же, во Флоренции, случилось с Таней ее самое большое итальянское потрясение. У меня подобное было чуть раньше — перед «Рождением Венеры» Боттичелли, от которого я буквально физически не мог отойти минут пятнадцать.

Капелла Медичи — всего-то маленький придел церкви Сан-Лоренцо с четырьмя надгробиями величиной с три наших кухни, разве что потолки повыше и окна сверху. Мы ведь уже и рабов Микеланджело вместе с Давидом живьем видели, и фрески Беато Анджелико с ними по соседству, и к могилке самого Буанаротти в Санта-Кроче прикоснулись. А тут... В общем, Таня оттуда вообще уходить не хотела. По здравом размышлении могу сказать одно: в капелле Медичи ты РЕАЛЬНО понимаешь, что Бог есть и что со смертью ничего не кончается.

В Риме мы накупили красок немислимых у нас оттенков — в том числе «флорентийскую лазурь»: открыв тюбик, Таня удостоверилась, что название и цвет соответствуют подлиннику — небу над Флоренцией. И еще мы увезли оттуда фантастические четырехцветные карандаши.

Вернувшись в Триест, съездили в тоже разноцветные Доломитовые Альпы, прокатились по Южному Тиролю, где немецкие вывески незаметно «проступают» сквозь

итальянские, ели тончайшую ветчину с простым хлебом и монастырским вином и крупный прозрачный виноград с альпийских склонов.

Алекс успел продать еще несколько картин и рисунков и звал нас в соседнюю Югославию, искренне не понимая, почему нас обратно в Италию не пустят: его же пускают!

К изумлению Лауриных родителей, мы купили два магнитофона. Когда же Лаура им потом рассказала, что, продав эти поющие электронные ящики, мы выплатили остаток долга за кооперативную квартиру, они окончательно осознали, что в этой загадочной России точно ничего не понимают.

Через какое-то время в Москве мы были на выставке в Пушкинском. Решили пройтись и по музею. Попали в зал с гипсовыми копиями надгробий из капеллы Медичи в натуральную величину.

Таня, опустив глаза, сказала, взяв меня за руку:

— Пойдем отсюда, я не могу это видеть.

Объяснять мне ничего было не надо.

Выборы, выборы...

Политтехнологическим ремеслом мы с Таней начали всерьез заниматься где-то с середины 90-х. Я сразу попал на Сахалин, Таня, кажется, на Урал. А так — где мы только не были, вместе и по отдельности. Случалось даже, что мы оба оказывались не в Москве и очень далеко друг от друга в течение нескольких долгих одиноких месяцев. Родители гнались за длинным рублем, а дите оставалось на бабушке и собаке — собаки у нас были с десяти Машиных лет примерно. Зато ребенок вырос ответственным и самостоятельным.

Таня и в этом деле была весьма талантлива. Даже когда она злилась на безумное начальство или неадекватных местных коллег, волшебное чувство юмора ее не покидало. Порой это было единственной защитой от подступавшего отчаяния. Избирательные кампании зачастую сопровождались бескрайним пофигизмом, часто — бестолковщиной и почти всегда попытками повального воровства на всех уровнях. Последнее надо было пресекать на корню. А для этого необходимо было «нутром» чувствовать все «тонкие» места. Таня их чувствовала. Однажды «под ней» был весь юг Красноярского края. И она беспрекословной, по-платоновски, рукой «строила» отставных вороватых майоров с полковниками, а также действующих эмчеэсников. Лично помню одного полковника, который на моих глазах от Таниного уничижительного взгляда просто растаял, как злая волшебница Бастинда.

Но вообще-то выборы — дело коллективное, и тут важно найти адекватный общий язык с коллегами.

В городе Канске, знаменитом тем, что там обанкротились табачная фабрика и ликероводочный завод, у Таниного начальника штаба под столом в кабинете лежал топор. Когда очередной полевик-орговик приезжал сдавать финансовый отчет, топор невзначай оказывался не под столом, а на столе, поблескивая хорошо наточенным лезвием. Действовало: нередко еще до глобальной оценки-проверки финансовой цифири люди сами обнаруживали в своих отчетах лишние нули. Тем же топором начальник штаба рубил прямо на столе видеокассеты с материалами конкурентов, только что перекупленные у местных телевизионщиков. Тогда выборы были еще честной игрой — в том смысле, что все ее участники имели равные соревновательные возможности. И деньги решали далеко не все. Хотя Таня реально видела миллион долларов, высыпанный из большого целлофанового пакета на штабной стол прямо во время вечерней планерки. В остальном надо было полагаться на мозги, вырабатывая верную стратегию окончательной победы и тактику ежедневного продвижения к

цели. И на правильно подобранных по возможности и обученных по ходу — времени никогда лишнего нет — сотрудников.

В том же Канске у Тани был однорукий водитель. Сначала она пришла в тихий ужас, но потом оказалось, что ничего страшного. И с одной рукой, оказывается, можно очень неплохо водить машину. При этом быть скрупулезно точным и не занудным.

Как написала сама Таня в автобиографии: «Объездила полстраны, познакомилась с огромным количеством людей, среди которых были как совершенно замечательные, так и совершенно отвратительные».

Таня сама по себе внушала доверие. Когда шли выборы губернатора Красноярского края, в одном из соседних регионов, кажется в Томске, оказался далекий от политики Анатолий Андреевич Ким. У него брало интервью местное телевидение. И его почему-то спросили, кто победит на этих выборах.

— Хлопонин, — не раздумывая, ответил Ким.

— Почему? — поинтересовался корреспондент.

— А с ним Таня Морозова работает.

Анатолий Андреевич конечно же оказался прав.

Шпион Гадюкин в «Литературной газете»

Всю вторую половину 90-х мы работали в «Литературной газете». Я в штате — вместе с Аллой Николаевной Латыниной и Пашей Басинским, Таня — просто за гонорары, в чем не было такой уж принципиальной разницы. За нашей спиной газета несколько раз переходила из рук в руки, и зарплата была очень странной и нерегулярной. Но зато делать можно было все, что хочешь, — Алла Николаевна приветствовала любую разумную инициативу.

Таня писала в основном про женскую и массовую литературу. И еще рисовала — как для своих, так и для чужих материалов: Лам-кингочей чувствовал себя на газетных полосах прямо как дома.

Жанровую литературу она рецензировала едко и язвительно, но вдумчиво и не зло, тем более что и у самой было рыльце в пушку — личный опыт сочинения триллеров и женских романов. Но некоторые все же обижались: огромное и — надо отдать должное — очень вежливое письмо в защиту своих детективов написал «госпоже Морозовой», например, Чингиз Абдуллаев.

Занималась Таня и теорией жанра — разрабатывала целые «инструкции», как сочинять жанровые романы — опять же не без иронии, но очень точно и со знанием дела (наличие таланта она оставляла за кадром — как само собой разумеющееся).

Как-то в «Литгазете» появилась целая ее полоса под рисованным заголовком «Шпион-Review», посвященная шпионской литературе, с «отступлениями» про историю мирового шпионажа и самого жанра от Даниэля Дефо и Ле Ке до Грэма Грина и Джона Ле Карре. По всему выходило, что писатель и шпион — близнецы-братья. И даже напрашивался далеко идущий вывод, что Союз писателей СССР создавался, прежде всего, именно как шпионская организация. Только не все писатели об этом знали. Танина полоса была проиллюстрирована ее же комиксами про знаменитого шпиона Гадюкина.

Спустя некоторое время у нас дома раздался телефонный звонок. Таинственный незнакомец долго рассказывал Тане, как ему понравились ее статья и картинки, соглашался с ее выводами и добавлял свои — про родство профессий. Под конец он все-таки представился:

— Это шпион Гадюкин из Лондона. То есть — Виктор Суворов.

Где и как он раздобыл наш домашний телефон, он не признался.

Таня не растаяла, а, как профессиональный газетчик, тут же договорилась с ним об интервью. Оно вышло под названием «Декавильки маршала Тухачевского».

Потом мы передали Суворову в Лондон иллюстрированную энциклопедию балета с Таниными картинками. Каким образом мы это сделали, тоже никому не расскажу.

История имела комичное продолжение. В статье было и про «Лондонский клуб», основанный в Москве провалившимися и отставными шпионами, этакий клуб разоблаченных неудачников, где они, собираясь, пьют исключительно виски и столь же исключительно говорят по-английски. Председательствовал в нем шпион-писатель Михаил Любимов. По поводу Таниной статьи и интервью Суворова он написал в «Литгазету» очень раздраженное официальное письмо, видимо, обидевшись на то, что Таня назвала их элитарный клуб «низовой писательской организацией».

За августом следует август

Прозу Таня писала странную, необычную, немного на грани абсурда. Ее рассказы, такие как «Мелк», «Сильфида», «Смерть животного», а также некоторые сказки публиковались в популярных тогда женских и прочих сборниках. Один из них — «Новые амазонки» — Таня даже оформила. Про выборы и всяких подвизающихся на этом поприще приятных и отвратительных людей она написала рассказ «Придурки-хроники» и технологический роман «Атилла, приходи!».

Но издание книги как-то не задавалось — ее «Мелк» и еще несколько книг молодых тогда писателей были безжалостно «съедены» двухтомником какого-то друга главного редактора: ее работы обложка «Мелка» до сих пор висит на стене нашей квартиры среди Таниных картин и рисунков.

Она умела писать невероятно смешно. Много иронии и в ее главной, наверное, прозаической вещи «За августом следует август». Но в какие-то моменты смешное переходит в такой глубинный и тонкий серьез, что слезы на глаза наворачиваются.

Один абзац из «Августа» можно считать ее завещанием всем, кто еще живой. Вот как она написала:

«ЧТОБЫ ТЫ ПОНЯЛА. И я поняла.

Наверное, это смешно, но мне было не до смеха, я поняла простейшую вещь, которую знала так давно, что казалась она — неправдой, нет, не то чтобы так впрямую — неправдой, но какой-то фальшивой, неестественной и оттого ненужной правдой. То есть — это было до того просто, и к тому же проговорено столько раз и на всякие лады, что для того, чтобы понять, и в самом деле потребовалось: ПОНЯТЬ. Я поняла, в чем смысл жизни. Смысл жизни — в любви, вот что я поняла. Это было и вправду — не смешно. Все, что угодно, но — не смешно. И еще я поняла — человек одинок. Его может окружать семья хоть в сто сорок пять голов, любовь обволакивать по самую маковку в неисчислимое количество наипуховейших перин нежности и заботы, но все равно человек — каждый, каждый — один на один остается на поле брани между жизнью и смертью».

Наша Ясная Поляна

Ясная Поляна как-то особенно возникла в нашей жизни благодаря Киму. Он дружил с Володией Толстым, директором яснополянского музея. И когда затеялся литературно-художественный журнал «Ясная Поляна», Анатолий Андреевич меня с Володией познакомил. Я в журнале занимался разделом эссеистики, а Таня иногда рисовала иллюстрации к рассказам.

Мы зачастили в толстовскую усадьбу — иногда с Таней, иногда с дочерью, для

которой Ясная Поляна стала местом привычным, но все же не обыденным: не каждому позволялось в выходной музейный день гулять по пустой от туристов усадьбе — ее дорожкам, яблоневым садам, регулярным паркам и берегам многочисленных прудов. А для Маши это место на какой-то важный период детства стало, по сути, родным.

И в каком бы составе мы ни оказывались в Ясной Поляне, первым делом шли к могилке Льва Николаевича на месте «зеленой палочки».

Таня в Ясной бывала почти на всех писательских встречах, происходивших «вокруг» 9 сентября, дня рождения Льва Николаевича, или в связи с особыми событиями. Например, когда по приглашению журнала приехал Милорад Павич с женой Ясминой. Мы все вместе провели несколько замечательных яснополянских усадебных дней с прогулками, застольями, беседами — особый старомодно-элегантный колорит Ясной Поляне придавали в те дни Милорад и Илья Владимирович Толстой: оба в белоснежных рубашках и накинутых вольно на плечи пиджаках.

Следующий приезд в Ясную был грустным: на семейном толстовском кладбище в Кочаках хоронили Илью Владимировича — он умер столь скоро и неожиданно, что все время казалось, будто это неправда: вот-вот сейчас в пиджаке на плечах он выйдет из-за угла дома Волконского и улыбнется в белоснежную свою толстовскую бороду. Но почему-то почти всегда смерть оказывается правдой.

А Ясная Поляна все равно связана больше с ощущением жизни, ее спокойной силы, витальной энергией самого Льва Николаевича, ощущаемой здесь буквально кончиками пальцев. И темы, волновавшие Толстого, как-то сами собой приходят в обычные бытовые разговоры. Так, хорошо помню, как мы идем с Илюшей Толстым по дорожке между домом Волконского и конюшней на закате дня, и Илья говорит вдруг мне, вроде как безо всякого повода, хотя повод был, был, конечно:

— Как тебе повезло с твоей женой!

Я скромно кивнул в ответ. А вечером рассказал об этом Тане.

Она, как обычно, задумалась на время и ответила, сохраняя серьезное выражение лица:

— А про тебя мне так никто не говорил...

Просто Бонд, зеленые собаки и Тыбыдымский конь

Никогда не задам нашему псу одного вопроса, страшного для него. Слишком хорошо помню, как звонил домой из какого-то далека и Таня включила громкую связь: я решил пообщаться с Бондом. Услышав мой голос, он едва не сошел с ума, носясь по квартире и разыскивая невидимого папу. И долго-долго потом не мог успокоиться. Потому как привык на вопрос «где папа?» или «где Маша?» тут же радостно находить искомое.

Коричневый лабрадор Бонд появился у нас сразу после Анубиса. На наших глазах он из чуть неуклюжего лабрадорского щенка превращался в подростка, потом в солидного красивого пса с абсолютно осмысленным взглядом, дожил и до новой клички Пыльный, каковой его наградила Таня, когда поседели его морда, брови, кончики ушей и лап. Незаметно и естественно он стал уже не совсем собакой, а почти человеком. Путем ненавязчивых утренних упражнений Таня даже научила его говорить «мама». Он стал и третьим, после нас с Машей, главным персонажем Таниных картин и рисунков. Он же, сдается мне, явился и прообразом столь любимых Таней зеленых собак, которых она нарисовала множество. У них разное количество лап и глаз, иногда они прорастают листьями, лотосами или даже плодоносящей виноградной лозой, завязывают шеи шарфами или — похожие на кузнециков — идут куда-то в темноте по своим делам мимо освещенных окон домов, иногда повторяют-

ся в бесконечной перспективе, но всегда они хоть немного похожи на Бонда. Есть среди них и синяя собака в лунном свете. Но на солнышке, поди, она все равно зеленая, как, впрочем, и я.

Другой особый Танин герой — Тыбыдымский конь. Он влечет Поня в моря, а тот его вовсе наоборот — в поля, а потом они на пару укрощают огонь, опять же вместе очень уважают гармонию. Танцует с подругой на пуантах. Устраивает привал под ягодным деревом и курит бамбук, выдувая через трубочку в небо облака. Общается со своим коненком. Или даже видит шар, ловит его, было ускользнувший, а потом вписывается сам собою в этот тыбыдымский шар, тот самый, наверное, который придумал друг Нур. Вот какой он — Тыбыдымский конь! От него, похоже, отпочковалась и «Одинокая лошадь Монголии», нарисованная Таней, когда я был в этой суровой и волшебной стране, где небо соединяется с землей.

А вопрос, который я не задам собаке, очень простой:

— Где мама?

Хотя он-то, может быть, и знает на него правильный ответ. Знать-то знает, а вдруг у него крышу снесет? Показать-то не сможет...

Мать и дочь

Маше было года четыре. Мы гуляли с ней вдвоем в Битцевском лесу. Присели передохнуть на бревнышко у реки Чертановки. И дочь, посмотрев задумчиво в небо, вдруг сказала:

— А я вас с мамой видела.

— В каком смысле? — не понял я.

— Я сидела на облачке и вас выбрала.

На это я не знал, что сказать, но почему-то ей безоговорочно поверил.

Когда Маша, учась в школе, лицее, университете, получала пятерку, она звонила маме. Если тройку, то — папе. Папа — поймет и успокоит. А мама в этом случае может съязвить так, что слезы брызнут. И вообще Таня могла довести дочь до слез и впрямь одним словом или даже взглядом. Я выговаривал ей за это. Но Таня ничего не могла с собой поделать — язвительные мысль и слово иногда на мгновение опережали здравый смысл и материнскую любовь.

Но это — такая мелочь, потому как лучшей Машиной подругой все равно и всегда была именно мама. И они друг другу все прощали. Хотя допросы со стороны матери бывали и с пристрастием. Особенно в детсадовском Машином детстве по причине диатеза.

— Ну как, Вовин день рождения отмечали? — спрашивала мама.

— Отмечали, — опустив глаза долу, отвечала дочь.

— А конфеты Вова приносил?

— Приносил.

— Целый кулек?

— Целый кулек, — честно подтверждала Маша.

— Конфеты он раздавал?

— Раздавал.

— А ты что со своей конфетой сделала?

— А-а-а... — жалобный детский плач оглашал просторы квартиры. Хотя, надо признать, диатез сыграл серьезную роль в самовоспитании дочери: чаще всего с детсадовских дней рождений она в потной ладошке приносила подтаявшие конфеты домой — понимала, что от сладкого ей будет плохо.

Другой, более поздний, но столь же чудесный разговор с дочерью Таня описала в своем Живом журнале (<http://t-moro.livejournal.com/>):

«Дети — большая разрушительная сила, когда они вместе и когда абсолютно счастливы. Я наблюдала это каждый октябрь, на детском дне рождения, когда стая разгоряченных друзей дочери получала во временное владение нашу квартиру...

Вот не столь давний (после 18- или 19-летия) разговор с деткой после очередного октябрьского мятежа (мы были в командировке, поэтому разговор телефонный):

— Ну как, все нормально прошло?

— Нормально. Только папину чашку любимую разбили. Со свинкой.

— Это ерунда, хорошо, что соседи не приходили.

— Почему не приходили? Приходили!

— Та нервная дама с девятого этажа?

— И она, и Галя, и еще с шестого приходили, но они сказали: а, это ты, Маша, а мы думали, здесь цыгане поселились...

— Ладно, это все ничего. Главное, что, как к Лизе, милицию не вызывали.

— Вызывали. Два раза.

— И что милиция сказала?

— Что если вызовут в третий раз, нас всех заберут...

А уже потом встретила в подъезде соседку Галю и она мне укоризненно:

— Позор прямо на весь подъезд!

— День рождения же, — объясняю.

— Вот я когда шестьдесят лет справляла, никто не жаловался! — гордо сказала соседка Галя...

Маша ласково называла маму Маманя и Мать-перемать, а Таня дочь — Кис и Детка.

Вот такие они — мать и дочь. Я даже знаю, что Маша любит маму больше, чем папу. И я ее хорошо понимаю.

Оттенки белого

Однажды зимой глубоко в верхней части Красноярского края Таня стояла на середине Енисея. В обе стороны было по километру. И ей стало хорошо. Холодная и честная Эвенкия вместе со своими мифологическими жителями тоже поселилась в ее картинах навсегда.

Единство и борьба противоположностей все ж и в самом деле имеют место быть.

Таня любила жизнь. И ее рисовала. Особенно она любила солнышко. Во всех смыслах — то есть, была теплолюбива, лето предпочитала зиме, особенно если у моря — на пляже: загорала она мгновенно и до черноты. Однажды нас с ней остановил на Киевском вокзале милиционер и потребовал документы. Для Тани это был первый опыт такого рода. И только потом до нас дошло — мы были черно-коричневые, аки выходцы из самых солнечных нерусских краев. На ее картинах и рисунках солнышко есть практически всегда. Правда, иногда это луна. Или некий неопознанный небесный объект, но так или иначе участвующий в мироздании ее собственной вселенной. Есть даже «Два солнца»: с моим и Бонда портретами в центре. Это наводит на приятные мысли.

В Эвенкии солнце тоже присутствовало, но исключительно как источник света — не более, но и не менее того. И красок там всего две — синяя и белая. Зато белый — всех немыслимых оттенков. Это Таню и завораживало. Да еще ощущение, что находишься внутри первозданного чистого мифа: закодированные орнаменты становятся предельно ясны и прочитываются на уровне подсознания. Летающие рыбы, олени и эвенки, радуга под ногами, собаки на ветру и чумы на лыжах, шаманы и черно-белые костры заполняют спокойные пространства ее графики из эвенкийского цикла. И называется все это особо: «Укрощение солнца», «Эвенк, отпускающий оленя»,

«Добывший солнце», «Люди с лицами впереди», «Тунгусский метеорит: ответный удар», «Солнцу с рыбами по пути», «Сон о весне» или уж совсем «Мечта об Эвенкии».

В первозданных настоящих местах вообще есть абсолютная честность между человеком и природой. Например, в тайге щенка лайки, дважды испортившего шкурку белки, просто пристреливают: выбраковка! Зато в магазин или любое другое помещение сначала пропускают того, кто с улицы: холод диктует особые, сибирские правила вежливости.

«Там, — помнит Таня, — я пробовала эвенкийский шоколад: замороженная сырая печень оленя нарезается плоскими ломтями и посыпается крупной солью. Едят тотчас же — в Эвенкии все чистое».

Зеленый жук с серебряными лапками

Как раз после очередной Таниной Сибири и моей продолжительной чувашской эпопеи на берегах великой русской реки Волги, когда мы не виделись целых четыре месяца, мы отправились с ней в Таиланд, Сиам по-старому, откуда родом знаменитые сиамские кошки, похожие выражением лиц на египетских прокаженных.

После русской зимы зима тайская выглядела совершеннейшим летом, чудным, солнечным, наполненным незнакомыми запахами и смыслами. Вскоре, что-то узнав про улыбчивых и чрезвычайно приветливых местных жителей, мы с Таней поняли, что мы тоже — тайцы: на них нельзя кричать — они не обижаются, а просто перестают кричащего слышать.

Мы купались в море, отпускали на волю птиц с буддийских холмов у подножия золотых Будд, видели фантастический, с беспорядочными небоскребами и уютными усадьбами Бангкок с высоты птичьего полета. Снимая тапочки, общались с изумрудным и другими Буддами в бесчисленных и всегда торжественно-умиротворенных храмах, бродили по королевскому дворцу, где Таня до боли в глазах всматривалась и запоминала орнаменты на боках ступ и оконных наличниках. Кормили рыб на реке Чао-прайя, питались ясными дарами моря, загадочными насекомыми и фруктами невиданной красоты. Хотя предпочитали желто-оранжевые манго и свежавыжатый ананасовый сок, к прохладному содержимому кокосов оставшись равнодушными.

Мы были в древней столице Аюттайе и катались на слонах, осуществив детскую мечту едва ли не каждого задумчивого ребенка средних широт, — спустя некоторое время эту мечту по нашим стопам исполнила и наша дочь со своим другом. Слоны были все в складочку и мирно и мерно шествовали с нами на спине и с погонщиком на шее по пересеченной местности, обмахиваясь ушами и создавая ветер. По крутому склону верхом на слоне мы спустились в мутные здесь воды знаменитой реки Квай — на память об этом осталась наша фотография в рамке из кокосовой бумаги. На такой же бумаге Таня потом нарисовала трех разноцветных слонов на берегу реки, полной рыб, и рыжую русскую лису, обнимающую зеленую елку-пальму.

Опять же на реке Квай, выше по течению — там вода ее чуть более прозрачна и очень быстра — мы провели пару дней в маленькой гостинице, где между домиками проложены дощатые мостики без перил, а ночью ты слышишь, как внизу, под тонкими половицами течет вечная вода. На плоту, прицепленном к лодке, нас завезли еще выше по течению и, выдав спасательные жилеты, позволили прыгнуть в реку, которая долго и быстро несла нас вниз внутри берегов, поросших буйной зеленью. Какого же немыслимого зеленого оттенка она бывает здесь в период летних дождей! — представляли мы.

Где-то на середине пути посреди реки мы пообщались с девушкой-попутчицей, плывя рядом:

— Вы откуда? — спросили мы.

— Я? С Москвы, — ответила непосредственная девушка. И, наверное, не поняла, почему мы, переглянувшись, весело, но совсем необидно рассмеялись.

Наш плот уже стоял причаленным к берегу. Мы взобрались на него. С высоты каменистого склона рушился мощный, но ласковый теплый водопад, под струями которого мы смывали с себя запахи прозрачно-коричневой воды.

По дороге от берега к машине в густых ворохах опавших листьев мы видели большую задумчивую змею.

Съездили еще на райский остров, где песок на ощупь напоминал очищенную белоснежную соду, а на его влажной поверхности, омываемой неторопливой волной, при пристальном близком взгляде обнаруживались норки микроскопических ярких крабов, и где цвет моря был нереальный — чистый ультрамарин — прямо как на Таниных картинках. Видели и «свалку» сотен серо-зеленых крокодилов на крокодиловой ферме, Таня даже рискнула покормить их остовом курицы на длинной удочке: безжизненные твари оказались очень даже резвыми и страшно прожорливыми.

В сувенирном магазине, где специально для русских торговали дорогими и безвкусыными крокодиловыми сумками, ремнями и уж вовсе чудовищными женскими туфлями и мужскими ботинками (тайский привет растаявшим в дымке девяностых людям в малиновых пиджаках), Таня взяла в руки и уже не выпускала маленькую деревянную коробочку-брелок. Внутри нее сидел зеленый жучок с желтыми глазками и дрожащими серебряными лапками.

На берегу, где южная ночь обрывала взгляд на расстоянии вытянутой в сторону моря руки, в просторном пустом кафе под звездной крышей мы справили мой день рождения накануне католического Рождества, закусывая хрустящей жареной рыбой и креветками величиной с ладонь. Коробочка с жучком стояла на столе, и Таня в нее время от времени с неизбывным детским любопытством заглядывала широко открытыми глазами.

И только Таня одна в этом природном раю тогда узнала, почувствовала первый, еще не сильный, но грустный укол в груди.

Фотиев

У Тани был лучший друг Вова Фотиев. С пятого класса они сидели за одной партой, воровали друг у друга ластики, дрались линейками, а Таня еще и рисовала в Вовкиных тетрадях всяких «шариковых» чертиков, за которых ему при проверке домашних заданий нередко доставалось. Вину, обезоруживающе улыбаясь, он, естественно, всегда брал на себя.

Вова был из редкой и чудной породы добрых жизнелюбов. Из тех, для кого стакан всегда наполовину полон. Я его застал уже большим, шумным и бородатым. Он вечно осваивал какой-нибудь очередной странный бизнес. Однажды, на заре предпринимательской юности, ему продали коробку с неким электронным чудом, на поверку оказавшимся обычным красным кирпичом. Но именно он, кстати, выгодно перепродал наши магнитофоны, привезенные из Италии, благодаря чему мы и погасили долг за кооператив.

Вова и впрямь никогда не унывал — он держал мелкооптовый магазин на Ленинском, производил уникальную белую краску, для пиара которой Таня писала смешные рекламные тексты, терял при дефолте большие деньги в жульнически разорившемся банке, торговал эстонскими коньками и отечественными теннисными столами, часто менял машины и рожал детей.

Но однажды он умер.

Безо всякой иронии по поводу избитых фраз: его большое доброе сердце не выдержало.

Таня тогда написала:

«Недавно приснился давний друг, я во сне ему говорю: "Почему мы так редко видим тех, кого любим?" Не помню, что он ответил там, во сне. А наяву я и сама не знаю ответа. А несколько дней назад умер мой школьный друг Фотиев. И это неправильно: Фотиев, он должен быть всегда, я знаю это с пятого класса. Он — единственный из моих знакомых, который мог прийти в отвратительно мокрый день и радостно завопить: "Танька! Смотри, как на улице здорово! Там — дождик!" И еще: Вовка умел дружить, редкий дар. Не могу писать — плачу...

Прощай, Вовка».

А я сказал:

— Это тоже неправильно.

— Что неправильно? — спросила Таня.

— Мы же все там когда-нибудь встретимся, поэтому — не прощай, а до свидания...

— Да-да, — сказала Таня.

Когда на Донском кладбище мы с Володиными родственниками и друзьями захоранивали в землю урну, Таня, стоя в отдалении среди могил и держась за мой локоть, проговорила едва слышно:

— До свидания, Вовка.

Гоша и Зоя

Смерть была маленькая и зеленая.

Стояла циничная жара, как и потом, следующим летом, когда я уже все знал. Тогда знала только она. Поэтому о зеленой своей смерти только подумала, но никому не сказала, даже мне — много позже.

Таня сидела на диване и рисовала. Вдруг краем глаза увидела лишнее зеленое и вроде как живое пятно на лоджии: голубь, что ли, залетел? Оказалось — не голубь, а волнистый попугайчик. Он расположился на сиденье велосипеда и заглядывал к Тане в комнату. Видно, у кого-то улетел и потерялся. Таня позвала Машу.

Чтоб он не пропал совсем в недружественных широтах, закрыли окна на лоджии. А когда пришел я, мы пошли по известным соседям выяснять, откуда он может быть родом, то есть из чьей клетки сбежал. Никто не признавался.

Дело было вечером, и на следующее утро мы — еще не признаваясь себе, что решили его оставить себе, — пошли в зоомагазин и купили клетку. Залетевший в комнату Гоша, так его с ходу назвала Таня, долго от меня улепетывал, но наконец был пойман и, успевший меня чувствительно пощипать клювом, посажен в новый дом. Он быстро привык возвращаться в свою золотистую итальянскую клетку, когда его отпустили полетать по комнате.

Потом жалостливая дочь купила ему пластиковую подругу. Гоша пытался ее оживить, но у него ничего не получалось.

И другим утром, не сразу, мы снова пошли в зоомагазин. И купили ему настоящую подругу. Так у нас появилась уже семейная пара — Гоша и Зоя Салатовы. Фамилию они обрели от той же Тани. Мы даже подумывали о «гнездовье» — это такая штука в клетке, которая им необходима для выведения потомства. Но не решились.

Бонд воспринял их спокойно и даже внешне равнодушно, но, как выяснилось, до ревности было меньше шага, точнее, пары фраз. Когда мы собрались с ним на прогулку, я подошел к клетке и сказал:

— А Гоша-то — хороший!

Бонд, попеременно глядя то на клетку, то на меня, изумленно склонил голову набок, вроде как: и ты, папа, можешь при мне говорить какие-то странные слова об этой мелкой твари?

— Гоша — хороший! — настойчиво повторил я.

— Тяф, — жалобно и обиженно сказал Бонд. И такая тоска и непонимание стили в его карих глазах, что Таня попросила:

— Перестань издеваться над собакой.

Я перестал и потом лишь изредка позволял себе демонстрировать его человеческую обиду, при гостях.

А недавно, уже после всего-всего, Гоша умер. Вернувшись с собачьей прогулки, я нашел его лежащим на дне клетки. Рядом с ним сидела Зоя.

Я завернул его в свой лучший носовой платок и кусок серебристой фольги. Положил в карман куртки, взял отвертку. Бонд всеми силами показывал, что хочет пойти со мной — не иначе как проводить Гошу в последний путь. Я его все же не взял.

В мерзлой земле я пытался отверткой сделать могилку. Но земля не поддавалась. И только под сухим кустом земля оказалась мягкой на пространстве полутора человеческих ладоней. Вырыв ямку, я положил туда Гошу и присыпал землей.

Зоя теперь одна. Но иногда поет.

Лавра

Нам с Таней выпала небольшая работа в Сергиевом Посаде — взять интервью у всяких местных журналистов и предпринимателей. Мы ездили туда подряд несколько дней.

По окончании работы заходили в лавру.

В самый первый раз были в Троицком соборе. День случился будний, народу — мало. Даже к раке Сергия очередь стояла всего из нескольких человек. Читал тихо молитвы средних лет монахи.

Люди опускались на колени, истово крестились, целовали стекло, прикрывающее серебряную раку преподобного.

Таня подошла близко и просто замерла.

— Коснись хоть рукой, — сказал я.

Таня опустила ладонь на краешек раки. Я тоже. Так мы еще немного постояли рядом друг с другом и Сергием Радонежским.

В другие дни Таня просто сидела на скамеечке в тени Успенского собора, пока я свои полчаса гулял по лавре, где мне всегда хорошо.

В предпоследний день Таня осталась в Москве — у нее именно там была назначена встреча с одним из посадских жителей. И попала под проливной дождь — насквозь промокла. Но вроде без особых последствий.

В последний день — осталось нам взять по два интервью — Таня уже на пороге, собранная, сказала вдруг, что не может ехать: что-то ей нехорошо.

Я глупо вспыхнул от неожиданности и заявил, что завтра же мы пойдем к врачу, хоть к районному кардиологу — Таня иногда жаловалась на сердце, — если уж она так и не удосужилась вступить в Литфонд и записаться в нормальную поликлинику...

— Хорошо, пойдем, — ответила Таня.

И я уехал.

На берегу

Про врача я заговаривал еще пару раз в последующие дни, Таня только опускала глаза и говорила:

— Да-да, обязательно. Вот только чуть получше станет. А то какая я к врачу — такая? Прямо неприлично, — и обезоруживающе улыбалась. Ну что я мог с ней поделать? Лишь перебирал в уме всех знакомых, у которых могут быть знакомые кардиологи, чтобы поставить ее уже перед фактом неотвратимого докторского визита.

День Святой Троицы, 23 мая предпоследнего года, я запомнил навсегда. Наша жизнь в этот день, точнее, утро остановилась. А потом снова пошла — но только как

наши кухонные часы. Они показывали не обычное общечеловеческое время реально-сти, а какое-то совершенно свое — то есть шли, как им заблагорассудится, по своим собственным, ничему не подвластным законам.

Супруги Салатовы подпевали тихо работающему телевизору, где по каналу «Культура» играла их любимая симфоническая музыка. Таня рисовала.

Я снова заговорил о враче, сказав, что, кажется, знаю, у кого может быть знако-мый кардиолог. И увидел, что Таня плачет.

— Ты что, Мурз? — спросил я.

— Не надо врача... — слезы мешали ей говорить. — У меня — рак.

Не в силах совладать с собой, я вышел в другую комнату. И тотчас вернулся:

— Рак чего, Мурз?

Она сказала.

— Но, говорят же, это лечится? Как-то...

— Ну да, операция. Но уже поздно. И я не хотела быть... И могла бы запросто умереть на операционном столе. Это слишком близко к сердцу, — вытирая тыльной стороной ладони заплаканные глаза, она даже попробовала улыбнуться. — А так я жила полноценно еще целые три года, работала, вот, даже деньги зарабатывала. — Она замолчала ненадолго, глаза ее мгновенно высохли. — И вообще я прожила прекрасную, счастливую жизнь. С вами. — Я справился со своими чувствами с боль-шим трудом: Таня говорила совершенно серьезно, хотя уже и улыбалась. Я тоже верил ее словам. Они были настоящими. Как про любовь, когда про нее говорят в первый раз.

Я сел рядом и взял ее за руку.

— Только ты никому, даже Маше. Все равно уже ничем не помочь, только расстраивать всех. И суета бессмысленная вокруг...

— Хорошо, — сказал я, и Таня с благодарностью пожала мою руку.

Мы еще выходили гулять, но не так, как раньше — часами и далеко, а ненадолго и около-вокруг дома. Нурофен, пенталгин, ампициллина тригидрат, амоксиклав и прочие коробочки с лекарствами поселились на табуретке возле Таниной кровати — после Троицы она перебралась в другую комнату, к птицам, куда когда-то прилетел Гоша. Только амоксиклав и ампициллин Таня прятала от Маши, чтобы та ни о чем не догадалась. Легенда была про осложнения после гриппа, перенесенного Таней зи-мой в Воронеже.

Наступало то самое чудовищное лето. У меня продолжалась работа в Сергие-вом Посаде. Я привез Тане из лавры иконки Пантелеймона и Святой Татианы. Маша купила маме вентилятор. А я, незадолго до того — маленький компьютер. Таня лежала на диване, жужжал вентилятор — когда были силы, она писала в ЖЖ и рисовала.

Ближе к осени мы отправили Машу наконец в свободное плавание. Они с другом Андреем давно уже подыскивали квартиру, потому и переселились на Новокузнецкую — из их окон виден храм Николы на Кузнецях.

На Машины вопросы я, памятуя Танины заветы, отвечал, что все будет хорошо и чтоб она не беспокоилась: мы пока сами справимся.

Мне это сходило с рук, пока Маша не сказала мне дерзким голосом:

— Папа, что с мамой? Я понимаю, что вы сами справитесь, но это не похоже на грипп.

— Хорошо, — ответил я, — давай я приеду к тебе и там мы поговорим.

Я приехал. Мы сели на кухне. Дочь выжидающе смотрела на меня, разливая чай.

— Только будь готова к тому, что я скажу тебе очень грустные вещи. — Маша кивнула.

— У мамы — рак. И она умирает. Это может произойти через год, через месяц...

— Рак чего?

Я сказал. Маша тихо и обреченно заплакала.

— А что-то можно сделать? — спросила дочь, вытирая столь редкие у нее слезы.

— Нет. Ты же знаешь маму, она — кремень и не хотела, чтобы вокруг началась суэта. Ты же понимаешь...

— Понимаю. А чем мы можем ей помочь?

— Только любить ее. И стараться радовать. Еще на этом берегу. Только ты — ничего не знаешь.

— Конечно, папа.

Маленький, с хвостиком

Таня не играла в умирающего Некрасова. Не отворачивалась лицом к стенке. И только по тому, как увеличивались дозы лекарств, как все тяжелее ей удавалось засыпать ночью и просыпаться поздним утром, по жилке, бьющейся на виске, и уже привычному запаху валокордина — сердце и вправду было очень близко — можно было понять, как ей больно. До последнего она многое старалась делать сама, даже стелить постель, хотя я и рвался ей помочь. Убирать ее, когда переодевалась в дневную одежду, Таня мне все же позволяла.

— Дай мне, пожалуйста, маленького, с хвостиком, — просила она, устроившись среди подушек. Имелся в виду компьютер со шнуром, который надо было воткнуть в розетку для подзарядки — наклоняться самой Тане было слишком трудно.

Или просила свой поднос с цветной тушью и изографом.

Особо бродить по Интернету сил у нее не было, она лишь писала посты и выставляла картинки в своем журнале. Остальное время, если не дремала устало, то рисовала.

Иногда просила принести яблоко или йогурт или вдруг еще что-то.

Как-то я только прилег рядом с ней на диван, как ей что-то понадобилось.

— Прямо ни посидеть, ни полежать... — пробурчал я, поднимаясь.

— Ну, не надо, — чуть обидевшись, сказала Таня. «Нипосидетьниполежать» стало нашей с ней любимой домашней шуткой.

В последний неполный год, за вычетом нечеловеческой жары, Таня подготовила к изданию семь своих детских сказок, две из них — про «Глашку и бумажку» и про «Хрюндиков» — за утраченностью нарисовав заново. Придумала и начала рисовать новую — про то, «Почему медведи зимой спят». Нарисовала множество картинок и открыток с яйцами к Пасхе. На мой день рождения подарила мне наш семейный портрет, а Маше с Андреем после новогоднего застолья — их портрет с поедаемым гусем под названием «Золотая вилка».

Живописью, правда, она уже не могла заниматься — на мольберте так и осталась стоять незаконченная работа «Небо голубое, я хочу покоя!»

В ЖЖ у нее появилось множество друзей, старых и новых, и они друг друга взаимно и весело комментировали. Среди них были Олег Шишкин и Олег Ермаков, Света Василенко и другие, многие другие.

Я готовил разнообразные обеды, стараясь не повторяться, и это доставляло мне ни с чем не сравнимую радость, особенно когда она говорила:

— Вкусненько! — Ведь у нее осталось так мало простых радостей в этом мире.

— А если бы меня не было? — как-то в ответ на ее благодарность пошутил я.

— Тогда бы я давно умерла, — совершенно серьезно ответила Таня.

По телефону никто не мог заподозрить ничего — ее голос и интонация оставались неподражаемо веселыми и уверенными в прекрасности мира. Перед приходом редких гостей — мы всем говорили, что Таня болеет, у нее сердце — она надевала синий платочек или, чаще, красную бандану «Левис», когда-то подаренную мне ден Буром в качестве шейного платка. И становилась чуть похожа на усталого, много повидавшего пирата.

О смерти мы не говорили, но и планов уже особо не строили, как прежде.

Я писал рассказ про внешнюю эфемерность и непредсказуемость сущности

счастья. Таня и в этот раз была моим первым читателем и лучшим редактором. Прочитав едва законченную рукопись, она сказала радостно и безжалостно:

— Рассказ — хороший. Но — сокращай!

Я сократил. Таня прочитала:

— Сокращай еще.

Пришлось и на сей раз послушаться — ее человеческому и литературному вкусу я доверял безоговорочно.

Прочитав вновь, Таня попросила ручку. И вычеркнула уже немногие лишние фразы, слова и междометия. Поправив, я заново распечатал рассказ.

— Вот теперь — совсем хорошо, — сказала Таня.

Рассказ назывался «Кто сказал счастье».

— Так это же название для всей книги! — с чудесным изумлением проговорила Таня, когда я хотел забрать у нее листочки с распечаткой. — Оставь, я еще почитаю...

С Машей они общались каждый день по скайпу, а в выходные работающая детка приезжала и привозила всякие вкусности.

Вместе с детьми и елкой в Таниной комнате мы справили Новый год.

По средам я ходил на лекции знакомого египтолога, которому Таня попросила подарить мой зеленый портрет в виде прорастающего Осириса. Египетская вечность немного примиряла с утекающей действительностью.

Вечерами на диване смотрели телевизор. Таня иронизировала по поводу смехотворной суровости Медведева, Путин же ее просто по-человечески раздражал. Все-таки она любила свою страну и желала ей исключительно добра. Даже когда ее самой не будет. Не страны, а Тани.

Она все и всегда хорошо понимала. Потому что мудрая была. Хотя самой ее уже почти не было — ручки ее, и так тоненькие, стали как спички. Я держал ее руку в своей — осторожно и ласково. Иногда она слабенько сжимала мою руку, и я чувствовал, до спазмов в горле, как ей больно.

Крещение Саввы и Райский сад

Меня позвали крестным к годовалому Савве, сыну друзей. Вместе с будущей крестной мы приехали в этот дом недалеко от Оки, между Серпуховом и Протвино.

Еще немного недостроенный, но по-летнему уже жилой дом стоял на взгорке, с краю, в первом ряду, а из окон через просторное, уходящее вниз поле угадывалось присутствие реки, скрытой от глаз зеленым буйством береговых ив. Вечером от Оки медленно поднимался прохладный туман, окружая дом и пробираясь сквозь открытые окна в пустые комнаты.

Здесьняя жизнь протекала большей частью на улице, под сенью старой яблони вокруг врытого в землю длинного стола, недавно сооруженного с основательностью, рассчитанной на большие семейно-дружеские застолья. Еду и закуски передавали прямо из кухонного окна, рядом курился мангал, для которого рубил аккуратные поленья молодой Саввин дед, а чуть выше и в стороне, с торца дома, зеленели столь же аккуратные грядки и увлекал к себе разноцветьем и тонким, волнующим ароматом маленький ботанический сад — гордость хозяйки, молодой бабушки.

Но в центре внимания был конечно же крепкий малыш Савва, благодаря которому здесь и собралась разношерстная компания. Он еще не умел ходить, но спокойное его доброе имя внушало уважение окружающим. Только бабушка с ним немного сюсюкала, на что Савва не обращал лишнего внимания.

Исподволь, через некоторые детали, взгляды и случайно оброненные слова выяснилось, что за мое право быть крестным шла, оказывается, борьба: друг Сережа настаивал исключительно на мне, а Сашины родители хотели в этой роли видеть австралийского родственника.

Австралийские родственники, прибывшие на родину предков едва ли не ради

этого крещения, меня сначала не полюбили, а потом смирились. Сашины родители — тоже, особенно после того, как я пообщался с батюшкой — настоятелем бывшей кладбищенской церкви, едва-едва приведенной в божеский вид, отцом Владимиром. Осознав серьезность наших намерений, отец Владимир меня благословил и пригласил нас приезжать с Саввой в следующее воскресенье.

Я взял с собой маленький серебряный крестик и иконку преподобного Саввы, давно привезенную из Савво-Сторожевского монастыря в Звенигороде словно специально для этого случая.

В ночь перед крещением я почему-то остался совершенно один в доме. И почувствовал настоящее ледяное одиночество, о котором так любил иногда говорить всуе. Не мог заснуть. Вставал, ходил по скрипучим половицам и учил «Символ веры». Задремал лишь под утро. И проснулся на мокрой от слез подушке. В этом пустом доме я впервые по-настоящему ПОНЯЛ, что Тани скоро НЕ БУДЕТ. И это было по-настоящему страшно.

Крестили не только Савву, но и еще пару разновозрастных младенцев. Отец Владимир был суров по части строгого следования обряду. Правда, «Символ веры» наизусть смогли прочитать только мы с крестной. Остальным, да и нам он помог своим хорошо поставленным голосом.

Выйдя из храма, я ненадолго взял Савву на руки — поздравить. И спокойно, уверенно и молча, ПОНЯЛ, что все — есть, а жизнь и смерть — лишь две стороны одной медали.

Дома я обо всем рассказал Тане — кроме, конечно, своих слез и ледяного одиночества. О новом понимании смысла жизни я тоже не решился сказать.

Зато Таня посмотрела на свою лимонную картинку «Утро в мандариновой роще», где были мы с ней, взявшиеся за руки, коричневый Бонд с проросшим цветком хвостом и Маша в виде полосатого тигра, и сказала:

— А пусть она называется «Райский сад».

Я согласился.

В последний день

За два дня до Пасхи Таня в своем ЖЖ выставила картинку с зайцами и пасхальным яйцом и написала:

«BCEX=BCEX=BCEX!

Поздравляю с наступающим праздником Светлой Пасхи! Хорошего настроения, любви и побольше солнца!!!»

Днем позже мне позвонил Сережа. Житейская жизнь — от него ушла Саша и уехала к родителям вместе с Саввой. Он хотел просто поговорить и, наверное, посоветоваться.

Мы встретились вечером в кафе на Пятницкой. Взяли чаю с пирогами. Говорили. Около девяти позвонила Таня, которая это редко делала в таких ситуациях:

— Извини, у меня кровь, приезжай.

Я мгновенно приехал.

Лицо у Тани было белым.

— Вот, кровь пошла. Диван испачкала. Завтра замоем? — спросила она, словно извиняясь.

Лучше ей точно не становилось, хотя я и держал ее всеми силами за руку.

К одиннадцати ей еще поплохело.

— Давай, я вызову «скорую»?

— Давай, — выдохнула она.

«Скорая» приехала быстро. Молодой врач, почти мальчик, крепко перебинтовал Таню и поверх бинтов замотал еще нашей свежей простыней. И вколол ей первый трамал.

Вместе с ним мы вышли на кухню.

— Мы, конечно, не можем отказать, если вы потребуете везти в больницу, — сказал мальчик-доктор и после короткой паузы, не побоявшись посмотреть мне в глаза, добавил: — Но речь идет о нескольких часах, хуже — днях.

— Вы отвечаете за свои слова, доктор? — Мы смотрели друг на друга в упор.

— Да, — кивнул он. Глаза у него были спокойными, но грустными по-настоящему.

— Тогда пусть все будет дома. Она так и хотела, — согласился я. И мне даже — страшно признаться — стало чуть-чуть легче.

— Выписки, как я понимаю, нет? — Я помотал головой. — Но вы не стесняйтесь, звоните в «скорую» — сколько надо.

— Хорошо, — сказал я.

Тане после перевязки и укола стало чуть лучше.

— Доктор сказал, что все очень плохо, — не стал врать я. — Я звоню Маше и сестре? — Таня кивнула.

Было около часа ночи. Но никто вроде бы не спал, словно ожидая моего звонка.

Я прилег рядом с Таней и взял ее за руку.

— А ведь я тогда чуть не умерла, — сказала она, — а ты меня один раз уже спас. Помнишь?

Помню. Тогда я тоже вызвал «скорую». И — вовремя. Таню в больнице увезли на каталке и сделали срочную операцию — все эти сложные женские дела.

Я, проникнув уже за приемный покой, ждал тогда доктора. И кидался к каждой каталке, которую вывозили или ввозили в лифт. Не помню, что это было — утро или вечер, выходной или будний день. Я принял за Таню пожилую женщину, до глаз укрытую простыней.

Доктор вышел:

— Все нормально, не беспокойтесь, все успешно, езжайте домой, завтра приезжайте. — Он назвал мне отделение, этаж и номер палаты.

— А можно мне — с ней, я заплачу...

— Не надо, у нас пока хорошая бесплатная медицина. А посторонним — не положено. — Он был уверен и бесприкословен.

Но я не мог уехать, не увидев Таню. Едва доктор ушел, я проник в служебный лифт и оказался на Танином этаже.

Я вошел в ее палату, дверь в которую была распахнута. Таня лежала под пустой капельницей, абсолютно голая, даже без простыни, и ее била не мелкая, а крупная дрожь, едва ли не судороги.

Я выскочил в коридор и заорал.

Примчалась дежурная сестра, сменила капельницу, мы вместе накрыли Таню простыней с одеялом. И уже никто не возражал, права не имел, чтобы я остался.

...Приехали Маша с Андрюшей, потом сестра Наташа. Мурзик, здороваясь с ними, пыталась улыбаться. И немного с ними поговорила. Задремала. Я лежал рядом с ней, скрючившись на диване так, чтобы ей было удобно. Но ей было уже все неудобно. К пяти утра она открыла совсем болящие глаза.

— «Скорую»? — спросил я. Она кивнула.

Приехал доктор без сестры. Посмотрел Таню, пощупал пульс. Он был, в общем-то, в курсе происходящего. И вколол ей трамал вместе с димедролом. Таня уснула и спокойно спала несколько часов. Маша с Наташей были в другой комнате.

Утром мы все вместе поговорили. Таня немножко улыбалась.

Сестра с дочерью ушли пить чай.

Надо было решать важные вопросы.

— Твою книгу мы назовем... «Мелк»? — вслух подумал я.

— «Мелк», — подтвердила Таня. — А свою книгу «Кто сказал счастье» ты посвяти мне.

— А кому же еще?

— Нет, ты посвяти ее мне, — попросила она чуть настойчивее.

— Да, — сказал я.

Под ее диктовку я записал в нашей телефонной книге логины и пароли для входа в ее электронную почту и «Живой Журнал».

Ей снова стало тяжело. Я вызвал очередную «скорую».

Приехали доктор с медсестрой. С оранжевым пластмассовым чемоданом. Они посмотрели на Таню и вывели меня в коридор.

— Выписки-то у вас нет, — сказал доктор.

— Мне что, идти сейчас аптеку грабить? — спросил я, едва не задыхаясь.

— Нет, извините, — они переглянулись, — сейчас все сделаем.

В середине дня Мурзик общалась с дочерью и своей сестрой. Даже глазам ее было больно менять угол зрения, но все же улыбка на совсем бледных губах выражала и некоторое недоумение по поводу происходящего — что это тут все вокруг нее собрались? — и мне даже ненадолго показалось, что доктор может быть неправ. Не совсем, а по части крайности сроков. Выйдя в коридор, я посмотрел на календарь, где теперь был записан телефон районного онколога — к нему я собирался идти с самого утра в понедельник и просить, требовать немедленного визита. Чтoб наконец у нас была эта самая выписка, а вместе с ней и возможность колоть настоящее, сильное обезболивающее.

Дочь тем временем послали в аптеку — за тем, что может вдруг срочно понадобиться.

Когда она вернулась, я с ней посоветовался на кухне. И потом пришел к Тане, рядом с которой сидела сестра.

— Как Гоша-то надывается, — глядя на птиц в клетке, проговорила Наташа.

— Он же — моя смерть, — сказала Таня, едва разжимая губы.

— Не говори такие вещи, Мурзик, — испуганно поежилась сестра.

Я встал перед Таней и спросил:

— Мурз, может, хочешь с батюшкой пообщаться?

Таня, как всегда, задумалась и ответила наконец спокойно-спокойно:

— Не настолько католичка, — и улыбнулась.

Дальше было все хуже и хуже.

Или я, или Маша, или сестра сидели рядом, держа Таню за руку. Ей было неудобно на просторном диване — под ноги ей мы поставили кресло. Еще раз вызвали «скорую». Они беспрекословно сделали ей укол. Таня подремала.

За руку Таню держала сестра. Когда мы с Машей вернулись в комнату, во все вмешался строгий Бонд: он мокрым своим носом отталкивал руку сестры, чтобы самому положить морду на Танину ладонь.

— Ревнует? — изумленно спросила Наташа.

— Наверное, да, — кивнул я.

— Суп, — сказала Таня, чуть приоткрыв глаза.

— Ты хочешь бульон? — спросил я. Таня кивнула.

У нас были крылья, и я поставил варить бульон.

Приехала еще одна «скорая». Нормальная.

Через некоторое время Таня проснулась, и мы все вместе о чем-то еще поговорили. Потом она впала в забытие.

Последнее ее слово было — сквозь сжатые от боли и холода зубы:

— Укол.

Я снова вызвал «скорую» и накрыл Таню еще одним пледом.

Таня еще поспала спокойно. Потом дышать стала тяжело и, чуть позже, легко, почти незаметно. Глаза ее были полуприкрыты, словно она еще хотела что-то увидеть и запомнить в этом мире. Детка сидела рядом с ней и держала маму за руку. Я ушел на кухню нервно курить.

Когда я вернулся, Маша сказала, переведя взгляд с мамы на меня:

— Посмотри, папа, есть ли у мамы пульс.

— У нее его никогда и не было, — сказал я, все же попробовав его нащупать на тончайшем Танином запястье с бледно-синими жилками. — Нет, Кис, нет у мамы пульса.

Я сходил в ванную и принес маленькое и круглое Танино зеркало, перед которым она обычно прихорашивалась. Зеркало не запотело.

— Это — все, — сказал я. И, подержав ладонь на ее спокойном прохладном лбу, закрыл Тане глаза.

Наташа заплакала.

Мы с Машей положили Таню поудобнее. Теперь она уже совсем была невесомой. Поправили одеяло и плед. Сложили руки на груди. Повязали ей на голову синий платочек — не как она сама, по-пиратски, а под подбородком. Я снял с ее правой руки часы. На них было без пятнадцати одиннадцать вечера Пасхальной ночи. Я остановил часы.

Через час пятнадцать Христос воскрес.

После времени

Мы сидели на открытой веранде дачи Кима в Переделкино, где прежде бывала и Таня.

Перед нами буйно росла и безмолвно шелестела августовская крапива.

— Вы только не трогайте ее, крапиву, Анатолий Андреевич, — попросил я.

— Да зачем же ее трогать? Пусть растет... — ответил он и продолжил, почти без паузы: — А смерть Тани была хорошей — вокруг самые близкие, любимые...

— Но что ж так рано-то? — с тихим недоумением спросил я, не столько Кима, а куда-то в бескрайнее пространство медленного летнего дня.

— А ты циферки-то не считай... — ответил Ким.

И еще спрашивал я дочь: снится ли ей мама?

Маша сказала, задумавшись ненадолго — совсем как Таня:

— Да, снилась, но все какие-то бытовые ситуации — мы идем с ней в магазин, что-то покупаем...

— А ты понимала, знала во сне, что мама уже умерла?

— Нет, не знала, все было обычно, будто мы просто с ней ходим по магазину.

— А потом? — почувствовал я что-то.

— Когда я еще не знала всего, я как-то попросила ее: заплети мне косичку!

«Не могу, детка, заплети сама», — ответила ей Таня.

После смерти, где-то между девятым и сороковым днем, мама приснилась дочери и сказала:

— Давай заплету тебе косичку!

— Ты же не можешь, тебе трудно.

— Теперь могу, — сказала Таня.

Господи, прости меня грешного.

Спаси и сохрани всех.

Сделай ей там хорошо.

А нам дай здоровья, силы и немного удачи.

Татьяна Морозова

За августом следует август

Повесть

Лучший возраст для женщины — тридцать четыре года. Я знала это так давно, что кажется — чуть ли не с младенчества, но в каком-то смысле и двадцать лет — младенчество, рождение нового человека из юношеских фата-морган и крайней горячности восприятий. Тогда, на южном пляже, белом от облученной крупной гальки, я неожиданно вскочила, взнеслась над текучими телами и произнесла пламенную речь, полную тире и восклицательных знаков, я пропела оду тридцати четырем, и восторг слов скатывался с гальки испариной согласия — природа согласилась со мной! мы пели в унисон, раскачиваясь под прекрасногогорькие волны... Не собрать тех красок и эпитетов, разобранных и усиленных пляжем, солнцем и прочими курортными аксессуарами, не собрать их, заставивших поднять головы тогдашних моих друзей — случайных и разных. Велика сила слова — только что недвижимые, как имущество, фигуры обросли глазами и выражениями: от изумления до сочувствия. И вот уже меня успокаивающе похлопывали, забалтывали, распаренные тела шевелились и даже казались живыми, они тащили меня в море, с излишней щедростью одаривали солеными брызгами, милые, они считали, что вода в сочетании с дружеским участием сможет отвлечь меня от мыслей и слов, пафос которых столь мало вписывался во внешнее легкомыслие мира.

Они, горемычные, так и не поняли, что я говорю всерьез. Зато это поняла я.

Я стала ждать своих тридцати четырех, как я ждала! Я обернулась просто какой-то функциональной единицей ожидания, все карикатурные влюбленные, поседевшие под неумолимыми часами, вмерзшие в сугробы лавочек, — жалкий треп районного идиота перед чистым звонким тенором моего ожидания жизни.

Те пустые, толстые годы ожидания можно сложить в огромные фанерные чемоданы, если, конечно, где-нибудь остались такие, защелкнуть на чемоданах неуклюжие громоздкие замки и выкинуть на самую далекую свалку, а можно эти годы не складывать в чемоданы, а просто дунуть на них, сильно дунуть! Уверяю, они разлетятся тотчас же, даже раньше.

Татьяна Морозова (1956–2011). Родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени Горького, семинар прозы. Владела многими профессиями: «продавец счастья», литературный критик-журналист, беллетрист, художник, спичрайтер, PR-менеджер и политехнолог широкого профиля. Рассказы выходили в «женских» и других сборниках («Новые амазонки», «Брызги шампанского», «Площадь свободы»), в журналах «Согласие», «Новая юность», «Сельская молодежь», «Литературная учеба» и др. Как литературный критик публиковалась в «Литературной газете», «Независимой газете», газетах «Сегодня» и «Алфавит», журналах «Дружба народов», «Новый мир». Темы: массовая литература (детектив, триллер, шпионский роман, мелодрама) и современная литература. В «ЛГ» выходила «Методика написания любовного романа». По четким канонам жанра написала мелодрамы «Три грации», «Парфюмерша», «Дочь президента». Занималась книжной графикой. Оформила книги: «Новые амазонки», Хаксли «Как вернуть зрение», Ефим Шифрин «Театр имени меня», «Энциклопедия. БАЛЕТ в историях, сплетнях и анекдотах», Игорь Кузнецов «Бестиарий». Участник многих международных выставок современного искусства, некоторые были посвящены ей персонально.

Это и есть, наверное, самое загадочное свойство времени, оно спрессовывается не по щучьему велению, а единственно — волевым усилием. Хотя каждый день неповторим, ярк и все такое прочее, замечательное и незабываемое, шумное и яростное, все равно череда этих дней слипается в один общий ком. И день разнится ото дня, как солнце и луна, как это ни тривиально, но годы — они все серы и однообразны, будто мыши, стоящие в долгой очереди к одинокой, желанной и достаточно хрустящей корочке. Так и мое время ожидания моего года стало чем-то и долгим, и легким, и быстрым, и сладким, и опять же быстрым, и мне было хорошо. У меня была цель. И потому уже я давала себе право быть, не то чтобы выше, нет, я давала себе право быть исключением. Не просто оттого, что обладала целью, как таковой, а лишь благодаря одновременной и абстрактности, и конкретности этой цели. Кто еще мог похвастаться этим? — молчание — вот правильный ответ на сакраментальный мой вопрос.

Главное в ожидании — не отчаиваться и не торопить. Вот сейчас, например, я тороплю — тороплю буквы, слова, фразы, слишком гладкие и оттого длинные, я тороплю их, чтобы поскорее вернуться, нырнуть в тот свой год, но торопить нельзя, иначе все мелькнет еще быстрее, захлебываясь, впопыхах. Ведь можно и пять жизней узнать за минуту, а можно пять жизней курить сигарету. В самом деле, отчего бы мне не выкурить сигарету? Пять жизней конечно же многовато, а вот сигарета длиною в страницу как раз самое надежное средство сбить взвинчивающийся темп, выбивающий русло из ритма.

Я большим и указательным пальцами разминаю это творение человеческого разума, я терзаю нежное табачное тельце и чувствую в нем на ощупь свой характер: мелко нарубленные представления и убеждения, стиснутые оболочкой приличия, воспитания, образа жизни, и где-то уже ближе к краешку неожиданно жесткая перпендикулярная палочка, прорывающая бумажную броню упрямо и остро. Ничего, надеюсь, такие маленькие дырочки, к тому же у хвостика, не помешают мне насладиться если не первой, то уж второй затяжкой — наверняка. Так и получилось: первая вышла пустым геометрически правильным облачком, вторую я смакую, выпуская дым узкой струйкой, вкус сигареты проникает меня, дурманит, создает ощущение нереальности: а что же здесь реального — сидит женщина на мятном диване, сложив ноги по-турецки, и курит сигарету?

Сколько их было, сигарет в моей жизни? — не счесть: были торопливые, одна за другой, нервные до тошноты, безвкусные; были рабочие, точнее, служебные, наполовину прогораемые, но каждая под свой особый непередаваемый треп; были пижонские американские, оставляющие недоумение в собственном их существовании; были жалкие измученные бычки, добытые поутру едва ли не из помойного ведра, — эти из самых вкусных; были и нежные, после бокала вина, когда чуть кружится голова, и ты изящно берешь эту сигарету, окружаясь, обволакиваясь загадочным ореолом кейфа; были томные, нескромные, прикуренные от мужской руки, чуть ли не от самой этой руки; сколько же их было? сколько будет? Я поддвигаю к себе пепельницу-ракушку и в ее скрученное существо стряхиваю пепел. Говорят, если ракушку приложить к уху, то можно услышать шум того дальнего моря, откуда ее привезли, я-то знаю, что на самом деле мы слышим шум собственной крови, но не одно ли это и то же: шум моря и шум крови?

Они летят мне в лицо, маскируясь дымом сигареты, — буквы, строки, знаки препинания; запятые застревают в волосах, мерцают там светлячками, таинственными и холодными, их зеленоватые блики, как неровный, неверный пульс, исчезают при малейшем неловком повороте. Я стараюсь не шевелиться, чтобы не расплескать, чтобы не утерять и не спугнуть их беззвучного перламутрового света, как быстро летит страница! еще больше половины сигареты впереди, или это только так кажется, что впереди больше? хотя все позади, все позади. Я сижу по-турецки в углублении

дивана, я курю первую сигарету моего тридцать четвертого года, наверное, оттого я так отчетливо помню, вижу себя, оттого фиксирую всякое подобие мысли, пришедшее в мою много- и расплывчатодумную голову.

Почему-то существует такое мнение, что Новый год — это грань, рубеж, перевалочный пункт. Но что такое Новый год? Некий искусственно взятый за брюшко день, взнесенный случайностью в символ, лично я никогда не держала его ни за что иное, как за красный день календаря — и только. У каждого человека есть свой Новый год — его день рождения, а применительно к моему случаю — ее день рождения. Седьмое сентября — мой день, седьмого сентября тысяча девятьсот лохматого года я сидела по-турецки на диване, курила первую сигарету первого дня моего года и думала: жаль, не в моей власти назвать этот год «международным годом меня», ведь бывают годы семьи, ребенка, молодежи. А я чем хуже, ну, к примеру, молодежи? Я курила уже поспешая, готовясь к прыжку, затыжному прыжку на кухню, ведь вечером ожидалась гости, шумные и прожорливые, среди них главный гость — Саша, милый живой подарок самой себе к долгожданному тридцатичетырехлетию; я была уверена, что нынешний вечер станет началом того, что вызревало и клубилось почти год, я специально не хлестала события по плотненьким гладким бочкам, поджидала свое время, караулила за дощатым, наспех выкрашенным заборчиком внешне казалось бы независимую дичь; у меня бережно и даже нежно хранилось в запасниках чудесное оружие — обаяние, а также мелкие преждевременные трофеи, как то: несмелый поцелуй, угодивший в челку, я отступила тогда, глядя снизу и подчеркнуто испуганно, одобряя себя со стороны; были некоторые почти соприкосновения, рождающие веские основания; был, наконец, взгляд — *такой* взгляд был один, но он перевешивал все прочие завоевания, как теперь я понимаю, и будущие тоже, то был взгляд удивления, желания, восхищения, как же трудно рассказать о нем! Я пытаюсь выдавить какие-нибудь хоть немного верные или близкие слова, преградой возникает четкое ощущение передвижения по очень узкому бревну, по одну сторону которого — цинизм, по другую — патка сентиментальности, я иду по призрачной границе, напряженно и осторожно перебирая ногами, но постоянно покачиваюсь, рискуя завалиться то в пошлость, то в слезу.

Я до мелочей помню те суетные житейские детали, предшествовавшие завоеванию этого главного приза в ожидаемой битве полов между мною и Сашей, уже тогда, в эйфории предвкушения своих сбывающихся предчувствий, я, наверное, понимала, что существует и вероятность проигрыша, и посему набирала запас прочности: Саша должен был уяснить, зарубить и все такое подобное, что я — ДРУГАЯ. Что я как минимум не похожа на всех тех женщин, которых он знал прежде, но мне и в голову почему-то не приходило, просто не могло прийти, что всякая женщина — другая. Да и мужчины, как это ни удивительно и даже, пожалуй, комично, бывают разными. То, что каждый человек — загадка, ребус, таинство и прочее, прочее, меня попросту не интересовало, загадкой была я, и тайной была я. Каких еще шарад мне не доставало? Я была тайной, и именно тайна была в зеркале в тот день августа, за месяц до моего старта, до дня начала битвы, зеркало и подсказало, как надо действовать. Причем немедленно — вот что пробормотало зеркало, я же привыкла доверять зеркалам, они всегда так приятно и так скромно льстили мне.

И я позвонила Саше, мне и в самом деле что-то нужно было передать ему, но в этом не было срочности — срочность пришлось изобретать. Мы договорились встретиться на троллейбусной остановке, но в телефонном голосе его звучало что-то непонятное, незнакомое, не то чтобы пугающее, но все же —стораживающее, некоторый металл, что ли, или отчуждение, отторжение, его голос не звал меня ни в голубые, ни в розовые дали, отнюдь. Но лицо, что я видела в зеркале, не могло ждать, на завтра бы оно стало иным, из него могла уйти та сила, которую я и собиралась

бросить в бой, я могла элементарно заспать собственную энергию, страсть и главный мой козырь — тайну, после годами тщетно дожидаясь намека на искру.

Только-только выйдя из троллейбуса, я поняла причину странного, чуть ли не злого голоса Саши — он был с подругой, своим звонком я вытащила его из теплой постели, оплота славных игрищ и утех. Но все же я не промахнулась, даже напротив: соединившись, моя назлектризованность и его злость, многократно усиленная посторонней (для меня) и заземленной эротикой, подарили миру, — да, впрочем, можно не скромничать, подарили мне, мне, именно мне — тот взгляд. И все же, все же я никогда не смогу рассказать о нем, мне не хватит ничего: ни... ни... ни... Вместо уклончивых отточий можно ставить разные слова, от самых трепетных и нежных до любых, и это будет верно, потому как ни на йоту не изменит сути.

Глаза у Саши были необыкновенные, вернее, один глаз — с кошачьим длинненьким зрачком, второй глаз, конечно, тоже имел честь, но зрачок в нем был самый обычный. Кошачий зрачок страшно хитрил Сашу, а он и так был достаточно хитрый, я бы сказала — мягко хитрый, особенно в разговоре — он так выговаривал слова, будто на ходу припоминал их, где-то записанные, мне всегда хотелось потрогать его губы, просто дотронуться пальцем, я предполагала их трогательно нежными, как у ребенка, так и оказалось, я узнавала все свои предчувствия в этот вечер, я видела легкие нити, светлые и светящиеся полосочки, возникающие между людьми, и от неловких движений или слов исчезающие, меняющие направления. Но от меня к Саше и обратно связь была настолько сильна, она столь превосходила наши силы, что мы не могли противиться и ждать. Мне стали неожиданно безразличны мои гости, хотя ради них я топталась весь день у стола, рубила салаты, пекла коржи, потом смазывала липкой сладкой массой, создавая торт, резала на мелкие части огромную вялую курицу с синим отливом, внутри которой неожиданно оказалось целых три сердца — кто бы мог предположить подобную пылкость в такой домашней и такой обыкновенной птице? Итак, мне стали безразличны мои гости, я передала бразды именинницы подружке, к тому времени достаточно пьяной, чтобы не сообразить, куда, собственно, меня несет, а нас несло.

Мы ехали в темном всепонимающем такси, Саша выскакивал куда-то звонить, вскакивал вновь в мое тепло, нас несло по сентябрю в квартиру его друга, безропотно принявшего ссылку гуляния.

Все происходило как во сне, почему-то в бешеной спешке-скачке, мы торопились подписать обязательства, зафиксировать наш переход в иную ипостась. В общем-то для меня это было не новое, я и раньше считала интимные отношения лишь констатацией факта, не получая от них ни малейшего удовольствия, о котором столько слышала да и читала. В тот сентябрь я открыла для себя новую дверь, которая прежде казалась мне придуманной, нарисованной на стене для красоты, для всеобщего несколько фальшивого умиления, теперь же через именно эту дверь я хотела пройти к Саше.

Мы разъезжались по домам, скорее растерянные, чем довольные, Саша сказал вдруг:

— Знаешь, так занятно, я даже ничего почувствовать не успел.

Я в ответ лишь усмехнулась, но как-то неуверенно, неловко, впервые, можно сказать, в жизни хотелось кому-то доставить радость, а вот, подишь ты, не смогла.

«Все впереди», — подумала я, и действительно все было впереди.

Прежде, до той моей пляжно-тронной речи, мне слишком часто казалось, что я не дождаюсь самого главного, чего-то единственно важного, остающегося немного впереди, но достаточно недоступного из-за вполне объективных преград, например, почти последней уходя из гостей, я с сожалением оборачивалась, вот-вот должно было начаться что-то такое, ради чего я и шла в эти гости, но уходить все же надо — метро не вечный двигатель, и так было всегда. Позже, гораздо позже, я поняла, что

ничего там, впереди нет, это мираж, фикция, примитивное шарлатанство, надувательство для слабонервных, все кончается именно тогда, когда кончается, даже немного раньше. Но тогда, в тот день моего рождения, тогда — все было и в самом деле впереди.

С того именно дня и начался мой звездный год, выжженный, взлелеянный, выдержанный и ароматный, как дорогое вино. Саша наполнил меня и уверенностью, и смятением, и сомнением, в каждой мужской фигуре на улице, в метро и даже почему-то на работе мне чудился он, и я вздрагивала от счастья и несчастья — это в тех случаях, когда как бы он был с женщиной, на работе же в каждой бумажке мой меткий глаз сразу отыскивал нужные буквы и слоги.

Работа у меня немного странная, нудная, томительная, но не утомительная — времени на размышления хватало, основными моими занятиями были такие телодвижения: перебирание пальцами бумажек, сортировка бумажек на разные кучки, а также проставление во все тех же бумажках точек, иногда запятых. Бывали на моей работе и авралы (как я их понимала), в этих редких случаях бумажки следовало перекидывать быстрее и вместо точек ставить крестики — удивительная запарка! Вот почему-то в крестах Саша появлялся чаще и мешал перекидывать листочки, цепляясь за перекладки, он останавливал мою руку и тихо говорил:

— Погоди, ну куда же ты, ну не спеши, полежи спокойно, не спеши, не спеши, не спеши.

Я ласково смотрела в хлипкие бумажки с разводами букв и цифр и улыбалась Саше, и пыталась задержать его руку, пока чей-нибудь голос извне не разрушал нашего уединения:

— Что-то смешное читаете?

— Да-да, смешное, — отвечала я, и в самом деле уже не улыбалась, а смеялась в лицо этим скучным пыльным бумагам, с которыми меня связывали тесные и теплые производственные отношения и к которым неким ловким хитроумным способом подверстывался мой Саша.

Встречались мы часто, почти всегда в квартире его друга, Саши, иногда тот бывал дома и почему-то несказанно удивлялся, обнаруживая именно меня. Может быть, он удивлялся, что Саша постоянно приходит со мной или — вот грустная мысль — что не только со мной.

К месту встреч я добиралась сначала на троллейбусе, потом пересаживалась на автобус, там, в пункте пересадки, и была наша первая точка пересечения — Саша ехал с другой стороны, но так вышло, что мы ни разу не встретились на этом с большой вероятностью совместном маршруте, лишь однажды, встав у первой двери автобуса, приготовившись к выходу за три остановки, я через стекло водителя во встречном автобусе увидела Сашу. Он стоял спиной к салону, лицом к стеклянному краю, лицо его было опущено, и нежность сжала мое сердце — он что-то чертил на пыльном автобусном стекле и улыбался. Он улыбался своим мыслям, потом он поднял голову вместе с этой своей безотносительной улыбкой и увидел меня. Я могла стоять так вечно, встретившись с ним взглядом через стекло, но он махнул мне рукой, мол, перебирайся в мой автобус, я кивнула, соглашаясь. На остановке я на мгновение замешкалась, упустив в результате оба средства передвижения.

Я стояла на сухом и пыльном асфальте опустевшей остановки, сентябрьское скромное солнце обтекало мою фигуру, я знала, что кажусь золотистой в его неверном свете, Саша смеялся, он взметнул ладони на уровень лица, удаляясь тремя светлыми неровными овалами в глубине консервной банки автобуса.

Наверное, это и было то, ради чего я скомкала, убила свои предыдущие четырнадцать лет — два человека, связанные солнцем, смехом и сентябрем, стремительно удалялись друг от друга, и ничто не могло сблизить их больше, ничто.

Сашин друг Саша нам радовался, несмотря на то, что в общем-то мы выпирали

его из его же дома, но у него были свои мощные проблемы и даже волнения. Дело в том, что Саша играл в спортлото, и был игроком фанатичным. Сомневаюсь, чтобы он выигрывал хоть сколько-нибудь крупные суммы, ему выигрыш был практически безразличен, по-видимому, Саше нравился, как в древнем анекдоте, шорох орехов. Ему даже снились цифры вперемешку с женщинами, до которых он, судя по глазам, был весьма охоч.

Как-то мы ждали Сашу, он опаздывал, и Саша посвящал меня в содержимое огромной амбарной книги. Величие Спортлото разворачивалось панорамой, и Саша был полководцем, он кидал цифры в бой и неизменно проигрывал, но в его одержимости что-то определенно было.

Сентябрь прыгал неделями как кенгуру, и я за ним кенгуренком, голенастым и несмысленным. Каждая неделя была — дни, каждый день был — Саша. Почему мне так до дрожи необходимо было знать, где он находится каждую минуту вне меня? Почему каждая встреча предполагалась мною последней и в то же время первой? Это предположение крутило мною и вертело по собственному хотению, по непоймешь-чьему велению, я толком не знала, какой хочу увековечиться в Сашином мире: смешной? умудренной? трогательной? радостной? беспомощной? сильной? трепетной? богзнаеткакой? Но увековечиться почему-то было необходимо, всякий раз я была не та, что прежде — и откуда такое берется в человеке? где сокрыты эти потайные карманы возможностей, у некоторых людей так и не обнаруженные? Неизменным во мне было одно: огромное количество нежности, накопленное годами, холодными пустыми годами, и вырвавшееся на волю, на простор, на Сашу. Иногда мне казалось, что это его пугает, что и говорить, человек как таковой лаской не избалован, а может быть, он принимал нежность за исступленность, наступал октябрь.

— Что ты молчишь? что же ты молчишь? расскажи что-нибудь, — просил Саша. Он расслабленно лежал, укрывшись простыней, я сидела рядом, разглаживая кожу его плеча. Мне было трудно говорить, точнее, трудно было начинать, требовалось сначала пережить тот наплыв, волну нежности, словно пришедшую из далекого моря, которое дало мне предчувствие этого завораживающего сентября.

— Сейчас, расскажу. Я что-то хотела рассказать, что же такое я хотела рассказать...

Мысли улепетывали, рассыпались по чужой квартире, обосновывались на безопасном от меня расстоянии, подмигивали мне хитренько умными цветными фразами, и я не могла протянуть руку к их шиворотам, я боялась спугнуть Сашино ровное дыхание, я старалась дышать в такт, как он дышал! Саша спал, я говорила о чем-то совсем не о том, я говорила о прошедшем лете, о безумных хозяевах снимаемой дачи, которые варили холодец из хлеба и костей и кастрюлями закидывали в глубокие рты, об их ночных скандалах и моих цыпочках, о том, как пьяный потный человек бил тапочками свою грузно хохочущую жену, о больных похмельных звуках и дотла избулькивающих чайниках. Почему я не рассказала о боли и радости в глазах от утреннего луча, проткнувшего единственное случайно чистое стеклышко террасы, почему не рассказала о предчувствии его, Саши, ведь любой человек более всего на свете любит слушать о себе, о себе, что же такое рассказывала я, что рассказывала я, разглаживая бархатное пятно его плеча, давно уснувшего под вибрирующую бесцветность моего голоса? Почему я не сказала ни слова любви, опасаясь этих звуков даже тогда, когда он спал и ничего не слышал, почему я боялась? почему я боюсь?

Я чувствовала, как он ускользает от меня, и я не знала, как удержать его, я не понимала, хотя нет, понимала, что это невозможно. Как огромная спящая рыба он уплывал всякий раз — то в сон, то в свою жизнь, пока наконец не уплыл навсегда, после этого «навсегда», точнее, в ожидании этого «навсегда» я впитывала его в себя, его запахи, его глаза и губы, это было невероятно глупо, но память означала для меня

тогда несоизмеримо больше, чем явь. Мне нужен был не Саша, мне нужна была память о нем. Почему? Не знаю, но это было именно так, и только так.

Именно из этой необходимости и родилась та приторная сладость его сна и путаных моих рассказов во время этого сна, именно перебор сантиментов, излишество слащавой, липкой интонации и могли сохранить абрис наших встреч в том далеком, неправдоподобном, восхитительном, волшебном сентябре.

Не знаю, правду ли говорят, что в октябре все кошки серы, но вот что все люди серы — это почти наверняка, вернее, почти все люди наверняка серы. Мой Саша не то чтобы посерел, но как-то поскущнел, поутих, поутих, мы встречались уже, дай-то Бог, лишь пару раз в неделю, в остальные дни я лихорадочно и весьма изобретательно придумывала причины его занятости, пытаюсь убежать мыслями о женщинах, но безуспешно.

Мне казалось, глупой, что у него, как это принято называть: «кто-то есть», я и не подозревала тогда, что такие вещи можно просечь сразу, шкуркой, с первого прикосновения, а все остальные подозрения и догадки — это так, песок сквозь пальцы, детки больной фантазии. Я могу даже с пьедестала опыта посоветовать сохранять спокойствие мнительным женам — все подозрения беспочвенны и пусты, если это подозрения, а не уверенность.

Мужчина в общем-то очень простое существо, его измены элементарно вычисляются при тепловом контакте, а также по выражению кошачьего зрачка.

Был разгар осени, середина октября, когда начались туманы и шуршание, запахи холода и опять же шуршание, в середине октября я поняла, что вот теперь точно: я не одинока — редкое чувство во все времена, но в данной ситуации не такое приятное, повторяю, я оказалась ревнивой. Саша был подчеркнуто нежен, целовал благодарно, да-да, именно благодарно, руки, он почувствовал, что я поняла, и благодарил за прощение — конечно, я простила его, к тридцати четырем годам я научилась этому хитрому действию. Я простила, но в душе моей поселился звереныш. Он скребся, вредничал, даже покусывал где-то в боку, звереныш этот прозывался: мысль об измене ответной. Вот глупость неистребимая, человеческая — почему нам кажется, что если обидчику отплатишь тем же, то в сердце зажжется сиреневый, искусственный факел счастья?

Волоокий красавец-эстет Оскар Уайльд проповедовал своими героями: лучший способ избавиться от искушения — уступить ему, и я решила последовать этому сомнительному тезису, оставалось лишь выбирать партнера, я могла выбирать, ведь это был мой год, мое счастье.

На работе за мной присматривали, без особых, правда, надежд, два аспиранта, одному была нужна помимо меня лично прописка, другому скорее все же женщина как таковая, оба ничего не получили — роман на работе? этого делать не стоило, служебное пространство предназначено было к роли все же тихой пристани, а не сосуда для кипения страстей, к тому же в общественном транспорте я пользовалась бешеным успехом. Ни дня, как у Олеши без строчки, так у меня без поклонника, иногда они казались не столь противными, как с первого взгляда (в транспорте все люди противные). С Сашей я познакомилась в метро.

Мир полон символов и знаков, нужно только уметь их распознавать, а уж известные, прижатые к стенке, они помогут убежать тех капканов и ловушек, которыми мир столь же полон, ничуть не в меньшей мере. Да и сам мир есть не что иное, как знак — знак символов. Знак знаков.

Этот день середины октября так и начинался — под знаком Показателя. Почему я этого не распознала, почему не заползла во временную щель, в укрытие? — ведь именно показатель вышел мне навстречу в то утро в сером мокром тумане, он шел мне навстречу силуэтом, я не увидела, а скорее почувствовала движение, которым он откидывал полу плаща. А уж после услышала его звонкое: «Ты только посмотри, какой

красавец!» Обычно показатели бывают более осторожны, они предпочитают делать сюрпризы, не предупреждая, чтобы женский взгляд случайно наткнулся на обнаженный главный отросток их тела, но у этого, видно, что-то свербило, потому он и осмелел, рекламируя вслух свой экспонат. Это была даже не животная, а растительная гордость, так, наверное, вызывает ко вниманию кактус, выбросивший неожиданно на свет дня яркий недолговечный цветок.

Глупый, глупый, бедный больной показатель! Я со своим убогим зрением и самого-то его видела смутной фигурой в тумане, так что зря он надеялся, зря гордился, в равнодушную пустоту канул его болезненный крик, не крик — стон: «Ты только посмотри!» Но был он — знак, я поняла это гораздо позже, вспомнив вдруг его звонкий от волнения голос, отчаянный и дикий звериный призыв.

Именно в тот день на потребу прожорливого злобного и ревнивого зверька во мне я и познакомилась с Сашей.

Всех нас в детстве пугали. Дети — бесстрашный народ, их можно либо перехитрить, либо припугнуть воздействием неких неведомых сил, все равно каких, лишь бы достаточно неведомых. Большой популярностью пользуются дядьки с мешками, милиционеры с палками, бармаи, ежики в подвале; одна моя знакомая двух лет от роду боялась лошади, которая могла прийти (даже не приходила, а только могла прийти) и укусить за попу. Удивительно действуют и малопонятные имена собственные и аббревиатуры типа вандербильд, ВНИИСИ, АХО и другие.

Сашу из метро в его розовом детстве родители-остряки запугали перспективой стать перпендикуляром, о чем он мне с тревогой поведал чуть ли не в первые интимные минуты, вся его жизнь была посвящена одному «не» — не стать перпендикуляром. Стоит ли говорить, что он был типичнейший перпендикуляр, то есть — всем перпендикулярам перпендикуляр! Его молчаливость, поначалу кажущаяся вдумчивостью, обернулась элементарной тупостью, спокойствие обрело очертания полной пустоты сосуда, обычно называемого головой, наверное, я чересчур резко оцениваю его, пытаюсь тем самым отомстить за то, что воспользовалась им в своих не слишком-то благовидных целях.

Я им воспользовалась и, естественно, он был в этом виноват, а вы как думали? — то-то же.

Удивительное чувство — гадливость, меня до сих пор передергивает наискосок от воспоминания об этом Саше, просто сводит челюсти в порыве расплющить их друг о друга, хотя прошло столько лет, что ни в сказке сказать. Тем не менее звереныша я прибила, на подвиги меня больше не тянуло, я смиренно ждала Сашиных возвращений, и он возвращался, каждая встреча казалась мне еще более последней, чем прежде, но я все глотала, причем жадно. Мне нужен был только он, а ему была нужна не только я, а после уже только не я. Дело, оказывается в том, что ежели раз тебе изменили, а потом — два, то тут уже остановки не будет. Не бывает, вот что печально.

И если годы ожидания слились в один громадный серый клубок, то каждый день ожидания в моем году высвечивался особым образом, я могу по пальцам перечислить все дни, все часы ожидания, выпавшие на этот год моей жизни.

Я крикнула:

— Саша! — и выскочила на улицу, как была одета на работе — в летних туфлях, водолазке с короткими рукавами, легкой юбке. На улице было холодно, начинался ноябрь, а топили уже вовсю, я увидела Сашу через стекло, он шел мимо здания моей работы, я на мгновение отвлеклась от своих палочек, где его имя скорее тлело, чем пылало, и через толстое двойное стекло увидела его. Я увидела его тем желтым утром начала ноября, которое вполне заслуживает особого почетного места в череде дней ожидания в году имени меня.

Все знают эти четкие желтые дни конца осени, когда деревья графичнее графики, когда редкие острые снежинки-точки не падают, а пересекают, когда люди бегут,

вдавливая шаги в трассу бега под углом шестьдесят градусов к асфальту. И солнца нет в эти дни, лишь болезненная желтизна, прозрачная — сверху донизу, с позднего утра и до раннего вечера, когда вдруг мгновенно становится темно, черно, а в черном воздухе все бегут и бегут углы, а злые точки жалят их лица. Вот в такой желтый день, желтым утром я и увидела его.

Он прошел за стеклом, сжимая плечо под тяжестью сумки, всеобщая желтизна не коснулась его, он был, как и я — за стеклом. Я выбежала и крикнула, но получилось, что чуть ли не шепнула:

— Саша!

Он обернулся, приподнял левую бровь — это был не он. Не Саша стоял и вопросительно смотрел на меня светлыми серыми глазами, вдруг какое-то подобие узнавания мелькнуло в его взгляде, но я... Я так странно и бесповоротно запала на своего Сашу, что никакой посторонний, даже с такими знакомыми серыми глазами и таким близким лицом не мог тронуть меня.

— Простудитесь, — сказал лже-Саша.

— Извинитею. — Я с трудом улыбнулась и сделала вид, что не увидела его жеста, жеста, которым он подтверждал, что именно он мой Саша, а вовсе не тот, которого я хотела увидеть в нем. Отчего, отчего я этого не поняла? — да что уж тут!

Я шла обратно, мерзкий снег обгонял меня и жалил мое мокрое сморщившееся от обиды лицо, я чувствовала спиной его взгляд, но — тщетно, стекло было разрушено, я уходила к своему ожиданию, сжимая в пальцах осколки разбитого стекла, чтобы разглядывать их украдкой, если слишком долгим покажется день. Как рассказать о любви? А КАК ВЫСЛУШАТЬ?

Стекло, именно стекло и стало символом, олицетворением нашего с Сашей поединка. Но не столько хрупкую и неуверенную неопределенность наших взаимоотношений я имею в виду, нет, я уже говорила о том, что хотела непременно запечатлеться в Сашиной памяти. А как? — именно такой окантованной высокохудожественной акварелью, нет, все же строгой графикой, не допускающей двусмысленных толкований ни в ее праве занимать почетное место на лучшей, освещенной стене в доме, ни в собственно художественной ценности убранного за стекло произведения высокого искусства. Но помимо того, я хотела и Сашу самого застеклить и опять же окантовать, сделать из него трофей, особо почетный, особо важный в моей главной в жизни коллекции. Главный Саша моего главного года, так я определяла бы его место. Да, именно: главный Саша главного года. И точка, безо всяких там запятых. Точка за стеклом.

И вот наступил иной день, день самого начала ноября, преддверие каких-то сомнительных праздников, я отказывалась от всех приглашений, имитируя сверхзанятость, на самом-то деле я боялась пропустить Сашин звонок-вызов, я обнимала телефон, выпуская сердце, бешено дробящееся от каждого шороха, это было состояние еще то, я даже ночью вскакивала от кажущегося звонка, конечно, он позвонил — не мог не позвонить.

Мы встретились не у Саши-спортлотомена, а на автобусной остановке, почему-то нужно было погулять минут сорок, прежде чем погрузиться в изведенное тепло, Саша приехал чуть раньше, он стоял в углу прозрачной клетчатой остановки в незнакомом мне, видимо, новом пальто, длинном, черном и мягком, — почему я не приняла этот материальный знак расставания? ведь это был уже не мой Саша; я уткнулась в отворот драпа, я веселилась и расслабилась (дура! никогда нельзя расслабляться, никогда, понятно?), я рассказывала-трещала о какой-то своей не то удаче, не то сверхудаче — это уже забылось, что такое удача? оказалась минутной, а вот осталось что-то совсем в тот момент не волнующее — Саша был пьян. Пил он редко, иногда мы вместе распивали бутылку сухого вина, и он становился смешным, беспомощным, говорил путанно и откровенно о всякой ерунде, так всегда бывает с редкопью-

щими людьми — они не обсуждают долго и тягостно мировые философские проблемы, а болтают невзвешенно что про невзвешенно что. Он был пьян и словесно добр, это радовало меня, мы болтали и болтались нужное время по противной улице, выжидая, когда в наших окнах погаснет свет и тем самым мы получим право вновь зажечь его (ох уж эта бесприютность! однажды, возвращаясь поздно, мы ловили машину, любую, хоть хлебовозку, проехал фургон, мы махнули ему прохладными ручонками, из окошка кабины на нас глянул дядька и покрутил пальцем у виска — это была вытрезвительная машина).

Мне кажется, что Саша был груб в ту последнюю встречу именно из-за глупости всей ситуации — он позвонил мне, потому что был пьян, он был влюблен в другую, но та была далеко, а он был пьян, я же сидела у телефона — я всегда сидела у телефона, я приехала сразу, мы ходили сорок сырых минут по улицам, а он уже собирался жениться, почему же я, такая умная и проницательная (по глубокому моему убеждению) не поняла тогда, что вот она — последняя встреча, заверните с собой, пожалуйста. Почему неделями ждала его слова? Он был тогда пьян и груб — поэтому мне казалось, что будет продолжение, не могли же мы так просто расстаться?

Я, повторяю, знала о существовании соперницы, более того, видела их вместе, но не приняла всерьез, я и прежде, до моего года, видела Сашу с женщинами, у него был странный вкус, из круга которого я выпадала, ему нравились женщины-продавщицы. Не по профессии продавщицы, не по социальному положению, а по типу. Такой внешне чуть вульгарный тип — либо близко посаженные глаза и сильно накрашенный большой нос, либо вздернутый веселый нос и чрезмерно пухлые чувственные губы, конечно в моем описании присутствует капля яда, но, честное благородное, самая крошечная. Это могли быть исключительно замечательные и замечательно исключительные женщины и девушки, я же говорю только про внешность. Сашина невеста была именно такого типа, хотя и чрезвычайно мила в основном за счет молодости. Не знаю, что ждало их впереди и сбоку, она смотрела на Сашу не так, как смотрела я, то есть не как на равного, нет, он был для нее героем романтической сказки — самый большой, самый талантливый, самый красивый, мужчины чрезвычайно падки на лесть и на такие снизу вверх взгляды, я же была для Саши слишком умудренной, к тому же он меня, увы, не любил, но не такой я видела нашу последнюю встречу — наверное, он исчерпал отмеренные на меня припасы нежности, один же в поле не воин, а в любви тем более.

Когда наступает осень, настоящая бессветная поздняя осень, с низкими пористыми туманами, с настойчивыми запахами разбухших лавочек и жидкой грязи, когда наступает такая осень, все предыдущие времена года исчезают напрочь, исчезает даже воспоминание о них, словно их просто не существовало. Кажется, что всегда была, и есть, и будет только она — осень. Да что там кажется — так оно и есть!

И все-таки это был чудесный ноябрь, впервые он обернулся не месяцем депрессий и самосгрызаний, сначала я ждала, потом постепенно перестала ждать, но я жила, ясно видела каждое проявление жизни и в сырых, пахнущих тлением листьях, и в брошенных полудиких собаках, роющих осенние помойки, и даже в противном колком снеге, сначала кусачем, затем склизком, причем неизвестно еще, какой вариант осадков лучше, и какой, соответственно, гораздо лучше; впервые за тридцать четыре года я в неприятном находила радость, причем вовсе не мазохистского толка, отнюдь, просто я осознала, что это счастье — счастье просто идти по улице, выпрямив дугу плеч, счастье чувствовать себя, именно элементарно чувствовать себя.

И на вопрос:

— Это ли настоящая жизнь?

я просто и без ухмылки могла ответить:

— Да, это настоящая жизнь, — и никакие философские проблемы типа «а что есть жизнь вообще» не трогали меня — мой год, мой. Личная собственность.

Даже мировые катаклизмы стали волновать меня, я почувствовала свою причастность и к вечноборющимся народам прекрасных и теплых земель, и к долголетающим космонавтам, и к упитанным сторонникам чего-то того, что кем-то почему-то запрещается.

Но — прошу не путать — не я была частичкой этого мира, а наоборот — весь внешний мир чудесным образом угнездился где-то на окраине меня. Я не отторгла его, пустила пожить к себе, пусть согреется немного у домашнего очага — так думала я, смотря в волнуемый экран телевизора и кутаясь в клетчатый плед.

Я стала доброй и обильной, работа меня не утомляла, я обнаружила нечто симпатичное в этих точках, галочках, палочках, помимо ускользнувшего Саши, некоторую, что ли, завораживающую бессмысленность абстракционизма, я мирно беседовала с сослуживцами о погодах, квартирах, детях, болезнях, модах — мирно и ласково и немного свысока — я имела на это право; я так долго ждала своего года, что научилась отличать настоящее от преходящего, и собеседники мои не могли не ощутить этой силы и уверенности, умноженных на всемогущее время, ноябрь скулил, как лопухий голодный щенок, на исходе его я познакомилась с Сашей.

Боже, как он был смешон мне — старой, толстой и уверенной в себе женщине, дело в том, что Саше было — ужасно хочется сказать, что пятнадцать, но нет, все же двадцать лет, он был младше меня почти на пятнадцать, кто бы поверил? Такой прыжок сквозь ожидание! Это пока еще простейшее и беззаботное существо словно бы специально подрастало и мужало, вполне, впрочем, относительно мужало, все те заживо спрессованные годы, принесенные в жертву одному, главному, центральному году, чтобы выплыть таким жизнерадостным презентом прямым в мои готовно подставленные ладони.

Саша был чей-то не то брат, не то кузен, шустрый и веселый, он влюбился в меня моментально, в его возрасте все именно так и происходит: за секунду и на всю жизнь, я жалея его, я почти не помнила себя в двадцать лет — только, пожалуй, раскаленный пляж и песнь обо мне нынешней, я вспоминала тот возраст как удивительный, легкомысленный и глупый, но Саша не был глупым, он был — никаким, вернее, он пока был никаким. Материал. Исходное сырье.

Я могла бы сделать Сашу человеком, подтянуть за шиворот немного вверх, нашинковать собственным опытом, насильно ускорив путь его естественного развития, но у меня не было времени отвлекаться на такие, в общем-то, посторонние предметы, шел МОЙ год, и время было МОЁ, как я могла отдать его Саше? Я так долго ждала.

Холодные деревья декабря плели свой хоровод вокруг меня, сначала я петляла, как неловкий заяц, путающий не то следы, не то сам себя, но после сдалась — зима все-таки наступила. Несколько раз выпадал снег, не тот колючий снег осени, а настоящий, пышный и с первого прикосновения даже теплый, такой вот обманчиво-прекрасный воздушный покров, который несколько раз исчезал, истаявая, пока, наконец, не утвердился окончательно в своих всепризнанных правах, это и в самом деле была зима.

Как быстра и монотонна жизнь, она ухитряется проскакивать через месяцы, как через лужи, не оставляя ни зацепочки воспоминания, ни оттенка, ни пылинки, остаются лишь сны, они остаются, чтобы прийти вновь мутными и узнаваемыми лишь в самих себе; мне снился мой неверный любовник. Я смотрела в кошачий зрачок и говорила «люблю», и ощущала вкус этого странного незнакомого слова, немного кислый, что ли, тревожный, как в батарейке, когда трогаешь языком ее хвостики, но не было у слова ни цвета, ни запаха, ни даже звука, был только вкус, — как же могли мы столь действенно обняться, если это был сон?

В конце того длинного, длинного и незнакомого коридора, который мне не было суждено увидеть наяву, стоял Саша, я шла к нему, ощущая вкус «люблю», ноги мои едва передвигались, а Саша вместо того, чтобы увеличиваться в размерах по мере приближения, напротив — уменьшался. Он уменьшался до размеров своего странного дикого зрачка, которому я и выдыхала, нет, не выдыхала, я передавала ему вкус этого самого, прежде совсем незнакомого, как оказалось, слова.

Сны занимали мой декабрь (ноябрь истек кровью), сны и Саша, чей-то кузен, обжигающий печалью воловьих взоров, шел тридцать четвертый год от рождения меня, — какие могли быть сны? Опомнитесь, какие сны!

Я жила на полную катушку, я неслась вдоль по Питерской, забыв о невзгодах, неурожаях и комплексах, я купалась и нежилась, в конце концов меня обожал чудесный мальчик Саша, только-только с парниковой грядки, специально для нас возвращен и выпестован, — смешное, а для кого-то и очаровательное дитя.

Он спешил жить, мой маленький Саша, не зная еще, как долгие и отчасти зануден мир, он спешил и в так называемой любви, считая ее спортом, зарядкой, самоутверждением. Мы расходились в темпах, я хотела пристально наслаждаться и дегустировать, а он суетился и пил коньяк стаканами, к тому же одноплановое очарование и бесхитростная простота юности, ее прозрачность, не замутненная и каплей опыта, быстро утомляет, пусть юность любит сама себя, разглядывая часами в зеркале повороты шеи и взмахи ресничного шелка, Сашу я достаточно бесцеремонно отодвинула, месяца ему вполне хватило, чтобы наиграться в роман с тетушкой. К тому же какая-то пыльность была в нашем свежеевыпеченном, так сказать, романе.

Этот на первый взгляд горячий, пылкий, чудовищно молодой Саша иногда казался мне едва ли не старше самой меня, в области чувств уж наверняка, он был из другого, следующего за моим поколением, из поколения, которое ухитрилось проскочить так называемую зрелость. Из юнцов подобные Саше сразу, как в темный и приятный омут, прыгали, ныряли в старость.

Или это мне так казалось, ввиду моего личного и абсолютно нетрадиционного опыта консервирования времени собственной жизни.

Проходила очередь декабря, мерзлые деревья, казалось, стали освобождать меня от своего унылого короткодневного танца, когда из нафталина и пыльных занавесок материализовался унылый по форме и темпераментный по сути Саша. Такие вот нудные Саши присутствуют в самых разнообразных местах в огромных количествах. Неприметные до поры, они выбирают удивительно точно и метко момент, в который именно и следует впиваться в жертву, в них есть недюжинные задатки вампиров, но Саша и не подозревал, что встретил меня в такое время, что ему самому придется удовольствоваться ролью жертвы. Двух победителей не бывает, а свое место я ему уступать и не собиралась.

Иногда Саша вдруг вопил «Молчать!» просто так, но громко, это, как правило, означало, что у него хорошее настроение. Привычка эта, видимо, укоренилась у него помимо воли, Саша был в некотором чине и руководил солдатиками в какой-то несложной московской армейской жизни. «Молчать!» впиталось в стены комнаты, где он жил, и существовало вполне самостоятельно и обособленно, пугая меня — я не всегда могла понять откуда идет этот милый незатейливый приказ — то ли непосредственно от Саши, то ли просто мечется по комнате неприкаянное слово, ища и не находя выхода. Саша как-то странно поначалу подчинил меня, не то чтобы напрямую подчинил, скорее, я позволила ему так считать. Я как бы немного расслабилась и легла на поверхность воды, а течение несло меня и несло, я раскинула руки и чувствовала, как мои волосы мягко и послушно обтекают лицо, а там вдалеке, вне возлюбленной воды что-то бубнил, жаловался, ныл и кричал Саша.

У него было какое-то космическое количество комплексов — от величия до совсем наоборот. Бравидуя своими трагическими обстоятельствами, он вытягивал

мне душу по ниточке, ну это, конечно, преувеличение, скажем так: он мог бы мне вытянуть душу по ниточке, не будь я невероятно сильна в тот момент, сильна настолько, что это ощущалось прямо-таки физически. Принимая ванну, я видела, не ощущала, а именно видела, как идут от меня пузырьки-токи, как чуть ли не закипает обнимающая меня вода, поднимаясь по всем нужным правилам на уровень «вытесненной мною жидкости». Наивный, он не знал, как глубоко безразличен был мне, так и не поверившей в свое фиаско в первой важнейшей кампании года. Да и трагедия Саши, о которой он плел мне бесконечные и многозначительные сначала намеки, а после уж и саги, казалась мне не столь уж непоправимой — от него ушла жена.

— Любимая жена! — кричал он мне, но я не могла его понять, точнее, я не могла понять, почему он рассказывает это мне. Может быть, я ему казалась идеальным слушателем? или мое равнодушие он принимал за сочувствие?

Новый год мы встречали вместе, сначала у него дома выпили шампанского, потом прослушав символическое пикиканье, поехали куда-то в гости. К этому моменту, ненадолго смирившись с вырвавшимся «мы», я уже чувствовала себя посторонним человеком. Я стала она. Куда же она едет, думала я, куда она едет, когда кругом столь все зыбко, что не стоит труда ни жить, ни тем более думать? что же это она? И кто этот человек рядом с ней, кто, откуда и зачем? Не говоря уж о почему.

В такси я сидела, вытянувшись вперед, будто выискивая некий смысл в аккуратном затылке пожилого шофера, Саша что-то говорил и говорил, говорил и бубнил, пытаюсь стать главным в моей отстраненности, или хоть каким-никаким бочком в нее втиснуться, но тщетно, ничего у него не выходило.

— Ты меня в новом году еще и не поцеловала ни разу, — донесся до меня очередной Сашин бубн, и она изумилась.

Двое совершенно чужих людей ехали в такси — о каких еще поцелуях можно было твердить? Да и людей-то этих и не было вовсе, был лишь стриженный затылок немолодого, много повидавшего затылком же человека. Может, это и есть единственно верное видение жизни — затылком?

Там, куда мы приехали, было еще хуже, потому что шумно; нереальные, неестественно нарядные люди пили, смеялись — неужели и вправду им могло быть весело? Я заперлась в ванной и, разглядывая свое бледное лицо в овале незнакомого зеркала, поражалась собственному спокойному отношению к произошедшему со мной раздвоению на «я» и «она».

«Да, только так и нужно», — подумала я, и она танцевала, хитро поглядывая по сторонам, рассматривая таких же хитреньких приплясывающих людей, я знала о них все, собственно, знать о них достаточно было и одного — это были не они. Это были шумные тени, с нелепыми и острыми конечностями, я смотрела на них, но замечала лишь цветные пятна, как сам Саша был для меня тенью, эпизодом, сменой караула, так и они были тенями тени. Уточню: не для меня все же — для нее. Может создаться ложное впечатление, что она отделилась от меня спьяну, это вообще очень присуще алкогольной эйфории — переход с первого лица на третье, но нет, Новый год кончился, а ничего не изменилось. Я отошла в сторонку и, как пионер-юннат некогда наблюдал за единственной в живом уголке морской свинкой, так я наблюдала за ней. Наблюдение велось просто, да и не отличалось ее поведение особо изысканными ходами: работа, магазины, ужин, вечер, Саша, «Молчать!», остатки ужина, пробежка домой, работа, замкнулось. Сколько так длилось — бог весть! Разбудили меня Сашины стихи.

О! какие Саша писал стихи — длинные и о горечи, горечь выпирала из него рудиментом, ее пафос пугал чисто физическими размерами, этот обоз тоски и горечи Саша с горькой же улыбкой попытался возложить на мои, пусть и не слишком хрупкие, но все же женские плечи. Даже умиротворенная, я испытывала буйное желание дать Саше по уху, желание, которому не суждено было сбыться ввиду моей

абсолютной неопытности в столь благородных делах, к тому же я забеременела, очень этому факту удивившись.

Но это чуть позже, а сначала был январь, месяц холодов и повышения личных температур, я закручивалась сверху донизу шарфами и все равно успевала замерзнуть в пятиминутных переходах от Сашиного дома к метро и затем от метро к своему дому, тем приятнее были обязательные ваннные процедуры и обязательные тридцать семь и две на ртутном столбике горячей стеклянной ампулки. Наверное, я слишком большое значение придаю формам времени, его столь условному делению на времена года и месяцы, но только в январе, причем учитывая новоприобретенный опыт раздвигания, ни в каком ином месяце, только в январе смогла я понять, какими видела людей. Я видела их изображениями художника-примитивиста: достаточно верную, но удивительно плоскую, где-то округленную, где-то удлинненную вереницу, не имеющую понятия о перспективе; двигалась и меняла ракурсы лишь одна я, примеряя остальных к себе по мере надобности, то пристраиваясь мимикрирующей особью в плоскую очередь, то отступая на полшага в сторону и разглядывая недавних соседей извне и немного брезгливо.

Только январь с его сухим солнцем, Рождеством и Крещением, солнечными морозами и паутиной в углах оконных стекол мог натолкнуть меня на мысль подумать о людях, причем о людях не по отношению ко мне, а как о таковых, как о данном и реальном. Как о живом.

Я лежала на диване, не на том диване, где в дальнем начале сентября я выкурила первую в году сигарету, тот диван был посмешнее и породнее, я знала все его бугры и вмятины, я лежала на Сашином диване в его комнате, шуршала ухом о комки пледа и любила людей.

ПРОСТО ЛЮБИЛА ЛЮДЕЙ. Я пухла от любви, жалости и слез. Я любила всех людей, кроме одного, кроме того, который сейчас придет, откроет дверь, захочет есть, наверняка что-нибудь скажет, что-то невероятно умное и оригинальное, например он скажет «Молчать!», я буду теплой мышью сидеть в углу дивана, забившись в плед, и сначала посмотрю на него глазами лермонтовской Бэлы, а потом скажу что-нибудь очень нейтральное, обязательно скажу, я всегда что-нибудь говорю...

Он чаще всего говорил о деньгах, как-то приятно сочеталось — печальные, претендующие на трагичность стихи и деньги, дело в том, что печали хватало, а денег — нет. А кому, извините, хватает? Эти казначейские фантики, фунтики, сырье для бумажных корабликов — стоят ли они слова? Нет, без них, конечно, без них как же, куда же и на чем? Но слова они не стоят, деньги они деньги и есть — не меньше, но и не больше, эти вечные перекручивания, заемы, скучно!

Прошел январь, пятая, черная костяшка на счетах моего года.

Малютка-февраль подоспел вовремя, он снежной пылью снес, смел все солнечные помыслы января, толстая скромная мышка в углу дивана развернула плед и понеслась на волю, показав прежде отдыхавшие зубки претенциозному поэту трагического жанра, не ожидавшего такой прыти от скромной девушки, часами выслушивающей его стенания и приказы. Странно, но совсем забылось, умерло то, что все-таки связывало нас — любовь наша была слишком уж односторонней, поэтому нелюбовь столь бесповоротно и выиграла у постели. Положила на обе тощие лопатки, причем без особых на то усилий.

Саша постоянно звонил мне, он не понял, что его месяц прошел, ангажемент не продлен, что его уже не хотят, это, видимо, вообще туго доходит: как это? не хотят? кого? меня? да быть такого не может! — а вот может. Он звонил и говорил трагично, трубка телефона холодела от сочувствия, он говорил:

— Ну, здравствуйте.

И замолкал, требуя немедленного отклика, — девичьего щебетания, что ли?

этиких успокоительных рулад и пассов? Я подло и нудно держала паузу, а затем все же снисходила.

— Привет, — говорила я, дальнейший разговор шел приблизительно столь же содержательно и экстравагантно. Изредка я позволяла себе хамить, но так, чуть-чуть, не напрямую, а в тоне; в этих длинных, в отличие от февраля месяца, разговорах интересно было лишь то, что мы вдруг потеряли имена, точнее «вдруг» относилось только к нему, мы стали местоимениями, бесполоыми и невнятными, словно за спинами стояли ревнивцы с ружьями наизготовку. А может быть, это была такая утонченность вырождения, вырождения нашего сосуществования, мы стали безличными, вяло, но все же противоборствующими силами. Таким вот выдался телефонным короткий месяц февраль.

Но все-таки я еще раз, уже последний, встретила с Сашей, его телефонные атаки настолько выматывали, что я решилась на ближний бой, который самим фактом своего свершения завершил наше затянувшееся и оттого бесконечное па-де-де.

Он ждал меня на станции «Маяковская»; среди колонн его можно было и не заметить, я опаздывала, он исследовал тупую часть станции и думал... нет, он не думал, он просто ждал, натываясь взглядами на чужие взгляды. Это была встреча как бы из другой книги, книги абсолютно иного жанра, я приехала после месяца чего-то вроде разлуки, — да впрочем, какой там разлуки? — после месяца глупых ночных телефонных разговоров, когда я что-то устало и тихо отвечала из-под одеяла, а он пьяно кричал-требовал, чтобы я приехала тотчас же, немедленно, или наоборот — тяжело молчал, а однажды он спросил утвердительно:

— А тебе не кажется, что мы больше никогда не увидимся.

А я ответила:

— Не знаю.

Я всегда так уклончиво отвечала, это Саша любил четкий раздел на белое и черное, я же предпочитала полутона, размытые переходы из одного серого в другое. Это был серый февраль, и Саша был серым, и он не хотел понимать, что я уже вычеркнула его из своего года, что он уже чужой, да и был всегда чужим, даже тогда, когда я усиленно пыталась заполнить им солнечную и оттого обманчивую пустоту января, прозрачность этого месяца и приземлила меня, в честном же, продуваемом всеми ветрами феврале меня уже было невозможно провести, не стоило и пытаться.

Я вышла из вагона — и тотчас отяжелели веки: я увидела вечно недовольную, плотную фигуру, широкие, полосами губы, унижительно маленький, как мне казалось, для мужчины нос, поднятый ввысь непомерной гордостью, многократно усилившейся его сегодняшним положением просителя; шаг мой стал тяжелеть — в то время, космически далекое время, когда «Молчать!» металось по комнате и преждевременно считало себя победителем, Саша часто говорил, что я хожу как-то не так, как должны ходить нежные и утонченные женщины, он был редкий мастер делать комплименты. Но и тяжелая поступь, и внезапная дурманящая скука, и сонливость при виде полос его губ были лишь слабыми отголосками, подчувствами того, прежнего, старательно не фиксируемого, равного по силе, но совершенно противоположного по знаку ощущениям чисто вымытого, размягченного, доброго человека, ныряющего в легкую постель со свежим, еще немного острым на сгибах, бельем. Странно было лишь то, что несмотря на знак минус, эти чувства были едва ли не сильнее прежнего вкуса слова «люблю», во всяком случае, на момент их наивысшего проявления. Или то был просто обманный кульбит времени, его яростное сопротивление моим попыткам упаковать и рассортировать его на равные аккуратные блоки?

— Опаздываете, — сказал Саша приказно-мрачным голосом, выделяя окончания слов, отчего тон казался манерным.

Как и все предыдущие, снимаемые им комнаты, комната была холодной и немного сырой. На стенах висели какие-то приказы, афиши — юмор сослуживцев и

друзей по дому отдыха — не смешной, но добротный, посвященный лично Саше, за что и удостоенный повиснуть на стене сырой комнаты. В такое я играла на заре, как принято говорить, туманной юности, Саша, гордясь, показывал мне стены, потом ушел ставить чайник, шуршал где-то в отдалении огромной коммунальной квартиры, я взяла телефон, позвонила подруге, долго говорила с ней о чем-то удивительно важном, и сводимой оскоминой челюстью видела, как на коммунальной кухне с разбитой оранжевой раковиной Саша откручивает стальной кран, наверняка обмотанный тряпкой, которой до этого стирали со стола, в гулкий чайник с цветочком на боку наливает воду, причем струя немного, но все же касается тряпки, затем он зажигает газ, ставит на него тяжелый чайник, разглядывает зеленые островки новой жизни в чайнике для заварки, моет его под тем же краном, все так же струя чуть касается тряпки, ну и далее — весь ритуал.

Я совершенно не понимала, отчего вдруг оказалась в этом странном помещении, отчего жду, когда на удивление чужой, практически незнакомый человек Саша принесет чай, потом вдруг я стала придумывать про Сашу историю. Про него и про себя. Нехитрую такую историю на время приготовления чая для таинственной и далекой гостьи, залетевшей на неудобный огонек — не то погреться, не то случайно.

Допустим, Саша не простой, противный мне человек, а совсем наоборот — он настоящий вампир (кстати, вовсе не удивилась бы, окажись так и в самом деле). Совсем, совсем настоящий, из тех, что впиваются в горло и пьют кровь на обед, завтрак и ужин, а особо прожорливые особи и на полдник. Саша конечно же и полдника не пропускает. Сначала я ничегошеньки не подозреваю, а сама я на удивление милая, ну просто прелесть, этакая трогательная девушка не скажем скольких лет из хорошей семьи, красавица с нежными губами и густой светлой челкой, и чуть ли не в белых гольфах с помпончиками.

Красавица знакомится с вампиром, он как бы в нее влюбляется, ну, не то чтобы влюбляется — прикипает, уж больно белая у нее шейка, да излишне аппетитно ложится на эту шейку русский завиток пушистых волос — прямо как на дорогого фарфора тарелочку ломтик свежайшей семги. Вампир вроде бы как влюбляется, липнет, она, польщенная, потекает — ну, на свидания приходит, слушает приторные сахарные рулады, лстивые речи, а уж он-то заливается, куда там соловью! соловей против него — петух ощипанный, к супу приготовленный. И вот я, то есть прелестная оболыщенная девушка, падаю в объятья соблазнителя, считая это не то чтобы подачкой, но все же чем-то вроде подарка. Вампир в экстазе, его план близок к осуществлению, годами проверенная тактика якобы влюбленного до умопомрачения как обычно приносит свои плоды, и, воспользовавшись минутой, когда я засыпаю, храня на лице нежную улыбку, которой я одариваю его вдобавок ко всем прочим бесценным дарам, он впивается в мое белое нежнокожее горло... Все рыдают.

И вот он пообедал, скажем, мною, и соответственно, я тоже становлюсь вампиром. Я становлюсь нежитью, кровопийцей, но чрезвычайно притом совестливой — все-таки из хорошей семьи! — я не хочу пить человеческую кровь. Но что же делать мне, что же делать? — и против природы вампирской идти не в состоянии, хотя и хорохорюсь поначалу, сдерживаюсь, а желания становятся все неодолимее, еще чуть-чуть, и я переступлю грань, и нет ни сил, ни мужества, чтобы заколоть себя, к примеру, хотя бы и кинжалом, да и кинжала подходящего нет, лишь какие-то тупые кухонные ножи с пластмассовыми ручками, обожженными примитивной стряпней, да алюминиевые спицы, гнущиеся чуть ли не от взгляда, мелькают перед воспаленными от едва сдерживаемой страсти моими глазами.

И вот, придумала я, я нахожу выход из этого безумного, безумного и страшного положения — я отправляюсь в библиотеку. Дальше все идет еще легче, чем по маслу, в библиотеке я нахожу древнюю пыльную и мудрую книгу, в которую, в свою очередь, нахожу рецепт для таких утонченных новоиспеченных вампиров вроде меня. И вот —

придумала я и рецепт, потому как кто бы, кроме меня, его поместил в эту разваливающуюся инкунабулу? — я из белой глины леплю не семь слоников, мал мала меньше, а семь Саш, такого же размера и в таком же количестве. Я расставляю своих Саш на полке, предварительно освобожденной от книжек и тщательно вытертой влажной тряпкой, я отступаю на шаг и люблюсь делом рук человека, почему-то упорно не желающего быть вампиром. Саши стоят рядом на полке, бывшей некогда книжной, они все немного разные, но и похожие в то же время, видна одна рука, я тонкой кисточкой и гуашью делаю им некие подобия лиц, первой фигурке я с удивившим меня злорадством пририсовываю кошачий зрачок, а самому маленькому — пуговицы на пиджаке, как бы в утешение за маленький рост и варежкой слепленные руки — остальным я процарапала пальчики, у Саши-третьего на левой руке даже получилось шесть пальцев, это трогает меня чуть ли не до слез. Вампиры, как известно, очень сентиментальны, очень.

И — все гениальное не просто просто, а еще проще, чем просто — вместо того, чтобы пить кровь людей, я пью глиняную кровь глиняных Саш! — ну, это ли не выход? это ли не чудо человеческого общения?

Я пью, все мне мало, но от поглощаемой глиняной крови и я сама постепенно глинею, кровь игрушечных семи Саш постепенно вытесняет мою исконную, такие вот дела. И в тот момент, когда я начинаю чувствовать, что следующий глоток сделает меня недвижимой, я беру самого маленького Сашу с ручками-варежками в тяжелую ладонь и мелкими, осторожными шажками (чтобы не разбиться) иду в городской парк. Там, выбрав удобное место, я делаю последний глоток, судорожно впиваюсь в Сашино податливое горло, и — превращаюсь в глиняную монументальную скульптуру. А именно — в глиняную бабу, сжимающую огромной шершавой рукой маленького глиняного дьяволенка.

А, каково придумано? Весьма, весьма изобретательно, мне, например, понравилось. Кстати, не в этом ли разгадка таинственного существования скифских глиняных баб — это просто самоотверженные женщины, не пожелавшие быть вампирами, предпочтя этому сомнительному хищному удовольствию самоотречение и вековую неподвижность, став памятниками самим себе. Ну, это вроде как отступление, слишком чистая лирика, пора вернуться к исходному сюжету, пожалуй.

А потом ранней весной, или поздней осенью, или в разгар знойного городского лета в парк приходит, ну, допустим, Саша. Пусть он идет под руку со своей избранницей, бережно заглядывая в ее серые глаза, нет, пусть это будут все Саши моего года, вместе или по очереди — не столь важно. Важен ведь факт, а не детали, Саши идут под руку каждый со своей возлюбленной, а я... Да, это еще тот вопрос, что делать мне, каменной и сильной женщине-монументу при встрече с этими примитивными игрушками из моего человеческого прошлого. Может, просто подмигивать им, как старая, хитрая и мудрая Пиковая дама?

Я рассмеялась, представив их искреннее и единодушное ошеломление, когда Саша вошел в комнату с какими-то чайниками, хлебами, сырами, он и не предполагал, что только что я освободилась. Да, эта глупая вампиризация и мгновенно найденный выход из нее, подарили мне неожиданное — они подарили мне свободу.

Абсолютно свободная, я освобождалась и от февраля — свободная, я ехала в метро, а изо рта все же никак не исчезал привкус грязной тряпки, которой сначала сметали крошки и разлитое какао, а затем обернули кран, чтобы не подтекал.

Саша мне больше не звонил.

Но все же был в феврале еще один странный день, запутавшийся из какого-то иного, не жанра, но времени: день был непонятно светлый, только сугробы и снега говорили тихо и, к их чести надо отметить, достаточно скромно о зиме, не навязывая своего мнения. В этот день я увидела счастливого человека, по-настоящему счастливого, его можно было обернуть в целлофан и отвезти на выставку достижений в

павильон предела мечтаний. Он лежал неподалеку от здания моей работы, прямо под самим зданием, вдоль решетки на снегу, он был враздрызг пьян, но в каком-то удивительном моменте опьянения, который обычно все проскакивают, он был в предканавном состоянии, еще глоток и ему стало бы безразлично все. Человек лежал, одной рукой царапая решетку, сквозь другую росли побеги тростника, говорят, тростник вырастает в течение часа, значит, счастливый пребывал в своей нирване минимум час, он смотрел в небо и хохотал.

Было непонятно светло, ах да, это было днем, человек хохотал, я поняла — он видел падающие звезды. Он был так счастлив, что я даже не позавидовала, только улыбнулась, и — наконец окончательно кончился февраль.

Когда-то мне рассказывали про другого, тоже счастливого человека, филолога. Он с раннего детства занимался каким-то суффиксом, бился с ним то на рапирах, то на пистолетах, оба отделялись легкими ранами и столь же легкими испугами, но счастье филолога было не в этом — в борьбе не может быть счастья, ибо счастье все-таки подразумевает хотя бы как элемент некоторое душевное равновесие.

А вот отчего был так счастлив филолог: имелись у него свои Апостолы. Все как полагается, никаких отступлений от канонических вариантов, никаких таких дурных предчувствий — двенадцать Апостолов, они повсюду сопровождали своего учителя, он даже в гости редко ходил, только уж если очень настойчиво звали, вроде бы неудобно заявляться к людям такой компанией, прямо-таки оравой. Из-за них он выжидал свободного автобуса, чтобы успеть спокойно пропустить их, войти самому, рассадить Апостолов по сиденьям — ведь трудно представить себе апостола, который едет в болтающемся автобусе, судорожно хватаясь за железные жерди, но все же заваливаясь на крутых поворотах, потому-то филолог и рассаживал их, брал двенадцать билетов и себе один, затем тихонечко пересчитывал головы своих подопечных: Петръ, Іаковъ, Іоаннъ... четыре, пять... он шептал, автобус ехал, в открытые его окна врывался непроинформированный должным образом ветер, ветер непочтительно ерошил смиренные апостольские головы, сквозняк вносил сумятицу в отработанную и продуманную заботливость учителя, приходилось бесконечно долго задвигать пыльные тяжелые стекла, автобус же ехал и ехал. На нужной остановке филолог поднимал свою гвардию, выпускал, вновь пересчитывал — в общем, хлопот было много, но трудно вообразить, сколько ответственности и счастья нес на своих гуманитарных плечах этот человек, совершенно, как про него говорили, нормальный человек.

Я осознала в нужной мере эту радость личной ответственности за что-то, известное только тебе, в марте, сначала я поняла, что беременна, и очень удивилась, об этом я, кажется, упоминала. Почему же я так удивилась? Все слишком просто: я как-то не подумала о такой вроде бы предсказуемой возможности, не приходил мне в голову такой вариант, хотя раньше, в те провальные годы ожидания я постоянно об этом думала и почему-то со страхом, наверное, поэтому я и не понимала радости не самой неприятной из сторон любви, в моем же году я настолько заиклилась на самой себе, что любое ответвление от собственного пути казалось мне нереальным.

Наступал март, он вытеснял зиму уже хотя бы своим кратким названием, не говоря уж об обманчивом тепле, высвобождающем прошлогоднюю жалкую траву, даря ей, пожухлой и давно мертвой, последнюю попытку жить или по крайней мере возможность имитировать продолжение жизни, но тут же коварные, из февраля забредающие ветры рубили ей голову ломким и звонким ночным холодом. Но теперь хотя бы днем можно было вдохнуть по-настоящему, не через пушистую ткань шарфа, кусочек воздуха, чтобы, едва не подавившись, пропустить его в себя, поверив наконец — пришла весна.

Только теперь, в марте, я поняла, чего ждала так подвижнически, не осознавая, но предчувствуя: да, я хотела ребенка, своего, малютку, девочку, у меня могла быть только девочка, никого иного, — какая же могла идти речь о кошачьем, допустим,

зрачке или о глиняных фигурках на краю книжной полки? — мир съежился до размеров живота, март настолько слился с апрелем, что купив проездной билет на 16—31 апреля, я ничуть не удивилась, посчитав по костяшкам и рытвинам скулаченных пальцев: январь — тридцать один, февраль — тридцать (или сколько там?), апрель — тридцать один, да, так оно и было, март выпал — стал апрелем, я несла в себе тайну и блистала глазами, я хотела увидеть падающие звезды.

Путь исповедимый — по нему вел меня год, по пути, изведанному, изученному женщинами всех поколений, что ж, все правильно — исполнение долга перед природой, я уже знала маленькую девочку с упругими круглыми щеками, пела ей песни и плела волосы в диковинные узоры, я показывала ей червяка и объясняла причины и следствия его существования; ей все будет впервые, моей девочке, но мне не понять, как — что я могу? только показать, только защитить — она всему научится сама. Может быть, мы пойдем с ней на каток, я буду стоять, как жираф — за загородкой, а она заскользит, заструится, упадет, поднимется сначала на колени, находя опору в них, потом встанет в рост, опять заскользит, чтобы вновь упасть, можно долго говорить приблизительно в такой последовательности, и это будет истиной и ничем кроме, моя же роль останется неизменной: я стою за длинными полами металлических палками, щупаю пальцами их холод и ничего не могу сделать, ничего, разве что сплющить на миллиметр металл.

Я тоже ходила на каток, кружилась и падала долгие годы (если уточнить, то целых тридцать, да еще четыре в придачу), теперь я созерцатель и знаю свое предназначение: девочка за девочкой ступает на лед, девочки девочек выводят новых девочек — ледовое представление, айс-ревю — именно и только так, неужели непонятно?

Месяц за месяцем, а за месяцем — снова месяц, я давно утратила арифметическую точность деления времени на равные отрезки, а тем более перестала распределять Саш по месяцам, сбившись с первым и не желая давать многого другим; я и вовсе не помышляла, как мало мне, оказывается, надо — мысли, подсчеты, мечты и тайное предвкушение — это не только заменяло всех Саш сразу, но и каждого в отдельности, каждого, без исключения. Апрель вытеснил младшего братца по имени март спокойно, без излишней суеты и с изящной, полной достоинства скромностью, он и был скромнен донельзя, этот милый, синий, потусторонний апрель. С застенчивой улыбкой видения он обнимал мои плечи, он любил меня, этот апрель, и я отвечала ему взаимностью, сдав кулек с Сашами в ломбард за чрезвычайно низкую цену — мне они уже были не нужны, так, разве что взглянуть на стертые черты за пыльным стеклом надоевшей картины, причем не оригинала — оттиска с трехзначным номером на обороте.

Апрель то замирал на мгновение, пуская в глаза солнечного толстого зайца, то вдруг раздражался слезами, и я уговаривала его хранить величавое спокойствие, но все-таки что-то незрелое, детское, сквозило в каждом его дне. В каждом светлом дне, в каждом лучезарном, бесконечно волшебном и все же отчего-то беспокойном дне.

В апреле человек начинает мечтать. Как минимум — о лете, как максимум — о крошечной доверчивой девочке, о беспомощном розовом существе, о бессмысленно-беззубом плаче-смехе, о мелких теплых лапках.

Я слегка сбрендила, постоянно что-то подсчитывала на пальцах, бумаге, в уме, какие-то забавные сроки-цифры занимали мой досуг, а досугом была вся моя жизнь, и подсчеты подтверждали ударное завершение моего года, все сложилось удивительно и закономерно, я предугадала восхитительное шевеление, которое предстояло взрастить в моих недрах.

И как же ясно, как излишне ясно я помню тот день, последнее воскресенье апреля, преддверие очередных сомнительных праздников, с самого утра в оконном небе резвились тучки-барашки, устраивая шурум-бурум, они умчались по лазури и,

как полагается барашкам, слегка пообтрепанные, теряя серые лоскутки, медленно растворились в пространстве за стеклом. Они освободили поле неба — тогда схватились молнии. Молнии кашляли, пугая птиц, я стояла, приплюснувшись к окну, и разглядывала предгрозовые действия; девушка-наблюдатель о тридцати четырех годах, пирожок с начинкой, великий продолжатель собственного рода, я ухмылялась стихии:

— Привет, мол, старуха! Это — ты? а это — подумать только! — я!

Вроде бы ниоткуда рванула гроза — и одновременно что-то рвануло во мне, будто взорвалась небрежно закрученная помидорная банка.

И слово-то такое мокрое — выкидыш — скользкое слово, склизкое, но верное, до чего же верное! Подразумевается — был вкладыш и фьюить! далеко и неправда, был и сплыл, нетути голубчика, а на нетути и суда нетути. Вот что означает это слово, вот что, вот. Перед тем как вызвать «скорую», я почему-то долго стояла на коленях у подножия мраморной кастрюли, сжимая, обнимая ее, я тупо и бесконечно разглядывала то, что должно было стать моей дочерью, страшная картина прокручивалась передо мной.

Круглый шар Земли словно заборами опоясало кирпичными шестнадцатизэтажными башнями.

Плотно прижатые друг к другу, башни смотрят фонарями-окнами, на восьмом этаже каждой башни, словно в клетке, в совмещенном санузле на коленях стоит женщина — пятками к кафелю, лицом к месиву...

У них сухие глаза, у этих женщин, они не плачут — они оплакивают.

Современные мадонны. Мадонны с унитазами.

Я сижу у окна и вспоминаю, когда же это было. Ах да, это было вчера, в августе. Сегодня холодно, идет снег, он сразу тает, еще в воздухе — такой вот на ходу засыпающий снег, а вчера был август, и я видела ее. Вчера, в августе, я видела ее, она шла ровно и стремительно, высоко держа голову, словно заглядывая за крышу дальнего дома, она немного пружинила на высоких каблуках, что придавало очарование неуверенности ее ровной походке, она шла высокая и красивая, аккуратно выстраивая в ровную линию свои следы, словно проходя по невидимой тонко прорисованной черте, словно по проволоке, а не по надежной натопанной дороге, ведущей от прямоугольных серых башен к тривиальной автобусной остановке. Даже со спины различима красивая женщина, я немного сбоку видела ее лицо, резкая очерченность которого наводила на обманчивую мысль о силе воли, так же, как и высокий рост, такие женщины всегда производят впечатление сильных. Меня удивило ее лицо — чем же?

В первую очередь глаза — в них исчезало окружающее, как будто проваливаясь в черную дыру окончательно и безвозвратно — нет обратного пути из черных дыр, не найдено или же, что вероятнее, не существует вовсе. Но главным притяжением были все же не глаза, нет, основными и болевыми в ней были полосочки — углубленные линии от крыльев носа к уголкам четких спокойных губ — так называемые линии скорби, даже не линии, а скорее — траншеи. И, что поразительно, эти полосы не только не портили и не старили ее лица, но напротив, словно придавали ему и нежность, и страсть, и силу, и растерянность — одновременно.

Это была она, женщина, взявшая собственный год за шиворот, как провинившегося бестолкового котенка, и рассматривающая его много лет подряд, как до этого много лет подряд ждала его.

Я узнала ее.

Потом... потом... что же было потом... Сначала ушла боль, и стало темно. Темно, тихо и хорошо. И вот издали ко мне пришел звук — звенели бубенцы, все громче и громче и было это уже не просто хорошо — восхитительно. Иногда бубенцы-бубенчики, сладкая, почти слащавая музыка, нежные нотки стихали, и что-то на

разные лады говорили люди, кажется, меня куда-то несли, мелькнуло испуганное и мокрое — попала под грозу — лицо мамы, как-то странно суетящейся и всем, кажется, мешающей, затем, наконец, вновь стало темно и звонко.

Потом, наверное, это был не бред, а сон, я взлетела, как-то странно скрючившись, чтобы не чувствовать боли, с левой ноги свалился шлепанец, благополучно убежав от тщательно подгибаемых пальцев, из облака, похожего на счастье, выползла валяжная, влажная от перламутра улитка с рожками матерого лося.

— Почему? — спросила я ее. — Почему я всегда вижу себя виноватой, почему вечен этот приговор?

Она не ответила, эта глухонемая посторонняя улитка, словно заползшая из чьего-то чужого бреда, или то была общая, знаковая улитка, переползающая со своим трогательным в разводах домиком из мысли в мысль, из кошмара в кошмар; небо, взлелеянное мечтами миллионов, обняло мои зыбкие плечи и качнуло, качнуло...

И тогда уже стало сначала прохладно, а потом просто-таки холодно, но это было абсолютно не важно — было очень светло, надрывались четыре матовых софита, я щурила глаза, пытаюсь разглядеть длинное светлое помещение, но не видела ничего, кроме этого убийственного, ослепительного и неправдоподобно красивого света, дыхание мое стало разорванным и шуршало, словно мяли большую и свежую газету, куски ее, пометавшись, с покорным шепотом укладывались на пол. И тогда я услышала голос, хотя, скорее всего, это был Голос.

— Я хочу, чтобы ты поняла... — сказал Голос.

И я поняла, что эта фраза, даже не фраза, а придаточное предложение «чтобы ты поняла» есть не что иное, как мера оставшейся в моем распоряжении жизни, — надолго ли хватит этой меры? И фраза начала сокращаться:

«тобы ты поняла»

«обы ты поняла»

«бы ты поняла»

.....

«няла»

«яла»

«ла»

«а»...

Неужели все, подумала я, неужели так коротка жизнь? — ведь я так и не поняла... Я думала о свете софитов и о счастье, которое обрету вот-вот, еще чуть-чуть, сейчас, только кончится буква, я обрету счастье, заслужив его, как не заслужила жизни. Буква все не кончалась, гадкая и манящая, она удалялась, стала прерывистой, цеплялась, ну еще, еще, ну пожалуйста! — интервалы между зацепками увеличились, звук стал совсем тихим и совсем резким и — исчез! Господи, как долго я жда...

Я не успела даже додумать — звук вернулся. И закружилось в обратном порядке:

«а...»

«ла...»

«яла...»

.....

ЧТОБЫ ТЫ ПОНЯЛА. И я поняла.

Наверное, это смешно, но мне было не до смеха, я поняла простейшую вещь, которую знала так давно, что казалась она — неправдой, нет, не то чтобы так впрямую — неправдой, но какой-то фальшивой, неестественной и оттого ненужной правдой. То есть — это было до того просто, и к тому же проговорено столько раз и на всякие лады, что для того, чтобы понять, и в самом деле потребовалось: ПОНЯТЬ. Я поняла, в чем смысл жизни. Смысл жизни — в любви, вот что я поняла. Это было и вправду — не смешно. Все, что угодно, но — не смешно. И еще я поняла — человек

одинок. Его может окружать семья хоть в сто сорок пять голов, любовь обволакивать по самую маковку в неисчислимо количество напуховейших перин нежности и заботы, но все равно человек — каждый, каждый — один на один остается на поле брани между жизнью и смертью.

Что-то мне совсем не хочется вспоминать больницу, там было все как положено: серые сутулые халаты, витиеватые запахи некачественной пищи, говорливые несчастные соседки, туго сбитые подушки, болезненные уколы, — словом, романтика по высшему классу, которую нетрудно обнаружить в любом, даже самом бесхитростном, женском опыте, причем с самыми разнообразными подробностями и диагнозами.

Я выпустила из ладони всего три недели, долгожданный месяц май в отведенное ему мгновение безумствовал вне ароматных больничных стен, за это мгновение преобразился мир, он зашевелился, высвободились из-под прозрачного и белого новые краски: изумрудная зелень свежестриженных газонов и окись хрома глянцевого облобочек кустарника; марс коричневый загорелой земли и киноварь ее мягкости, краплак красный светлый цветочной земной крови; кобальт синий дальней высоты и чуть ниже, ближе — воздушный ультрамарин; и охра, охра — неожиданный цвет распада в весенней буре, словно напоминание, словно воспоминание: я сижу один на один с зеркалом, в его мерцающем овале я надеюсь углядеть что-нибудь вкусненькое, а нахожу только лицо — хмурые глаза, длинные четкие губы, от их запавших уголков устремляются ввысь в надежде сомкнуться у переносицы линии-складочки, стежки-дорожки печали; в зеркале можно плавать, его поверхность легко взрезается мужественным плечом, и пугливые как ртуть капли-катышки переливаются сами в себя. Но я не уйду в амальгамное плавание, по эту бы сторону разобраться, хоть немножко, хоть на мизиничную фалангу; я отталкиваюсь от зазеркалья. Прочь, прочь от чудес и взглядов, от звонков, от красок, от полутьмы глаз, я знаю смысл жизни и я хочу найти СЕБЯ, а не контуры усталого лица в зеркале.

Легко сказать «найти», в общем-то, и найти легко, если знать, что искать или хотя бы — где. Казалось бы, тривиально звучит «найти себя» — словосочетание затерто донельзя, захватано, замусолено, затискано, заговорено до приторности, до дыр, не потому ли затерто и прочее, не потому ли, что в нем — тайна? Я не знала, что искать, и как это выглядит, меня прежде не существовало, так, разгуливала некая оболочка, мотала на ус годы: сусальное младенчество (что-то там, кажется, было? проблеск? промельк? язык птиц и зверей?), затем крутились шестерни тяжелых годов ожидания, перемалывая хрупкие попытки жить в песок для часов, взвизгнули тормоза — и начался год, мне привиделось, что вот она — Я — фигура почти небо-скребная, и взгляд вниз умиленный: ах! какое счастье идти, расправив плечи! ах! как я люблю людей! — надувная женщина делала миру козу, любуясь своим величьедушием. Была ли то я?

Май месяц, вначале щедро даривший теплом и красками, словно бы нечаянно сник, похолодел и обесцветился, какой-то осенний дождь взял под свое сомнительное покровительство последнюю неделю мая, лишь классически набухающие почки деревьев, несколько, впрочем, припозднившиеся в этом году, наконец выпустили робкие листья, быстро и жадно набирающие в дожде зелень, силу и некоторую даже наглость. Циничное буйство листы лишь подчеркивало зажатость было выпрямившихся под солнцем жалобных людей. Уточню: жалобных бледных женщин в возрасте тридцати четырех и выше. Но все же наступало лето, ни малейшей жалкости не было места в этом лете, в этом все же пришедшем лете моего года.

Я пыталась определить себя, в словах ли, в знаках — все равно, все одно; сколько же было таких попыток до? — многостепенное число, все в нолях и буквах-символах, я решила на минутку спуститься в прошлое, что-то оттуда держало, царапало коготком (проблеск?).



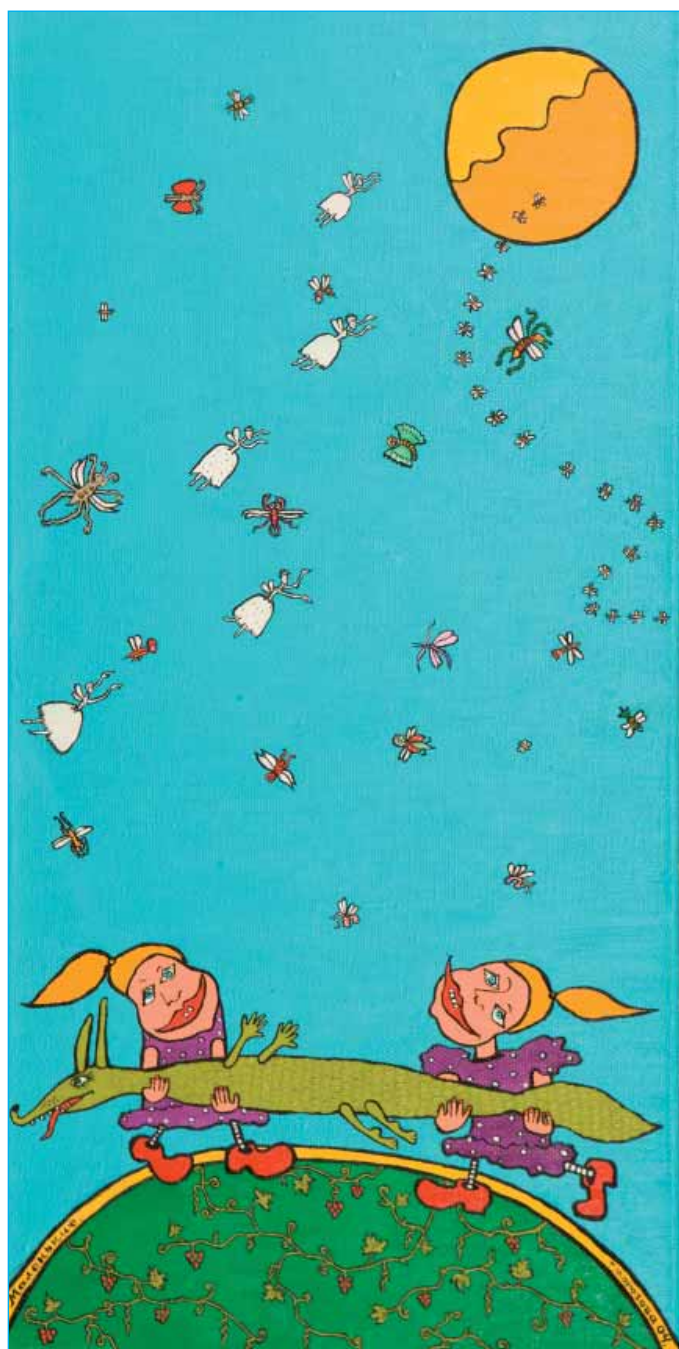
Татьяна Морозова

МАХА ОДЕТАЯ



Татьяна Морозова

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ



Татьяна Морозова

ДЕВОЧКИ И ЛИСИЦА



Татьяна Морозова

НА КРЕПЫШЕ



Татяна Морозова

ОДИН ДОМА

Время попытки поиска, попытки воспоминания выпало на долю июня, милейшего предзнаменования настоящего, слишком настоящего лета — безумного, бездумного, счастливого и мятежного аккорда, знаменующего начало конца. Конец начала, начало конца — все это лишь слова, почтенные слова. Слова — пепел и тень, пепел и тень жизни, пытающиеся как-то закрепить, зафиксировать прошедшее, настоящее и даже посягающие на будущее, они мнят себя всесильными, эти слова. Что ж, они правы, не смею не согласиться с их напором и с их настойчиво притворным, показным смирением; делая вид, что роль их третьестепенна, они исподволь, исподтишка, маневрами тихого карьериста и мягкого подхалима заполняют собой главенствующие места, затопляя сладостью и жестокостью весь пьедестал самого почетного почета сударыни памяти.

Полусогнутым указательным пальцем я делаю манящие осторожные движения, вызывая из темного и тихого убежища свою память, именно она должна стать проводницей в мир прошлого, столь старательно мною избегаемого прежде. Она появляется, милая, тихая, скромная, прямо-таки девочка — Красная Шапочка. Что она несет мне, своей старенькой близорукой бабушке в этой вот плетеной корзиночке? Что за пирожки я смогу оттуда выудить, и сильно ли они попорчены временем или же только подернуты спасительной лечебной плесенью? — как там нас учили? чтобы не было мучительно больно? Мне уже мучительно больно, но все же я любезничаю с Красной Шапочкой, так, на всякий случай, я не жду снисхождения — да оно мне и не требуется.

Итак, она, слегка почесав в затылке, словно испытывая бесконечное мое терпение, разворачивает наконец картинку номер раз.

Эта картинка называется — отрочество.

Самыми яркими в отрочестве были чувства любви и несправедливости, я любила двоих мальчиков сразу, одного за необыкновенное умение прыгать через кожаного козла, второго за смелые разговоры с нелюбимой учительницей, немного хамские разговоры, но не напрямую, а так, в тоне. Носителем же несправедливости была именно эта учительница, по своим внутренним строгим законам она судила нас, отбирая шариковые ручки (ими почему-то запрещалось писать в нашей школе) и художественные журналы, она подкрадывалась со спины и выхватывала добычу хищно и радостно, мы понимали, что она ненавидит нас потому, что мы — ее работа, ей просто не подфартило в жизни, думали мы, ну с нами-то такого не произойдет, думали мы, пучась превосходством начинающих. С нами действительно такого не произошло: самый тихий мальчик умер в армии от воспаления легких, говорили, он служил где-то там, где никак не мог согреться, он так и умер, не согревшись, и не используя в жизни свое потрясающее умение прыгать.

Другой мальчик бодр и крепок, он трещит от довольства, потому что работает в таком месте, где службист — горная вершина, где хамство — и не только в тоне — неотъемлемый атрибут работы.

А я? Со мной и подавно все в порядке, я замечательный работник, высококвалифицированный проставитель галочек и палочек, меня ценят и сослуживцы за легкий нрав, и начальство за покладистость, однажды даже сфотографировали для Доски почета, правда фотографию почему-то потом не вывесили, но уж наверняка годам к семидесяти мне доверят ответственное задание — рисовать крестики и нолики, тогда-то я и вспомню жалобный перестук шариковых ручек, еще теплых от детских лапок, но, пожалуй, сейчас вспоминать об этом рановато, ничего не смогла я найти в том розовом периоде: что же в нем было? — не понять; производственная тематика выросла на излишне жирной ниве несчитаного количества бесславно отсиженных часов и дней, чем и затмила не только белый, но и весь прочий свет, мне ничего не остается, как вновь обратиться к любезной своей памяти, как проситель и как повелитель одновременно, я вымаливаю-требую новой картинки.

И она, услужливо смахнув невидимые крошки с предполагаемого стола для просмотра, подает мне картинку номер два.

Ага, ткнула красавица ровно в мои девятнадцать лет, а день-то выбрала — гаже не бывает, я ведь и вправду это помню: высокое ясное небо, на моей шее какой-то дурацкий, пожилой газовый шарфик, который мне нравится необычайно, я иду на встречу мальчику, которого, как тогда считала, люблю, и вдруг он что-то мне говорит. Он говорит то, от чего небо словно бы падает в надежде придавить меня, прижать к земле, не выйдет, милая память! Вы не мирная, оказывается, Красная Шапочка, а обычная старая бурая шапка, тот день я давно похоронила, я забросала его белыми горячими камнями на южном пляже моих двадцати, я надежно забаррикадировала его бетонными подушками спрессованных лет моего легендарного ожидания, и нечего этому темному дню делать в моем нынешнем, в моем лучшем году я освободилась и от него, я свободна, — слышишь? — я свободна.

И мальчику тому давно отместилось, нет, не за меня — за пошлый розовый шарфик, шарфик-знак, на который я сначала долго копила деньги, который затем тщательно покупала, прикладывая к щеке и восхищаясь нежностью своего лица в бесстрастном круглом зеркале магазина, под равнодушным взглядом толстой румяной продавщицы трусов, маек, колгот и розовых газовых шарфиков. Да, это и был знак — шарфик, и с каким же остервенением я метнула его в мусоропровод вместе со словами нелюбви, столь непосредственно выданных, вклепленных мне на неестественно безлюдной улице, на пересечении двух дорог — одна шла от моего дома, другая — от его, в точке пересечения были мы, когда-то были мы — теперь там широкое шоссе, забравшее все тропки под могучее свое покровительство. Мальчик тот так и не нашел покоя — он мечется от жены к жене, от нежены к нежене, и нет ему ни счастья, ни любви — ему, очутившемуся под розовым газовым знаком, завязанным нервным узлом и спущенным в мусор; я не злорадствую, лишь воспринимаю как должное, как его плату за ту неуклюжую высокую девочку, слепо идущую по ровной асфальтовой дороге, оттягивающую ворот плаща и так и не находящую столь нужного ей глотка воздуха...

Полно! Кого вы обманываете, слова? кого обманываю я? — всеми этими знаками, шарфиками, глотками воздуха? Кого я хочу разжалобить, умилиť, заговорить? Я могу напустить тумана, красивого и чрезвычайно изысканного, слишком изысканного, ненужно изысканного, я могу заморозить словами, больше похожими на слова, кого угодно, только не себя. Ведь никто лучше меня не знает, за что МНЕ достался тот день, за что Я наказала себя еще и четырнадцать бесконечными годами ожидания, которые были ни чем иным, как простейшим страхом, примитивным страхом жить, который я тщательно скрывала, обволакиваясь напускным флером мечты о лучшем, об ударном времени моей жизни, я-то не могу обмануть самое себя. Потому как слишком хорошо знаю о том предательстве, за которое рассчиталась после, как я предполагаю, сполна.

Это было давно, действительно очень давно, настолько же давно, насколько и глупо, нам, мне и моей подруге, было по — шестнадцать? семнадцать? кажется, примерно так. Это был тот самый возраст, когда мы стали интересоваться ну, скажем, мужчинами, назовем их так, хотя мужчины эти были слишком похожи на детей, впрочем, как и мы сами. Но все же — новый и страшный мир вдруг раскрылся перед нами во всей своей чудовищной и притягательной силе, мы стояли на пороге этого мира, боясь перешагнуть и на самом-то деле желая этого шага более всего на свете, но дальше разговоров и поцелуев дело никак не шло, стопорилось где-то у самой грани. Но и в этих чрезвычайно интимных — с мужчинами же! — разговорах присутствовал настолько сильный, и свежий, и сладостный привкус греха, что, пожалуй, большего и не требовалось, мне по крайней мере — уж точно. Это было крайне важно и едва ли не порочнее желанного действия — полная откровенность при полном

целомудрии. Такой вот странный расклад, подруга моя, чей малолетний возлюбленный добивался ее близости со рвением завидным, пожалуй, даже для взрослого мужчины, все никак и никак не позволяла поставить восклицательный знак в их пылких отношениях, и это притом что оба были влюблены чрезвычайно и друг в друга, но все же она всякий раз воздвигала перед ним жесткий заслон непреклонного «нет», когда близость, казалось бы, уже была неминуема. Оба мучились и наслаждались мучениями страшно, я никак не могла понять, отчего ее упорное «нет» столь безнадежно и столь бесповоротно. И тогда она открыла мне свою тайну, против ожидания оказавшуюся настоящей взрослой тайной. Слишком взрослой и слишком настоящей, чтобы в нее можно было поверить.

Годом раньше моя подруга, видевшаяся мне столь же инфантильной и непростившей, как и я, забеременела от какого-то мальчишки, ее ровесника, пятнадцатилетнего обалдуя. Идиллия, принесшая свой плод в юный бархатный животик, произошла в знойное лето в одном из так называемых пионерских лагерей. Пренебрегая общественными обязанностями председателя совета дружины и заместителя председателя все той же дружины, два молодых идиота играли в любовь в ближнем от лагеря лесочке. Поняв, как обстоит дело (по непроходимой неопытности она даже не сразу поняла, что пионерско-комсомольская связь не осталась без нормальных физиологических последствий), подружка моя не нашла ничего лучше, как броситься за советом, помощью и моральной поддержкой к своему ромео, они встретились в центре осенней холодной столицы, она чувствовала себя какой-то ничтожной и жалкой, словно ушедшее лето унесло с собой и ее языковую бойкость, и яркую, необычайно экстравагантную внешность, на которую и польстился безусый председатель. На телеграфное сообщение он отреагировал со всей жестокостью легкомысленной юности. Он говорил ей что-то о весьма некстати, абсолютно неуместно проявившейся плодовитости, в которой он лично ничуть не повинен, он говорил и о классическом кинжале в спину — редкий мужчина не найдет в своем прошлом такого вот «кинжала», вонзенного в его спину коварной нелюбимой женщиной, с которой он тем не менее спал, ну если и не спал в прямом смысле, то делил ложе в смысле переносном уж наверняка.

Короче, никакой поддержки молодой любовник не оказал, да и не мог оказать, она бросилась к маме. Мама, матеря ее на все лады, тем не менее отвела в больницу, и плод пионерской страсти был безжалостно выковырян людьми в белых халатах.

Такую вот печальную повесть поведала мне моя подруга, я ей не поверила. Я не могла поверить в такое, это было из другой, из взрослой жизни, я действительно не поверила, поэтому и рассказала тайну своей подруги ее тогдашнему возлюбленному, как бы возмущаясь такой изощренной ложью, явно изобретенной для того, чтобы объяснить трусливое нежелание вступать в глубинные отношения именно с ним, кстати, он тоже не поверил. Я не знаю, почему я рассказала ему, то ли из желания показаться опытной, чем была, то ли меня и в самом деле возмутило затейливое вранье моей лучшей подруги, с которой почти тотчас же мы перестали дружить, но не потому, что она узнала о моем предательстве, — думаю, об этом она если и узнала, то гораздо позже, просто ей трудно было находиться рядом с той, что знала ее позорный, как ей представлялось, секрет. Ведь если мы были рядом, то о чем же мы могли говорить, как не об этом славном пионерском прошлом? Мы перестали дружить, и вскоре я забыла о ней. Тем более что было тогда уже и не до любви — мы заканчивали школу, поступали в разные институты, школьные мальчишки уже казались неинтересными и тэдэ и тэпэ. Но спустя несколько лет, в тот момент, когда за розовой безвкусной тряпкой захлопнулась крышка неровно окрашенного грязно-зеленой краской мусоропровода, я поняла, что подруга моя говорила правду, и что я элементарно предала ее, и что нет и не будет мне прощения за это мелкое, пакостное предательство, и что за все надо платить, я еще не знала, сколь долгой, едва ли

не бесконечной окажется платежная ведомость, вот почему я и помнила этот день, подсунутый мне злыдней-памятью, — прочь, прочь, брысь от меня, я забыла, я хочу забыть, я свободна! «Я свободна!» — кричу я во все свое мощное горло, но лишь жалкий сдавленный писк раздается вместо гордого крика силы и воли.

А память, тихая такая, невинная все подсовывает мне деньки, один другого краше: вот мы с мамой в многолюдном аэропорту, я припаяна к ее руке, но она не смотрит на меня — несчастная и загнанная, она все слушает и слушает объявления по радио о том, что она с дочерью ждет его, нашего папу, там-то и там-то. И я не понимала тогда, ни почему мы не улетаем без него, хотя объявлен наш рейс, ни почему же он все-таки не является на такой громкий, практически всенародный зов. Не ковыряйся в ранках, голубушка память, я давно знаю ответы на оба вопроса — билеты были у отца, поэтому мы не могли улететь одни, билеты были у отца, а он пил огненную воду, которая погубила столько индейцев, а позже и отца, хотя он и не был индейцем.

Еще и еще выуживает память дни-деньки, теперь она забралась в складированные мои четырнадцать лет, в эти бесконечные времена уверенной в себе и постоянно себя в этом убеждающей красивой женщины, заученным легким жестом смахивающей вместе со светлой прядью прямых волос, душистой и непокорной, годы, годы и еще раз — годы. Вот я стою у окна в пустой комнате, я стою, вглядываясь в темное, рябое от звезд небо. Шевелится, думаю я о небе, расплющив ладони по стеклу на уровне лица, и снизу, с улицы, кажется, что у окна стоят три добрых, хороших человека, они стоят плечо к плечу и смотрят на улицу. Но это всего-навсего стою я и представляю, как в комнату входит Саша, я как бы иду вместе с ним, стараясь не шуршать подошвами и все же немного шурша, я вижу, как он видит мой силуэт с поднятыми руками, вместе с ним я встаю за своей спиной, ладонями прикрываю свои ладони... Но это происходит на миг раньше ожидаемого — слишком уж трудно все так до мгновения рассчитать, поэтому я вздрагиваю и оборачиваюсь, и отступаю чуть назад, в позвоночник мне впивается оконный шпингалет, я гляжу снизу и подчеркнуто испуганно, одобряя себя со стороны, я смотрю в кошачий зрачок.

Что это? зачем? Ох, и коварная же ты, тетка память! кто тебя просил? А она ерничает, жметсЯ, скалит в улыбке кривой темный рот, срывает с себя, паясничая, красную, трогательную шапочку с ушами-отворотами, и я вижу чудовищный, весь в буграх и вмятинах огромный лысый череп цвета плохосохранившейся слоновой кости... Вот тебе и путешествие по местам боевой славы, вот тебе, гражданочка, и рулет с курагой. Заказывали? Заверните!

Цвели липы июня, погода менялась, беспрестанно улучшаясь, стремясь к совершенству, как к бесконечности, пестрые газоны умиляли своей временной и оттого особенно ценной красой, лето — лучшее время для заблуждений, самообманов и тщетных надежд. Я вписалась в июнь настолько, что вместе с ним плавно перетекла в жаркий июль, чей плавающий асфальт доказывал некоторые весьма сомнительные преимущества иных времен года. Безумцы-солнцепоклонники к этому времени даже в среднеполосных городских условиях успели прокалиться до кондиции черного сухаря, июль жарил мою щеку сквозь занавески, я решила и распахнула окно. И лето обнимало меня уже напрямую, безо всяких посредников-стекел, кажется, именно летом и можно было попытаться основательно заняться поисками — хотя я уже и сама не понимала, не помнила, что за такую кривобокую задачу пытаюсь свести к верному решению, беспощадно четко выписанному в конце потрепанного учебника.

Летние месяцы я разрезала как торт — на кусочки, кремом с ромовыми цукатами были выходные и то, что к ним прихватывалось. После краткого и неудачного путешествия в глубину веков, то есть в отрочество, юность, а также запретные чemoданные, спрессованные годы, я решила передвигаться плоско, по местности, смутно подозревая, что никакие города, страны, веси не смогут разрешить моих внутрен-

них проблем, предстояло биться один на один, я, похоже, зря подыскивала себе зыбких сторонников то в отражениях зеркал, то в боевом прошлом, то на пересеченных тропами пространствах. И точно — ни зелень Киева, ни теплый туф Еревана, ни дачные мирные чаепития, ни готическая прибранность Прибалтики не смогли восстановить равновесия, утерянного, казалось, навеки, — куда улетал мой год? куда?

Я стояла на краю августа, как на краю земли, рискуя упасть с шара, я тянулась на пуантах, готовясь к взлету. Ведь это так просто — летать, я читала об этом тысячу раз — и у фантастов, и у мистиков, по моему плечу был полет земной, с многократной потерей сил, напряженный, но все же — полет, это была, пожалуй, единственная возможность понять, как падают звезды (о небе в алмазах я промолчу), я взмахнула руками и...

Кончился сон. Я шла по летному полю южного аэродрома, витал август, запахи усталых самолетов, горячей пыли и буйного отцветания окутывали меня, сквозь треск в ушах я различила дальние силуэты — пальмы и возле нее — человека с поднятой в приветствии рукой. Саша шагнул навстречу по расчерченному полосами распаренному бетону, он двумя пальцами приподнял мое лицо и поцеловал уголок губ. В тот именно момент я потеряла цвет, я потеряла ощущение цвета и обрела имя.

Какой там полет?! Смейтесь, куры! Там, в небе, оно конечно, там своя жизнь, прекрасная и удивительная, но у меня есть свой, предназначенный только мне земной метр. И я обязана этот метр пройти, ведь шаги мои все же неподвластны законам неба, я перерою пальцами свой метр земли, и песчинки будут иголками — пусть.

Однажды в метро меня попытался захлопнуть турникет (вместо требуемого пятака я бросила в щель полтинник), я разъярилась на такое проявление силы и, проходя мимо дежурной, достаточно злобно сказала:

— У вас там, ЭТОТ, не пускает!

Ей некому было указать на собственный промах «вот, тут у вас!», она не упустила возможности полета, она променяла ее на возможность любви, воздух — на ожоги (два овальных на подбородке и один скобочкой — над губой). Саша ждал ее у пальмы, она подходила на полусогнутых, как тушканчик, до самого мгновения встречи она не верила, что событие, столь тщательно обговоренное в прерывистых междугородних летучках, где ее слова метались, размноженные эхом, а его речь доносилась уклончивой и тихой, что почему-то казалось унижительным, хотя и являлось люкс-надбавкой к мужественной телефонной системе связи, что это событие, казавшееся ей скорее рисунком, чем жизнью, вдруг свершится; он двумя пальцами приподнял ее лицо.

— Как долетела, Ириша?

— А?

— Долетела как?

— Нормально, только в ушах что-то поселилось, знаешь, как в детстве — ухвертка.

— Я соскучился.

— Да? И я.

— Сколько же мы не виделись? Что с тобой, киса, устала?

— Понимаешь, уши вот, и зима — длинная такая, думала, не кончится зима, скорее уж я... Это наш автобус? Нам ехать далеко еще?

— Да нет, рядом, минут двадцать, знаешь, здесь все рядом.

Они приехали на окраину влажно-горячего города, по пыльной широкой улице свернули в узкую и тоже пыльную, обнесенную закопченными деревьями улочку, вошли в ворота, похожие на ворота гаража с жирными масляными цифрами 178, и очутились в тихом мире курортного дворика, тишь с гладью которого нарушала лишь белая полуголодная собака — на юге считается, что собаки не едят мяса. В каком-то смысле это верно, южные псы и в самом деле мяса почти не едят, так уж выходит. Их встретила хозяйка-армянка:

— Вот, тетя Ирма, знакомьтесь, привел вам отдыхающую.

Тетя Ирма пробормотала что-то приветливое типа «ахчик» и отвела их в комнату, за тюлевую занавесочку.

— Ириша, я в соседнем доме, у нас там места нет, но это совсем рядом.

— Да-да, Саша, конечно, конечно.

Они сидели на панцирных параллельных кроватях чуть проваливаясь и оттого неестественно прямо и молча разглядывали друг друга, она протянула руку и дотронулась до его щеки.

— Побрился... У тебя усталые глаза... Ты что, устал?

— Не выспался.

— Идем на море?

— Подожди, посиди, отдохнем.

Он отвел глаза, и вроде бы как прислушался — стало тихо-тихо, мертвенно-тихо, но лишь на мгновение, и вновь включился звук южной чужой жизни.

— Как там ребята? — Саша вновь посмотрел на нее, не то чтобы нехотя, но как-то трудно посмотрел.

У них было лишь двое общих знакомых, супружеская пара, ее подруга и подругин муж, смешной, толстый и шумный человек. Наверное, Саша спрашивал про них.

— Ребята? Нормально. Я давно их не видела, закрутилась что-то. У них все по-прежнему.

— А у тебя?

Она помедлила немного, но все же ответила:

— И у меня.

Она соскрипнула с кровати, села перед ним на корточки, заглядывая снизу в глаза, темные и спокойные, обведенные темной же и усталой полосочкой, — его глаза прятались глубоко, и оттого каждый взгляд приходилось словно бы вырывать силой.

— Саша, скажи что-нибудь.

— Что сказать, киса, что?

Сквозь тюлевую дверь они видели двор, там дочка тети Ирмы обрывала незрелый виноград для бомбежки неведомой цели.

— Субтропическое дитя, — сказала Ира. — Сашенька, ну идем же на море.

А он словно бы не слушал ее, по-прежнему настороженно всматриваясь в солнечный в крапинку свет на полу комнатенки.

— Знаешь, здесь вместо «она» говорят «он», но не потому, что не знают женского рода, ведь мужчин называют «она», смешно так и дико немного. Ты не голодная?

— Нет, нет, идем?

Он взглянул на часы.

— Сейчас, подожди.

Саша смотрел ей в глаза и мимо, встреча становилась все менее похожей на тот чудесный слайд, показанный сентиментальной мечтой, из-за которого, собственно, и закрутилась эта патовая ситуация, — попытка возрождения прежней любви, полузабытой в водовороте года, оборачивалась тщетной и суетной. И, главное — ненужной.

— Ты меня разлюбил?

Наконец он засмеялся:

— Идем на море.

По той же пыльной улице они шли к морю, почти чужие люди, они продолжали считать, точнее, продолжали делать вид, что продолжают считать, что вот это и есть любовь — идти к морю, что ж, бывает, говорят, и такое. По дороге шумная компания (не из-за нее ли он так устало вслушивался в звуки мира за узорчатой тюлью?) окликнула Сашу:

— Привет!

— Привет!

Какая-то тощая смуглая девица пропела им вслед манерно:

— А Саша-то, смотрите, брюнеток на блондинок меняет!

— Кто это? — спросила Ира про девицу.

— А, не обращай внимания на эту шлюху, она из Киева.

— А-а-а...

Она подумала спокойно: «хорошо, что всего два дня, я-то считала — мало, но такого хватило бы и одного, вот он, мой Август, моя любовь, моя жизнь, может быть, и поделом, а может... — да, конечно, он просто устал, просто устал, радость моя, надежда моя, это кончается август, ах, что же за год такой, что за год, заключительный аккорд, любовь? Наверное, но во сне было иначе: как там? вкус батарейки? Саша? да, это мой мужчина, он идет рядом, так что же?» Мысли бормотали, плавись и прогорали на жару. И пахло морем, сильно пахло морем.

Саша лег животом на раскаленные камни, она села рядом.

— Са-ашенька.

— Пообдирай меня.

— Са-ашенька.

Прозрачная сухая кожа сдиралась легко и красиво, переливаясь на солнце, как крылья диковинных мотыльков, особо выдающиеся экземпляры Ира предъявляла поставщику, тихо сглатывая комочки жалости, мешающие дышать и слушать, Саша говорил в сторону от нее и от моря, обращаясь к дальнему зданию — кирпичному двухэтажному убежищу спасательных лодок.

— Ты думаешь, я не знаю себе цену? Прекрасно знаю — я ничтожество, любитель женщин от пятнадцати и до бесконечности, мне тридцать лет, я ничего не сделал, я ничего не делаю и, естественно, не сделаю, ты не представляешь себе города, где я живу — это жига, тоска, болото, если я не вырвусь оттуда сейчас... а как вырваться — не представляю, у меня есть квартира, многие люди всю жизнь ждут квартиру, не могу же я бросить ее, но жить там... Но и начинать все сначала, с пустого места... зачем я тебе нужен, зачем, Ириша?

— Как зачем? Как это? Что же ты такое говоришь, неужели ты не понимаешь, Саша?

— Я никто, Ириша, никто, пустое место.

— Впервые вижу, как ты комплексуешь, откуда, Саша? Ты молодой, красивый, тебя женщины любят, я вот...

— Именно, любят, даже слишком, я не о том, Ириша...

Она ждала (привычное занятие) Сашу, за тюлью бездумно носилась юная армянка, мерно проплывала тетя Ирма. Появился Саша, он принес местного шипящего вина, горячих пшеничных лепешек и сыра. Саша почти развеселился, рассказывал почти смешные истории, занятно приподнимая правую бровь, она почти смеялась, неуверенно так смеялась.

— Ты какая-то вареная, что ты, киса?

— Устала, зима еще не выветрилась, длинная такая зима, я долго отогреваюсь, не обращай внимания. Ты останешься?

— Нет, наверное, понимаешь, неудобно — тетя Ирма...

— А-а...

Он разозлился:

— Почему ты так? Откуда такая пассивность, топни ногой, ударь меня, крикни: «Я летела за тысячу километров!» А ты? Улыбаешься как блаженненькая!

Она спокойно сказала:

— Я летела за тысячу километров. Оставайся.

Конечно, конечно, это была любовь — как же без нее? Без нее — нечестно, да и неловко как-то, честное слово. Он спросил:

— У тебя кто-нибудь был зимой?

Она не то солгала, не то сказала правду:

— Нет.

— А у меня, как ты думаешь?

- Думаю, что да, но не знаю — сколько.
- И ты так спокойно?..
- Почему бы и нет? Мужчины, они такие слабые.
- Ха, ты права. У меня была одна женщина.
- Одна? Красивая?
- Красивая, и она сейчас беременна.

Она подумала: «Да, да, иначе не могло быть. Любовь? Это из сказки, причем из чужой, это не про нас, кончается август — так и только так».

- Что ты молчишь?

— Плачу.

— Что я мог? Красивая, действительно красивая, даже слишком. Характер у нее жутковатый, вот что плохо.

- А как же я?

— Что — ты? Ты ведь не любишь меня?..

— Почему ты так думаешь?

— Знаю.

Жизнь идет, вернее, жизнь стоит, мнется, топчется, как нашкодивший ученик, — идет время, запутывая однообразием, внешнее благополучие моей жизни обманет любого, как оно обманывает меня. Смотрите, как красиво, ну, может быть, самую малость незатейливо, зато безо всяческих там посторонних вывертов и экивоков: неутомительная, хоть и нудная работа; милый добрый муж Саша, хозяйственный, к тому ж не пьет, а я знаю, как это важно; любимый малолетний сын (думаю, не стоит объяснять, кто лучший в мире ребенок), еще не вышедший из того вкусного, лучезарного возраста, когда собственная крошечная личность — центр мироздания, если в метро я говорю сыну: «Саша! Будешь себя плохо вести, поезд остановится», он в это верит свято, именно от него зависит и мамина улыбка, и движение поезда, и солнце в далеком синем небе. Таким вот образом: все у меня в порядке, на месте, отлично, замечательно, как у всех, ничем не хуже — уж по меньшей мере.

Но почему же я вижу собственное существование именно как существование, как быстро перелистываемую и совершенно затертую этим сравнением книгу, быстро-быстро, еще быстрее мелькают страницы, не читанные, наполовину белые, наполовину серые, только в каждом августе я вздрагиваю. Вздрагиваю и останавливаюсь, наткнувшись на свой тридцать четвертый год, в августе я пугаю спокойного мужа необъяснимыми взрывами нежности — откуда выплывает эта нежность? из тоски ли? из воспоминаний? И год-то был самый обычный, разве что — долгожданный, разве что — сфокусированный моим пристальным и придирчивым взглядом, почему же именно в августе прокручивается старая пленка с древним сюжетом: кошачий глаз неверного любовника, перпендикуляр, юные метания кузена, неумелые горестные стихи постороннего человека, моя девочка, сгинувшая в трубах, возможность полета над бездной города (что же я выпустила тогда, что же я!!), три ожога несбывшейся любви?

Почему в августе сердце становится тугим и маленьким, почему тычется в придуманные щели?

Почему в августе я хватаюсь за карандаш и пытаюсь знаками, словами и фразами вернуть тот свой год, но каждое новое слово лишь убивает время, строка уничтожает день, расстреливает его в упор, не зная ни жалости, ни сомнения, да примерно в таком вот соотношении: строка — день, или строка — час? Зачем же я убиваю память, доверяя ее неверной бумаге? Но год все не кончается, он длится, возвращается и возвращается вновь в августе, только в августе, каждый август.

Так за годом год, жизнь стоит, время летит, буквы слипаются в шрифт, и лишь за августом следует август. И где-то там, в одном из августов прячется любовь, которая, оказывается, существует, но которую я так и не сумела найти.

За августом — август, и снова — август.

Алла Марченко

Неизбежный текст

Я познакомилась с Татьяной Морозовой и ее мужем Игорем Кузнецовым либо в 89-м, либо в самом начале 90-го. В «Литературной газете». Игорь — тот словно родился профессионалом, годным к любой литературной работе. А Таня... Что талантлива, ясно с первого взгляда, но ясно и то, что это какая-то рассредоточенная, несфокусированная талантливость. Как будто креативная энергия, помноженная на «жажду жизни», то ли никак не может найти подходящую ей, и только ей, форму (способ) выражения, изображения, соображения, истолкования, то ли почему-то (по инстинкту?) не спешит находить. В отделе тут же пытались приспособить и ее к газетной текучке, подсовывая для рецензирования то одну, то другую книжку или публикацию. Таня мягко, через раз, уклонялась. Однажды показала несколько миниатюр в прозе — наброски, обещания, штрихпунктирные, «первой рукой», неожиданные и интересные. По обыкновению, принялась уговаривать. Дескать, вот-вот, самое то, надо только довести до ума! Впрочем, тут же и «дала задний ход», сообразив: когда молодая яркая женщина так опасно больна «чувством жизни», в том самом есенинском смысле («Я сегодня чувством жизни как некогда болен...»), навязывать советовать бесполезно. К тому же через несколько месяцев из «Литературки» сбежала. В новообразовавшееся «Согласие». Не помню, кто кого (года через полтора) нашел, то ли я Таню, то ли Таня меня, но один из принесенных в журнал маленьких рассказов (кажется, это был «Мелк») нам, мне и Светлане Бучневой, удалось опубликовать. Прошло еще несколько лет. «Согласие» лопнуло, а я волею случая оказалась в «Новом мире». Ситуация была критическая. Залыгин требовал Большой Прозы, калибра Астафьева и Владимова, а ее не то чтобы не было вовсе, но на двенадцать полноценных номеров не хватало. Словом, когда Таня появилась в редакции, мы ей обрадовались. И бескорыстно, и корыстно. Но Таня принесла не повесть и не роман, а полуочерк «Придурки-хроники», первую, как я теперь понимаю, попытку беллетризации своего нового, совместного с мужем профессионального опыта — «в качестве политехнологов» многочисленных проектов — от выборов мэров до выборов президентов. «Придурки» и сами по себе, не помню, в рукописи или где уже опубликованные, и как заявка на остросюжетный политико-технологический роман, мне, к сожалению, не показались. Нет, нет, в тексте как таковом не было ничего вульгарно-технологического. Весело, иронично, местами ядовито. Ничего похожего на «романы для денег». Да и кто их при тогдашнем тотальном безденежье не сочинял? И все как один в стиле: чем хуже написано, тем больше заплатят. И все-таки это был не новомирский «формат». Залыгин остросюжетной беллетристики на дух не переносил. Наталье Михайловне Долотовой пришлось сильно постараться, чтобы Сергей Павлович подписал в печать журнальный вариант первого большого романа Людмилы Улицкой «Медея и ее дети». Да и я ожидала от Татьяны чего-то другого, наверное, развернутого продолжения нащупанного в «Мелке». О чем и сказала. Может, слишком прямо или резко. Впрочем, и она, отстаивая себя, в возражениях не церемонилась. В проекции воспоминаний суть ее позиции сводилась к следующему. Новое

время — новые возможности, а значит, новые и язык, и сюжеты. Жизнь, как центрифуга, сортирует людей, прижимая к обочине мелкообразных. А она не хочет. Не хочет туда, обратно. В Мелкогонию, в серую, затянутую паутиной местожизнь. Туда, где свалка ненужных, отбракованных, не сортовых вещей и людей. Туда, где ничего, кроме якобы любви, не происходит. Да разве это любовь? Это ж брожение смутных предчувствий, легкокасание маловероятных вероятностей...

На этом мы с ней и расстались. В дверях Татьяна обернулась и, словно бы по дороге (комната прозы в тогдашнем «Новом мире» просторная, не комната, а зал), «переменила» свое новое деловое «лицо» на прежнее, еще литгазетовское. Закавыченная фигуральность может показаться натянуто-литературной, притянутой задним числом. Однако в тот момент она была совершенно естественной. Дело в том, что перед самым приходом Тани я листала «Шарманку» Эмэ Бээкман. Год или два назад ее переиздали в «Худлите» под одной обложкой с «Гонкой» и «Глухими бубенцами» и с моим послесловием. Вовремя до «худлитовской» лавки я почему-то не добралась, а тут вдруг увидела на развале и купила. В «Шарманке», напоминая, в условно эстонскую, отставшую от мировой цивилизации провинциальную страну является эффектно-деловая гостья из будущего, автор суперсовременного «андорского букваря». Герой романа, пораженный ее необычным видом и боевой фосфоресцирующей раскраской лица, увязывается за ней. Андорка не возражает, они долго бродят по городу, заходят в какой-то бар, усаживаются за столик, и тут с гостьей из будущего происходит нечто странное:— она теряет свое деловое лицо. Герой пробует пошутить. Где, мол, вы теряете свои лица? Я бы подобрал какое-нибудь. Андорка шутку не подхватывает. Отвечает серьезно. «Одно погребено под обломками во время землетрясения. А иногда люди уносят их с собой, чуть ли не силой... Бывает, что у меня безвозвратно похищают мое самое любимое лицо...»

Больше мы с Таней при ее жизни так никогда и не пересеклись. Слухи, естественно, доходили. Все, мол, у Кузнецова—Морозовой ладно да складно: успешно, разнообразно, современно. Множество — под псевдонимом — остросюжетных романов, сценарии для ТВ, а у Тани еще и замечательные выставки графики. И здесь, и ТАМ. На выставках побывать не пришлось, но некоторое представление о том, как славно она рисует, все-таки было. По сборнику «Новые амазонки» в ее оформлении. Легко, иронично, изобретательно, со сдвигом из примитива в полусюр...

В конце 90-х, когда гендерные бунтования возгорелись до температуры проблемы, я, взявшись за статью о женской прозе, позвонила Татьяне. Не дозвонилась, а потом и повод исчез. Выяснила, углубившись в предмет, что феминистские страсти-мордасти в ракурсе новых амазонок меня не волнуют только потому, что годы моей юности были праздником освобождения от навязанного *развитым социализмом* гендерного равенства. Евтушенко, а вслед за ним и наши ровесники, еще долго, по инерции, скандировали: «Лучшие мужчины — это женщины». Но мы уже иронически переглядывались. Нам нравились совсем другие песни:

Тьмою здесь все занавешено
И тишина, как на дне.
Ваше Величество, Женщина,
Да неужели ко мне?

Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода...
Женщина, Ваше Величество,
Как вы решились сюда?

Праздник неравенства, как всякий праздник, длился недолго. Тьма становилась все серее, электричество — тусклее. Мужчины слишком быстро старели, мальчики чересчур медленно взрослели. А достигнув возраста зрелости, превращались в пер-

сонажей без свойств. Вирус «гипертрофированного романтизма» смутировался настолько, что особи женского рода уже не «падали в любовь», как в болезнь, они без нее обходились... По причине стойкого иммунитета. Иногда, впрочем, иммунитет не срабатывал. Не в первой молодости, позже, порою как в случае с героиней морозовского «Августа», в статистической середине «дороги жизни» — в тридцать четыре года...

При первом быстром чтении воспринимаешь рассказанную здесь лавстори как повесть о поздней неудачной, не попад любви.

При втором — как исследование «свойств страсти».

При третьем — как историю болезни, в специфическом, чуть ли не медицинском значении. Болезни тяжелой, затянувшейся на год, с осложнениями, но отнюдь не смертельной. Вполне-вполне совместимой с жизнью.

Пытаясь сообразить, какое из трех истолкований ближе к авторскому замыслу, перечитала оказавшиеся под рукой сборники женской прозы — от «новых амазонок» до первой книжечки Татьяны Толстой «На златом крыльце сидели...» Ни соответствий, ни переключек не нашла. Но с кем-то она, Татьяна (не Толстая, а Морозова), без слов беседовала, на кого-то тайно оглядывалась. В тексте скрытно присутствует некто не названный, но авторитетный... И потом, почему героине к началу невеселого ее романа тридцать четыре? Не бальзаковские *тридцать*, не ярославские *сорок* — «Вам не случилось ли влюбляться, \ Мне просто грустно, если нет, \ Когда вам было чуть за двадцать, \ А ей почти что сорок лет...»? Странное число ... и не литературное (то есть, не числовой центон), и не прямо автобиографическое. В год нашего знакомства Татьяне то ли только что исполнилось, то ли еще и не было 34-х. Однако в женской ее участи, по всем приметам, ничего «августовского» не происходило. Они с Игорем не демонстрировали согласие, они им светились...

34...34...34... Что это число — ключ к смыслу «Августа», подсказывала интуиция, но где все остальное? Замок? Тайник? Ларчик? И вдруг что-то в памяти щелкнуло. Подошла к полке, вынула том, отличный от других лишь тем, что из него, вместо закладки, торчал пожелтевший обрывок газеты. На заложённой странице он разломился, и я прочла — когда? зачем? для какой надобности? — отчеркнутое:

«Обидно сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года».

Ну, так и есть: Антон Чехов. «Три года». Сентябрь — декабрь 1894-го. Автору, как и герою рассказа, 34! И ситуация та же, что в «Августе», только повернута к нам мужской стороной:

«Он вспомнил длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, — разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, и есть только физическое влечение полов, — и все в таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы что ответить».

Когда был начат и закончен «Август»? Судя по реалиям, давным-давно... Почему же так и остался в рукописи? Не знаю. Зато в том, что маленькая эта повесть — из тех текстов, какие Игорь Кузнецов назвал «неизбежными», не сомневаюсь. Чтобы не объяснять своими словами, что сие означает, процитирую отрывок из его статьи, некогда опубликованной в «Дружбе народов»: «"Неизбежный текст" — ключевое понятие, введенное д-ром Казиным (героем рассказа Владислава Отрошенко "Тайны жалонерского искусства"). Суть этого понятия в том, что существуют некие тексты, которые просто не могут не появиться, ибо их первопричиной является "высшая воля". Заинтересованная, впрочем, не только в появлении, но и в правильном истолковании... Если же на том или ином этапе происходят сбои, то тексты сии вынуждены рождаться вновь — "в другом месте", "в другое время", "и при содействии другого автора"». (Игорь Кузнецов. *Египетское утро. «Дружба народов», 1996, № 11. С. 170.*)

«За августом следует август...» А что, если это и есть *самое любимое лицо* Тани Морозовой?

Андрей Грицман

За отчетный период

* * *

Догонял на пути улетевший дым,
горизонт, по ходу дела, искал.
А потом осознал, что совсем один.
Никто не помог, догадался сам.

И тогда пошел не в разнос, в себя.
Сам себе очки протирал-втирал.

Это кто? А кто ж еще — это я!
Это наша с тобой на прорыв игра.

В перископ души увидал луну.
Но д.р., рост, цвет глаз, ПМЖ —
не забудешь, когда ты бредешь по дну
в ту страну, где живут еще и уже.

* * *

Оказавшись в одном купе,
мы возьмем вторую бутылку.
Свет за окнами потемнел.
Дождь прошел, умирая, мелкий.

Нам в последний раз хорошо,
и чиста напоследок водка.
Кто-то тихо в тамбур прошел.
Ты пойми — этот случай редкий:
мы останемся в этом купе.
Не нужна нам теперь пересадка.
Берендеев лес пролетел.
Я гляжу на тебя без остатка.

Вот мы рядом с тобой сидим
успокоясь, вот чай разносят.
Я теперь не один, один.
Ты глядишь на крутую насыпь.

* * *

Ты живешь на заливе, я живу на реке. Весна белым наливом, но душа на курке.	А могла бы с цветами жизнь дойти до угла. Да могли бы мы сами через впадины зла.
Ты стираешь в подвале, я звоню в пустоту. Сквозь тоску одеяла я услышу тоску.	От реки до залива сквозь туннель полчаса. Тянет боль моя слева и читает с листа.

* * *

Я теряю стихи.
Распадаются дни на заботы.
И работа такая — позапрошлые буквы низать.
Телефон, как наотмашь, звенит.
Вполоборота
Я стараюсь не видеть его,
Чтоб совсем не пропасть.

Эта пропасть родная
Манит ужином, ночью и лаской.
А потом настигает развязка
У вешалки наперекрест.
То ли По почитать, таблеток ли горсть,
Чай вприглядку?
А не то постучит в мою дверь
Известный мне гость.

Мы присядем, нальем по стакану и вспомним
Как когда-то, когда я еще
Так не жила,
Я его понимал. И посуду свою
В пустеющем доме,
Собирая пожитки к утру,
Навзрыд раздавал.

* * *

Рассредоточение приземистых коробок по ничьим холмам.
Медленная миграция душ из мест отдаленных.
Жизнь отдыхает, зима — не зима,
словно пристанище лиц перемещенных.

Что же делать, как сюда меня занесло,
я не опознан, как те незаметные лица
на эскалаторе, падающие в пекло, и слово
где-то витает в туннеле, как странная темная птица.

Придется признать: я нигде не живу,
но документы для виду в полном порядке.
Глухо постройки сквозь воздух бесстрастный плывут,
будто на кладбище, ровные грустные грядки.

Жизнь продолжается, словно растущий кристалл,
в этом холодном, озоном прожженном растворе.
Я засыпаю, слонов досчитавши до ста,
и к изголовью подходит бесшумное Мертвое море.

* * *

Что рассказать мне тебе за отчетный период?
Осень прошла, потом лето, потом незаметно
Странные вести дойдут на почтовой открытке,
Я бормочу что-то тихо, блуждая без места.

Времени все же хватает на мелочи жизни:
Взять огурцов, захватить укропа.
И шелестят вдоль Гудзона безвестные листья.
Я же стараюсь посильно прожить по закону

Влажной природы по-прежнему переселенцем.
Голос услышать из западных дальних пределов.
Видишь, как в воздухе бьется соколом сердце,
Так же легко на тот голос, взлетая над телом.

* * *

Хотя и отплывает далеко
значение последних слов, последних,
рассветное густое молоко
застывшим эхом наугад ответит.

Так в полусне, стараясь слышать звук,
приподнимаешь голову и видишь:
ты не один, и на подушке знак,
оставленный тобой, когда ты выйдешь.

И я проснусь, найду ключи, кисет,
билеты, паспорт и блокнот заветный.
Перед дорогой надо бы присесть
и выйти в дверь навстречу в неизвестность.

Валерий Есипов

Шаламов

Главы из жизни

Глава первая

В поисках родословной

Варлам Шаламов... Удивительное для всех современников, явно архаичное имя, в котором слилось и церковное, и языческое, происходящее из каких-то неведомых глубин лесной «заволочской» Руси.

Шаламов не любил своего имени. Но как поэта его не могло не привлекать это редкое, с внутренней музыкальной перекличкой, сочетание с фамилией, в котором столь осязаема игра любимых им звуковых повторов — и двойных гласных «а»-«а», и особенно согласных «р» и «л», напоминающая и крики шамана, и орлиный клекот. Осознание красоты своего первородного поэтического имени пришло к нему, вероятно, позднее, в 1960-е годы, когда стали выходить сборники стихов, выделившие его из сонма советских поэтов (с псевдонимами и без, от революционных Безыменского, Бедного, Голодного до современных ему трудноразличимых Васильевых, Сидоровых и Пупырушкиных) и особым, ни на кого не похожим голосом, и резко своеобразной звукописью и семантикой родовой эмблемы.

Но в юности 1920-х, да и на протяжении последующей жизни Шаламов, как гражданин новой, воинственно-атеистической страны, испытал множество неприятностей — натерпелся! — из-за отчетливо религиозного истока имени. Тем более что изначально его нарекли Варлаамом — в строгом соответствии со святцами, церковно-православным календарем.

Он родился в Вологде 5 июня 1907 года по старому стилю (18-го — по новому), в день памяти преподобного Варлаама Хутынского, новгородского монаха-пустынника, канонизированного в XV веке и почитавшегося на всем Русском Севере. В святцах его имя поминалось дважды — 6 ноября и в первую пятницу Петрова поста (переходящий праздник). Почитание от века к веку, правда, становилось все более внешним. В Вологде до сих пор блещет своей изысканной, вызывающе антимонашеской, дворцово-светской красотой церковь Варлаама Хутынского, построенная при Екатерине II в 1780 году по проекту неизвестного (скорее всего — петербургского) архитектора-вольнодумца — с причудливым крыльцом-ротондой, куда, несомненно, не раз взбегал и живший неподалеку, всего в двухстах метрах, мальчик, которого в семье звали Варлушей...

Есипов Валерий Васильевич (р.1950) — журналист, историк, кандидат культурологи. Многолетний исследователь биографии и творчества В.Т.Шаламова, автор книги «Варлам Шаламов и его современники» (Вологда, 2007,2008), статей и книг по проблемам русской истории и литературы. Живет в Вологде.

Крестили Шаламова в другой церкви, расположенной тоже недалеко (и тоже очень своеобразной по архитектуре), — Цареконстантиновской, освященной в честь первого христианского императора Константина и святой Елены. В том, что для крещения младенца выбрали этот храм, была, как увидим, своя интрига. Но вначале документ — обнаруженная уже в 1990-е годы в архиве бывшего Вологодского епархиального управления метрическая книга этой церкви.

В графе родившихся в июне 1907 года значится: рождения 5 числа, крещения — 12 числа — *Варлаам*. И далее: звание, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания — *Кафедрального Вологодского Собора Священник Тихон Николаев Шаламов и законная его жена Надежда Александрова, оба православные*. Звание, имя, отчество и фамилия восприемников — *Коллежский асессор (исправник на пенсии) Александр Александров Воробьев*. Кто совершал таинство крещения — *Священник Сергей Непеин с псаломщиком-диаконом Владимиром Шахматовым*¹.

Почему семидневного малыша окунали в купель не в «именной» церкви, а в соседней, можно объяснить просто — священник Сергей Непеин, весьма известная в Вологде своей широкой образованностью фигура, был добрым приятелем о. Тихона Шаламова. Тот недавно вернулся со службы в Американской православной миссии и выбирал себе новых знакомых исключительно по степени просвещенности. Незадолго перед этим, в 1906 году, о. Сергей выпустил ценнейшую историко-краеведческую книгу «Вологда прежде и теперь» (она впоследствии упоминалась даже в Большой советской энциклопедии), а о. Тихона тоже можно было назвать своего рода церковным писателем или журналистом — он опубликовал множество статей и очерков о своей миссионерской деятельности на Аляске. Не случайно сын Непеина Борис стал потом одним из близких знакомых юного Варлаама Шаламова — они обменивались марками, книгами, оба рано увлеклись литературой. В 1920-е годы, когда Шаламов уехал учиться в Москву, Борис Непеин участвовал в вологодском кружке пролетарских поэтов «Кузница», потом работал в местных газетах. В 1937 году он был арестован (за то, что в свое время брал интервью у расстрелянного «врага народа» маршала М. Тухачевского), отправлен в Сибирь, в Краслаг, а по прошествии почти тридцати лет получил в дар от Шаламова (по почте) один из его стихотворных сборников. Непеин, к сожалению, напуганный навеки сталинской эпохой, всячески избегал говорить о своем лагерном прошлом, он всю жизнь занимался рутинной библиографией местных авторов, но именно он первым в Вологде на закате своей жизни, в конце 1980-х годов, напомнил о совершенно забытом здесь, исчезнувшем на несколько десятилетий, имени Шаламова — показал дом, в котором родился и жил автор «Колымских рассказов», и с этого начался нынешний музей и нынешнее паломничество. Но это уже отдельная история.

Имя «Варлаам», казавшееся в начале XX века столь же ветхозаветным, как Авраам и вызывавшее поддразнивания со стороны всех, кто помнил пушкинского чернеца-бродягу из «Бориса Годунова», с ранних лет вызывало у Шаламова резкое отторжение. Здесь можно увидеть одно из проявлений конфликта будущего писателя с отцом-священником — конфликта, к которому нам еще не раз придется обращаться. Именно отец, свободомыслящий в мирских делах, но большой педант в ритуально-церковных и деспот в семейных, настоял на наречении младшего сына строго по святам. Между тем — в чем и состоит интрига — мама хотела назвать его другим именем, и среди родителей некоторое время шла скрытая борьба. Об этом говорят обнаруженные недавно в фонде писателя в РГАЛИ дневниковые записи, имеющие выразительный заголовок «Почему я не стал Александром»².

¹ Документ найден в Вологодском госархиве в 1994 году. Он позволяет устранить ошибку с датой рождения писателя — 1 июля, возникшую из-за смешения старого и нового стилей и попавшую в «Краткую литературную энциклопедию» (1975 г.) и словарь «Русские писатели 20-го века» (2000 г.).

² РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, д. 197, л. л. 11–19.

К сожалению, записи, сделанные Шаламовым на склоне лет, трудноразборчивы, ряд подробностей не улавливается, но общий смысл таков, что мама «приняла за счастье» родить ребенка, когда ей было уже почти сорок лет, и если будет сын, намеревалась назвать его Александром «в честь своего отца». Вероятно, она рассчитывала, что роды состоятся ближе к дню рождения святого Александра Невского, который выпадал на 12 июня, а она разрешилась от бремени неделей раньше.

«Но твоей матери эта проделка не удалась. Ты не стал Александром» — так выговаривал Варламу отец позже, уже в 1920-е годы. (Эта запись читается четко. — В. Е.) В чем же состояла «проделка»? Об этом можно судить по дате крещения, ведь согласно православному канону, ребенка можно было назвать и по имени святого, который выпадал на этот день. Мама, конечно, не случайно избрала в качестве крестного отца своего брата Александра Александровича Воробьева (ее девичья фамилия была Воробьева) — того самого «коллежского ассессора, исправника на пенсии». Крестный — по тому же канону — имел право предлагать имя новорожденному чаду, и брат, естественно, следовал желанию сестры, тем более, имея повод для гордости, что будет продолжено и его имя.

Но в итоге все зависело от воли священника, совершавшего ритуал. А ему, о. Сергию Непеину, вероятно, и было строго наказано (или шепнуто по-дружески), что мальчик должен быть наречен не иначе, как Варлаамом, по дню появления на свет...

Все это вполне соответствует логике поведения отца, не терпевшего никакого прекословия в семье и к тому же недолюбливавшего всех родственников по линии жены за их «верноподданное» чиновничье поприще (себя, в рясе, он считал более свободным, потому что после Америки стал по политическим склонностям почти республиканцем).

Короче говоря, над купелью младенца разыгралась маленькая семейная драма. В связи с этим можно сделать важное заключение: само таинство крещения великого русского бунтаря-протестанта Варлама Шаламова сопровождалось распрей, борьбой между жизнью и догмой. Как бы ни судить — это символично.

Имя, о котором мечтала мать, сыну нравилось гораздо больше. В тех же записях писатель вспоминал, что юношей «собирался выступать в театре под именем «Александр Шаламов», а самым важным для него было то, что при этом условии он в жизни «избежал бы напрасных вопросов». Но единственное, что он смог сделать при получении первого профсоюзного билета в Москве (заменявшего в 1920-е годы паспорт) — убрать из имени одну букву «а».

Сетования сына по поводу анахроничности своего имени отец, по обыкновению, жестко парировал. В данном случае, как следует из тех же записей, — обращением к примеру своего любимого знаменитого земляка Питирима Сорокина: «Вот Питирим Сорокин. Звучит. И все зовут его по имени».

Земляком о. Тихон называл П. Сорокина потому, что сам он родился и вырос далеко от Вологды, «среди зырян», как и звезда русско-американской социологии. Отец и сам считал себя «полузыряннином» и гордился этим, полагая, что сделал не менее успешную карьеру, побывав в той же Америке, то есть вышел «в люди» из туземных краев. Это была одна из красочных семейных легенд, которую невольно подхватил и развил, доведя до почти фантастической гиперболизации, писатель.

Целые страницы его автобиографической книги «Четвертая Вологда» посвящены описанию экзотики происхождения отца, а также и фамилии:

«Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами, несколько поколений из шаманского рода, незаметно сменившего бубен на кадило, — весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души... Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем

содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством. И того, и другого в избытке хватало в характере отца...»

Судя по всему, Шаламов никогда не изучал свою родословную — не было для того ни возможности, ни желания, и не принято (да и опасно!) в те годы, когда пункт анкеты о «социальном происхождении» во многом определял всю жизненную перспективу человека и его судьбу. Но есть архивы, есть документы, этимологические и другие справочники, которые позволяют теперь внести ясность в столь «зашаманенную» поэтическим воображением писателя историю его рода.

Этой проблемой первой занялась Ирина Павловна Сиротинская, ближайший друг и наследница Шаламова, ставшая волей судьбы и долга его биографом. В конце 1980-х годов она, профессиональный архивист, работала в дореволюционных фондах Вологодской и Великоустюжской епархии, которые сохранились столь же хорошо, как, оказывается, и фонды ОГПУ-НКВД... Да простится это сравнение — но в данном случае оно уместно, потому что мы имеем дело с четко отлаженной системой, когда о бумажно-учетной бюрократии можно говорить в положительном смысле. Другое дело, что в одном случае прослеживается рост и расцвет генеалогического древа, а в другом — его хирение и гибель: это, увы, печальная закономерность русского XX века, которая, может быть, ярче всего проявилась в судьбе рода Шаламовых.

В результате епархиальных изысканий выяснилось, что писатель был прав лишь в одном — в том, что отец происходил из потомственной священнической семьи. Но никакого родственного отношения к зырянам — народности финно-угорской группы, населявшей издавна территорию нынешней Республики Коми (эта территория входила до революции в состав громадной, простиравшейся почти до Ледовитого океана Вологодской губернии), — эта семья не имеет. Она берет начало из русского, славянского корня, который издавна, по крайней мере с XVIII века, связан с древнерусским городом Великим Устюгом. Надо напомнить, что Великий Устюг был родиной землепроходцев — первых отважных покорителей Сибири, Чукотки и Аляски. Памятник местному уроженцу, казаку и мореходу Семену Дежневу, за 80 лет до Беринга прошедшему через знаменитый пролив, украшает центр города и стоит рядом с его главной святыней — Успенским собором. Великий Устюг с самого его основания служил северным оплотом православного христианства — все богатые купцы города почитали для себя честью (а не только замалчиванием грехов) вкладывать свои накопления в строительство храмов. Храмов и часовен было здесь — и сохранилось, к счастью наших современников, — огромное множество, и красотой они не уступают московским, суздальским или вологодским.

Упомянутый в клировой ведомости Сретенского собора Великого Устюга за 1849 год умерший дьячок *Максим Шаламов Харлампиев сын* был, вероятно, еще не самым дальним предком писателя. Более углубленные исследования на этот счет пока не проводились. Позднее в церквях города служили *Михаил Максимов Шаламов* (Сретенский собор) и *Дмитрий Максимов Шаламов* (церковь Симеона Столпника) — очевидно, сыновья дьячка. В 1846 году был рукоположен в сан протоиерея священник Великоустюжского Прокопиевского собора *Павел Иоаннов Шаламов*, окончивший Духовную академию в Москве.

Твердо установлен прадед писателя — *Иоанн Максимов Шаламов* (1790–1849), тоже уроженец Великого Устюга. Он служил священником Васильевского прихода в Шасской волости, в 80 километрах к югу от города, на реке с названием Юг (это не географическое указание, а финно-угорский гидроним, послуживший одним из слагаемых топонима «Устюг»).

Клировая ведомость — мертва, если ее ничто больше не дополняет. Поэтому, когда современные музейщики Великого Устюга сообщили, что видели во время своей экспедиции в те края в середине 1990-х годов старую могильную плиту с надписью «Шаламова» (женский род — так!), автору пришлось срочно собираться в

дорогу: ведь на всей территории нынешней Вологодской области ничего предметного, напоминающего о корнях рода писателя, не сохранилось.

Удалось попасть сюда лишь в августе 2000 года и сделать некоторые открытия. Добраться, надо сказать, было непросто: место расположено у границы Вологодской и Кировской областей, где до сих пор царствуют леса и болота, и последний отрезок в восемь километров пришлось преодолевать на попутном тракторе. Зато усилия были вознаграждены: в деревне Обрадово неплохо сохранился каменный храм Василия Великого (естественно, без куполов), а главное, у его подножия действительно лежит замшелая гранитная плита с ясно читаемой надписью: *«Жена священника Шаламова. Скончалась 7 января 1851 года. Покойся милый прах до рассветного утра»*.

Прочтя эту сентиментальную, диковинную для сих мест надпись, пришлось испытать разные чувства. Жаль, что рядом не осталось ничего памятного о муже. Но почему-то подумалось о том, что эта женщина, прабабушка писателя, была не просто попадшей, обремененной заботами, а живя «в глуши забытого селенья», могла читать книги своих современников — Пушкина, Гоголя, Тютчева. Если иметь в виду, что поэтическое начало у самого Шаламова, по его признанию, идет по женской линии, от матери, то можно предположить, что оно имеет и более глубокий исток. Но главное, насколько все же глубоко связан Шаламов и его род со светлым Русским Севером — совсем не похожим на Север Колымский...

Примерно те же чувства довелось испытать еще раньше, в 1991 году, когда мы — И. П. Сиротинская, автор этих строк, и двое дальних родственников писателя (по линии его дяди) — совершили путешествие от Вологды и Великого Устюга дальше на север, в ту самую «усть-сысольскую глушь», где родился отец Шаламова Тихон Николаевич. Туда, до бывшего Усть-Сысольска Вологодской губернии (а ныне Сыктывкара, столицы Республики Коми) мы летели сначала на самолете АН-2, потом ехали на машине, а после переправы через реку Сысолу шли, как истинные пилигримы, уже пешком в гору до самой Вотчи — старинного села, отмеченного жизнью и деятельностью двух представителей рода Шаламовых. Шли, уже обогащенные знанием не только архивных документов, но и книг, и семейных рассказов и реликвий о последнем их родовом гнезде (не считая Вологды).

Было известно, что дед писателя *Николай Иоаннович*, родившийся в 1827 году, пошел, как было заведено, стезей своего отца — он поступил в Вологодскую духовную семинарию, окончил ее и несколько лет служил священником в церкви Параскевы Пятницы Великого Устюга. Перед вступлением в сан он женился — на дочери местного пономаря Андрея Мусникова (что высвечивает еще раз традиционность корпоративно-семейных уз православного духовенства). А в 1867 году «по жребии», как было принято в епархиальной жизни и в чем была своя справедливость, направился в самый дальний Вотчинский приход Усть-Сысольского уезда, где прослужил священником до 1899-го, то есть тридцать два года. В том году он передал управление приходом своему младшему сыну Прокопию, окончившему Вологодскую семинарию, и, выйдя на пенсию, дожил до 83 лет (умер в 1910 году, как Л. Толстой, будучи старше его на год).

Варлам запомнил только рассказы отца и матери о своем деде, которые вошли в «Четвертую Вологду»: «Мой дед, деревенский священник, был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открывала. И дед мой умер на крыльце собственной избы, замерз».

Это семейное предание, очевидно, далеко не во всем соответствует действительности. Известно, что ни отец, ни мать Шаламова не поддерживали никаких отношений со своими «зырянскими» родственниками и узнали о происшедшем скорее всего из позднейших слухов. Но в том, что дед — одинокий пастырь одного из самых глухих приходов России — попивал, причем иногда, может быть, и изрядно, ничего

удивительного нет. Это была, увы, типичная и неискоренимая черта большинства российского сельского духовенства. Художественная социология второй половины XIX — начала XX века в лице В. Перова, И. Репина, В. Маковского, Н. Успенского, Н. Лескова, А. Ремизова и множества других (включая историка церкви и протоиерея Е. Голубинского, писавшего о «гомерическом пьянстве» деревенских батюшек) оставила неоспоримые тому свидетельства. В конце концов, именно из-за пьянства деда, как не раз слышал Шаламов от отца, сам Тихон Николаевич еще в юности стал убежденным трезвенником.

Однако, разумея, что кроме церковных праздников (двунадесятых, престольных и рангом ниже), кроме треб, исполняемых на дому с обязательным подношением чарки, существовали еще и строгие многодневные посты и не менее строгий архиерейский надзор, а многие сельские священники вынуждены были из-за нищенского жалованья держать хозяйство, чтобы кормить свои многодетные семьи, для преувеличения значимости алкогольных возлияний (в том числе и в жизни о. Николая Шаламова) нет оснований. По крайней мере, очевидно, что, как и у всякого русского священника, вовсе не в этом состояла *вся* его жизнь. А у шаламовского деда она была совсем не легкой.

Подходя к Вотче, мы уже знали, что существует брошюра «Церковно-историческое описание Вотчинского прихода», написанная и изданная в 1911 году о. Прокопием Шаламовым — тем самым сыном, который наследовал отцу в Вотче. В брошюре подробно изложена не только древняя история этого зырянского села, освоенного в XIV веке посещением знаменитого миссионера, крестителя зырян и других северных народов Стефана Пермского, но и отдана немалая дань подвижническому (так и говорит автор-сын) труду о. Николая Шаламова. В этом плане брошюра несколько напоминает житие, но за естественной велеречивостью ее стиля можно разглядеть и нечто реальное. Вполне вероятно, что в начале поприща нового пастыря, в 1867 году, здесь действительно царил «полное невежество и темнота народа». Открытие церковно-приходской школы и земского училища вряд ли можно поставить в заслугу исключительно ему — тут действовали скорее общие синодально-государственные установления. Но повседневное попечение о школе и училище — кому оно выпало, кроме него? Сын особо выделяет заботы батюшки о благоустройстве приходского храма Рождества Богородицы (постройки 1841 года) и прежде всего — о сборе им пожертвований на 214-пудовый(!) колокол-благовестник, который был установлен в 1880 году — его «могучий звон разносился по дальним деревням прихода, возвещая время молитвы». Перечень иных добрых дел о. Николая можно не приводить, но, пожалуй, самое важное — он не был корыстен. Жил, как пишет сын, в скромном деревянном домике, часто ходил пешком за много верст, чтобы «утешить больных и умирающих», «нищие никогда не имели отказа у него дома».

Есть в книге и важные подробности о семейных отношениях деда Шаламова. «Часто ссорился с бабкой» — это банальность, рожденная слухом. Истинная драматическая подоплека этих отношений открывается в скупых строках книги сына Прокопия о том, что его отцу «выпало великое испытание, посланное Богом, — горячо любимая его супруга болела сильным нервным расстройством». Подробности на этот счет не приводятся, но в семье потомков автора (с ними мы подходили к Вотче) сохранилось предание о том, что молодая жена Татьяна (Мусникова, та самая дочь пономаря), живя уже в этих местах, заболела оттого, что пережила сильное душевное потрясение: на ее глазах молнией убило одного из детей...

И при всем том скромный сельский священник прожил жизнь, превышающую по сроку жизнь Л. Толстого. Можно ли и о ее содержании, наполненном вечным страданием и трудом, говорить так пренебрежительно, как говорил юному Шаламову его отец?

Всего детей в семье о. Николая осталось пятеро: три дочери и два сына. Первым из них в Вотче родился Тихон — 5 августа 1868 года. Прокопий появился на свет восемь лет спустя, в 1876 году. Две сестры вышли замуж за священников, одна стала народной учительницей в той же Вотче. Тихон, уехав в Вологду, окончил там в 1890 году духовную семинарию и вскоре отправился миссионером на Аляску. Больше он никогда не возвращался на свою сельскую родину: ушел, если так можно выразиться, в цивилизационный или карьерный «отрыв» от нее (подробности — в следующей главе). А вот судьба его младшего брата Прокопия сложилась трагично и во многом перекликается с судьбой его племянника — оба они, увы, остались неведомы друг другу — Варлама Шаламова.

Еще в Москве, встретившись впервые с потомками последнего священника Вотчи, автор узнал много интересного об этом человеке. Он не только продолжал дело отца, но и вносил в него новое и неизбежное, что требовала жизнь — все реальности и тревоги XX века. В 1904 году отец Прокопий пошел добровольцем на Русско-японскую войну — он был на ней не только священником, но и медицинским братом, за что удостоился серебряной медали Красного Креста. Как «пастырь добрый» имел и медаль от Синода на Владимирской и Александровской лентах. На сохранившихся фотографиях (в том числе с женой Марией Роговой, выпускницей Устюжского епархиального училища) он предстает умным, симпатичным человеком, жившим поистине высокими духовными интересами.

Отец Прокопий достаточно лояльно воспринял новую власть, дошедшую до далекой Вотчи лишь в 1918 году, и до конца 1920-х годов не испытывал с ее стороны серьезных притеснений. Сельских активистов и местную голытьбу, судя по некоторым свидетельствам, больше всего раздражала породистая и ухоженная белая лошадь, на которой совершал выезды батюшка. Но большинство прихожан-зырян, верных своему заботливому пастырю, не испытывало к нему никакой зависти. Привлеченный к суду в 1925 году по подозрению «в сокрытии или тормозе сдачи церковных ценностей», он был судом и оправдан. В эти годы советская власть, особенно на местах, еще считалась с религиозными чувствами людей, и даже колокольный звон лишь ограничивался, но не запрещался. Судьба 214-пудового благовестника на колокольне главного вотчинского храма, по-видимому, решилась тогда же, когда и судьба самого о. Прокопия. Он был арестован 25 января 1931 года, в разгар коллективизации на Севере, и в мае того же года расстрелян.

Архивы местного УФСБ, обнародованные в начале 1990-х годов, донесли до нас слова последнего действующего священника из рода Шаламовых — с его допроса в Коми облотделе ОГПУ:

«Виновным я себя не считаю ни в чем... Как пользовавшийся наемным трудом я не отрицаю правильности моего раскулачивания, она меня не оттолкнула от политики власти, но я задет тем, что конфискацию провели ночью, в 2 часа ночи, и унесли все имущество, которое куда девалось, мне неизвестно. Раскулачен был за невыполнение хлебозаготовок, которых не имел».

В 1937 году была расстреляна — по фальшивому делу некоей «контрреволюционной фашистской(!) «Священной дружины»(!) — жена П. Н. Шаламова Мария Александровна. После гибели мужа она мечтала только о монашеском постриге, добивалась его, но попала в «фашисты». Так же называли, заметим, и Шаламова, и всех других политических заключенных, оказавшихся на Колыме...

«Сталинская коса косила всех подряд», — свидетельствовал писатель. Но он подчеркивал и другое: «Именно по духовенству и пришелся самый удар прорвавшихся зверских народных страстей». Поразительно точно сказано об этих поистине зверских страстях, об о с т е р в е н е л о с т и, с которой уничтожалось — с одной стороны, по дикости, невежеству, нехристианизированности народа (печальное выражение А. Ахматовой: «Христианство на Руси еще не проповедано» — стоит выше

многих ее поэтических строк), с другой стороны, по воле и прямой санкции бывшего тифлисского семинариста (отбывавшего, между прочим, в 1910–1912 годах ссылку в здешних местах, в Сольвычегодске и Вологде) — *поп ов с ко е с е м я*, «главный рассадник контрреволюции», как гласили директивы сталинского ЦК ВКП(б).

Опустошенные горечью этих воспоминаний, мы сидели в московской квартире потомков о. Прокопия Шаламова и перелистывали альбомы, которые собирал его сын Николай Прокопьевич. Он стал инженером-строителем, доктором технических наук, доцентом МИСИ — пожалуй, единственно потому, что отец вовремя успел отправить его из Вотчи на учебу. Всего в этом ответвлении рода Шаламовых было семеро детей, большинство из них переехало в города и как-то устроилось. Двое сыновей погибли в Великую Отечественную войну, а дочь Евгения служила после войны секретарем у маршала К. Рокоссовского. Каждый в меру возможности хранил память об отце и матери. А Николай Прокопьевич — тайно, подальше от любых глаз — сберегал и их фотографии, и ту самую брошюру с описанием Вотчинского прихода. Он умер рано, в 1965 году, так и не узнав, что в Москве у него есть двоюродный брат, прошедший Колыму и ставший писателем.

Варламу Шаламову — по его биографии и по его характеру — было не до родственных сантиментов. К своей генеалогии он, как уже известно, относился безразлично. К церкви и религии был индифферентен, но терпим, а истинно верующих всегда уважал (нюансов мы коснемся в следующих главах). Для чего же шли мы, пилигримы, в далекую Вотчу? Ведь там, как оказалось, не осталось никаких следов пребывания предков Шаламова, кроме полуразрушенного — один кирпичный остов — храма на вершине большого холма.

Шли, чтобы своими глазами убедиться, что легенда о «шаманском» происхождении рода — всего лишь легенда? Но это было сразу понятно: коми-зыряне давно ассимилировались с русскими, и старые избы-пятистенки в этом селе срублены по общему северному обычаю — они лишь более приземисты, с учетом пронизывающих зимних ветров. Людей с фамилией Шаламовы нигде в округе не сыскать. Кстати, эта фамилия в свое время была достаточно широко распространена в российском Предуралье, как и Шалимовы. В этимологических словарях та и другая фамилия обычно сближаются по своему происхождению от корня «шал» — «шальить», «шалый» и т.д. Но есть и версии о тюркских истоках — имя «Шалим» означало маленького младенца, которого можно взять в горсть; кроме того, совсем уж созвучны «шалам» и «салам». Все это — слишком гадательно, и может увести в таинственную романтическую глубину происхождения всей русской нации, отраженную у А. Блока: «Да, скифы мы...» С этими ассоциациями была, как мы знаем, связана и мысль самого Варлама Шаламова. Но коль скоро четкой определенности нет и открыт простор для вариантов, автор полагает, что равное с иными имеет версия о славянском корне фамилии «Шаламов», происходящем от древнего слова «шелом» (шлем): Шеломовых в современной России осталось столь же немного, сколь и Шаламовых.

«Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы выдумываем себе символы и этими символами живем», — писал герой этой книги в своем рассказе «Воскрешение livestockенницы». Наверное, и путешествие по следам предков писателя было рождено этой же неискоренимой человеческой потребностью.

Дети XX века, мы верим не только в генетику. Речь идет об особой, культурно-генетической памяти. Механизмы этой памяти разгадать чрезвычайно сложно. Что впитывает в себя человек из своей родословной, из каких ее колен выпадают ему «хромосомы», одаряющие его и чертами предков, и талантом? Наука здесь бессильна, а молва способна только на то, чтобы гадать, в кого уродился, в кого пошел отрок. У Шаламова таких гаданий не было — он в общем и целом, как говорится, посюсторонний и вовсе не мистический человек, считал, что в нем больше всего сказались гены матери и ее воспитание. Мать, между прочим, была коренной (городской) во-

логжанкой. Но разве можно отрицать, что многовековые гены русского северного священства рода Шаламовых, а именно — их культурная, нравственная составляющая, не сказались на всем душевном строе писателя? По крайней мере в одном, главном, они точно оставили свой след — в не имеющей себе равных в русском XX веке твердости духа писателя, в беззаветном стремлении к высшей правде и отвержении ради нее всех земных благ.

В итоге он оказался чем-то похожим на своего небесного покровителя Варлаама Хутынского? Кто хочет веровать в это, пусть верует. Но кроме небесных, трансцендентных аналогий есть и вполне земные. Они отразились в традициях, в психологии и менталитете северорусского человека, его этических нормах. Одной из этих норм много столетий являлось нестяжательство, принципы которого были провозглашены — на высшем для XV века интеллектуальном уровне — знаменитым книжником-иноком Нилом Сорским, жившим в пустыни неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. В силу географии, климата ли, или особенностей социального и экономического быта эти устои жизни оказались особенно живучими и распространенными на Русском Севере — в отличие от обеих столиц, от Юга, Сибири и других окраин России. Никто не станет отрицать, что локальная культура каждого уголка нашей огромной страны — уникальна («что ни город — то норов»), и в этом смысле северная — до самого Архангельска, до родины великого Ломоносова — часть России всегда представляла собой некий совершенно особый феномен, отличавшийся ярко выраженным отрицанием несправедливого стяжания, то есть духа торгашества и наживы. Здесь издавна было принято жить честно и скромно, храня свое достоинство. Все это исповедовали — и проповедовали — и предки Шаламова.

Среди тонких наблюдений писателя об обычаях тех мест, в которых он вырос, чрезвычайно примечательно одно: «На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой...»

Такие нравы всегда казались удивительными, патриархальными и наивными всем приезжим. Сам Шаламов называл Вологду «честной, христолубивой» (последнее — с оттенком мягкой и доброжелательной иронии). Он вырос на этой почве. И как бы ни пытался сам он отрицать ее влияние на себя (по его классификации, влияние «первой» и «второй» Вологды — исторической и краевой), разве не впитал он эту почву в себя, в свою душу? Лучше всего об этом скажут его стихи, где колымская ипостась его биографии отчетливо и нерасторжимо сливается с родовой:

*«Я — северянин, я ценю тепло,
Я различаю — где добро, где зло...»*

Глава вторая

Нетипичная семья нетипичного русского священника

Со старинным городом, где вырос Шаламов, связано множество преданий. Одно из них — самое знаменитое, об Иване Грозном и Софийском соборе — он слышал, наверное, едва ли не в колыбели, как первую сказку. Ведь Софийский собор стоял прямо перед его родным домом, и не посвятить ребенка в историю о том, как на самого(!) царя(!) Грозного(!) упал(!) с потолка(!) кирпич(!) — да вот тут рядом(!), в этом самом соборе(!), смотри(!) — значило бы не выполнить обета приобщения к чудесам мира сего... Уже позднее Варлам прочел и былину, запечатлевшую это происшествие, и узнал, что грозный царь, собиравшийся перенести столицу из Москвы в Вологду из-за козней бояр, отказался от этого намерения, сочтя падение кирпича (плинфы, куска штукатурки) недобрым предзнаменованием.

— И слава Богу, что отказался! — издавна говорили по этому поводу вологжане. — Не надо нам быть столицей. У нас лучше, спокойнее...

Провинциальность тихого города, чье население в начале XX века едва превышало 30 тысяч человек (оно возросло лишь в начале Первой мировой войны), где, по свидетельству Шаламова, люди жили почти деревенским укладом — «вставляли с солнцем, с петухами», где «река текла такая тихая, что иногда течение вовсе останавливалось» (река Вологда находилась почти рядом с его домом, под Соборной горкой), — эта провинциальность была, как считали все, кто приезжал сюда впервые, умильной и умиротворяющей. А как выражаются теперь — самодостаточной, уважающей себя и совсем не расположенной что-либо резко менять в своем образе жизни.

Петр I — другой из великих царей, оставивший свой след в вологодских легендах (он бывал здесь пять раз), пытался «пришпорить» развитие города, используя торговый путь в Архангельск, но вскоре, после постройки Петербурга, Вологда оказалась «за штатом» и пошла неспешным путем всех средних российских губернских городов. Уже XIX век не добавил почти ничего нового в ее размеренную жизнь и ее облик (не считая железной дороги и вокзала) — все лучшие здания и храмы, являющиеся ныне памятниками архитектуры, были построены в XVII–XVIII веках.

Приметой нового времени являлась, кроме прочего, резкая убыль учеников в Вологодской духовной семинарии (самом большом в городе здании) — по популярности среди родителей и детей она теперь намного уступала гимназии и реальному училищу, и пополнялась главным образом за счет отпрысков церковного клира уездных приходов.

Отец Шаламова принадлежал к тому поколению, когда Вологодская семинария («бурса») еще сохраняла особую славу в России, и при всем консерватизме, присущем подобным учебным заведениям, была в определенном смысле более свободомыслящей и прогрессивной, нежели гимназия. Демократические традиции 1860-х годов вошли сюда глубже — и потому, что состав воспитанников был гораздо проще, беднее, и потому, что здесь помнили о некоторых своих предшественниках-семинаристах, ушедших не в приходскую службу, а в революцию, в народники-пропагандисты. При незримом присутствии в стенах семинарии «совиных крыл» обер-прокурора Синода К. Победоносцева (в 1880-е годы по его распоряжению из библиотек духовных учебных заведений была изъята почти вся светская литература, начиная с Л. Н. Толстого), в связи с церковной реформой 1860-х годов бурсаки нового поколения получили гораздо больше свободы, нежели их предшественники. Они имели право не возвращаться в свои родные приходы и поступать после выпуска в университеты или на гражданскую службу. Той же реформой возведенным в сан православным священникам было впервые даровано право — неслыханное дело — свободной проповеди! Этот поистине революционный для церкви прорыв (сопровожденный, правда, цензурными ограничениями) открывал перспективу наиболее развитым семинаристам, которые не желали, как отцы и деды, вечно «долдонить» литургический канон. Соответствующим образом были перестроены и программы — в них вошла гомилетика (теория церковного проповедничества), а также французский и немецкий языки.

Надо заметить главное — в эпоху всеобщей «эмансипации» служение Христу стало восприниматься основной частью бурсаков далеко не так, как требовали схоластические богословские науки — не отвлеченно, а, можно сказать, утилитарно — как живое служение прежде всего самому бедному «меньшему брату Христа» — народу, крестьянству.

Все соответствовало духу времени, где безраздельным властителем дум молодежи — и внецерковной, и церковной — был великий печальник о народе и великий творец мифов о нем Н. А. Некрасов. (Этой проблемы, в связи с отношением Шаламова к русской литературе второй половины XIX века, к народничеству, мы коснемся

позднее, а пока напомним два очень символических и многозначительных факта. В 1878 году на похоронах Некрасова, впервые было громко заявлено, прокричано — той же молодежью — что «Некрасов выше Пушкина!». Поздний Шаламов — совершенно в духе Достоевского, присутствовавшего на этих похоронах, — считал, что «эта сцена не делает чести русскому обществу». Примерно в те же годы Л.Н. Толстой, тоже большой знаток крестьянской души и тоже особого рода мифотворец, услышав в очередной раз надрывные строки Некрасова о русском мужике, который всюду только и делает, что «стонет» — «по полям и дорогам... под овином, под стогом», не выдержал и возмущился: «Это где же он стонет? Я что-то не слышал...»)

Некрасов, как не раз свидетельствовал Шаламов, был и до конца дней остался для его отца единственным настоящим авторитетом во всей русской литературе. Неудивительно, что на фотографии выпускников семинарии 1890 года молодой Тихон всеми своими чертами напоминает образ идеального некрасовского юноши Гриши Добросклонова — с открытым лбом и просветленным взором, наполненным жадой сеять «разумное, доброе, вечное». Хотя эра Некрасова к 1890-м годам в России уже закатывалась (как и эра шедших с ним рука об руку художников-передвижников), во всей заштатной периферии с ее неизбежным отставанием от общественных «смен вех» и культурных «мод», она была еще в самом разгаре. Недаром Шаламов называл Некрасова «кумиром русской провинции» и недаром именно из-за Некрасова, из-за постоянной назойливой апелляции отца к нему, разгорелся потом главный семейный мировоззренческий (а не только литературный) конфликт.

Но до появления на свет последнего сына-бунтаря у женившегося вскоре после окончания семинарии Тихона была огромная полоса жизни длиной в пятнадцать лет. Двенадцать из них он провел далеко от Вологды и России — на Алеутских островах.

Как и кто повернул судьбу молодого священника столь непредсказуемым образом? Бросание жребия в данном случае исключалось — слишком необычной и ответственной была эта миссия (по современным представлениям — длительная заграничная командировка). Известно, что о. Тихон был направлен на службу за океан по представлению епископа Алеутского и Аляскинского Николая (Зиорова), приступившего там к делам в 1891 году. Известно также, что ранее Зиоров некоторое время был инспектором Вологодской духовной семинарии. Возможно, от него и шла просьба прислать на Аляску кого-либо из достойнейших воспитанников хорошо знакомой ему семинарии. Переписка на этот счет (с неизбежными характеристиками, проверками, согласованиями с Синодом) шла, вероятно, долго, и до окончательного решения, до посвящения в сан иерея Тихон успел поработать учителем в церковно-приходской школе, при этом, как можно догадываться, усиленно изучая английский язык.

Еще одним важным условием заграничной службы являлась женитьба на девушке из хорошего семейства. О том, где и как познакомились недавний семинарист Тихон Шаламов и выпускница женской Мариинской гимназии и педагогических курсов при ней Надежда Воробьева, семейные предания не сохранились, но брак получился поначалу вполне гармоничным. Надежда была умной, развитой девушкой, и то, что она больше любила Пушкина, а не Некрасова (свидетельство Шаламова), не мешало ее нежным чувствам к высоколобому молодому человеку, которому она поклялась при венчании идти с ним в «огонь и воду».

Воображение может нарисовать пылкую восторженную пару, стоящую на палубе парохода, держась за руки и вглядываясь в даль Тихого океана — когда же покажутся острова, где живут загадочные туземцы-алеуты, которых надо обращать в православную веру... Но все было не так. Надежда вначале осталась дома — она была беременна, и в декабре 1893 года родила мальчика, которого назвали Валерием. В метрической книге вологодского храма Рождества Богородицы обозначен отец — «священник кадьянской Воскресенской церкви Алеутской епархии о. Тихон Шаламов». Он уехал один, еще летом, и плыл вовсе не через Тихий океан (регулярного

пароходства в Америку тогда не было), а через Атлантический, и потом, вместе с группой других миссионеров, пересекал континент от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Жена с ребенком прибыла с очередной группой, отправлявшейся из Петербурга, лишь на следующий год, когда молодой иерей уже прочно обосновался на острове Кадьяк и приготовился к встрече семьи.

Русская православная миссия в Америке переживала тогда нелегкие времена, что было связано с продажей Аляски в 1867 году. По поводу этой продажи — огромного исторического события — в России в те годы никто особенно не сожалел, потому что каждому разумному человеку было ясно, что разоренная Крымской войной страна, имевшая гигантские незаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, просто не в силах содержать и осваивать столь же огромную территорию за океаном. Тем не менее всем русским, в том числе и отцу Тихону, было до боли обидно, что Аляска, Алеутские острова, Форт Росс и другие русские поселения в Калифорнии (общая площадь более полутора миллионов квадратных километров) были проданы фактически за бесценок — всего за 7,2 миллиона долларов. В России сумма сделки была покрыта тайной, и о. Тихон, вероятно, узнал о ней лишь в Сан-Франциско, где находилось епархиальное управление во главе с владыкой Зиоровым. Он регулярно читал американскую прессу и был в курсе всех политических и иных событий в этой стране. Но больше всего поначалу он был занят делами в своем приходе.

Кадьяк — большой гористый остров с изрезанными фиордами берегами, самый ближний к Америке из больших островов Алеутской гряды — хранил еще много следов деятельности Русско-Американской компании времен Г. Шелихова и А. Баранова. Но тогда за Россией здесь оставались лишь маленькие клочки земли с храмами, скитами, кладбищами и другой собственностью русской православной церкви. Так было определено договором о продаже Аляски, и эти крохотные плацдармы надо было не только беречь, но и во что бы то ни стало наполнять соответствующим духовным содержанием, борясь за души прихожан — уже крещеных в православие индейцев-алеутов и креолов (их было около полутора тысяч) и обращая в свою веру новые их поколения. В этом, собственно, и состояла задача священника-миссионера. Отец Тихон Шаламов выполнял ее со всем жаром своей нерастроченной энергии и с вологодской добросовестностью. На этот счет сохранилось немало свидетельств — прежде всего его собственные регулярные публикации-отчеты в «Американском православном вестнике» — журнале, выходившем в Сан-Франциско.

Отец писал тем стилем, какому учили в семинарии — пространно, гладко, со всеми обязательными риторическими оборотами, установленными правилами гомиластики. И все же местами в его отчетах проглядывала и острая наблюдательность, и сугубая самостоятельность, и горячность суждений. Он писал и о своих пеших миссионерских походах по дальним селениям («приходилось идти до 50 км по медвежьим тропам, а иногда и вовсе без дороги, увязая в болотах по колено»), и о морских, на байдарках («ужаснейшие ветры у берегов Кадьяка делают плавание, если не невозможным, то во всяком случае крайне затруднительным и опасным»); о борьбе с конкурентами (тут он был истинным ортодоксом: «самым опасным, грозным и сильным врагом для нас является миссия иезуитская»; естественно, не жаловал протестантов и баптистов), и о борьбе с пьянством среди алеутов (тут ему не было равных: «организовал общество трезвости, *переродившее коренным образом все население прихода*» — так с восхищением писали о нем). Он смело обличал и американские власти («Аляска быстро расхищается и беднеет. И неудивительно, ибо все свои богатства она дает центру — штатам. Жизнь коренных жителей прямо никнет»), и не жалел гневных слов по адресу далеких петербургских вершителей судеб («Велико невежество родное, всероссийское, но да не будет в деле рассеяния сего внешнего мрака, забыта и далекая страна, которая, несмотря на отречение и отверженность, продолжает пребывать в верности и любви к своей покровительнице России, так

коварно в своих аляскинских представителях предавшей их в руки врагов. Да дастся ей взамен хлеба насущного хлеб духовный, небесный, свет Христов, и тем да загладится перед Божиим престолом вина русских людей, продавших Аляску поистине за тридцать сребреников...»).

Вероятно, последние слова были эмоциональной патриотической реакцией о. Тихона на событие, которому он стал свидетелем — неожиданное открытие на проданном полуострове, ныне 49-м штате США, огромных россыпей золота. «Золотая лихорадка» началась в Америке как раз в 1890-е годы и происходила фактически на глазах молодого русского священника, так как все ее последствия отражались на жизни островного населения. К сожалению, об этом Тихон Шаламов не оставил свидетельств (хотя в том же «Американском православном вестнике» писали, что золотоискатели подбирались даже к церковным кладбищам). Придется немного задержать внимание на этой теме, потому что она неизбежно вызывает некоторые ассоциации с шаламовской «золотой Колымой», а также и с темой писательства.

Весной 1897 года на берега Юкона в поисках удачи добрался молодой Джек Лондон. Золота он не добыл, но зимние арктические полгода, проведенные им в хижине-салуне близ Доусона, одарили его встречей со всем пестрым миром золотоискателей и охотников, белых и индейцев, поверивших в мечту, что счастье можно найти и сделать своими руками. Захватывающие романтические рассказы Д. Лондона о Клондайке, его людях и нравах, почему-то оказались особенно популярны не в Америке, а в России, и их с увлечением читал юный Варлам Шаламов. И впоследствии он тепло отзывался об авторе «Белого безмолвия», отмечая правдивость созданных им характеров. Очевидно, что Д. Лондон и Шаламов — писатели очень разные, трудно сопоставимые, хотя само по себе исследование двух изображенных ими миров было бы чрезвычайно интересным и поучительным. Пока надо учесть лишь одну деталь: узнай Шаламов подробности аляскинской биографии Лондона (о том, что тот черпал материал для своих рассказов, просиживая вечера в салуне и сам не пройдя ни мили в одиночку по зимней тундре) — он бы, пожалуй, назвал его «туристом», как Э. Хэмингуэя (писавшего «Пятую колонну», сидя в мадридской гостинице — к другим произведениям американского писателя Шаламов относился более благожелательно). Впрочем, сам Шаламов не раз говорил, что художник не должен слишком хорошо знать свой материал, иначе он его раздавит...

Судя по всему, отец ничего не рассказывал сыну о «золотой лихорадке» — он с презрением относился ко всей приключенческой литературе и тем более — о погоне за золотым тельцом. Между тем отец не мог не знать и не видеть, что дикая и пустынная Аляска — при всех эксцессах гигантской схватки за самый драгоценный металл (эксцессах, отражавшихся негативно прежде всего на индейском населении, что описал и Д. Лондон) — эта «глыба льда», как называли ее в южных штатах, буквально на глазах преобразается. Документов и статистики о головокружительных переменах на Аляске множество в самой Америке, поэтому лучше всего обратиться к картине, нарисованной одним советским писателем. Этот писатель — Сергей Марков — почти одногодок Варлама Шаламова и тоже был тесно связан с Вологдой. Он был поэтом, географом, страстным исследователем истории Русской Америки (несмотря на то, что в 1932 году сидел на Лубянке), и в своей книге «Летопись Аляски», срочно написанной за десять дней(!) и изданной в 1948 году издательством «Главсевморпуть» — есть версия, что это было прямое задание Сталина — писал о приоритете России на Аляске. Но при этом сообщал такие детали:

«...В 1898 году, когда Клондайк дал на десять миллионов долларов золота (вспомним сумму, за которую была продана Аляска. — В. Е.), новые россыпи были открыты недалеко от места, где вырос город Ном на Анвиле — в бывших русских владениях. Ном был основан близ мыса, который на старых русских картах известен под названием мыса Толстого... Летом 1899 года к мысу Ном шли и плыли новые и

новые искатели счастья. К осени пять тысяч человек рылись в песке золотиносных ключей. Какой-то Джон Гуммель, еле держась на ногах от цинги, еще нашел в себе силы поставить свою золотую колыбель на морском берегу Ном. Он нашел там самородки. С того часа «бич» — береговая полоса — была покрыта тысячами старателей. На мысе Ном уже шумел новый город, где на зимовку остались более двух тысяч первых его жителей. Весной в ближайшие порты Головнина и Кларенс прибыли новые поселенцы. Рядом с дикой тундрой, на берегу моря, светился яркими огнями город Ном. На его главной улице Фронт-стрит возвышались трехэтажные дома, светили газовые фонари. Из дверей игорных домов, шантанов лились звуки хриплой музыки... Продавалось и покупалось все только на чистое золото. Золотым песком рассчитывались в ресторанах, гостиницах, на железной дороге. Да, это была первая железная дорога на Аляске. Ее построила знаменитая «Компания Дикого Гуса»...

Несколько бульварная, по-репортерски, картина, но все же дает более реальное представление о тех местах, недалеко от которых служил отец Шаламова. Прямых параллелей с освоением Колымы проводить не станем — они здесь преждевременны, а в сущности были бы спекулятивны и внеисторичны. Вероятно, Сталин, дававший (если верить легенде) задание С.Маркову написать историю бывшей Русской Америки, следовал логике разгоравшейся холодной войны: на Аляске к концу 1940-х годов появилось несколько американских военных баз, угрожавших СССР, и надо было, в целях контрпропаганды, дать яркий документальный материал о том, что «Аляска была нашей, и при желании мы можем ее вернуть»... Но книга С.Маркова — вне всяких намерений автора — давала массу поводов для сравнения истории золотодобычи на Аляске и на Колыме. Вероятно, заказчик (или заказчики) книги исходили из того, что большевики всегда превзойдут капиталистов — потому что на Колыме за еще более короткий срок появились и электростанции, и шоссе, и города, и поселки (без всяких шантанов). Однако о человеческой цене этих завоеваний заведомо предполагалось умалчивать. Потому что золото на Аляске добывали все же *свободные* люди, а не заключенные, как на Колыме. Об этом сегодня надо помнить, как помнить и то, что существовали разные варианты освоения Колымы (см. главу 9).

Надо заметить, что сам Шаламов не любил спекуляций на теме «Россия и Запад», будучи глубоко убежден, что у России — «другая история», и апологетом Америки никогда не был. Тем не менее имена Т.Джефферсона и Б.Франклина были ему известны еще с детства — и именно от отца, что можно понять из соответствующего контекста «Четвертой Вологды». Характерно, что Джефферсон, один из создателей американской конституции и автор закона о свободе вероисповедания, упомянут в позднейшей полемике Шаламова с А.Солженицыным (до нее читателю надо потерпеть).

Кстати, о параллелях. Резкое усиление миссионерской деятельности православной церкви во всех направлениях, в том числе за рубежом, — одна из тенденций новой консервативной политики Александра III, инициированной в значительной мере под влиянием К. Победоносцева. Целесообразность такой политики, потребовавшей, кроме прочего, огромных финансовых затрат, подвергалась сомнению многими современниками. В самом деле, такая уж ли насущная задача — крещение алеутов на далеких островах, ведь не решены многие важнейшие внутригосударственные проблемы, в том числе церковные? Не кто иной, как Алеутский викарий Иннокентий в своем отчете за 1905 год (уже после отъезда о.Тихона Шаламова с Кадьяка и с гораздо большей трезвостью и жесткостью, чем он) писал: «Жители Аляски избалованы религиозною опекою и материальною помощью со стороны России. Хотя многие из них не знают нужды и живут не беднее священников, однако они держатся православной веры только потому, что русское правительство содержит их причты. Они принимают таинства, но непременною условием при этом ставят отсутствие всякой

платы, и заставьте заплатить 1 доллар за крещение ребенка, все дети будут некрещенные. Между тем они не жалеют денег на духи, орехи, конфеты, модные шляпы и другие предметы роскоши, не говоря уже о кабаках... Уже довольно сосать Россию, пора вставать на собственные ноги, а если нет, то пусть совершится то, чему в подобных случаях быть надлежит».

Вполне разумные, даже с церковной точки зрения, мысли, но осуществились они только в начале Первой мировой войны, когда Аляскинская епархия была естественным образом наконец-то отодвинута на самый край государственных расходов. Не напоминало ли зарубежное миссионерство предыдущих времен трогательную заботу властей позднего СССР о насаждении «социалистического выбора», скажем, в Центральной Африке (стоившую столь же огромных и никому не ведомых дотаций)? Очевидно, что между этими историческими амбициями есть некая архетипическая связь, и корень ее один — представление о предлагаемом чужим народам вероучении как «единственно верном»...

Отец Шаламова никогда не был чужд политических вопросов и, даже живя далеко от России, задумывался о «великом невежестве», царящем в ней. Но при этом он не мог ни на йоту пренебречь своим святым долгом пастыря в далеком краю. Его многолетние неустанные усилия были вознаграждены: в 1904 году, по окончании службы, он был удостоен золотого наперсного (нагрудного) креста — «за крепкостоятельное служение на пользу православия среди инославия» и ордена Святой Анны 3-й степени. Крест ему вручал новый епископ Тихон (Белавин), назначенный в Северо-Американскую епархию в 1898 году, — будущий Патриарх Московский и всея Руси, избранный Поместным собором 1917 года.

Сравнительно недавно в фондах библиотеки столицы Аляски города Анкориджа обнаружена фотография: епископ Т. Белавин с группой священнослужителей, среди которых и отец Шаламова. Снимок сделан в 1901 году. Обращает на себя внимание облик молодого еще тогда отца: он необычайно худ, тщедушен, что не может скрыть и ряса, в очках и... шляпе вместо камилавки. Видно, что о. Тихон не жалел себя в своей миссионерской деятельности, как видно и то, что он — человек заграничный. Еще одна фотография сделана в 1904 году по возвращении на родину (на подлиннике в архиве есть тисненый фирменный знак «Фотография К. А. Баранеева в Вологде»; этот снимок как единственную память об отце взял Шаламов, приехавший на его похороны; после ареста писателя в 1937 году снимок хранился у его первой жены Г. И. Гудзь). Здесь на груди 36-летнего отца — крест, очевидно, тот самый, которым его наградили и который потом постигнет участь быть разрубленным топором для сдачи в Торгсин в период полной нищеты начала 1930-х годов (этому посвящен один из самых потрясающих рассказов Шаламова «Крест»).

О взаимоотношениях двух столь разных по сану Тихонов — Белавина и Шаламова — сведения пока не разысканы, но их взгляды на роль и судьбу православной церкви уже после революции 1905 года значительно разошлись. Белавин по окончании службы в Америке вошел в высшую церковную «номенклатуру», был назначен архиереем в Ярославль, часто принимал здесь коронованных особ, возглавил местный «Союз русского народа», а Шаламов совсем не был поклонником этой организации; окончательное размежевание произошло после революции 1917 года — избранный патриархом (между прочим, почти случайно, по жребию — или, как принято было говорить, «по воле Божьей»), Тихон Белавин резко выступал против большевистской власти, а Тихон Шаламов встал на сторону обновленческой или «живой церкви». Истоки обновленчества, надо сразу заметить, во многом связаны с той неудовлетворенностью состоянием православной церкви, которое высказывала — с разных позиций — вся русская литература, начиная с Пушкина и Чаадаева, Белинского и Герцена, продолжая Л. Толстым, Достоевским и Лесковым, а затем — практически вся русская религиозная философия, начиная с Вл. Соловьева и продолжая «модернис-

тами» — точнее, идеологами модернизации церкви — Бердяевым, С. Булгаковым, Мережковским, Розановым и всем кругом писателей Серебряного века.

Каким-то образом сравнивать масштаб и значение деятельности о. Тихона Белафина и о. Тихона Шаламова в их служении православию, в том числе в период американского миссионерства, было бы нелепо (это, в конце концов, дело самой церкви), но что касается самоотверженности в конкретной помощи ближнему, то тут первенство принадлежало, пожалуй, низшему по сану: недаром же алеутские прихожане называли отца писателя «лучшим батюшкой в Аляске» (этот отзыв, присланный из-за океана, был опубликован в «Вологодских епархиальных ведомостях» в 1911 году). Еще больше о том говорит история с долларами, присланными с Кадыка в Вологду монахом Герасимом Шмальцем в начале 1930-х годов — ее мы еще коснемся.

Итак, отец, вернувшийся в Вологду, — исходная точка биографии писателя. С Кадыка Тихон Николаевич приехал «другим человеком», как отметил потом сын. При всей своей нелюбви к американским штатам он многому там научился. Дело не только во внешнем лоске, в приобретенной привычке к цивилизованному, «буржуазному» комфорту. Все это подробно описано в «Четвертой Вологде»: как отец доставал из-под рясы огромный позолоченный (сыну сначала казалось — золотой) американский полухронометр на цепочке, серебряная посуда на столе, дубовый шкаф, где хранилась повседневная одежда отца — «хорьковая шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя»... Каждая из этих вещей имела явно кадыкское происхождение — благодаря особым условиям службы в заграничной миссии, прежде всего высокому жалованью.

Варлам не мог знать размера этого жалованья, но в одной современной книге, монографии митрополита Климента (Капалина) «Русская православная миссия на Аляске» (М., 2009), говорится, что священник Кадыкского прихода получал в то время 1800 рублей в год. Для сравнения — годовое жалованье приходского священника в России начала XX века составляло в среднем 300 рублей (еще для сравнения: столько же получали неквалифицированные рабочие и низшие чиновники; жалованье «среднего класса» — врача земской больницы, учителя гимназии и армейского поручика — составляло 80 рублей в месяц, а полковники и депутаты Государственной думы получали ежемесячно 350 рублей).

Можно прийти к выводу, что, сделав за время миссионерской службы накопления и заслужив вдобавок пенсию, отец стал *среднесостоятельным* человеком и мог содержать семью в сравнительном благополучии. Это и было, очевидно, заветной мечтой сына бедного священника из захолустной Вотчи, решившего выйти «в люди».

Семья на Кадыке увеличилась, родилось еще трое детей, а в Вологде появился и самый младший Варлам. Уточнить состав и возраст семьи позволяют данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника собора Тихона Николаева Шаламова): жена Надежда Александровна — 37 лет, дети: Валерий — 13, Галя — 11, Наталия — 7, Варлаам — 6 месяцев». Еще трое детей — об этом говорила Шаламову мать — умерли на Кадыке в грудном возрасте (там, в сыром и промозглом климате, было много эпидемий). Само появление Варлама можно, таким образом, рассматривать как стремление отца и матери компенсировать эти потери и приблизиться к общепринятым в священнических (и не только в священнических) семьях стандартам количества детей.

Поначалу о. Тихон был назначен в небольшую церковь Александра Невского рядом с Софийским собором, а затем «в видах пользы службы», как гласит документ, был переведен в сам собор (имевший статус кафедрального) и поселился в квартире в доме соборного причта. Это было очень удобно — каменный, двухэтажный дом располагался всего «в двух шагах» (точнее, в тридцати метрах) от места службы. Это преимущество смягчало тесноту квартиры — она явно не соответствовала разрос-

шейся семье и тогдашним понятиям средней состоятельности. (Современные посетители шаламовского дома могут заметить, что квартира далека от норм, принятых даже в позднее советское время.) Недаром Шаламов, выросший возле кухни, в маленькой проходной комнатке, предназначенной для трех братьев, где спали и охотничьи собаки, и хранилось снаряжение, всю жизнь жаловался на эту тесноту.

Единственное исключение составляло большое «зало» — гостиная, где отец принимал своих знакомых и родственников и где самое почетное место занимала сувенирная коллекция, привезенная из Америки и Европы. Она помещалась в большом застекленном ящике-параллелепипеде из черного дерева и была составлена, как писал Шаламов, «по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке, где бывал отец» — принципу подлинности: «индейские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов — маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...»

Договорившись не пересказывать автобиографические произведения Шаламова, в данном случае «Четвертую Вологду» — пусть читатель сам насладится ее блестящей подробной достоверностью, — остановимся лишь на самом существенном, заключенном в ней, а также и в неопубликованных набросках к этой книге.

Коллекция, как замечал Шаламов, «вполне отвечала тщеславию отца». Но ее важнейшая роль, по иронической формулировке писателя, состояла в том, что она «должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько божий, сколько Прометеев... Лбы моих братьев, наверное, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата...»

Самое существенное здесь то, что отец, считавший себя «великим педагогом», был сторонником весьма жестких методов воспитания и рассматривал каждого нового ребенка в семье как повод для очередного эксперимента. Очевидно, что в этом тоже сказался прагматизм о. Тихона, приобретенный в Америке. Среди других следов этого влияния можно выделить и его «ненависть к пустым разговорам», и свою манеру одеваться («Короче! Короче!» — эти приказы касались не только прически, но и рясы), и, пожалуй, самое главное — всегдашнее стремление к «паблисити», к тому, чтобы демонстрировать свои умения, свое превосходство перед другими («скромность отец не считал достоинством»). Наиболее красочно это проявлялось в знаменитом на всю Вологду «спектакле», когда отец выходил во двор дома и на глазах зевак и желающих поучиться приступал к сложным столярным работам — наращиванию бортов очередной лодки. «Поп с рубанком!» — эта неслыханная для Вологды (да, пожалуй, и для всей России) картина была своего рода вызовом провинциальному общественному мнению, а также и вызовом всему степенному православному сообществу.

С основанием иронизируя над склонностью отца к театральности, Шаламов, как представляется, все же недооценил (или недопонял, или понял слишком одно-сторонне) эту грань его новоприобретенной «американской деловитости», не увидел ее связи со всем смыслом кипучей деятельности отца после возвращения с Кадьяка. Что значили, скажем, разнообразные домашне-хозяйственные увлечения и новации, казалось бы, вполне благополучного соборного священника? Наверное, вся его масштабная деятельность — с содержанием при доме коз, свиней, гусей, уток, кур, с постоянными выездами на рыбалку, с обязательными припасами в подвале и столь же обязательным привлечением детей к хозяйству (то, что писатель резюмирует резкими словами: «И все это я ненавидел»), — если и служила пресловутому «паблисити», то очень косвенно. Скорее можно полагать, что она была направлена прежде всего на поддержание благополучия семьи, а также на сохранение независимого положения на церковной службе. Подчеркивая, что служба в городском соборе устраивала отца тем, что позволяла обойтись без нелюбимых им «пошлых» треб по домам

с непременными угощениями, Шаламов, по-видимому, не вполне осознавал значение хозяйства как единственной возможности для отца сохранить то и другое.

На современный взгляд, все, что делал о. Тихон по дому и вне его, принадлежит к того рода американской деловитости, которая тесно связана с основой цивилизованного капитализма — протестантской этикой. Разумеется, православному священнику было бы неловко признаваться, что он нечаянным образом усвоил постулаты чуждой ему религии, но объективно дело обстояло именно так. Наверное, единственное, чего не хватает в великолепном (хотя и пристрастном) психологическом портрете отца после Аляски, нарисованном в «Четвертой Вологде», — это крылатой фразы Б. Франклина «Время — деньги». Но до такой степени «американизации» отец, судя по всему, не дошел, да и не мог дойти, потому что в душе его все же доминировали ценности его родной религии, ценности альтруизма и нестяжательства — направленные лишь в более рациональное русло.

Шаламов по-разному описывал причины своего конфликта с отцом. Главное, что при этом победительной, перевешивающей стороной, гораздо более близкой юному Варламу, всегда оказывалась сторона матери. И это неудивительно: младший, последний сын был ее любимцем.

Сам Шаламов вспоминал: «Весь мой конфликт с отцом уходит в самые ранние годы, еще дошкольные, когда овладение грамотой в три года показалось отцу дерзостью непозволительной, а со стороны матери — ненужным педагогическим экспериментом. Материнский педагогический эксперимент был в том, что мне не давали игрушек — только кубики с буквами, из которых я складывал слова, играя у ног матери на кухне во время ее круглосуточной стряпни...»

Отец во всем стремился превзойти и заслонить мать. Некогда равные и спокойные семейные отношения за время службы на Аляске превратились в отношения повелевания — подчинения. Вечно занятая детьми и домом, Надежда Александровна и на Кадьяке не могла в полную силу применить свое педагогическое образование: она учительствовала там не все двенадцать лет, как полагал сын, а всего лишь последние годы (и была отмечена архиерейской грамотой — «за ея безмездные учительские труды в местной школе», как запечатлено в вышеупомянутой монографии). А отец и на Кадьяке не позволял ей проявлять инициативу в воспитании детей, зачем-то выписав из Петербурга популярное пособие «Гимназия на дому».

Таким образом, лишь с Варламом (несостоявшимся Александром) Надежде Александровне удалось осуществить свои заветные материнские и педагогические мечты. И это дало великолепные плоды! Ибо научить ребенка в три года читать столь простым, неназойливым способом — по кубикам, не отходя от печки и только подсказывая время от времени буквы — для этого нужен был особый талант, никакими пособиями не учтенный. Собственно, школа у печки и стала базисом, на котором вырос будущий писатель — ведь навыки чтения, усвоенные в столь раннем возрасте, намного раньше открывают путь к познанию мира и к формированию у ребенка других удивительных способностей. По крайней мере, тот феномен, который чуть позже открыл у себя Варлам — способность к быстрому чтению («в мое зрение попадают двадцать-тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь»), помноженный на феномен уникальных природных свойств памяти (он запоминал твердо, навсегда, те же строки уже после второго прочтения, а все, что читал, видел и слышал в жизни, помнил в малейших подробностях — за редкими исключениями — до конца дней) во многом определил его огромный интеллектуальный багаж, который не смог ни подорвать, ни уничтожить даже колымский лагерь. И все это, повторим, благодаря матери.

Ей же принадлежит, бесспорно, и то, что называется воспитанием чувств, воспитанием души младшего сына. Сколько слов посвящено Шаламовым матери в благодарность за рождение в себе поэтического начала! (И сколько слов неприязни к отцу за то, что тот — от глухоты своей сердечной, от неискоренимого «позитивизма»,

прагматизма мышления — так старался это начало всячески погасить, убить!). «Мы, младшие дети — Сергей, Наташа и я — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, — писал Шаламов о своем детстве. — У всех у нас выражено душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление мы в семье и выражали. Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому что мы жертвы, мы не считаем нужным подчиняться...»

Патетика этих слов была рождена чувством постоянной жалости к матери, которое с ранних лет испытывал Варлам и которое, как можно понять, разделяли младшие брат и сестра. Причиной жалости была ее судьба — романтической гимназистки, красивой и умной женщины, вынужденной стать типичной «попадьей», резко погрузневшей с возрастом, больной и обреченной на роль прислуги при муже. Недавно Шаламов подчеркивал: «Мама любила стихи, а не ухваты». Но, пожалуй, лучше всего психологический портрет матери, а также и чувства к ней отражены в позднем, написанном в период создания «Четвертой Вологды», стихотворении (1970 год):

Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.
Каждый, кто к ней приближался,
Маме ангелом казался.
И, живя во время оно,
Говорить по телефону
Моя мама не умела:
Задыхалась и робела.
Моя мать была кухарка,
Чародейка и знахарка.
Доброй силе ворожила,
Ворожила доброй силе.
Как Христос, я вымыл ноги
Маме — пыльные с дороги, —
Застеснялась моя мама —
Не была героем драмы.
И, проехавши полмира,
За порог своей квартиры
Моя мама не шагала —
Ложь людей ее пугала.
Мамин мир был очень узкий,
Очень узкий, очень русский.
Но, сгибаясь постепенно,
Крышу рухнувшей вселенной
Удержать сумела мама
Очень прямо, очень прямо.
И в наряде похоронном
Мама в гроб легла Самсоном, —
Выше всех казалась мама,
Спину выпрямив упрямо,
Позвоночник свой расправля,
Суету земле оставляя.
Ей обязан я стихами,
Их крутыми берегами,
Разверзающейся бездной,
Звездной бездной, мукой крестной.
Моя мать была дикарка,
Фантазерка и кухарка.

Метафора «дикарки» означает, что Надежда Александровна была попросту нелюдима, сторонилась всех, кто выходил за привычный домашний круг, и это — прямое следствие ее статуса «попады», много лет отрезанной от свободного мирского общения (не говоря о светском). При этом она была необычайно открыта, доверчива к каждому незнакомому человеку, видя в нем исключительно доброе («ангелом казался», «ложь людей ее пугала») — черта идеалистки, сохраненная с юности, благодаря опять же «законсервированности» своей жизни. С этим органично связана и склонность к мечтательности, вера во все чудесное на свете («фантазерка»). Но «ворожбу» и «знахарство», разумеется, нельзя понимать буквально — подобного рода увлечения никогда бы не допустил муж-священник и рационалист. Скорее, речь идет о поэтизированной сыном обычной для женщин-матерей привычке прибегать к разного рода домашним лечебным средствам.

А «кухарка» — более чем понятно, ведь в семье не было прислуги, и весь груз каждодневных забот о питании мужа и детей лежал на маме. Причем на этот счет был установлен четкий цивилизованный порядок — кушать четыре раза в день, и капризы отца по поводу тех или иных составляющих меню («хлеб печь только свой», «горчица должна быть только сарептская» (со знаменитого горчичного завода под Царицыном) Шаламов помнил до конца дней.

Но весь этот распорядок начал меняться уже в начале Первой мировой войны и совершенно переменился в годы революции и Гражданской войны — когда юный Варлам вынужден был торговать пирожками, испеченными матерью, на расположенной недалеко рыночной площади — переименованной в эти годы, по его саркастическому замечанию, в *площадь борьбы со спекуляцией*, где регулярно совершала облавы — на мешочников и разного рода мошенников — милиция.

Чтобы закончить комментарий к стихотворению о матери, надо немного забежать вперед. Очевидно, что в нем отражены конкретные биографические эпизоды жизни Шаламова: последнее прощание с матерью в декабре 1934 года, когда она умерла и он приезжал на похороны из Москвы, и почти библейский, но реальный эпизод с омовением ног, когда он заезжал домой после возвращения из Вишерского лагеря в конце 1931 года. Семья, давно выселенная из своей квартиры при соборе, жила тогда в жалком деревянном коммунальном доме. Мать уже тогда болела, едва передвигалась, ноги ее опухли. Что мог сделать Варлам при остро вспыхнувшей жалости к ней? Он вымыл ей больные ноги. А сравнение с Христом здесь несколько не натянуто. Варлам хорошо помнил Евангелие (читавшееся ему скорее не отцом, а матерью): в день Тайной вечери Иисус «омыл» ноги своими руками всем своим ученикам, показав им, что такое смирение, любовь к ближнему. Мы можем судить, как Варлам боготворил свою маму.

Микроскопия ранних впечатлений (оказывающаяся потом, с возрастом, макроскопией) еще раз подтверждает, что Варлам был «маменькиным сынком». Не в смысле избалованности, а в смысле огромного запаса любви, вложенной в него матерью. А что иное может породить в мальчике впечатлительность, эмоциональность, тонкую душевную организацию, с которой начинается поэт?

Сохранившаяся первая детская фотография Шаламова — возраста чуть более года — показывает, сколь он был обласкан и лелеем — как, впрочем, все младшие дети в каждой русской семье. К сожалению, не уцелело общих семейных фотографий, по которым можно было бы судить и о внутренней иерархии, и о других ярких личностях этой семьи. Больше всего жаль, что не осталось никаких изображений любимого брата Варлама — Сергея, который был легендарной фигурой во всей Вологде. Но тот портрет Сергея, что запечатлен в повести Шаламова о своей юности, — это великолепный художественный портрет, который многое компенсирует и является данью вечной благодарности младшего брата старшему.

Именно Сергей первым увековечил фамилию Шаламовых в Вологде. Ледяная

гора, заливавшаяся каждую зиму на береговом обрыве напротив Софийского собора, строилась всегда под руководством Сергея по особым, диковинным для провинциального города, инженерным правилам и потому называлась Шаламовской. Ледянка, огражденная сугробами и елками, подсвеченная электричеством, с которой можно было лихо пролететь на санях на противоположный берег — почти по типу американских гор, — была, как писал Шаламов, любимым зимним развлечением вологжан. А Сергей, естественно, стал любимым героем, слава которого распространялась на всю семью.

Блестяще выразительный диалог на эту тему приведен в «Четвертой Вологде»:

«Ну-ка, подвинься, пацан, — весело сказал мне усаживающий свою даму на сани-«тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.

— Это не пацан, — холодно сказал мой провожатый, — это брат Сережки Шаламова».

Вот уж кого можно считать истинным воплощением характера, воспитанного на Аляске, — «русского индейца» и «русского американца» одновременно. Хотя Сергей прожил на Кадьяке всего шесть лет, этого было достаточно, чтобы усвоить от местных мальчишек все первичные навыки настоящего Монтигомо — смелость, любовь к приключениям, к риску, к промысловой охоте и рыболовству, к непреклонному самоутверждению и защите своего достоинства. То, что Сергей как пловец устанавливал местные рекорды, проплывая «на спор» по реке Вологде (которая летом почти без течения) от устья речки Тошни до городского моста — что почти пять километров, — создало ему особую славу, как и то, что он был лучшим ныряльщиком за утопленниками. Он был исключен из гимназии за неуспеваемость, и это добавило его славе некий скандально-хулиганский оттенок. А после того, как 17-летний Сергей в 1915 году, патриотично возбужденный, смело вступил в спор и в драку с пленным, ходившим свободно по городу кайзеровским солдатом, получив от него явно неадекватный ответ — удар кинжалом в живот, — он (едва выжив от перитонита) сделался настоящим героем Вологды. (Те факты, которые нашел Шаламов об этом чрезвычайном происшествии с Сергеем, перебирая в Ленинской библиотеке в 1960-е годы местную газету «Вологодский листок» за 1915 год, подтверждаются и полицейскими документами об этом же случае, представленными ныне в Шаламовском доме-музее. К сожалению, участь немца с кинжалом неизвестна, хотя очевидно, что он совершил поступок противоправный и подлежавший самому суровому наказанию по законам военного времени.)

Дальнейшая судьба Сергея прослеживается только из скудных слов брата — писателя: в 1917 году Сергей добровольцем ушел на германскую войну простым солдатом (поскольку после исключения из гимназии не мог претендовать на офицерство), потом после революции приехал домой и «поступил в Красную Армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году (осколком) от разрыва гранаты».

Поступление (мобилизация) в Красную Армию после царской было закономерным почти для всех новобранцев, кто избежал многолетнего сидения в окопах и не дезертировал (еще до Брестского мира) с фронта, как многие крестьяне, стремившиеся после бессмысленной и неудачной войны к земле и семьям. Группировок белого движения вблизи Вологды не было (не считая Ярославля, где затевал восстание Б. Савинков), но были англо-американские интервенты, наступавшие со стороны захваченного ими в 1918 году Архангельска. Для севера России это было еще одно испытание патриотизма. Прагматика «союзников», стран Антанты, ставивших целью остановить германскую агрессию главным образом силами России и «воевать до победного конца — до последнего русского солдата», была понятна каждому мирному обывателю, не говоря уже о военных. Поэтому, когда в Архангельск вошли военные суда с чужими флагами, а над мирными от века деревнями залетали английские самолеты, и по железной дороге и по Северной Двине к Вологде, двинулись завоева-

тели в шляпах и высоких шнурованных ботинках, — они были тут же остановлены. И организованными силами Красной Армии, и стихийной партизанской войной (как тут не вспомнить Л.Толстого с его «дубиной народной войны»!). «Тщетной придурью» назвал северную экспедицию союзников не кто иной, как английский резидент Р.Б.Локкарт (его имя еще будет упоминаться в этой книге), добавив, что «наша интервенция способствовала усилению террора и кровопролития». (Все это, между прочим, согласуется с известным выводом В.И.Ленина: «Террор навязан нам Антантой».)

Можно не сомневаться, что Сергей Шаламов был отважным и рискованным воином. Он погиб на фронте у станции Плесецкая, и отец, как вспоминал писатель, «сам ездил за телом». Это был самый любимый сын о. Тихона, потому что — кадыкский и потому что — как отцу казалось — больше всего унаследовал от его собственного характера. Потрясение от смерти Сергея было огромным для всей семьи, в том числе и для Варлама. Но сильнее всего оно сказалось именно на отце — проплакав всю ночь дома над гробом Сергея («в епитрахили, измятой, перекосившейся», как писал Варлам), он ослеп.

Эта трагедия стала началом распада семьи. Ведь на Сергея возлагались главные надежды стареющих родителей. Он и так не раз спасал их от голода в самые тяжелые 1918–1919 годы — и своими охотничье-рыболовными добычами, и поездкой в Ташкент — «город хлебный», за продуктами. Варлам был слишком мал для таких подвигов.

Старший сын Валерий никогда не помогал отцу и матери. У него к тому времени (по его же глупости, как считал отец — потому что сын, бывший офицер царской армии, отказался служить в Красной, не последовав примеру ни Сергея, ни генерала Брусилова и других героев империалистической войны) сложились острые отношения с властью, с ЧК, где его шантажировали этим отказом, сделали в конце концов своим осведомителем и заставили публично отречься от отца-священника. Недаром Шаламов называл своего старшего брата «ничтожеством». В этой оценке его окончательно укрепила последняя встреча на похоронах отца в марте 1933 года: Валерий на глазах Варлама нагло выпросил у матери (больной и нищей) «на память» золотую цепочку отца. «У меня не хватило духу вмешаться в этот разговор», — писал Шаламов (в набросках к «Четвертой Вологде»), а в основной текст ввел такой эпизод: «Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности отца и матери, бросилась на Валерия тут же: «Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год». Но мама ясно и твердо сказала: «Он ничего не просил и не просит, это я так хочу...»

Из двух сестер, Галины и Натальи, роднее по духу Варламу была Наталья, самая ближняя к нему по возрасту (7 лет разницы). Ее фотография, к счастью, сохранилась, и мы видим в ней, выпускнице женской гимназии 1917 года, столь же прямую и честную натуру, как у Варлама, воплощение самоотверженности, «жертвы». Окончив курсы медсестер, она всю Гражданскую войну, как могла, поддерживала семью и затем служила основной консолидирующей и связующей силой (все почтово-телеграфные сообщения о положении и здоровье родителей, вплоть до известий о их смерти, к Варламу шли через нее). Ее личная жизнь сложилась неудачно: муж, профсоюзный работник, оказался запойным пьяницей, и Наталья выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить, но — как, с горькой иронией замечал Шаламов, «таких честных слов в истории русского общества хранятся не миллионы, а миллиарды».

Со старшей сестрой Галиной отношения изначально не сложились. Она была слишком земной, слишком практичной, хотя и добросердечной. Она тоже рано уехала из Вологды, и не куда-нибудь, а в Сухуми. Стоит прочесть переписку Галины и Варлама конца 1950-х годов, когда она настойчиво приглашала его (зная, что он был

на Колыме) к себе в гости и даже на постоянное жительство, а он просто не отвечал на эти приглашения: в Сухуми он был лишь однажды, и постоянных бытовых разговоров об урожае абрикосов и персиков, о судьбе удавшихся и неудавшихся родственников, ему хватило на два дня. Галя не забывала о родителях, посылала им посылки с виноградом, фруктами, но до них доходила только гниль.

На кого было надеяться отцу и матери в Вологде начала 1920-х годов? Только на Варлама. А ему? Только на них. Но ослепший отец к тому времени потерял все — и должность, и пенсию, и весь круг старых друзей. Единственное, чего он не потерял, — ума и веры. И не случайно Шаламов замечал, что «чувство жалости за мать, красавицу, умницу, погруженную в горшки, ухваты, опару», с этого момента сменилось — «когда отец ослеп, эта острая жалость перешла к отцу».

Есть целый круг материалов, доказывающих, что Варлам — несмотря на всю жесткую мировоззренческую полемику с отцом (которую он ведет и на страницах «Четвертой Вологды») — многое впитал, перенял, усвоил именно от него. Та линия русской литературы (Достоевский), которая выводит происхождение так называемого «нигилизма», «радикализма» (или обыкновенного атеизма) из духа «семинарщины» (все это можно назвать скорее «антисеминарщиной»), имела определенные основания только в середине XIX века, а в начале XX обстановка была совсем иной. И коренные мировоззренческие расхождения Варлама Шаламова с его отцом — совершенно иного происхождения.

Отец Тихон после Америки — это последовательный сторонник демократических свобод, в том числе свободы вероисповедания, и при этом — активный борец за реформы внутри православной церкви. В набросках к «Четвертой Вологде» Шаламов писал: «Тот джефферсоновский дух свободомыслия, который царил в нашей семье, не противоречил убеждениям отца в призвании русского духовенства. На себя он смотрел как на человека, который пришел служить не столько богу (Шаламов как атеист всегда писал это слово с маленькой буквы, и мы обязаны с этим считаться. — В. Е.), а сколько вести сражение за лучшее будущее России».

События Первой русской революции 1905 года, издание Манифеста 17 октября с заверением впервые создать в условиях монархии «представительные учреждения» (Государственную думу) — все это вовлекло отца в вологодскую общественную борьбу. Он был участником дебатов на собраниях интеллигенции в Пушкинском народном доме, открытом в 1904 году, и стал одним из свидетелей погрома этого дома 1 мая 1906 года. Погром был учинен толпой пьяных крестьян и городской голытьбы, подстрекаемых представителями местного «Союза русского народа». В многотомном судебном деле об этом событии, сохранившемся в вологодском архиве, есть и показания о. Тихона Шаламова: «...Видя всю картину погрома, меня крайне удивило поведение бывших тут стражников и начальника их — офицера, которые относились ко всем совершающимся безобразиям в высшей степени хладнокровно и безучастно... Вечером я тоже ходил смотреть на пожарище, которое уже прогорало, рушилось. Около пожарища стояла порядочная толпа народа. Несколько лиц из нея высказали одобрение и сочувствование поджогу и погрому...»

Кроме Народного дома в тот день была разгромлена редакция либеральной газеты «Северная земля». Толпа пыталась также разгромить дом городского головы Н. Клушина, но была остановлена народной милицией и водометами. Как подчеркивалось в материалах следствия, богатые дома евреев на Кирилловской улице были не тронуты. Но сама погромная акция сопровождалась выкриками: «Бей жидов и студентов!» А конкретным проявлением антисемитской направленности провокаций «Союза русского народа» стали столь же бурные события 18 октября 1905 года, после объявления Манифеста, когда толпой были выбиты стекла в нескольких еврейских магазинах. Бездействие полиции и жандармов во всех этих случаях сопровождалось и «нейтральностью» судов: процесс по делу о погроме Пушкинского народного

дома, проходивший в январе 1908 году, закончился помилованием всех обвиняемых, так как было признано, что «они действовали из чувства глубокого патриотизма»...

Шаламов в молодости слышал только отголоски этих событий, но знал общие настроения обывательской Вологды, и поэтому его слова: «Вологда — город черной сотни, где бывали еврейские погромы» — не слишком далеки от истины.

«Джефферсоновский дух» отца ярче всего проявился в его проповеди, произнесенной на панихиде в память М. Я. Герценштейна, депутата первой Государственной думы от партии конституционных демократов, профессора Московского сельскохозяйственного института, убитого черносотенцами летом 1906 года. На фоне прокатившихся тогда по России массовых еврейских погромов и разгона Первой думы это было чрезвычайно смелое для Вологды выступление, тем более что проходило оно в самом популярном в городе Спасовсерагродском соборе, а 20 августа 1906 года было напечатано в возобновленной газете «Северная земля».

Отец Тихон уже тогда развивал идеи реформы (обновления) православной церкви. В преамбуле своей проповеди он прямо заявлял: «Уклонение церкви от политических явлений не привело к добру. Она оказалась, с одной стороны, стесняема государством и в лице некоторых своих представителей стала оправдывать такие грустные явления народной жизни, как крепостное рабство, гонение свобод, порицать великую идею народного представительства. С другой стороны, борцы за народное дело, друзья народа, не надеясь встретить от представителей церкви сочувствия своему великому служению за счастье народное, стали сторониться духовенства и даже, к великому горю, охладевать к церкви».

Говоря о деятельности Первой Государственной думы, о. Тихон подчеркивал: «Она высказывала желание тех свобод, без которых душа человеческая не может нормально развиваться и жить, как рыба без воды и тело без воздуха. Это ее желание было в гармонии с заветами Христа и самовидцев Апостолов, с идеалами церкви. «Где дух Господен, там свобода» (2 Кор. 3, 17), «К свободе призваны вы, братия» (Гал. 5, 13). Она единодушно осудила смертную казнь, скорбя о братоубийственной расправе в народе русском... Она ужаснулась белостокскому и другим погромам, где кроваво пировал зверь-человек... Она желала наделить бедный крестьянский люд землей, причем высказалась за отчуждение частновладельческих земель за справедливое вознаграждение... Приснопамятный раб Божий Михаил к этому последнему делу Думы, к работам ее над поземельным вопросом и приложил всю силу своего огромного таланта и знания, всю силу своей практической опытности. Злые люди-убийцы пресекли его славное служение...»

«Он умер, — заключал о. Тихон, — за великое дело служения меньшей братии Христа-Царя. Эту меньшую братию он видел в лице многострадального люда крестьянского, который и алчет, и жаждет, и наготует, и странно, и больно и в темнице!..»

Прямых санкций за эту горячую «крамольную» проповедь со стороны епархиального управления не зафиксировано, но без последствий она не могла остаться: карьера о. Тихона затормозилась, он остался на службе в Софийском соборе четвертым, рядовым священником. Затем, в 1917 году, был выведен за штат, и так и не удостоился, с учетом хотя бы своих миссионерских заслуг, сана протоиерея (этот сан был присвоен ему лишь в 1923 году — уже слепому! — при обновленческом архиерее А. Надеждине). Все это вполне соответствует свидетельству Шаламова, что отцу «мстили все — и за все, за грамотность, интеллигентность», что до революции отец никак не вписывался в высшую касту вологодского духовенства.

«Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом», — писал Шаламов.

Наиболее яркий пример принципиального следования о. Тихона правилам веротерпимости, усвоенным в Америке, представляют его педагогические приемы,

направленные на воспитание отвращения к антисемитизму (они касались всех детей). Варлам вспоминал один из первых этих уроков: однажды по время осенней прогулки отец привел его к зданию вологодской синагоги и коротко объяснил, что «это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же церковь, что бог — один». За одним уроком последовал другой: Варламу (как и другим детям) было разрешено приглашать в дом всех, кроме антисемитов, при этом предпочтение среди гостей отдавалось евреям: «Так и вышло с самого детства, что у нас дома постоянно Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев — те лица, родители которых вели себя так же, как отец».

«Отцовская методика давала вполне надежный результат, — подчеркивал Шаламов. — Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное».

Наверное, трудно было найти в России тех лет священника с подобными педагогическими установками! Куда большее распространение имел церковный и бытовой антисемитизм, основанный на постулате: «Евреи Христа продали», а также антисемитизм своего рода интеллектуальный, распространявшийся провокаторами-идеологами под маркой известной фальсифицированной брошюры «Протоколы сионских мудрецов», которую, как известно, с одобрением читал и последний русский император Николай II. В этом смысле о. Тихон Шаламов был не просто «диссидентом», вольнодумцем-еретиком, а прямым противником догматов официальной православной церкви, а также и монаршей власти. К его счастью, он был не одинок, потому что после Манифеста 17 октября 1905 года подобные умонастроения легализовались и получили достаточно широкое распространение среди церковной и философско-религиозной интеллигенции.

Варлам уважал отца за его гражданское мужество, но он не смог принять догматы его веры. Интимная, сердечная сторона религии затронула его только в детстве, главным образом, благодаря матери и сестрам. «Читать «Отче наш» я не помню, чтоб меня кто учил — мать, сестры, уж не отец, конечно. Для меня с моей памятью на стихи, рифмованные и белые, это «Отче наш» было не труднее Пушкина», — писал он в набросках к «Четвертой Вологде». Постоянное присутствие при отце, его домашних молитвах и служебных ритуалах, дало Варламу глубокое знание всех церковных канонов, таинств, евангельских притч и сообщило ему то общее уважение к религии, к людям истинно верующим, которое он пронес через лагеря и сохранил до конца дней. Но сам он оказался вне религии — и здесь, пожалуй, некого винить. Да и вина ли это? Только современные неопиты православия с их крайне замороченным сознанием могут видеть в атеизме Шаламова некий порок, а не величайшее достоинство его личности.

«Веру в бога я потерял давно, лет в шесть», — писал Шаламов. Одной из причин он считал несоответствие жизненного примера отца-священника, по определению долженствующего печься о всякой живой душе (и твари), его сугубо хозяйско-мужичьему отношению к животным, к увлечению охотой (на Кадьяке) и безжалостности при «заклании» домашнего скота. Сцена с козлом Мардохеем в «Четвертой Вологде», когда отец, уже слепой, наощупь перерезал сонную артерию козла, продемонстрировав в очередной раз свое охотничье искусство, глубоко поразила Варлама. И уже не в первый раз. «Я горжусь, что за всю свою жизнь я не убил своей рукой ни одного живого существа, особенно из животного мира. В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей, — писал он. — Церковными обрядами я интересовался мало. Вера в бога никогда не была у меня страстной, твердой, — и я легко потерял ее — как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой».

Шаламов дает понять, что не только пример отца подорвали его детскую веру — на то был целый комплекс причин, среди которых, пожалуй, первое место заняло его раннее увлечение искусством, литературой. Научившись читать в три года, он попал

в иной, навечно захвативший его мир книг, который он — повторяя С. Цвейга — называл «опасным». Но он не боялся этой опасности — он ощутил в ней свое призвание, свою религию. Страстный монолог четырнадцатилетнего мальчугана, направленный против отца: «Я буду жить прямо противоположно твоему совету. Ты верил в бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь... Ты веришь в успех, в карьеру — я карьеру делать не буду — безымянным умру где-нибудь в Восточной Сибири... Ты жил на подачки — я их принимать не буду... Ты ненавидел стихи — я их буду любить» — весь пронизан стремлением защитить свою тайную и уже незыблемую приобщенность к Парнасу, к стихам — как «особому способу познания жизни, даже не познания, а существования, ощущения» («Четвертая Вологда»).

Так мыслил родившийся в семье нетипичного русского священника поэт Варлам Шаламов.

Глава третья

Третья Вологда и революция

По классификации Шаламова, «третья Вологда» — «ссылная», то есть представляющая вечно гонимую оппозиционную русскую интеллигенцию, которой в городе в дореволюционное время было в избытке. Надо напомнить, что деятельность любых политических партий в России до 1905 года была запрещена, и ссылка была главным средством борьбы с крамолой; после 1905 года в «места отдаленные и не столь отдаленные» отправлялись члены оппозиционных партий и непосредственные участники революционных действий. Количество ссыльных в обширной Вологодской губернии в начале XX века (в расчете на душу населения и на квадратную версту) превышало их количество в любом другом краю России, исключая Сибирь. Не случайно Вологда тогда получила название «подстоличной Сибири». В социологическом смысле Шаламов был очень точен. И его утверждение о том, что именно влияние ссыльных создало, по его словам, «особый климат города, нравственный и культурный», тоже не подлежит сомнению (хотя этот климат создавали и местные культурные силы). Сам Шаламов относил себя к «третьей Вологде». Обобщая вопрос об истоках своей биографии, он подчеркивал: «Если я вологжанин, то в той части, степени и форме, в какой Вологда связана с Западом, с большим миром, со столичной борьбой. Ибо есть Вологда Севера и есть Вологда высококультурной интеллигенции».

Такое самоощущение возникло у него в юности, в начале 1920-х годов, когда не все бывшие ссыльные разъехались (или не были репрессированы), когда в городе жили представители столичной профессуры, бежавшие сюда от голода, когда стала расправлять плечи местная интеллигенция: Шаламов считал и своего отца (с полным основанием) прикосновенным к этой «третьей Вологде».

Была она реальностью или мифом — эта маленькая страна, где «требования к личной жизни, к личному поведению были выше, чем в любом другом русском городе»?

Тот ряд имен, который называет Шаламов в связи с темой Вологды как «места ссылки или кандалного транзита для многих деятелей Сопротивления» — «от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Луначарского до Германа Лопатина» — далеко не полон и не исчерпывает всего многообразия персон и типов, представленных в вологодском изгнании и на местных пересылках за многовековую историю. Тут могло бы найтись место и, скажем, патриарху Никону — гонителю протопопа Аввакума, сосланному в Ферапонтов монастырь, и одному из любимых



Татьяна Морозова

МАХА ОДЕТАЯ



Татьяна Морозова

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ



Татьяна Морозова

ДЕВОЧКИ И ЛИСИЦА

писателей Шаламова Алексею Ремизову. А с другой стороны — будущему «вождю народов» Иосифу Сталину (Джугашвили) и его подручному В. Молотову (Скрябину), которые тоже провели немало времени в «подстоличной Сибири». Но двое последних не включены Шаламовым в этот ряд, как представляется, вполне сознательно — потому что они для писателя символы не Сопротивления, а Подавления, Тирании (родившейся под сенью Сопротивления).

Пожалуй, фантастично представить встречу ссыльного И. Джугашвили, прогуливавшегося по аллеям Вологды летом 1911 года или по набережной речки Золотухи в январе 1912 года (когда он был возвращен из очередного побега и готовился к следующему), — с четырехлетним малышом Варламом Шаламовым, сопровождаемым родителями или старшими братьями-сестрами. Но такая случайная встреча вполне могла произойти в небольшом городе, где немного мест для прогулок — либо аллеи Александровского сада, либо Соборная горка, либо торговые ряды (кроме центральных они находились на набережной Золотухи, примыкающей к Свято-Духову монастырю: неподалеку отсюда жил Сталин — дом, где он квартировал и где в 1937–1953 годах был его музей, сохранился и по сей день).

Разумеется, никто не придавал бы этой встрече никакого значения — подумаешь, гуляет цивильно одетый человек «кавказской национальности», а с другой стороны — водят за ручку какого-то малыша. Только кинематографисты (невысокого пошиба) могли бы разыграть эту встречу будущего вдохновителя и организатора Большого террора и будущего автора «Колымских рассказов» и придать ей символическое и мелодраматическое звучание. Но на самом деле, как мог — пристально и пронизательно, со значением — глядеть малыш на чернобородого грузина, которых в Вологде тогда были десятки? Кстати, в те годы Вологда — да и вся Россия — была вполне толерантной ко всем кавказцам, тем более — политическим. В 1905 году на похороны ссыльного И. Хейзанишвили, умершего в пересыльной тюрьме, пришли несколько тысяч человек. Первым председателем Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов в 1917 году был избран бывший ссыльный социал-демократ Шалва Элиава (будущий заместитель наркома легкой промышленности, расстрелянный Сталиным в 1937 году).

В предреволюционные годы в Вологде существовал даже «ресторан кавказских вин» под названием «Эльбрус» (он располагался в центре города, на нынешнем Советском проспекте). Именно в этом ресторане в начале февраля 1912 году состоялась своего рода историческая встреча И. Джугашвили с приехавшим в Вологду нелегально С. Орджоникидзе (она зафиксирована в журналах наблюдений жандармского управления как встреча «Кавказца» — такова была кличка Джугашвили у филеров — с «шатеном в черной одежде», а в сталинскую историографию вошла как приезд С. Орджоникидзе в ссылку к Сталину с сообщением о заочном избрании того членом ЦК партии большевиков на Пражской конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 года). Буквально через неделю после этой встречи, снабженный, надо полагать, деньгами, явками и паролями, Джугашвили бежал из Вологды — ночным поездом в Петербург — и вскоре стал одним из соредкторов газеты «Правда», где впервые стал подписываться многозначительно «твердым и несокрушимым», вошедшим в историю псевдонимом «И. Сталин»...

Характерно, что в Вологде Джугашвили никакой деятельностью, которую можно было бы назвать революционной, не занимался. Правда, филеры отметили, что за четыре месяца он 17 раз побывал в публичной библиотеке. Но содержание его чтения было крайне хаотичным: в списке книг, оставленных при побеге (этот список мне удалось разыскать среди бумаг, сохранившихся от бывшего музея Сталина в Вологде), есть и К. Каутский, и Ф. Вольтер, и с десятков журналов, и по два пособия по астрономии и по арифметике... Показательно, что Сталин не сдал, как приличествует всякому добросовестному читателю, эти книги в библиотеку, а бросил. Другое

недоумение: неужели будущий «вождь народов» в свои 33 года плохо знал арифметику, коль скоро изучал элементарный сборник арифметических задач? Слабо усвоил деление и умножение больших чисел, с нулями? Не отсюда ли потом непонимание разницы между единицами, сотнями, тысячами и миллионами людей? (Количество выплавленных пудов стали, танков и самолетов Сталин запоминал гораздо лучше.)

А среди вещей, оставленных Джугашвили при побеге, меня больше всего заинтериговала такая деталь: «Четыре полотняные рубахи, одна из них рваная». Кто посмел порвать рубаху гордого кавказца? — сразу возник вопрос. Версий может быть много, но истину, мне кажется, надо искать в мемуарах Н. Хрущева о том, как откровенничал Сталин на одном из кремлевских пиров в 1930-е годы о своей вологодской ссылке: «Хорошие ребята были уголовники. Не то, что политические»¹. Учитывая, что, кроме общения с уголовниками, в Вологде, как и в Сольвычегодске, будущий Сталин любил посещать трактиры и при этом был вспыльчив и драчлив, рубаху ему мог порвать кто-то из этих «хороших ребят», а может, и «плохих»...

Молотов, сосланный из Казани за принадлежность к юношеской организации РСДРП, в Вологде со Сталиным не встречался — их верная дружба-танDEM завязалась позже, в редакции «Правды». Проводил он в Вологде время по-разному: и книжки читал, и реальное училище экстерном закончил (была такая льгота молодым ссылным), и... на мандолине в ресторанах играл. Это факт зафиксирован и филерами, и мемуаристами. «Ресторанно-музыкальный эпизод доставлял ему потом неприятности, — вспоминает внук Молотова В. Никонов. — Сталин (на тех же кремлевских пирах. — В. Е.) иногда подтрунивал над ним в этой связи, иногда просто издевался: «Ты играл перед пьяными купцами, тебе морду горчицей мазали», — вспоминал Н. Хрущев. Молотов говорил: «Это был заработок...»

Разумеется, Шаламов не мог знать подробностей вологодского жития Сталина, Молотова, да и других ссылных. Но то, что ссылка в губернский город Вологду, недалеко от столиц, была сравнительно легкой — «Барбизоном», как он выражался, он мог наблюдать даже в детские годы, когда политические изгнанники спокойно гуляли по городу и даже ухаживали за барышнями.

Однако есть знаменательная фраза в «Четвертой Вологде»: «Конечно, как и во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны». Последнее — «шарлатаны» — объективно больше всего относится как раз к двум указанным выше персонам, Сталину и Молотову. Ибо их поведение в ссылке было весьма двусмысленным, закрытым. Да и в их политическом восхождении после 1917 года, что ни говори, гораздо больше исторической случайности, чем закономерности, и главным их качеством было скорее умение в нужный момент поймать свой шанс и держать нос по ветру в зигзагах политики большевиков (пользуясь тем, что В. И. Ленин, будучи гениальным политиком, был никудышным психологом: пример, со Сталиным, признанным им поначалу «чудесным грузином», говорит сам за себя). То же было и с Молотовым, который ничем не проявил себя в революции, кроме правки статей в «Правде», но в 1921 году, в возрасте 30 лет, стал секретарем ЦК РКП(б). Недаром на вопрос внука — В. Никонова — о том, что же его вознесло на вершины власти, Молотов-пенсионер, никогда и ни в чем не раскаивавшийся, ответил философически: «Ветер». (Стоит напомнить, что Шаламов, прекрасно знавший о роли Молотова в сталинских репрессиях, встретившись с ним, еще бодреньким старичком, в середине 1960-х годов в Ленинской библиотеке, хотел ударить его — «дать плюху», как он выражался — но не решился, о чем потом сильно сожалел.

Явно, что не эти герои определяли для Шаламова особый моральный климат Вологды, создававшийся ссылными. Писатель опирался скорее на местные апокрифы, на мемуары, связанные, например, со знаменитым побегом П. Лаврова, авто-

¹ Мемуары Н. С. Хрущева // Вопросы истории, 1992, № 1. С. 59.

ра воодушевивших русскую интеллигенцию 1870-х годов «Исторических писем» (побег был организован другим легендарным героем русской освободительной борьбы Германом Лопатиным), а также на разрозненные воспоминания о самом знаменитом периоде вологодской ссылки — начале XX века, 1901–1903 годах, когда здесь находилась одновременно группа выдающихся представителей русской интеллигенции — Н. Бердяев, А. Луначарский, А. Богданов, Б. Савинков, П. Щеголев, А. Ремизов...

Очевидно, что Шаламов не читал книги Ремизова «Иверень», посвященной ссылке писателя по России, в том числе по Вологодской губернии. В личную библиотеку Шаламова какими-то неведомыми путями попала лишь книга Ремизова «Мышкина дудочка. Подстриженными глазами», опубликованная в 1953 году в Париже издательством «Оплешник»; «Иверень» вышел позже и стал известен в России только в 1980-е годы. Надо заметить, что Ремизов был одним из самых ценимых Шаламовым русских писателей-модернистов — Шаламов считал себя даже в известной мере его учеником. И то определение, которое дал Ремизов в «Иверене» ссылке Вологде тех лет, — «Северные Афины» — несомненно, показалось бы Шаламову метафорически безупречно точным. Ибо «Северные Афины» — это собрание философов, мудрецов, интеллектуалов начала XX века, каковым и было тогдашнее сообщество вологодских ссыльных, решавшее в своих открытых для публики спорах, диспутах, по словам Шаламова, «судьбы России».

Шаламов вряд ли знал в подробностях конкретные предметы диспутов и их философские основания — и идеализм Бердяева, и марксизм Луначарского, и позитивизм Богданова, и романтический авантюризм Савинкова ему были известны, вероятно, лишь в самых общих чертах. В юном возрасте на людей производят впечатление, как правило, не философские идеи, а художественные произведения. Таким произведением, прочитанным в начале 1920-х годов, стала для Шаламова повесть Б. Савинкова (В. Ропшина) «То, чего не было». Другая, более известная, причем скандально, — повесть «Конь бледный» — произвела на него меньшее впечатление. Отзыв-воспоминание Шаламова стоит привести целиком, все же речь идет о первой полюбившейся книге.

«Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память, — писал Шаламов (это в конце 1960-х годов, после лагерей! — В. Е.). — Знаю почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю, почему я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекательно, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.

Этот фокус документальной литературы рано мною обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дожидаться дня, чтобы я сам мог испытать давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, который создают такие книги.

Запойное чтение мое продолжалось, но любимый автор был уже определен.

Многое в этих поздних откровениях об увлечениях юношества может показаться странным и непонятным: Шаламов воздает хвалу Савинкову — это ведь едва ли не апология террора, по крайней мере эсерства, тем более с намерением «стать в эти же ряды», «испытать и выдержать давление государства»! Налицо как бы идейная и моральная подготовка к участию в московской оппозиции 1920-х годов, к новому романтическому «подполью» в советских условиях. Но этот вывод был бы слишком примитивным. Важнейший аспект этих размышлений — не политический, а литературный. Главное для Шаламова — «нравственный уровень», который создают такие

книги, а именно, как он пишет (и стократно повторяет в течение жизни как собственный писательский императив) — «соответствие слова и дела» автора. Этот подход совершенно в шаламовском духе, в его принципах: если слово писателя не подкреплено его поступками, литература теряет всякий нравственный смысл. Не менее важно признание, что именно в романе Савинкова Шаламовым был впервые уловлен «фокус документальной литературы» (имеется в виду, несомненно, особый эффект воздействия на читателя произведений, где автор был реальным участником. — В. Е.). Этому методу всегда следовал Шаламов в своем творчестве, в том числе в «Колымских рассказах», и подчеркивал его в своих литературных манифестах: «Доверие к беллетристике подорвано... Собственная кровь, собственная судьба — вот требование современной литературы».

Остается только гадать, какие фрагменты из «То, чего не было» Шаламов запомнил наизусть. Книга Савинкова (Ропшина) действительно была посвящена поражению революции 1905 года и при этом — признанию бесперспективности террора как метода политической борьбы. И такая (одна из ключевых) фраз романа в устах его главного героя А. Болотова: «...Почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд?» — не могла не оставить зарубку в сознании юного Шаламова. Хотя народовольцам и их последователям — эсерам-максималистам он продолжал поклоняться всю жизнь — именно за их бескорыстную жертвенность — и писал об этом даже в поздние годы — книга Савинкова (Ропшина), по-видимому, все же в какой-то мере охладила его романтический пыл. И желание «стать в эти ряды» означало лишь то, что ни при каких новых обстоятельствах нельзя склоняться перед тиранией, довольствуясь «мещанским счастьем»...

Нелишне напомнить, что роман «То, чего не было» привлек внимание такого, казалось бы, далекого от текущей литературы человека, как Г. В. Плеханов. Откликаясь на споры о романе в революционной среде, он писал в 1913 году в открытом письме редактору журнала «Современный мир» В. П. Кранихфельду: «Искренность Ропшина стоит вне всякого сомнения; его художественное дарование неоспоримо». Говоря об основной проблеме романа, Плеханов подчеркивал: «Потребность в нравственном оправдании борьбы — не шуточное дело. Ее прекрасно понимали те мыслители, которым приходилось заниматься философией человеческой истории. Еще Гегель говорил, что историческое движение нередко представляет нам враждебное столкновение двух правовых принципов. В одном принципе выражается божественное право существующего порядка, право установившихся нравственных отношений; в другом — божественное право самосознания, идущего вперед, науки, делающей новые завоевания, субъективной свободы, восстающей против устаревших объективных норм. Взаимное столкновение этих двух божественных прав есть истинная трагедия, в которой гибнут подчас самые лучшие люди. (Гегель указывал на Сократа.) Но если в этой трагедии есть гибнущие, то нет виноватых. Гегель говорил, что каждая сторона права по-своему».

Шаламов вряд ли читал эту статью Плеханова, но понятие о *равных* правах двух враждебных принципов — государства и личности — было ему чрезвычайно близко. Более того, зная его биографию, где огромное место занимало государственное насилие, мы не удивимся тому, что он всегда защищал права личности. И единственным средством такой защиты — пройдя путь московских общественных сражений 1920-х годов — он стал считать литературу. (С наибольшей прямотой и выразительностью эту свою миссию он выразил в строках «Атомной поэмы» 1955 года: «Я там, где боль, я там, где стон / В старинном этом споре...»)

Но все это было позже. Разумеется, Варлам, которому в 1917 году исполнилось лишь десять лет, был слишком мал, чтобы успеть приобщиться к миру вологодских политических ссыльных, к миру Сопrotивления, как он его называл. Но само присутствие этих людей — сотен и тысяч (после революции 1905 года и «столыпинской

реакции»), отправленных в северный край не по своей воле, а по воле государственно-полицейской машины, не могло не заставить его задуматься об особенностях российского мироустройства, его отличии от Европы или, скажем, от Америки, о которой много рассказывал отец.

Показательно, что о. Тихон не считал зазорным принимать у себя дома ссыльных — не всех подряд, разумеется, а близких ему по духу и общественным интересам. Это тоже было вызовом местному церковному сообществу. Из фамилий людей, посещавших отца, Варлам запомнил только А. М. Виноградова, присяжного поверенного. Но Виноградов, как выяснилось теперь, не был ссыльным, хотя в молодости участвовал в студенческих беспорядках. Он приехал сюда после окончания Дерптского университета и заходил к отцу скорее по делам исторического общества изучения Северного края (оба были членами этого общества). Ссыльным был помощник Виноградова по адвокатским делам Вс. С. Венгеров, тоже, возможно, бывавший у Шаламовых в 1912–1913 годах. Это незауряднейшая личность — сын известного петербургского профессора-литературоведа С. А. Венгерова, убежденный социал-демократ, делегат Первого съезда Советов 1917 года, попавший после революции из-за своего «меньшевизма» в очередную полосу ссылок и расстрелянный в 1938 году. Такова была, увы, типичная судьба всех вологодских (и не только вологодских) ссыльных — представителей небольшевистских партий.

Одной из немногих уцелевших оказалась Э. И. Студенецкая, принадлежавшая к меньшевикам и оставшаяся в Вологде после всеобщей политической амнистии февраля 1917 года. По профессии зубной врач, она пользовалась большим авторитетом в Вологде, работала в госпиталях Северного фронта Гражданской войны и, вероятно, поэтому избежала преследований. Варлам Шаламов в начале 1920-х годов часто бывал в доме Студенецкой, поскольку входил в круг друзей ее дочери Евгении, своей ровесницы и подруги упоминавшегося выше Б. Непейна (с которым также сохранял дружеские отношения). Вполне вероятно, что большинство сведений о ссыльной Вологде, а также и ее «моральном климате» он получил из уст этой старой революционерки, прожившей в Вологде до 1931 года, а затем переехавшей в Ленинград. Женщина необычайно стойкого характера и целеустремленности — в 1906 году она участвовала в баррикадных боях в Харькове (за что и была сослана в Вологду), в 1936 году в Ленинграде в возрасте 60 лет(!) закончила медицинский институт, чтобы получить высшую квалификацию стоматолога, и оставалась до 1942 года в Ленинградской блокаде, пока ее не вывезли (она умерла в дороге) — женщина такого типа сама по себе создавала вокруг себя особый «моральный климат». Жаль, что Шаламов нигде не описал ее. О его тесных связях с семьей Студенецких свидетельствует тот факт, что после возвращения с Колымы Шаламов — никогда не веривший, как он писал, в «пользу возобновления старых знакомств» — нашел возможность встретиться с Евгенией Студенецкой и другими друзьями юности, жившими в Ленинграде. Одна из уникальных магнитофонных записей голоса Шаламова (с чтением стихов) была передана в вологодский музей именно через Е. Студенецкую. Запись делалась в 1964 году на квартире Виктора Совашкевича — одного из друзей и одноклассников Шаламова, закончившего вместе с ним школу в 1923 году.

Молодые люди заканчивали ЕТШ — единую трудовую школу второй ступени, в которую была преобразована после реформы народного просвещения 1918 года (проект готовил А. В. Луначарский) бывшая вологодская мужская гимназия имени Александра Благословенного (Первого). Варлам поступил в подготовительный класс гимназии в 1914 году, в семь лет, и никаких воспоминаний о ней не оставил. Зато запомнил сцену марта 1917 года, когда отец водил его по городу, чтобы показать «великие минуты России» после свержения самодержавия:

«Около гимназии была толпа, а с фронта гимназии старшекласник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного двуглавого орла. Чугунный орел был

велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда. Наконец, это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега...»

«Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов, — писал далее Шаламов в «Четвертой Вологде». — Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.

Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был — верилось — конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины — черную и красную. И история так же — до и после...

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге — их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны. Для того чтобы раскатать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование...»

Все эти строки, написанные в начале 1970-х годов, были, безусловно, глубоко выстраданными. И одновременно — полемичными по отношению к определенным умонастроениям тех лет. Хотя до «эпохи исторической невменяемости» начала 1990-х (так называл ее выдающийся историк М. Гелфер) было еще далеко, не только Октябрь 1917-го, но и Февраль уже тогда начали подвергаться со стороны части интеллигенции консервативной ревизии. «Бушующий кабак, в восемь месяцев разваливший страну», — отзывался о Феврале главный инициатор и идеолог этой ревизии А. Солженицын, постепенно ставший превращаться из писателя в воинственного публициста и историка (впрочем, весьма неквалифицированного, поскольку заведомо тенденциозного). Шаламов никогда не считал себя историком, и если он брался судить о революции и ее судьбе, он старался оставаться прежде всего свидетелем-художником. Только одна деталь — как срывал двуглавого орла с фронтона гимназии молодой человек в гимназической шинели — может сказать о духе революционного времени, о всеобщей ненависти к царскому режиму, пожалуй, больше, нежели много томные ретроспективные мечтания.

Необычайную историческую ценность имеют и свидетельства Шаламова об изменении взглядов и настроений — под влиянием революции — своего отца-священника. В годы Первой мировой войны о. Тихон был «оборонцем самого патристического толка». Но неудачи войны, которые он переживал глубоко, до слез, привели его к выводу о полной бессмысленности этой кровавой бойни. Отец был убежден, что Григорий Распутин был убит из-за своих протестов против войны и высказываний о скорейшем сепаратном мире с Германией (такие слухи о причинах убийства Распутина тогда ходили). После Февраля, как писал Шаламов, произошло резкое «полевение» отца. Он считал, что «сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами он ни вызывался, обязывает не тормозить его движения — в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение». Тут, замечал Шаламов, отец разошелся со своими всегдашними советчиками — П. Флоренским и С. Булгаковым.

Новым кумиром отца стал Питирим Сорокин — его земляк, выходец из зырянского края (но, в отличие от него, коренной, природный зырянин), уже к тому времени известный социолог и видный деятель правого крыла партии социалистов-революционеров. В 1917 году П. Сорокин несколько месяцев был секретарем-советником А. Ф. Керенского, активно занимался подготовкой выборов в Учредительное собрание, бывал и выступал в Вологде. Непосредственно благодаря примеру Сорокина, о. Тихон Шаламов на выборах в Учредительное собрание голосовал за эсеров. Дальнейшие изменения в политических настроениях отца также почти синхронно совпадали с изменением позиции его кумира. После короткой и безуспешной борьбы с

большевиками на Севере и ареста в 1918 году в Великом Устюге Сорокин заявил о своем отказе от политики в пользу науки и просвещения, прокомментированное в известной статье Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина». Как писал Шаламов, у отца его «не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти». Так что можно полагать, что он одобрил заявление Сорокина.

Трудно сказать, насколько был знаком о. Тихон с социологическими идеями своего земляка. Но самому Шаламову — уже в поздний период, в 1960-е годы — они были известны. В «Четвертой Вологде» он пишет о Питириме Сорокине — «Гарвардском профессоре, президенте Всемирного союза социологов, историке культуры, создавшем многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь». С учетом того, что труды Сорокина в СССР не издавались, можно полагать, что Шаламов узнал все о нем от кого-то из знакомых ученых (скорее всего, от Ю. Шрейдера). В конце 1960-х годов идея конвергенции (сближения двух противоборствующих политических и экономических систем) активно обсуждалась и в СССР, в связи с появлением известного самиздатского трактата академика А. Д. Сахарова. Шаламов симпатизировал этой идее (о чем мы расскажем в конце книги).

А вот насколько он был знаком с другой классической идеей выдающегося социолога — о том, что каждая революция переживает два периода — деструктивный и конструктивный? На этот счет данных нет. Но в эмпирике своей жизни Шаламову (как и самому П. Сорокину) пришлось пережить оба эти периода.

Революция и Гражданская война прошли на глазах Шаламова — в ту пору совсем юного, мало что понимавшего, ведь какими мы бываем в 10–13 лет? Октябрь 1917-го в Вологде, как и во всей российской провинции, прокатился незаметно, без эксцессов (это назвали потом «триумфальным шествием советской власти»), но уже весна 1918 года принесла совершенно новые — неожиданные и устрашающие явления, которые запомнились Шаламову навсегда.

Тихую и мирную Вологду, готовую, кажется, до скончания веков жить своей спокойной и размеренной жизнью, не обошли потрясения мирового масштаба. На местном уровне они выразились (и отразились у Шаламова в «Четвертой Вологде» и рассказе «Экзамен») в деятельности так называемой «советской ревизии» во главе с уполномоченным Совета Народных Комиссаров М. С. Кедровым (отбывавшим ссылку в Вологде в 1904 году). Надо заметить, что местный губисполком (председатель — тоже бывший ссыльный, большевик М. К. Ветошкин) проводил весьма взвешенную политику, стараясь во всем учитывать особенности вологодской ментальности, и по деловому сотрудничал с представителями других партий — профессионалами, занимавшими должности в административном аппарате и в кооперации. Приезд Кедрова с чрезвычайными полномочиями, с группой чекистов и ротой латышских стрелков, резко нарушил сложившееся равновесие. Обвиняя местные власти в «спячке», «благодушии», «отсутствии революционной бдительности» и т. д., Кедров сразу же начал чистку аппарата, произвел ряд арестов, закрыл все либеральные газеты, продолжавшие выходить в Вологде. Две резиденции Кедрова — спецвагон на вокзале и кабинеты, занятые в гостинице «Золотой якорь», сразу заслужили недобрую славу среди вологжан. Люди, вызывавшиеся туда на допросы, как правило, не возвращались — их заключали в тюрьму или направляли на оборонительные работы (рытье окопов) на Северный фронт. Начались облавы, обыски, в том числе ночные, аресты и расстрелы заложников — «буржуазных элементов».

Шаламов очень точно описывает психологическую атмосферу в Вологде этого периода: «Весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено».

Это детское ощущение Шаламова в те суровые годы не могло найти для него никаких объяснений и оправданий. Понять все причины происходящего был не в силах и отец, поскольку сам видел и ощущал только внешнее, приводившее его в шок — то неожиданные ночные обыски на его квартире, то такой же ночной налет

группы кедровских чекистов — в поисках «контрреволюционеров» — на расположенный недалеко по реке Спасо-Прилуцкий монастырь, что вынудило монахов звонить в набатный колокол и вызвало переполох во всем городе и окрестных деревнях. Прямой связи между этими событиями и пониманием сложности обстановки, которая сложилась на всем европейском Севере России в связи с высадкой войск Антанты в Мурманске и Архангельске, не прослеживалось. Очевиден был произвол — исходивший либо от самого Кедрова, либо от его особо ретивых сотрудников (что было в истории с монастырем, вынудившей губисполком жаловаться в Москву).

Сам Кедров, прибыв в Вологду в мае 1918 года, первое время в основном находился в Архангельске. На него была возложена ответственная миссия — срочно эвакуировать для нужд Красной Армии находившиеся там запасы вооружения и боеприпасов, завезенные еще в начале мировой войны союзниками (теперь уже бывшими). Надо напомнить, что непосредственной реакцией Запада на Октябрьскую революцию стал вышедший в декабре 1917 года «Меморандум Бальфура» — лорда, министра иностранных дел Великобритании (не путать с его же «Декларацией» ноября 1917 года, положившей дипломатическое начало созданию еврейского государства в Палестине). В «Меморандуме», касавшемся России, говорилось предельно четко: «Союзные правительства твердо решили сделать все, чтобы свергнуть Советское правительство в возможно кратчайший срок».

Интервенция на Севере, начавшаяся вскоре после Брестского мира, была одним из первых и самых важных шагов на этом пути. Планы ее были связаны с движением на Москву через Вологду и Ярославль (где готовил восстание Б. Савинков, забывший о своем писательстве и рвавшийся к власти). То, что М. С. Кедров решил поставленную перед ним задачу и до высадки английского десанта успел, используя все свои чрезвычайные полномочия (и превышая их — путем расстрела непослушных), вывезти на пароходах вверх по Северной Двине до Котласа стратегически важные военные грузы, всегда ставилось ему в заслугу. Но его диктаторские замашки и необоснованные репрессии вызывали острое недовольство населения и властей Архангельска и Вологды. С основной миссией — мобилизовать местные силы на защиту от интервентов — он справлялся плохо и неумело. Объявленная им в Шенкурском уезде (еще до высадки английского десанта в Архангельске) мобилизация крестьян сразу пяти возрастов — в июле, в разгар сенокоса! — стала причиной самого крупного на Севере восстания против Советской власти (фактически — против кедровского произвола).

Шаламов не знал этого, как и многого другого — например, причин облав и обысков. Кедров объяснял их прифронтовым, осадным положением Вологды, а также кознями дипломатических миссий иностранных государств, временно разместившихся в городе. Некоторые послы (прежде всего французский посол Ж. Нуланс) вели в Вологде активную тайную работу по организации заговора против советской власти. В этом смысле так называемая оперативно-розыскная работа служб из штаба Кедрова имела основания, но ее откровенно террористические методы не соответствовали реальной опасности.

Есть немалая доля истины в общей шаламовской характеристике Кедрова, навеянной поздними размышлениями о его личности и деятельности: «Странный человек был Кедров — Шигалев нашей современности, Шигалев — в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену». Под «невероятным сочетанием» Шаламов, кроме прочего, подразумевал известный факт, что Кедров, «плоть от плоти московской интеллигенции», будучи неплохим пианистом, играл Ленину в эмиграции «Аппассионату» Бетховена.

Сравнение Кедрова с Шигалевым, героем «Бесов» Достоевского, проповедовавшим, что ради социальной гармонии надо «срезать радикально сто миллионов голов», — несомненно, является гиперболой. Ее можно отчасти объяснить тем, что

Шаламов пользовался неверными данными о военной и чекистской биографии Кедрова. Отталкиваясь от того факта, что в 1919 году Кедров был начальником Особого отдела ВЧК, Шаламов писал о нем: «...Без конца находил и уничтожал врагов... На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове». На самом деле уже с 1921 года Кедров не работал в ВЧК и не имел прямого отношения к Большому террору. Но косвенное — все же имел, поскольку являлся сторонником чрезвычайщины и жестокости в духе Сталина (несмотря на это, он был расстрелян по приказу Сталина в 1941 году)¹.

История с кедровской ревизией раскрыла юному Шаламову два лика Октябрьской революции: один — вызванный из глубин истории, неизбежный и необходимый, другой — догматико-утопический, один — в пределах разума и практической целесообразности, другой — перешагивающий далеко за эти пределы, один — направленный на благо людей, другой — несущий ненависть, кровь и насилие. Эти два лика всегда имели для него конкретную персонификацию — как на высшем уровне, так и на местном. Шаламов — да и все вологжане — знали, что Кедров был снят со своего поста и отозван в Москву по ходатайству губисполкома, лично М. К. Ветошкина. Справедливость, как ее понимали в это тяжелое время в Вологде, была восстановлена.

Интервенция тоже сорвалась — кроме «дубины народной войны» сыграл свою роль вечно спасительный в военных условиях русский климат: неописуемое осеннее бездорожье, а затем мороз заставили англоамериканских и французских завоевателей забыть о походе на Москву. «Тщетная придурь» интервентов оказалась отнюдь не тщетной в плане добычи: из Архангельска и других оккупированных районов они вывезли все, что могли. Но самую мрачную память о себе «цивилизаторы» оставили зверствами над своими противниками, над теми, кто поддерживал советскую власть. Через тюрьмы Архангельска прошло 52 тысячи человек — больше десяти процентов населения губернии. Концентрационный лагерь, созданный на острове Мудьюг, по своему бесчеловечному режиму, пожалуй, не имел аналогов во всей предшествующей мировой истории. При этом интервенты старались делать все свои черные дела руками сотрудничавших с ними белых русских: на Мудьюг они послали бывшего начальника Нерчинской каторги Судакова — патологического садиста. В результате из тысячи человек, находившихся в лагере, погибли более двухсот — пропорции, почти равные Соловкам и Колыме. Все это — к слову, к будущей основной шаламовской теме...

Детские впечатления писателя не ограничились соприкосновением только с «кедровщиной». «1918 год был крахом нашей семьи. Прежде всего это был крах

¹ О близости Кедрова «шигалеvскому» (или сталинскому) типу революционера ярко свидетельствует его полемика с председателем Вологодского губисполкома М. К. Ветошкиным, выпустившим в 1927 году книгу «Революция и Гражданская война на Севере», где тактика Кедрова 1918 года подвергалась острой критике. Ветошкин характеризовал ее как «левое ребячество» и «интеллигентское барство». В своей рецензии на книгу Ветошкина Кедров ставил в вину вологодским большевикам то, что им «ближе по сердцу легальный путь реформ, нежели захватный революционный путь» (курсив мой. — В. Е.), обвинял Ветошкина в «оппортунизме», в том, что тот в 1917 году избирался в «буржуазное» Учредительное собрание (это был откровенный донос в духе Особого отдела ВЧК. — В. Е.), и в заключение делал примечательный пассаж: «Лучше совершать ошибки, и грубые в том числе, совместно с большевиками, чем оказываться «абсолютно» правым вкупе с меньшевиками и эсерами». (Журнал «Пролетарская революция», 1928, № 9). Еще более красноречивы документы собрания старых вологодских большевиков, обсуждавших рецензию Кедрова на книгу Ветошкина в июле 1928 года. Один из выступавших на собрании С. П. Ефимов высказался на эту тему максимально четко: «Надо разграничить и определить две совершенно различные линии тактики: одна — кедровский вагон — разрушай, руби направо и налево, единоначалие военно-полевого режима, и другая — строго обдуманная тактика Вологодского губисполкома: меньше жертв, идейное завоевание рабочих и крестьянских масс...» (Вологодский областной архив новейшей политической истории, ф. 3837, д. 35, л. 41).

материальный, — писал он. — Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли... Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод — восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи... Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала — варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку».

Все обширное «гогочущее» хозяйство отца вмиг растаяло — было съедено или распродано. Осталось только несколько коз, напоминавших с печальной иронией о названии популярной книжки, имевшейся у отца: «Коза — корова бедняка»...

Такие же крахи, такие же голодные страдания переживала тогда вся городская, да во многом и сельская Россия. Но крестьяне, при земле-кормилице и устоявшемся хозяйстве, при врожденной привычке к запасливости, резко усилившейся мировой войной (несмотря на реквизиции и продкомиссарство, практиковавшиеся еще в ту войну), переживали эти невзгоды все же несколько легче. Иллюстрацией тому — а также и иллюстрацией начала формирования взглядов Шаламова на народ — может служить самый, пожалуй, жесткий и нелюбимый (для народа и всех народников) эпизод, описанный в «Четвертой Вологде»:

«Одно из самых омерзительных моих воспоминаний — это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после их визитов... Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки».

Все это было увидено глазами одиннадцатилетнего мальчика — и ни тогда, ни позже, вероятно, не вызывало вопроса: «Почему?» Почему крестьяне вторглись в квартиру священника и вынесли всю мебель и зеркала? Было ли это воплощением лозунгов «экспроприации экспроприаторов» или «грабь награбленное»? Неужели местная власть разрешила проводить свободные реквизиции домашнего имущества у духовенства? В это мало верится. Скорее всего, речь шла о продаже или обмене — заведомо неэквивалентном — зеркал и мебели на муку или картошку. Варлама в это, видимо, не посвящали, и он видел лишь внешнюю сторону — вторжение чужих, неприятных, жадных людей в уютную, обжитую квартиру, после чего она оказалась пустой. (Но случались и самореквизии, то есть откровенный грабеж, особенно в моменты обысков кедровского периода — «все ценности вытаскивались цепкими руками», как писал Шаламов).

«Новые хозяева мира» — жестко, саркастично, но справедливо. По крайней мере юному Варламу было понятно, что социальная и культурная пирамида в России отныне перевернулась: «низам» дано больше, чем «верхам», пусть многие из последних и никогда не были «эксплуататорами». «Стяжательская душа крестьянина»? Резкое и непривычное обобщение, но только для тех, кто привык видеть в крестьянстве исключительно воплощение добродетелей. Трудно сказать, какие чувства испытывал во время этих сцен отец Шаламова, всю жизнь поглощенный идеей «долга народу». Варлам этой идеей никогда не увлекался и не страдал. Его отношение к деревне, к так называемому простому народу, к «Расее» — во многом сродни бунинскому или булгаковскому, трезвому и суровому, лишенному всяких признаков столь свойственного русской интеллигенции «народопоклонства». Шаламов — с первых юных впечатлений и до конца дней — в этом коренном для России вопросе представляет одно из редчайших исключений в русской, а тем более в советской литературе. Он — в некотором роде аристократ. Не барин — нет, для этого нет абсолютно никаких оснований. Но, во-первых, он воспитан в церковных традициях, где стяжательство (в значении добывать или стягать, стянуть чужое и т. д.) считалось одним из тяжких грехов. Недаром Шаламов вводит это сугубо церковное слово (расширенное и опошленное фельетонистами советского периода) в «Четвертую

Вологду» начала 1970-х годов — оно у него звучит именно в первозданном древнем значении. Во-вторых, он аристократ, потому что — поэт, который изначально устремлен ввысь, к идеалам, далеким от всяческой корысти и от тихой обывательской жизни.

Мы уже знаем, что Варлам «ненавидел» домашнее хозяйство и не любил пасти отцовских гусей. А любил ли пасти гусей, скажем, Игорь Северянин, любимый поэт его юности? (О том, любили ли пасти гусей в своем детстве другие его любимые поэты — Пушкин и Лермонтов, Блок и Анненский, спрашивать, видимо, не надо). Так что можно констатировать, что у Шаламова с детства сформировались основные типологические черты поэтической — если угодно, романтической — личности. Маленький человечек, который, прочтя первые книжки, начал составлять из них литературные пасьянсы, «играть в фантики», как он это сам называл, уединясь на своем любимом сундуке, где и спал... Не прообраз ли это будущего автора великолепных, неповторимых стихов и столь же великолепной, неповторимой прозы?

Но до той поры было еще далеко. Дома, в Вологде, предстояло пройти по крайней мере школу и так называемые внешкольные подростковые увлечения.

Школу Варлам закончил в 1923 году, одним из лучших — а точнее, лучшим — учеником. На сохранившейся фотографии выпускников ЕТШ № 6 второй ступени Варлам — на самом почетном месте, в белой рубашке (которую посоветовали одеть по такому случаю, видимо, родители). Сохранилась и его школьная характеристика: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью, энергичный, сознательный, с большими запросами, пытливым умом. Отличается большим развитием; по всем предметам работает очень хорошо. Имеет склонность к естественным наукам».

Последнее вызывает некоторое недоумение. Действительно, Шаламов — с детства и до конца дней — питал большое уважение к естественным наукам и следил за всеми новейшими открытиями. И. П. Сиротинская вспоминала: «Все ему интересно — литература, живопись, театр, физика, биология, история, математика. Книго-чей. Исследователь». Самый яркий пример на этот счет: Шаламов считал изобретение первого антибиотика — пенициллина (А. Флемингом) важнейшим для человечества благодеянием со времен христианства. В этом отношении, заметим сразу, он ближе всего в русской литературе к Чехову. Недаром отец прочил Варламу медицинское образование и недаром же в конце концов ему удалось довольно легко закончить фельдшерские курсы на Колыме.

Но история с характеристикой имеет свою интригу. Первоначально классная руководительница Е. М. Куклина, хорошо знавшая об увлечении Варлама литературой, написала: «Имеет склонность к гуманитарным наукам». Это вызвало прямо-таки бешенство — «длительный истерический взрыв» — у отца, который посчитал, что такая характеристика написана специально, чтобы закрыть сыну дорогу в медицинский вуз. Варламу пришлось снова идти к Куклиной и объяснять ситуацию. В ответ он услышал знаменательные, очень лестные для себя слова: «Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности». Но Варламу пришлось ей сказать (уступая, отцу, который, слепой, «бился в кресле в истерическом приступе, с белой пеной на губах»), что он будет поступать в медицинский. Характеристика была переписана, что, впрочем, не помешало Шаламову как сыну священника испытать все огромные трудности, связанные с попыткой получить высшее образование (об этом ниже).

По поводу книгочейства и страсти познания лучше всего сказано в набросках к «Четвертой Вологде»: «Все школьные задания я делал сразу по возвращении домой, в первый же час, еще до чая, до обеда — все остальное время читал, чтобы занять, залить жажду жадного мозга». Круг чтения с возрастом, естественно, менялся — от Понсон дю Террайля («Приключения Рокамболя») и А. Конан Дойля («считаю Конан Дойля и сейчас большим писателем» — позднее признание Шаламова) до революци-

онно-романтической литературы (где особое место, мы знаем, занимал Ропшин-Савинков), от стихов Северянина (которого Шаламов также глубоко чтит всю жизнь — за новаторство, за то, что он показал «интонационные возможности русского стиха») до других, куда более серьезных кумиров предреволюционных лет — А. Блока и Д. Мережковского.

Причем с Мережковским и его идеями четырнадцатилетний Шаламов вел горячий спор на страницах своего дневника. Этот несохранившийся дневник (он был сожжен, как уже говорилось, сестрой Галиной после первого ареста брата) мог бы открыть многое в мировоззренческом становлении Шаламова. Приходится только предполагать, что юного Шаламова отталкивала в Мережковском его сугубо эстетская метафизичность и мистицизм (вспомним фразу из «Четвертой Вологды»: «Мама не писала пьесы о мертвом боге, а четырнадцать лет боролась за жизнь» — явная полемика со «Смертью богов» Мережковского). Возможно, он знал широко цитировавшуюся фразу Достоевского о первых стихах, принесенных ему юным Мережковским: «Слабо, плохо... Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» Кроме того, вероятно, Шаламов в своем споре отталкивался от вопроса, заданного А. Блоком: «Почему все не любят Мережковского?» (хотя сам Блок не то что любил, но уважал автора «Грядущего Хама» как поборника культуры). В конце концов, этот спор юного Шаламова со светилом тогдашней русской литературы ярко демонстрирует одну из главных черт будущего автора «Колымских рассказов» — упрямую самостоятельность взглядов, нежелание склонять голову перед какими бы то ни было авторитетом.

Судя по столь горячей увлеченности Варлама литературой можно было бы предположить, что он был замкнут в себе, чурался общения со сверстниками и был далек от увлечений, обычных для подростка. Совсем не так! Он гонял с мальчишками в футбол, только входивший в провинциальную российскую жизнь. За это получил очередное замечание отца: «Видел (это говорил слепой! — В. Е.) я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров накопи!»

Еще раньше, в период Кедрова, Варлам начал ходить в городской шахматный клуб, располагавшийся в той же гостинице «Золотой якорь», где был штаб грозного начальника «советской ревизии». Любовь к футболу и шахматам он сохранил до конца дней. Но не меньшим увлечением Шаламова с юности — и опять же до поздних лет — был театр. Самые теплые лирические строки своей автобиографической повести он посвятил именно театру — от первого посещения антрепризного спектакля «Эрнани» В. Гюго с почти 80-летним актером П. Россовым, игравшим юного короля Карла (факт, глубоко поразивший Шаламова и не раз им вспоминавшийся) до постановки школьных спектаклей. Варлам был избран секретарем школьного драмкружка и отвечал не только за явку на репетиции, но и за организацию спектаклей и вечеров. Выступал и сам, читая «Поэзоантракт» Северянина и другие стихи. Особенно запомнился ему — по своеобразной атмосфере — некрасовский вечер 1921 года, подготовленный для городской публики и красноармейцев. Вечер, где шла инсценировка поэмы Некрасова «Русские женщины» (глава «Княгиня Трубецкая»), сопровождался массой трагикомических эпизодов и эффектов, в том числе фейерверком (вызвавшим недовольство губвоенкома), и стал большим событием в городе.

Варлам и сам мечтал о сцене. Причем он, по-детски грезя славой кумиров публики — певцов разного жанра, собирался петь. Но все эти планы разрушил еще в первых классах гимназии приговор преподавателя пения, городского капельмейстера Александрова (по ученической кличке «Козел» — видимо, из-за бороды и особой въедливости): «Слух у тебя, Шаламов, как бревно». После этого Варлам навзрыд плакал, а одноклассники утешали его: «Что же ты реवेशь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки...»

Резюме к этой трагедии сделал сам Шаламов: «Тяга к музыке и свела мальчика

со стихами». Но и музыке он остался предан — любил слушать, прекрасно знал биографии многих композиторов.

Среди своих друзей, кроме Бориса Непеина (тот был чуть постарше), Варлам выделял одноклассников Сережку Воропанова — «головастого крепыша, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению», и особенно — Алешку Веселовского, приехавшего из Петербурга со своим отцом, профессором Александром Александровичем (сыном знаменитого литературоведа Александра Николаевича Веселовского). Дружба эта была короткой — всего три года — и прервалась неожиданно ранней смертью Алешки. Он умер в 1923 году от туберкулеза.

Необычайная близость и пылкость этой трагически прерванной дружбы заставляет вспомнить пушкинский лицейский «прекрасный союз». Оба мальчика, познакомившиеся в 14 лет, в 1921 году, были чрезвычайно талантливы. Алешку Шаламов (с высоты позднего понимания) называл «литературоведческим Моцартом», писал, что в его семье, «подобно музыкальному гению Бахов, можно говорить о литературоведческом гене». В этой семье Варлам впервые увидел настоящую библиотеку — «царство книг». «Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос — французский — мы читали на голоса «Песнь о Роланде», вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник», — писал он. А что может теснее слить юные души, чем не упоение рыцарством Сирано?..

Они просиживали вдвоем целыми вечерами. Шаламов запомнил и совместные походы в театр, и участие в спиритических сеансах, которыми увлекались родители Веселовских, после чего мальчики, возбужденные «вызыванием духов», ночью ходили на кладбище Свято-Духова монастыря. Единственное, что не упомянуто Шаламовым, — книга, изданная отцом и сыном Веселовскими в Вологде, подтверждающая наличие того самого «литературоведческого гена». Книга называлась «Вологжане-краеведы» и потребовала огромной библиографической работы. Невыразимой горечью веяло от ее первых строк: «К моменту выхода настоящего труда один из авторов Алексей Веселовский — юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящаю его светлой памяти эту работу...»

А была ли у Шаламова юношеская любовь? Невозможно же жить в этом возрасте только книжным и идеальным. В автобиографической книге писатель обходит этот вопрос, но касается «одной из самых деликатных проблем юности, которой не найдено решения и сейчас», — созревающего либидо. «Если у нас в семье говорили взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания были вовсе исключены, — писал он. — По мысли отца, природа покажет верное решение. Для того, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной, меня заставляли водить на случку коз... Кусты вологодских лесов и садов были переполнены обнимающимися парами, примеров было много... Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычинок и краснеющая преподавательница Монетович, бойко постукивая по доске указкой, начала объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец».

Есть основания полагать, что все было не совсем так. Юношеская любовь у Варлама однажды все-таки вспыхнула — по отношению к одной из участниц драмкружка Лиде Перовой. Отголосок этого звучит в стихотворении Шаламова 1960-х годов, названном со взрослой снисходительностью «В пятнадцать лет»: «...С общипанным букетом / Я двери отворю. / Сейчас, сейчас об этом / Я с ней заговорю. / И Лида сморщит брови, / Кивая на букет / И назовет любовью / Мальчишеский мой бред». Этот «бред» быстро прошел, так как Лида вскоре уехала в Москву и вышла замуж за своего еще более давнего поклонника, тоже вологжанина, Василия Сигорского, поступившего во ВХУТЕМАС и ставшего довольно интересным художником-

графиком. После Колымы Шаламов нередко общался с семьей Сигорских, поскольку они жили недалеко. Тут вспоминать о прошлых симпатиях было вовсе некстати, и разговор шел главным образом о Вологде времен юности.

Но Шаламов — надо думать, из соображений деликатности — не описал нигде тайну своего первого «грехопадения». Об этой тайне мне однажды поведала И. П. Сиротинская, которой вполне доверительно и опять же по-взрослому, все рассказал Шаламов. Передаю только суть: «Мужчиной я стал неожиданно, в четырнадцать лет. Однажды вышел во двор и засмотрелся на молодую женщину-соседку, которая развешивала на веревки свою стирку. Она тоже посматривала на меня, потом подозвала к себе, взяла за плечи и сказала: «Ты уже совсем взрослый парень. Пойдем со мной...» Это была, по-видимому, молодая вдова одного из погибших в Гражданскую войну.

Естественно, что подростку было трудно «разбить» ее сердце. А настоящие влюбленности у Шаламова начались намного позже...

Квартира семьи к тому времени была распоряжением властей «уплотнена». Самая большая комната — гостиная, «зало» — заселялась поочередно разными людьми, вплоть до городского прокурора, а мать с отцом и Варлам ютились в двух маленьких комнатах. После отъезда Варлама в Москву семью окончательно выселили — сначала отец с матерью жили в комнатке на нижнем (подвальном) этаже кафедрального Воскресенского собора, принадлежавшего обновленческой церкви — к ней примкнул о. Тихон, а последние свои годы они доживали в деревянном доме на улице Благовещенской (дом не сохранился).

Принадлежность к обновленческой церкви не давала никаких привилегий. Хотя власть всячески заигрывала с «демократически настроенным духовенством» (так оно именовалось), главной ее задачей был раскол православной церкви и постепенное уничтожение обеих ветвей. Но все 1920-е годы, вплоть до 1929-го, в Вологде, даже и в условиях раскола, при двух противоборствующих епископах (выборных по законам нового времени), сохранялась почти в неизменности традиционная религиозно-обрядовая жизнь. Изъятие церковных ценностей в 1922 году прошло в городе без каких-либо эксцессов: власть радовалась этому, и все добровольно отданное на помощь голодающим, записывала как изъятое. Действовало в то время еще около 40 храмов, созывавших прихожан на службы колокольным звоном, и каждый прихожанин знал голос колокола своего храма. Соблюдались все обряды жизненного цикла — от крещения и венчания до отпевания. Большинство вологжан сохраняло преданность старому («тихоновскому») завету, а «живая церковь», несмотря на все усилия, не могла собрать более десяти процентов от общей паствы. Ей принадлежало всего шесть приходов, тогда, как «тихоновцам» — 36¹.

Шаламов считал, что причиной неуспеха обновленцев были не их реформаторские идеи (служба на русском — а не на церковнославянском — языке, второбрачие духовенства, отделение белого духовенства от черного монашества), а их «донкихотство» — отказ от платы за требы, аскетическая жизнь по заветам древних христиан. Эти лозунги, выдвигавшиеся «советским Савонаролой», знаменитым митрополитом-бунтарем Александром Введенским, были близки идеям «военного коммунизма», лелеяли слух власти, но никак не соответствовало интересам большинства духовенства, которое давно привыкло различать «богово» и «кесарево», духовное и земное.

Приезд А. Введенского в Вологду, прочитавшего в Доме революции (восстановленном после погрома в Пушкинском народном доме) две лекции — «Брак, свободная любовь и Церковь» и «Бог ли Иисус Христос?», вызвал большой интерес прежде всего

¹ Спасенкова И. В. Православная традиция русского города в 1917–1930-х гг. (на примере Вологды). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Вологда. ВГПУ, 1999.

у атеистов. Шаламов, не раз слышавший его и на московских лекциях и диспутах, считал, что он превосходил в этом качестве всех политических кумиров, в том числе Троцкого и Луначарского — Введенский находил точный и остроумный ответ на любой вопрос. Шаламов запомнил множество таких эпизодов. Например, по поводу моднейшего тогда лозунга «Религия — опиум для народа» Введенский говорил: «Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия — опиум. Лекарство. Но кто из вас, — следует обводящий зал жест, — может сказать, что нравственно здоров».

Отец Шаламова лично встречался и беседовал с А. Введенским. Его, слепого, водил на эту встречу Варлам. Отец очень гордился знакомством со знаменитым митрополитом и был рад, что Варлам, уже в Москве, студентом, добился встречи с Введенским (по практическому поводу — достать контрамарку на его диспут с Луначарским). Он получил не только контрамарку, но и ответ, очень лестный для о. Тихона: «Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей».

Этот комплимент, переданный в письме к отцу, был для того не просто приятен — он послужил новой вспышкой к активизации его проповеднической деятельности. Варлам еще дома постоянно водил отца на всевозможные диспуты и лекции и слушал их сам. Знаменательнейшее признание: став постоянным поводом-рем отца, Шаламов учился у него «крепости душевной». Прежняя напряженность отношений сменилась уважением.

Незаурядный оратор, о. Тихон часто прибегал в своих речах и проповедях к светским примерам. Варлам запомнил его комментарий к известному каламбуру Вольтера о том, что «верующий лавочник обманет меньше, чем неверующий лавочник»: «Если это так, одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии».

Отец продолжал выступать с проповедями и докладами вплоть до полного краха церковной жизни в 1930 году, когда были закрыты сразу 37 храмов и прекратились колокольные звоны. А одно из последних выступлений о. Тихона, зафиксированное в протоколе собрания Вологодского епархиального управления в июле 1929 года, гласило: «Возвысить храм, поднять его воспитательное значение и ввести пасомых в активную храмовую жизнь и работу...»

Шаламов считал отца неисправимым идеалистом и позитивистом. «Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции, — писал он. — Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию». Еще более резко об этом сказано в набросках к «Четвертой Вологде»: «Отец, укрытый слепотой, при новых тяжких известиях говорил: «Все это пустяки». Увы, это не было пустяками. Выступала на свет подлинная Расея, со всей ее злобностью, жадностью, ненавистью ко всему...»

Прямым олицетворением этой дикой, нехристианизированной и воинственно-злобной «Расеи» можно считать всевозможные нападки на отца, которому, по словам Шаламова, «мстили все и за все — за грамотность, за интеллигентность». Характерны заметки-доносы в местных газетах 1919 года под названиями «Поп в советском учреждении» и «Поп у книги», по-своему освещавшие просветительскую деятельность отца: о нем говорилось как о «служителе бога», «представителе касты самой ненавистной и самой злобной, в течение веков державшей народный ум в темноте и невежестве». Но еще более характерна история с местным заведующим губпросветом Ежкиным, который всячески препятствовал — и отцу, и сыну — при попытке получить Варламу направление в вуз после школы. Сцена, описанная в «Четвертой Вологде», ярко иллюстрирует новые вологодские (и не только вологодские) нравы:

«Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: «Поп в кабинете!» Голос Ежкина звенел:

— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты, — обратился заведующий ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес к моим глазам.

— Это я ему фигу показываю, — разъярил заведующий слепому, — чтобы вы тоже знали.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор...

Какую Вологду — «первую», «пятую», «десятую», «сотую», разрушенную и размененную задешево — представлял Ежкин, по его хамству судить трудно. Но формально он стоял на букве закона: о. Тихон был «лишенцем», то есть лишенным по Конституции РСФСР 1918 года избирательных прав (из-за своего священства), и эта дискриминационная мера распространялась и на детей «лишенцев»: им официально был закрыт доступ в высшие учебные заведения.

В Вологде Варламу пришлось остаться еще на год. Об этом потерянном годе в его биографии почти ничего не известно, кроме сожаления: «Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи — абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев (тоже «лишенцев». — В. Е.) — все поступили туда, куда хотели. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства». Это лишний раз подтверждает, что в России во все времена умели обходить закон. Отец имел знакомства только в церковной сфере — он предлагал Варламу уже не медицинский, а духовную семинарию, используя связи с тем же Введенским. Но Варлам категорически отказался. Он решил ехать в Москву и для начала найти работу где-нибудь на заводе, пройти «пролетарскую закалку». С этим в конце концов согласились и родители.

В Москву он уезжал «ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы». «В одном вагоне ехала сестра мамы — тетка моя Екатерина Александровна, работавшая в Сетунской больнице под Москвой. Тетка была бестужевкой¹, с отцом она дружила с молодости, и отец доверил мою судьбу в эти надежные прогрессивные руки», — вспоминал Шаламов.

Для его устройства в Москве на первое время были проданы два охотничьих ружья, оставшихся от брата Сергея. Из одежды — перешито пальто дяди Андрея Воробьева, второго брата матери, и сшиты две новые рубашки. Семья оставалась практически ни с чем. Золотой крест отца за службу на Кадыяке пока еще лежал — на самый черный день — на дне сундука.

Глава четвертая

Москва. Кипение и зыбкость 1920-х

Москва сразу захватила его своей свободой — в отличие от Вологды она кипела жизнью. Шаламов много раз употребляет слово «кипение» по отношению к середине 1920-х годов. Первое же пребывание в центре столицы (от Кунцева до Каланчевки тогда ходил паровозный состав) дало ему возможность ощутить захватывающий темп жизни: трамваи и автомобили уже вытеснили извозчиков на окраины, но по улицам шли толпы народа, и одной из главных тем в газетах и в начавшем выходить «Огоньке»

¹ Бестужевками называли женщин, окончивших в дореволюционной России Высшие женские курсы, готовившие врачей и учителей. В Петербурге их называли Бестужевскими по имени их руководителя К. Н. Бестужева-Рюмина. (Прим. ред.)

был призыв: «Граждане! Ходите по тротуарам!» Относилось это прежде всего к провинциалам, ярославцам и тулякам, одесситам и вологжанам, нахлынувшим в Москву кто учиться, а кто работать — в редакции и конторы, на стройки, большие заводы и маленькие фабрики, размножившиеся во время нэпа.

Варлам тоже устроился на завод — Кунцевский кожевенный, принадлежавший Озерскому крестьянскому кооперативу Московской области. Он выбрал профессию дубильщика — вероятно, потому что отец в свое время научил его выделывать шкуры. «Дубильщик» — первая запись в его трудовой книжке и первый пункт его будущих анкет и официальных автобиографий. Жил у тетки в ее комнате при Сетунской больнице, но приходил сюда в основном ночевать, а все свободное от работы время старался проводить в столице, с жадностью познавая ее.

Смерти и похорон Ленина он не застал и вряд ли в то время думал о его политическом завещании. Но он застал смерть С. Есенина и был на его похоронах в предновогодний день 31 декабря 1925 года, в многотысячной толпе на Страстной площади (где видел и Н. Клюева) и наблюдал, как «коричневый гроб, привезенный из Ленинграда, трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково». У Варлама уже тогда возник вопрос, почему поэт, «хулиганство» которого не слишком поощряла власть, был так поддержан в свой последний день тысячами людей из самых разных слоев общества. Он писал: «Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией». Для юноши, мечтавшего о литературе, это открытие было самым важным.

Впрочем, как не раз подчеркивал Шаламов, после переезда в Москву его жизнь сразу «поделилась на две классические части — стихи и действительность, литературу и участие в общественных сражениях».

Первые месяцы Варлам успел поработать в Сетуни, в тогдашнем Московском уезде, учителем-ликвидатором неграмотности — с огромным энтузиазмом, равным, вероятно, энтузиазму отца в первые годы миссионерства на Кадьяке.

Букварь 1920-х годов начинался не с обыденного «Мама мыла раму», а с гордых слов: «Мы — не рабы, рабы — не мы». Тому, кто постоянно читал эти слова на своих уроках, кто учил этим словам неграмотных стариков и старух, они не могли не врезаться в память на всю жизнь — как символ эпохи и символ ее надежд. Недаром в 1970 году Шаламов написал стихотворение «Воспоминания о ликбезе», которое — после Колымы и «Колымских рассказов» — имело уже другой контекст и другой смысл: «...Людей из вековой тюрьмы / Веду лучом к лучу: / «Мы — не рабы. Рабы — не мы — / Вот все, что я хочу...»

Участвовал он в ликвидации неграмотности не ради справки, которая давала определенные преимущества при поступлении в вуз. И работа на кожевенном заводе была для него поначалу тоже наполнена гораздо более высоким смыслом, нежели получение пролетарского стажа и завоевание нового, выигрышного статуса «человека от станка». Он писал об этом вполне откровенно: «К документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат (в пролетарии. — В. Е.), сочувствующий — это вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории... На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ощутить то драгоценное, новое, в которое так верили. Я пришел туда не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу...»

Акцент — «не для мимикрии» — чрезвычайно характерен для Шаламова. Он хотел самым честным образом влиться в новую советскую жизнь, полагая что его труд на заводе естественным образом искупит уязвимый факт биографии — происхождение из духовенства. Вряд ли можно объяснить стремлением обретения нового

статуса и его необычную одежду, в которой он запечатлен на студенческом билете: кепка-шлем под буденовку и перешитая шинель. Такова была мода молодых людей 1920-х годов, имевшая вполне четкое семиотическое, идеологическое наполнение — «мы за революцию, мы с теми, кто победил в Гражданскую войну». На эту моду повлиял, несомненно, пример тех старших студентов, кто действительно успел участвовать в Гражданской войне и кто в настоящих буденовках и шинелях пришел поступать в 1-й МГУ (тогда был и 2-й МГУ — педагогический), на подготовительные курсы, которые начал посещать, уволившись в январе 1926 года с завода, Шаламов. Одним из его друзей в это время стал Лазарь Шапиро: он был на три года старше и успел повоевать. Впоследствии пути их разошлись. Лазарь поступил на другое отделение, избежал активного участия в оппозиции, но в 1938 году был на несколько месяцев арестован, потом восстановлен в правах и погиб на фронте в 1942 году.

Примеров мимикрии, откровенного приспособленчества к законам новой жизни было огромное множество: тысячи и десятки тысяч людей пытались забыть или замаскировать свое прошлое, отвечая на главный пункт анкеты: «чем занимался и чем занимались родители до 1917 года?» Пожалуй, самую феноменальную эволюцию в этом смысле проделал А. Я. Вышинский, в 1925–1928 годы бывший ректором 1-го МГУ — вуза, с которым так тесно связана ранняя биография Шаламова. Меншевик, юрист, летом 1917 года занимавшийся по заданию Временного правительства розыском В. И. Ленина для привлечения его к суду, — фигура, явно подходящая под расстрел по законам нового времени, он сумел сделать блестящую (хотя и подлую, позорную, в конце концов) карьеру при советской власти. Многие историки склоняются к мнению, что способствовал этому Сталин, с которым Вышинский сидел вместе в Баиловской тюрьме в Баку в 1908 году. По крайней мере, в 1920 году он без проблем вступил в РКП(б), и небольшевистское прошлое ему отныне не вспоминали. Уже в начале 1920-х годов Вышинский выступил обвинителем на нескольких крупных процессах, приведших к расстрельным приговорам, тогда же он возглавил юрфак МГУ и вскоре был избран ректором (разумеется, по распоряжению свыше).

Шаламов тогда плохо знал биографию Вышинского и вряд ли предполагал, что в университете ему придется столкнуться с очень большими неприятностями. Почему он решил поступить на юрфак (факультет советского права) — причем не на относительно нейтральное хозяйственно-правовое отделение, а на судебное, где готовили будущих вершителей правосудия — вопрос, во многом остающийся загадочным. Конкретные мотивации на этот счет нигде писателем не названы. Ведь он хотел и мог поступать на медицинский факультет, мог — на самый близкий ему этнологический, где были отделения литературы и истории, мог — в текстильный институт (куда подавал документы одновременно с МГУ), но в итоге решил избрать вовсе несвойственное его характеру и интересам юридическое поприще. То ли его привлекала возможность слушать лекции некоторых старых профессоров, например профессора истории права М. А. Рейснера — отца знаменитой Ларисы Рейснер, то ли решение исходило из его юношеского порыва готовить себя к борьбе за справедливость нового строя, основанного на законе, на соблюдении прав и свобод граждан. На самом же деле, объективно говоря, он шел в пасть ко льву или, точнее, к ягуару — ведь Андрея Вышинского, Януарьевича по отчеству, за глаза скоро стали называть Ягуаровичем — за его хитро маскируемую жестокость, за внезапные нападения на ничего не подозревающих людей — со всем блеском его природного циничного артистизма и красноречия, которому, вероятно, когда-то позавидовал и решил использовать Сталин.

У Шаламова было много поводов написать подробнее о Вышинском — и о его роли в Шахтинском процессе 1928 года, и на процессе Промпартии 1930 года, и на самых зловещих московских процессах 1936–1937 годов, где юрист русской дореволюционной школы, ныне Прокурор СССР, называл обвиняемых «взбесившимися пса-

ми», которых «надо расстрелять всех до одного», «чудовищами», «проклятой помещице лисы и свиньи» (о Н. Бухарине). Шаламову было более чем понятно, что Вышинский выполняет прямые задания Сталина. Но обоим этим персонам — ввиду очевидности конкретного зла, которое они несли — в произведениях писателя отведено очень мало места. Любопытен лишь факт о Вышинском в набросках к «Вишерскому антироману»: «Я был свидетелем, как на открытом партийном собрании в Коммунистической аудитории в новом здании МГУ ударили по физиономии ректора университета Андрея Януарьевича Вышинского. Вышинский перебивал речи оратора из оппозиции, свистел, вставляя пальцы в рот».

Это — одно из свидетельств стихийной демократии в 1920-е годы: начальство, высокое лицо запросто ударили по физиономии за то, что оно пресекло чью-то свободную критическую речь и при этом оно, начальство, по-хулигански, подражая толпе — явно театральным популистским приемом — свистело. К таким приемам никогда не прибегали самые любимые Шаламовым ораторы 1920-х — ни Луначарский, ни Троцкий, ни А. Введенский. Единственный, кто любил бузотерить, свистеть, и кому прощались подобные выходки — В. Маяковский, на вечерах которого Шаламов бывал много раз. Но обо этом позже.

Примеров стихийной, неуправляемой, непредсказуемой и, главное, *ненаказуемой* критики любого рода тогда было огромное множество. Самый яркий факт на этот счет Шаламов вспоминал даже в 1970-х годах:

«В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которое дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А то ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал».

Это был, вероятно, последний всплеск новой советской демократии, никогда позже не возвращавшийся. Шаламов подобная атмосфера чрезвычайно импонировала, и не случайно он, вспоминая свои первые впечатления от Москвы 1924 года, писал: «Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год».

Варламу тогда было уже семнадцать, и он вполне осознанно — хотя и сквозь призму своего поэтического романтизма — воспринимал действительность, поэтому это его свидетельство чрезвычайно дорого с исторической точки зрения — по крайней мере, с точки зрения истории повседневности 1920-х годов, а не разного рода последующих доктрин.

Одной из причин, почему он выбрал МГУ, была острая потребность разобраться в проблемах действительности, найти истину в непрестанных дискуссиях. «Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений, — вспоминал он. — Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте... Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме, и о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждались не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура. И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой».

Эти споры еще жарче — иногда до утра — продолжались в общежитии в Большом Черкасском переулке («на Черкасске», как говорили сами студенты).

Шаламов много писал о феерическо-утопическом духе 1920-х годов — о «штурме неба», об ожидавшейся всеми мировой революции. Эту эпоху своей молодости он всегда вспоминал с большой теплотой, и в то же время не раз подчеркивал, что она

была эпохой «зарождения всех благодеяний и всех преступлений будущего». То и другое в его восприятии 1920-х годов осталось неразрывным. Те же составляющие — благодеяния и надежды, препятствия и разочарования — окружали и его студенческую жизнь. Она неожиданно закончилась в феврале 1928 года — исключением из университета по жестокой причине — «за сокрытие социального происхождения».

Сам Шаламов в своих автобиографиях никогда не упоминал об этом факте, и у многих читателей может сложиться впечатление, что арестован он был в январе 1929 года студентом третьего курса. На самом деле он был исключен еще годом ранее, не закончив второго курса. В архиве МГУ сохранилось «Личное дело студента Шаламова В. Т.». Оно может пролить свет на многие обстоятельства повседневной жизни университета тех лет, которые в немалой степени диктовались и общими политическими тенденциями, и конкретными установками ректора А. Я. Вышинского. Именно при нем были введены так называемые «проверочные комиссии» и усилилась «политико-пропагандистская работа» среди студентов. Это означало укрепление партийно-комсомольской прослойки и возвышение ее роли в надзоре за «свободными», беспартийными студентами, что чаще всего выражалось в регулярном стукачестве. Документы «дела студента Шаламова» об этом как раз и свидетельствуют.

Во-первых, в «деле» есть заявление — в жанре откровенного доноса — от его молодого земляка-вологжанина Михаила Коробова. Его стоит привести полностью, так как жанру соответствует особого рода неповторимый стиль.

«Во фракцию ВКП (б) 1-го Моск. Гос. Университета
от члена ВКП (б), агента хоз.-правового отделения,
студента Совправа
Коробова Михаила Арсеньевича

Заявление

Настоящим прошу выяснить социальное происхождение и положение по документам, находящимся в Университете, студента Совправа судебного отд. II курса гр-на Шаламова В. За время пребывания в прошлом 1926-27 уч. году в одной семинарской группе с тов.Шаламовым мы все считали, что он рабочий, так как он выдавал себя за такового. Мне известно, что он в прошлом году получал стипендию и пользовался общежитием. В прошлом учебном году Шаламов не вызывал подозрений по своему поведению в группе. Однако летние каникулы дали возможность случайно установить социальную принадлежность Шаламова. Я каникулы провел в г. Вологде и неожиданно встретил там же Шаламова. Был поражен этим обстоятельством потому, что в беседах с ним я говорил ему, что я вологодский. Он же в Университете, в группе и беседах со мною назывался рабочим-кожевником какого-то подмосковного завода. Факт встречи в Вологде мне показался подозрительным и тем более тогда, когда Шаламов сказал мне при встрече, что он вологодский уроженец и что адрес его жительства «Соборная гора, дом 2 кв. 2». Я очень хорошо знал, что дом этот церковный и поэтому сообразил, что Шаламов имеет какое-либо отношение к вологодскому духовенству. На следующий же день от ряда партийных тов. я установил, что Шаламов, наш студент, является сыном соборного дьякона, который во время изъятия церковных ценностей выступал в качестве ярого противника указанного мероприятия Советской власти. Студент Шаламов связь с родителями не порвал. Если же и работал где-либо на заводе в качестве рабочего, то это было ни больше, ни меньше, как прием временной социальной перекраски, рассчитанной на поступление в ВУЗ. Я считаю, что таким «рабочим», как Шаламов, не только не следует давать стипендии и общежития, но и не место в Университете, особенно на факультете Советского Права. Есть более достойные люди, которые из-за таких находятся в ожидании поступления учиться.

Надеюсь на принятие соответствующих мер по изложенному мною в настоящем Заявлении. К сему <подпись> 1927 г. 24 сентября»¹.

В деле есть также более раннее письмо М. Коробова из Вологды с изложением тех же обстоятельств, адресованное некоему Антону — видимо, тоже завербованному партийному осведомителю из студентов. Оно характеризует вполне практические жизненные устремления Коробова: «...Видишь ли, Антон, жена моя подала заявление в Покровский рабфак (вероятно, в рабфак, руководимый известным профессором М. И. Покровским. — В. Е.) о приеме-переводе с вологодского рабфака. Вологодский рабфак ходатайствует об этом и прислал туда все документы на ее. Как полагается, формализм и горячка во время приемного периода существуют во всех учебных заведениях в той или иной степени. Мне самому хочется здесь пожить подольше (больше заработать и отдохнуть) и не хочется ехать в Москву за тем, чтобы устраивать жену, как это делается обыкновенно. Личное присутствие, правда, всегда имеет большое преимущество перед бумажным, но мне, кажется, можно бы этого избежать.

Тебя же я хочу просить вот о чем. Во-первых, узнать в рабфаке, поступило ли это дело, в какой стадии находится, какова точка зрения на этот вопрос у решающих судьбы или близко к этому делу стоящих (мало ли что бывает в период отпусков). Не плохо бы было, если бы пару-другую слов ляпнул студенческому представителю в президиум рабфака в смысле положительного разрешения вопроса. Как я не подумаю, но, очевидно, учеба моя в нынешний год будет решаться решением этого вопроса. Мелочно и обидно, казалось, бы, но ведь одной перспективой на мировую революцию жив не будешь».

Доносы тоже могут быть блестящими — по выразительности характеристики их авторов и времени. Весь стиль и фразеология Коробова, его желание устроить, как бы между делом, свою жену в Москве и особенно скептический отзыв о «мировой революции» — ярко показывают, что кроме слоя романтиков в МГУ тогда существовал и неведомый Шаламову слой прагматиков. На них, как нетрудно понять, и строился — и затем держался — сталинский режим. (Как удалось установить, М. А. Коробов сделал вполне благополучную карьеру при этом режиме, в 1940 году он был прокурором г. Курска, дальнейшая судьба неизвестна.)

В доносе — такова уж их особенность — много явных передержек. Отец Шаламова никогда не был дьяконом и не выступал «ярым противником» изъятия церковных ценностей. Скрывал ли Варлам свое социальное происхождение? Формально — скрывал. В анкетах он писал: отец — инвалид, служащий, тогда, как требовалось указывать сословие, причем в такой унижительной форме, как «служитель культа». Но и то, что он писал об отце-инвалиде, было правдой. Анкетные ловушки в советское время пытались обойти все здравые люди, это было массовым и неизбежным явлением. Например, А. Твардовский писал, что он «сын крестьянина-середняка» в то время, как даже в Большой советской энциклопедии 1939 года его называли «сыном кулака». Это была трагедия целых поколений — преследование и дискриминация по признаку социального происхождения — по шестому пункту анкеты, не менее значимому, чем более известный пятый. Недаром тот же Твардовский в свою позднюю антисталинскую поэму «По праву памяти» включил главу «Сын за отца не отвечает», посвященную знаменитым словам Сталина. Они были произнесены в 1935 году на совещании передовых комбайнеров. Один из участников совещания А. Тильба сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян», на что и последовал широко растиражированный газетами ответ про «сына», который «не отвечает». Но это был лишь один из многих хитроумных пропагандистских приемов «вождя народов»: репрессии за «неправильное» социальное происхождение

¹ Архив МГУ им. М. В. Ломоносова. Ф. 1. Оп. 14. Л. д. 1538. Автор благодарит за помощь в розыске этого дела преподавателя исторического факультета МГУ С. Ю. Агишева.

продолжались всю его эпоху, а дискриминация перешла и в последующую — например, при выдаче загранпаспортов.

Участь Шаламова-студента была предreshена не только из-за доноса М. Коробова. В том же личном деле сохранилось еще одна кляуза на него — заявление от 11 февраля 1928 года о нарушении им «всяких (так!) правил общежития», написанное пятью его соседями по комнате 7-б. В заявлении говорилось, что «почти каждый день Шаламов бывает активным участником «компаний» в комнатах 9 и 10, куда собираются (к девчатам) его друзья «по станку», как он их рекомендует... Напившись как сапожники, криком, стуком, танцами и пением каких-то «гимнов» под гитарный перезвон не дают нам ни заниматься ни спать до 3–4-х часов ночи. После всего этого заводит своих, пьяных, друзей к нам в комнату. Натаскает грязных матрацев на стол и под стол — укладывает их спать... Он предпочитает своим долгом выругать каждого из нас своим вульгарным красноречием вперемежку с матом и заявляет: «Плевать я на вас хочу» (с батиной колокольни) и далее переходит опять утверждать: «Это мои друзья «по станку». Я за них ручаюсь». Заканчивается заявление еще более резко: «Просим принять меры к выселению Шаламова из нашей комнаты и общежития — избавить нас от шаламовщины...»

Разумеется, все здесь, как и в доносе, стократно преувеличено: «почти каждый день», «напившись, как сапожники», «с матом» и т. д. Во-первых, Шаламов все московские годы чрезвычайно дорожил своим временем, допоздна сидел в библиотеках, не пропускал всех важных для него литературных вечеров, так что если и участвовал в подобных компаниях в общежитии, то нечасто. Во-вторых, тягой к выпивке он никогда не отличался — вырос в семье абсолютного трезвенника, и если свободная студенческая жизнь как-то нарушила эти его устои (сохранявшиеся до конца жизни) — то в очень малой мере. Единственное — он еще на заводе приучился курить. Мат интеллигентному юноше также был несвойствен (это уже поздняя, лагерная привычка).

В заявлении ясно прочитывается пристрастие соседей по комнате к Варламу. Возможно, потому что он мало с ними общался и имел иной круг друзей. Возможно, они знали, что на него уже начались гонения в связи с происхождением из священнической семьи, и хотели их усугубить (вспомните явно притянутую за уши «батину колокольню»). При этом очевидно, что грозное обобщение «шаламовщина» играло роль политического ярлыка, вроде «есенинщины». Не исключено, что вся эта грязь, вылитая на Шаламова, была инспирирована сверху. Об этом можно судить по одной из подписей под заявлением — «М. Залилов». Это был студент этнологического факультета, молодой татарский поэт, взявший впоследствии псевдоним Муса Джалиль. С ним у Шаламова изначально сложились дружеские отношения (на поэтической почве), и можно предполагать, что юного Мусу как комсомольца просто вынудили подписать это заявление. А историческая ценность этой кляузы в том, что она дает некоторые представления о том, чем *в действительности* занимался Шаламов.

Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что столь зло описанные «компания», в которых он участвовал, являлись конспиративными собраниями или дискуссионными клубами оппозиционного студенчества. Ведь собирались на них, как говорил Варлам, его «товарищи по станку» (двусмысленность, довольно прозрачная). Сразу по поступлении в университет он активно стал интересоваться текущей политикой, всеми острыми событиями во внутрипартийной борьбе, о которых сообщали газеты и еще больше рассказывали новые друзья. Их было не слишком много. Среди имен, которые Шаламов называет в поздних воспоминаниях (а также частью — в следственных показаниях по делу 1937 года), фигурирует около десятка человек — студентов разных факультетов: Серафим Попов, Владимир Смирнов, Сарра Гезенцвей, Александр Афанасьев, Марк Куриц, Гдалиль Мильман, Нина Арефьева, Арон Коган, Мария Сегал, Надежда Никольская. Наибольшим его доверием

пользовалась Сарра Гезенцевей. По признанию Шаламова, именно она, студентка литературного отделения, младше его на год, но необычайно смелая и решительная, поставила его в ряды оппозиции.

Эта оппозиция, антисталинская по своей направленности, при своем возникновении сразу получила ярлык «троцкистской», но самонаименования ее были иные — «левые» или «большевики-ленинцы». Имели ли оппозиционеры какие-либо шансы на успех? — вопрос очень гадательный. Объективно говоря, не имели. Уже к 1927 году все узлы противоречий, завязавшиеся в партийной и государственной власти после смерти Ленина, были в основном разрублены. Не распутаны, а именно разрублены — Сталиным и его единомышленниками, благодаря имевшемуся у них громадному «административному ресурсу» и благодаря железному следованию принципу «разделяй и властвуй». Надо напомнить, что поклонение новому вождю в партийной среде началось уже в 1925 году, когда Царицын, обороной которого он столь бесславно руководил в Гражданскую войну, был переименован в Сталинград, а на XIV съезде ВКП(б) в адрес Сталина впервые прозвучали аплодисменты, «переходящие в овацию».

Шаламов неоднократно («сто раз», как он писал со свойственной ему гиперболизацией) видел Сталина — на трибуне мавзолея и во время его пеших передвижений с другими членами правительства в центре Москвы в 1924–1925 годы. Но с 1926 года эти публичные передвижения прекратились, замечал Шаламов, что, несомненно, было знаковым событием. Достигнув высших рычагов власти, Сталин не только стал уделять повышенное внимание личной охране, но и резко изменил стиль своего политического поведения. Никогда не имевший таланта оратора, он отныне окончательно отошел от непосредственного общения с широкими массами и стал работать исключительно с так называемым «активом» — просеянным через сито его секретариата, возглавлявшимся В. М. Молотовым, кланом избранных как из партии, так и из народа (так называемыми «передовиками» и «ударниками»). Пример, подобный «наркома давай!», при укрепившемся во главе государства Сталине уже не срабатывал. Чрезвычайно характерен факт из хроники поездки Сталина в Сибирь зимой 1928 года для нажима на местный партаппарат с целью перевыполнения плана хлебозаготовок и «борьбы с кулаком» (предвестие «сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса»). С прибытием Сталина в Красноярск 1 февраля к нему обратилась цеховая партиячейка железнодорожных мастерских с просьбой выступить с докладом на рабочем собрании. Как выяснил специально исследовавший эту историю В. П. Данилов, Сталин ответил отказом, сославшись на то, что «приехал неофициально (?) для инструктирования товарищей в порядке *внутреннем*. Выступать теперь *открыто* на массовом собрании — значит превышать свои полномочия и обмануть (!) ЦК партии». Такова была его личная записка-ответ рабочим; курсив Сталина, знаки вопросов поставлены исследователем¹.

Основного противника Сталина Льва Троцкого юный Варлам, только что приехавший из Вологды, видел на параде 7 ноября 1924 года, на трибуне мавзолея, тогда деревянного. Троцкий еще был Главвоенмором, то есть Главнокомандующим вооруженными силами, но последовавшее вскоре снятие с этого поста стало для него началом конца: какой-либо реальной власти он уже не имел. В 1926-м был выведен из состава Политбюро, а нахождение в составе ЦК до октября 1927 года оставляло свободу только для дискуссий, которые медленно, но целенаправленно пресекал Сталин.

Эту ситуацию «арьергардных боев» лидера оппозиции хорошо понимали и многие ее рядовые участники. Позднее замечание Шаламова: «К Троцкому большинство

¹ См.: Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы в 5 томах. М., 1999. Т. 1. С. 37. (Предисловие В. П. Данилова.)

оппозиционеров относилось без большой симпатии» — показывает, что даже среди студентов, самых верных поклонников ораторского таланта и аналитической мысли своего кумира, его авторитет стал снижаться. Хотя статьи Троцкого, в том числе те, что распространялись нелегально, шли нарасхват, самым трезвым и проницательным из участников движения становилось ясно, что левая оппозиция проигрывает, что ее всеми средствами стараются подавить.

Варлам в свои двадцать лет не мог быть провидцем — он подчинялся скорее инстинктивному чувству протеста против свертывания политической свободы. В зрелые годы писатель объяснял свое самоощущение 1920-х годов так: «Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары» («Четвертая Вологда»). Но он, хоть и с опозданием, все-таки включился в оппозиционное движение. Он не мог поступить иначе прежде всего по нравственным мотивам: «Оппозиционеры были единственными людьми, которые пытались организовать сопротивление этому носорогу (разумеется, речь идет о Сталине. — В. Е.), сдержат тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа личности». («Краткое жизнеописание»). И еще одна важная для понимания его надежд и не раз повторявшаяся им мысль: «Организация, в десять раз меньшая по численности, но организация смела бы Сталина в два дня». Очевидно, Шаламов имел в виду самое начало 1920-х годов — в его студенческое время создание такой организации было утопией. Он и сам сознавал зыбкость подобных надежд, подчеркивая, что уже конец 1924 года «дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит».

Беспартийный, даже не комсомолец, он был волонтером, вольным стрелком в оппозиционной борьбе. Чистота и бескорыстие его помыслов не могли не импонировать новым друзьям, как правило, таким же идеалистам, никогда не допускавшим до большой «политической кухни». Все они сознательно шли на жертву, следуя примеру революционеров всех предыдущих поколений.

Самая важная страница биографии Шаламова 1927 года — участие в демонстрации, посвященной 10-летней годовщине Октября, проходившей в Москве с участием оппозиции. Известно, что на эту демонстрацию его привела С. Гезенцвей, но других подробностей Шаламов нигде не сообщал. В советский период об этой акции оппозиции вообще не упоминалось. Поэтому стоит обратиться к свидетельству Троцкого, которое он опубликовал в «Бюллетене оппозиции» в 1932 году, уже будучи высланным из страны и протестуя против сталинской версии об этой демонстрации как попытке «вооруженного восстания»:

«Что произошло на самом деле 7 ноября 1927 года? В юбилейной демонстрации участвовала, разумеется, и оппозиция. Ее представители шли вместе со многими заводами, фабриками, учебными заведениями и советскими учреждениями. Многие группы оппозиционеров несли в общей процессии свои плакаты. С этими плакатами они вышли с заводов и других учреждений. Что ж это были за контрреволюционные плакаты? Напомним их:

- 1) «Выполним завещание Ленина»
- 2) «Повернем огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа»
- 3) «За подлинную рабочую демократию»
- 4) «Против оппортунизма, против раскола — за единство ленинской партии»
- 5) «За ленинский Центральный Комитет».

Рабочие, служащие, красноармейцы, учащиеся шли рядом с оппозиционерами, несли свои плакаты. Никаких столкновений не было. Ни один здравомыслящий рабочий не мог рассматривать эти плакаты, как направленные против советской власти или против партии. Лишь когда отдельные заводы и учреждения влились в общий поток манифестации, ГПУ, по распоряжению сталинского секретариата, выслало особые отряды для нападения на демонстрантов, мирно несших оппозицион-

ные плакаты. После этого стали происходить отдельные столкновения, состоявшие в том, что отряды ГПУ набрасывались на манифестантов, вырывали у них плакаты и наносили им побои...»

Троцкий не случайно приводил названия плакатов — они свидетельствовали о, казалось бы, вполне лояльной и умеренной по понятиям тех лет платформе оппозиции. Ничего «троцкистского» в лозунгах не было — кроме «Повернем огонь направо — против нэпмана, кулака и бюрократа». Это была очевидная левизна в условиях нэпа, которую в скором времени, в 1929 году, использовал Сталин — опираясь практически на лозунг Троцкого и исключив из него лишь «бюрократа». Но транспаранты «Выполним завещание Ленина», «За ленинский Центральный Комитет» несли в себе ясно читаемый (для посвященных) антисталинский мотив. Завещание Ленина — его письмо к XII съезду ВКП(б) — с характеристиками предполагаемых руководителей партии и его особым акцентом на негативных чертах Сталина, который, «сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть» («Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью»; «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение»)¹.

Шаламов к этому времени, несомненно, был знаком с текстом «Завещания», которое на тот момент еще считалось легальным документом, хотя полностью оно нигде не печаталось. Эта двусмысленность возникла после того, как письмо Ленина было оглашено узкому кругу участников XIII съезда в мае 1924 года, но было фактически игнорировано — и в части рекомендаций Ленина о смещении Сталина, и в еще более важной и принципиальной части о расширении состава ЦК до 50–100 человек за счет рабочих, что позволяло бы, по мысли Ленина, нейтрализовать любого рода «вождизм» (Сталина, Троцкого или иного члена Политбюро) и избежать раскола. Характерно, что большинство участников XIII съезда не сочло «грубость» Сталина и вообще грубость серьезным недостатком, поскольку, как выразился один делегат, «партия наша грубая, пролетарская». Но с таким доводом были согласны далеко не все, особенно — интеллигенция и университетская молодежь, уважавшая пролетариат, но больше — ум и корректность (ее подлинным кумиром, «любимцем», как подчеркивал Шаламов, был скорее не Троцкий, а Луначарский). Поэтому неудивительно, что молодой Шаламов пришел на демонстрацию под лозунгами «большевиков-ленинцев», как неудивительно и то, что он позже участвовал в подпольном печатании «Завещания» Ленина.

Привлечение отрядов ОГПУ, возглавлявшегося тогда В. Р. Менжинским, к подавлению действий оппозиции 7 ноября 1927 года, несомненно, было санкционировано Сталиным. Очевидно, что новая политическая полиция была осведомлена о готовящихся выступлениях, и отряды продумывали действия заранее. Вся демонстрация снималась многочисленными фотоаппаратами и кинохроникерами, что давало (как современное видеонаблюдение) материал для фиксации активистов оппозиции. Кроме того, естественно, в толпе работали агенты. Они не могли не обращать особое внимание на университетскую колонну. Так что вполне возможно, что уже тогда Шаламов, как и С. Гезенцев, попал в поле зрения ОГПУ.

Откровенно репрессивная настроенность «сталинского секретариата» вытекала из решений состоявшегося накануне (21–23 октября) Объединенного пленума

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 346.

ЦК ВКП(б) и ЦКК, на котором Троцкий был исключен из состава ЦК, а Сталин сделал свой известный, уникальный по демагогичности и убийственный для политической карьеры Троцкого доклад «Троцкистская оппозиция прежде и теперь». Ставший великим тактиком в борьбе со своими политическими противниками, он в очередной раз тщательно подготовился к докладу — дал приказ разыскать архивные документы о дореволюционной деятельности Троцкого, делая акцент на его «небольшевизме», умело манипулировал цитатами из его работ 1920-х годов и работ Ленина, включая и «Завещание». Нелишне привести некоторые фрагменты и напомнить о неповторимом стиле и поистине несокрушимой (для верного ему «актива») логике генсека, помнившего и использовавшего все слабости и промахи своих соперников:

«Говорят, что в этом "завещании" тов. Ленин предлагал съезду ввиду «грубости» Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это совершенно верно. Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается. Я на первом же заседании пленума ЦК после XIII съезда просил пленум ЦК освободить меня от обязанностей генерального секретаря. Съезд сам обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев, Зиновьев, *обязали* Сталина остаться на своем посту.

Что же я мог сделать? Сбежать с поста? Это не в моем характере, ни с каких постов я никогда не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Человек я, как уже раньше об этом говорил, подневольный, и когда партия обязывает, я должен подчиниться».

Но всего тоньше и ядовитее продуманным было заключение речи, где Сталин ссылаясь на разысканную его помощниками статью Троцкого 1904 года (двадцатилетней давности!), посвященную известному меньшевику, соратнику Г. В. Плеханова П. Б. Аксельроду:

«Ну, что же, — скатертью дорога к «дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду»! Скатертью дорога! Только поторопитесь, почтенный Троцкий, так как «Павел Борисович», ввиду его дряхлости, может в скором времени помереть, а вы можете не успеть к «учителю». *(Продолжительные аплодисменты.)*¹.

Этот доклад был опубликован в «Правде» 2 ноября и послужил сигналом для последней расправы над Троцким и всеми другими оппозиционерами.

Аресты уже всюду шли и в университете. Шаламов вспоминал: «В Большом Черкасском переулке в маленьком общежитии жило всего 100 студентов. Из них восемьдесят ушли в ссылку по делам оппозиции в 1926–1928 годах». 2 мая 1928 года была арестована Сарра Гезенцвей, и хотя вскоре ее выпустили на поруки отца, крупного работника наркомата финансов, в 1929 году она была осуждена на три года ссылки в Бийск. Еще раньше был арестован ее друг, а впоследствии муж Александр Афанасьев, сосланный в Череповец. Об этой истории и истории любви Афанасьева и Гезенцвей яркие воспоминания оставила череповецкая учительница, впоследствии — ленинградская поэтесса Н. М. Иванова-Романова. «Очень живая, веселая, ничего не боялась. Приходила сама к нему в комнату в общежитие. Ребята сразу уходили. Потом спускалась по лестнице, не поправив волос», — писала она о Сарре. (См.: Нева, 1989, № 2–4). А вот отрывок из записанного ею рассказа Александра Афанасьева — поэта, учившегося на том же литературном отделении: «А когда я уже сидел в Бутырьках, раз мне сообщают: к вам на свидание жена. Какая жена! Выхожу. Она. Кидается, целует и сама шепчет новости: там-то было собрание, того-то взяли...

¹ Сталин И. В. Сочинения. Т. 10. М. ОГИЗ. 1949. С. 172. См. также: Пека О. В. Архивные материалы во внутривнутрипартийной борьбе 1920-х годов // Отечественные архивы, 1992, № 2.

Родители ее были очень недовольны нашим знакомством. Ругали ее за меня. Отец — шишка в наркомате. Ей запрещали. А она никого не боялась».

В 1929 году А. Афанасьев попросил перевода из Череповца в Бийск, к жене (хотя они не были расписаны). Из ссылки можно было вернуться, сделав официальный отказ от платформы оппозиции. Но они его не сделали. В 1937 году С. Гезенцевей расстреляли как «кадровую троцкистку». Позднее та же участь постигла и А. Афанасьева. В годы Большого террора были расстреляны А. Введенский, Г. Мильман, М. Куриц, А. Коган и практически все другие товарищи Шаламова по оппозиции.

Шаламов ничего не ведал о их судьбе, но понимал, что уцелеть им было невозможно. О Сарре Гезенцевей и Саше Афанасьеве он узнал лишь из воспоминаний Н. М. Ивановой-Романовой, переданных ему в поздние годы в рукописи. Для нас они ценны тем, что, кроме деталей о «кипучести» 1920-х годов и их печальном исходе, восстанавливают один из женских образов, с которым соприкоснулся Шаламов в эти годы. Ясно, что никакого «романа» с С. Гезенцевей (как полагают некоторые любители «клубнички») у него не могло быть. Весьма выразительна на этот счет сцена новогодней вечеринки 1929 года, проведенной, как вспоминал Шаламов, «на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных»: «На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубаше с мужским ремнем, на котором была укреплен кобура браунинга, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которым она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила...»

Чьи бы черты ни напоминал этот портрет (Сарры Гезенцевей, а может быть, Нины Арефьевой, которую Варлам хорошо знал — она тоже погибла в ссылках), он говорит о том, что девушки-оппозиционерки 1920-х годов не были «синими чулками». В других условиях эти безымянные героини были бы, наверное, всегда исключительно женственными. Но эпоха диктовала свой стиль поведения.

К этому времени, к началу 1929 года, Шаламов был уже давно исключен из университета. Исключение состоялось 13 февраля 1928 года и, хотя основной формулировкой значилось — «за сокрытие социального происхождения», очевидно, что за этим стоял весь веер копившегося на него компромата, в том числе политического. Надо полагать, Варлам воспринял исключение без больших переживаний — перспектива служить закону, который обслуживает интересы Сталина, и идти стезей А. Я. Вышинского его вряд ли устраивала. В Москве у него сложилась уже своя внутренняя жизнь, о которой знали далеко не все его друзья.

Через год он был арестован.

Вадим Муратханов

Градус покоя

Цветы

В моем рабочем кабинете
цветы беседуют о лете.
Один посажен, как дитя,
в горшок — и на него, блестя,
глядит другой, лишенный зренья,
из глянцевого измеренья.

Лишь мой несовершенный мозг
для их общенья зыбкий мост.
А между тем ползет к закату
рабочий день. Сминая дату
и выключая верхний свет,
я покидаю кабинет.

И вот во тьме порядок сдвинут,
горшок жильцом своим покинут,
пока настенный водопад
в него струится наугад.

* * *

И снова Новый год придет туда, где нас нет.
Игрушки на уме, метафоры одни.
В бесснежной темноте рождаются и гаснут
у сварщика в руках бенгальские огни.

Остынет твой порог. Услышишь, засыпая,
как ходит под окном бездомный Старый дог,
скольжение дуги последнего трамвая
по влажным проводам светящихся дорог.

* * *

Измеренье комнаты. Безвременье
выходной спасительной среды.
С каждым шагом медленнее зрение,
глубже попадание в следы.

Вывернут сегодня наизнанку
внутренний зеленый мир.
Не друзья ли детства спозаранку
шелестят, не ведая квартир?

Я достигну градуса покоя,
буду молчаливее на треть.
Гаснет день и умирает стоя,
не переставая шелестеть.

* * *

Алле

Дом пропитан тьмой неизлечимо.
Тают стены. Ощупью — в кровать.
Ты уже почти неразличима,
не окликнуть, слов не подобрать.

Можем ли, смежая на ночь веки,
думать, что воротимся сюда,
расставаться, словно не навеки?
Черная вода, громады льда.

И плывут неведомые двое,
вылитые в тонком хрустале.
Беззащитны перед каждой волей,
перед каждой вещью на столе.

* * *

Ни вина, ни гурий не надо —
небо синее, ветвь граната.
Зерна светятся, манят до дрожи
под шершавой треснувшей кожей.

Но чем дольше из памяти рву
детства выгоревшую траву,
тем сильнее боюсь подмены
и больнее жить наяву.

Дорога домой

До утра затаился восток.
Карта звездного неба невнятна.
И свистком милицейским сверчок
призывает вернуться обратно.

Ты идешь под горбами мостов,
где для страхов устроены ниши,
где автобуса остов пустой
населяют летучие мыши.

Ты минуешь бездомных калек,
среди белого дня невозможных,
что пришли на короткий ночлег
из-за насыпей железнодорожных.

Скоро ляжешь и будешь как все.
Под ногой тротуар — пограничье
между хаосом роц и шоссе,
освещенным до неприличья.

Александр Вергелис

Хлам

Рассказ

Я понял: обладание — лишь одна из форм утраты...

Василий Ковалев

Я не помню, зачем поехал тогда. Зимой мы ездим редко, разве что хлам какой-нибудь отвезти. Дача ведь — это не место отдохновения, а склад городской рухляди. Вещи тысячу раз никому не нужные, а выкинуть жалко. Вот и везем. И вместо того, чтобы избавиться от них сразу, еще в городе, гноим все это здесь, а потом все равно выбрасываем. Будь моя воля, давно бы все спалил к чертовой бабушке. Но ведь Лиза — известная старьевщица. И в борьбе за плесень она из безропотной овечки превращается в тигрицу. «Это твоим детям еще пригодится!» — кричала, помню, отнимая у меня мешок с лилипутской обувью. Неужели мы когда-то все это носили? Неужели? А выкинуть ту детскую обувь Лиза так и не дала. Но кто будет носить эти окаменелости, когда-то бывшие ботинками и тапками-чешками? Ну разве что маленькие галошки могут пригодиться, да и те, признаться... Нет, Лиза — это какой-то Плюшкин в юбке. Выбросить дает только то, что истлело и рассыпается в руках. Исключение составляют лишь серые остатки ковра, которому якобы полтора столетия. Откуда это в их поколении? «Как откуда? Раньше такого изобилия не было, вот и берегли каждую тряпку». По гамбургскому счету, она не так уж неправа. Любой хлам — это уродство, которое со временем может из куколки стать бабочкой. Я в прошлом году нашел за шкафом в столовой большую зеленую бутылку, густо посеребренную пылью. В такие бутылки когда-то засовывали свернутые в трубочку записки с мольбой о спасении и бросали в море. Я подул на то, что осталось от этикетки, и вострепетал:

Mineralwasser Karlsbad, 1889

Записки внутри не оказалось, но послание было получено. А ведь тоже хлам в сущности... Такого хлама в доме было всегда много, и обнаруживался он неожиданно. Дом любил делать сюрпризы. Он терпеливо придерживал по полстолетия какую-нибудь сломанную кофемолку, ржавую клетку для канарейки, узорчатую подставку для утюга, перламутровый театральный бинокль без стекол. На худой конец, выдавал с чердака линзу от доисторического телевизора. О, что это была за линза! Не линза, а настоящий гиперболоид инженера Гарина! До сих пор на досках крыльца черная змейка извивается рядом с тремя черными цифрами: 198. А четвертую выжечь не

Александр Петрович Вергелис, родился в 1977 году в Ленинграде. Публиковался как поэт, прозаик и критик в различных периодических изданиях России и США. Лауреат премии журнала «Звезда» 2006 года. Автор книги стихов «В эпизодах». Живет в Санкт-Петербурге.

успели — выскочила бабуля с поварешкой: «Ах ты, рыжая бестия! Ты мне дом спасишь!». Хвать меня за шкурку — обедать, а линзу-экран — от греха подальше. Всплыла она год назад на том же чердаке, но с этим явно опоздала — в пору было бы выжигать на крыльце 2009, да тридцать два года — не тот возраст... И за ворот хватать некому — бабушки давно нет, отмучилась с нами, сволочами. Шутка ли — весь день у плиты: не кухня, а конвейер. Нас у Лизы двое, да еще дяди-Гришины девчонки каждое лето, и никакого распорядка — завтракаем, когда проснемся, обедаем, когда хотим, ужинаем, когда вернемся к полуночи невесть откуда, и подавай нам не гречневую кашу, а непременно блины со сгущенкой или сырники. Лиза вздыхала: «Упустили детей. Когда был жив папа, в этом доме все было по часам». Когда она говорила это, говорила часто, я всякий раз вспоминал мультфильм про Алису и то, как она торопится домой, чтобы не опоздать к чаю. Опоздать к чаю? Как это? Мы, два Лизиних оболтуса, этого не знали, мы росли, как завещал великий Жан-Жак с его сказочным Эмилем. Но вот настоящий Эмил — внук академика, сын профессорши и физика-ядерщика — знал, что значит опоздать к чаю, слишком хорошо знал. Наспех заедая барбариской только что выкуренную папиросу, которую он, по обыкновению, стянул у моей бабушки из халата (бабуля, блокадница, курила «Беломор»), он плюхался в седло отлично смазанного велосипеда «Салют» и уносился домой — к белобородому деду, у которого не забалуешь. Когда я слышу слово «режим» или слово «порядок», я сразу вспоминаю этого деда. И начинаю завидовать Эмилю, потому что мой собственный дед, Лизин папа, умер до моего рождения. Лиза всегда говорила: «Если бы папа был жив и принял участие в вашем воспитании, вы были бы совсем другими людьми».

Я думаю об этом, паркуя свою «копейку» в сугроб, я думаю об этом, глядя на дом, с которым здороваюсь издали, как с близким родственником. Я продолжаю думать об этом, очищая калитку от снега. Кругом тишина. Когда много снега — всегда очень тихо. Все-таки хорошо приехать сюда зимой — застать все здесь как во сне. Хорошо поорать в этой ватной тишине, лихо, залихват-перехватски помахать лопатой, раздухариться, вспотеть, побрякать, поплевать в снег. Хорошо попить чая из термоса на обледелой кухне, и чтобы пар изо рта, и чтобы вдруг увидеть из окна на снегу серый комок — белку, осмелевшую на безлюдье. А еще тут жили ежи — целое семейство, да повымерзли в одну зиму бесснежную, лютую. А то, бывало, выйдешь поздно вечером, прислушаешься — шуршат. Подкрадешься, ать — и выхватишь фонариком из темноты мохнатую мордочку, от неожиданности не успевшую спрятаться за иголками. В детстве одного мы с Бобом поймали. Исколов все руки, притащили домой и объявили, что он будет жить с нами в комнате. Навалили ему в блюдце творога, он ткнулся в него своей черной горошиной, понюхал, а потом давай чавкать — так громко, что даже Лиза, которая была категорически против нового жильца, умилилась и дала добро. После трапезы колючий залез под диван и сидел там затаившись. А ночью вылез и начал топтать — тоже громко, как будто нарочно. Оказалось — бумажки собирал у печки и под диван таскал, дом себе строил. На третью ночь Лиза взмолилась: «Выпустите вы его, ему на улице лучше. И нам спать спокойнее будет». Мы и выпустили. Но прежде игольчатую спину поместили красной гуашью — чтобы узнать, если встретимся снова.

Не успел я, проваливаясь в сугробы, преодолеть расстояние от калитки до двери, а уже столько навспоминалось, надумалось. Зимой всегда мечтаешь о весне, зимой весна — рай. А вот летом о весне и не вспоминаешь. Чего в ней хорошего — сыро, холодно, грязно, черный снег коркой лежит. Летом думаешь об осени — с удовольствием, но без нетерпения. Осенью — лес, грибы, пряный лист под ногами. И все это великолепие — ради одной минуты, когда ты садишься на поваленную осину и медлишь развернуть промасленную бумагу с розовым салом и подсохшим хлебом... А все-таки весна — это здорово. Воздух весной — особенный. Воздух



Татьяна Морозова

НА КРЕПЫШЕ



Татяна Морозова

ОДИН ДОМА

весной пахнет как-то совсем не так, как зимой. Не сказать как. В том-то и вся прелесть, что есть вещи, которые не даются в руки, которые не поймашь в капканы слов.

Снимаю перчатку и нашариваю в кармане ключ. Старый амбарный замок не подводит и на морозе. Так, так... Потом ржавый засов отваливается с ласкающим ухо знакомым лязгом. Засов, который, в сущности, бесполезен и служит лишь декорацией, фиговым листочком, прикрывающим беззащитность этого дома перед непрощеными гостями. Потому что ржавые петли в рыхлом дереве отжать ломиком под силу даже подростку. Но с виду — основательный засов на хорошем замке.

Дверь можно открывать, но я медлю.

— Ну, здравствуй, — чуть слышно говорю, прикладывая заиндевевшую ладонь к сухому серому дереву дверного косяка. — Вот и я.

И это не кажется мне пошлой сентиментальностью. Уезжая в ноябре, вот так же прощался. Ритуал. Фигура вежливости при общении с гением места. Да, я в него верю. Не то чтобы совсем уж по-язычески, персонифицированно, воображая себе что-то лилипутское с соломенной бородой, а так, в общем. Сиреневый дымок от бабушкиной папиросы. Солнечный зайчик от дедушкиных очков, до сих пор гуляющий по стенам. Последний вздох тех, кто жил здесь до нас... Чепуха, конечно. Уютные фантазии отрочества, унаследованные юностью и переданные зрелости. И все-таки он здесь, поместья мирного незримый покровитель. И от самого поместья неотделим, и существует, пока дом стоит и мы сюда ездим, нерадивые хозяева.

Я тяну на себя ручку двери. И — чуть не падаю на спину, в сугроб. Дом низвергает на меня поток вещей. Ящики, коробки, коробочки, тряпки, мотки проволоки, старая люстра с висюльками, одинокие, давно потерявшие пару валенки, ботинки, сапоги, сандалии, тапки... Кроличья шапка прыгает мне на грудь. Велосипедная вилка пытается забодать меня своими ржавыми рогами. Одеревеневший от мороза рваный тулуп, как пьяный сосед, лезет ко мне с объятиями. Резиновый мяч, когда-то превращенный Бобом при помощи шариковой ручки в приветливо улыбающийся череп, бросается мне под ноги и отпрыгивает в сторону, в снег.

Чуть позже я приду в себя и пойму, в чем дело. А сейчас... Интересно было бы взглянуть на собственную физиономию. Идиотское выражение полной растерянности — вот что, наверное, запечатлел мой ангел-фотограф, он же — ангел-биограф. Ему было смешно, наверное. Еще бы! Дом выблевал на меня столько хлама, что проникнуть внутрь можно было только вскарабкавшись на ту чудовищную кучу, перекрывшую вход. И вот я ползу. Я еще ничего не понимаю и бормочу: «До чего довели... Все выкинуть... Все сжечь». И только увидев противоположную дверь — дверь, ведущую в сад, открытой, а в прихожей — белоснежный сугроб, понимаю: в дом залезли. Понимаю, но надежда жалко цепляется кошачьими своими коготками за что-то совсем уж воздушно-эфемерное, неправдоподобное: «Может, Лиза приезжала и забыла закрыть?». Это Лиза-то забыла? Да она мало того, что запрет-перезапрет, да еще несколько раз назад вернется с полдороги проверить — не забыла ли...

Из снежного холмика, наметенного в прихожей, торчит гнутая ножка стула — его, видимо, выносили, да не вынесли, бросили. И правильно — стул, конечно, столетний, модернистский, но очень уж ветхий. О происхождении горы хлама возле входной двери тоже легко догадаться. Это археологический отвал. Просеянный ненужный грунт. Все ценное выбрано, а дерьмо свалено в одну кучу. Что и говорить, проделана адова работа. Для удобства и чтобы не видно было с улицы, выносили через садовую дверь. А влезли в какое-нибудь из окон. Потом, видимо, грузили в машину. Следов, конечно, никаких — снег идет который день.

Из заснеженной прихожей без лопаты в комнаты не пробраться. Лопаты нет, я по-собачьи отгребаю снег руками, дверь идет тяжело, и наконец в образовавшуюся щель можно протиснуться. За дверью — темнота, пахнущая сыростью и мышами.

Под ногами что-то хрустит. Я достаю мобильник и в жидком фосфорическом пятне синего света вижу на полу собственное лицо, расколотое на части. Зеркало, на которое я наступил, висело в Лизиной комнате. Лиза смотрелась в него еще пионеркой. А до нее — Софья Карловна, Лизина бабушка, моя с Бобом прабабушка. В моем воображении она существовала в трех ипостасях. Первая ипостась — молодая, торжественная, строгая, в пенсне и шляпке. На обороте толстой карточки написано:

ИЗЯЩНАЯ СВЕТОПИСЬ И.И. НЕДЕШЕВА

Петроградъ, Вас. Остр. Кадетская л. 23 Тел. № 482-99

Светопись господина Недешева стояла, надо полагать, соответствующе. Что, если позвонить по этому телефону и потребовать негативы? Ведь, как следует из надписи в уголке карточки, негативы сохраняются... Что, если явиться по указанному адресу с намерением заказать фотографический портрет? Мне почему-то кажется, что делать это нужно в какую-нибудь темную снежную ночь — когда видны только очертания зданий. В этом случае шансы найти то самое фотоателье будут гораздо вернее.

Вторая прабабушкина ипостась — слегка косящая и расслабленно улыбающаяся (тонкая сепиевая карточка с обгрызенными углами, на обороте фиолетовыми чернилами выведен 1936 год). Третья — совсем уже старушка в ушанке, запечатленная на глянцевой фотографии за год до смерти в раме дверного косяка, как раз там, где я только что преодолевал Пелион из хлама и пыли.

Зеркало уронили, разбили, потому и оставили. Хотя раму можно было и взять — рама замечательная, черным лаком покрытая.

Надо включить свет. Я нашариваю кнопку под счетчиком, щелчок — и желтое электричество заполняет пространство кухни. В темноте было все-таки лучше. Темнота скрывала то, что не хочется видеть — разбитые тарелки, распахнутые дверцы кухонного шкафа, содержимое которого выметено на пол. Среди прочего на полу — сахарница, которая чудом не разбилась и из которой чудом же не высыпался пожелтевший от сырости сладкий песок. Я поднимаю и водружаю ее на холодильник. Промерзшие половицы жалобно скрипят подо мной. Весь пол закапан воском — видно, фонарика у них не было, ходили со свечкой. В заветном буфете, где блестели пузатые графинчики и бутылочки с Лизиными травяными и ягодными настойками, где всегда стояло несколько бутылок красного полусладкого, — пусто. Пусты и полки для варенья. Все, что Лиза варила летом — крыжовенное, сливовое, яблочное, брусничное, клюквенное, черничное и черта в ступе какое сожрут воры. Приятного аппетита.

Я смотрю на сахарницу и недоумеваю: неужели здесь, в этом ледяном склепе когда-то кто-то мог пить чай? Кстати, чая тоже нет — остался только зеленый, который я не пью. Наверное, черный пошел на чифирь. Так вот, неужели еще несколько месяцев назад мы сидели за этим столом и пили чай? Теперь стол усеян битым стеклом, крысиным пометом и присыпан кристалликами снега. Через это окно они влезли, потом зажгли свои свечи, открыли дверь в сад, а дальше... Именно в это окно, по преданию, постучались энкавэдэшники, которые пришли за прадедом осенью 38-го. Как это было, представить теперь трудно. Прадедушку никто из живых не видел, даже Лиза. Остался только черно-белый усач во фраке да неуверенно улыбающийся юнец с эспадроном. Господи... Эспадрон! Почему мы не увезли его в город? Ах, какие великолепные идиоты! Его, конечно, тоже утащили. Они нашли его, они шарили здесь, они выворачивали наизнанку все, что видели, они топтали... И прадед не восстал из своей безвестной могилы белым рыцарем и не преградил им путь с блестящим эспадроном в руке. Так и спит где-то с пулей в черепе.

Перед тем как уйти из кухни, я оборачиваюсь. Вот так, наверное, выглядит смерть. Вот так здесь будет, когда не будет нас. Холод, грязь, битое стекло, мышиное

дерьмо и капли воска с поминальных свеч. И никто никогда не вспомнит — потому что некому будет вспомнить, как хорошо пить чай и смотреть в окно на белый шиповник. Никто не вздохнет об утраченных мещанских радостях. И о детстве в матроске никто не узнает. От того неправдоподобного времени осталась вон та маленькая рубашечка с короткими рукавами, выкинутая из шкафа (ее я надевал-то всего раза два, видимо, потому, что на козьем молоке рос не по дням, а по часам), да легендарная *Шапка с рогом*, канувшая давно и безвозвратно. Или все-таки она затаилась где-то и вскоре вынырнет на поверхность среди прочего старья? О, Шапка с рогом! За право носить ее мы с Бобом дрались. Борька побеждал — потому что был старше и сильнее, но меня моя слабость делала хитрым и коварным, и заветная Шапка доставалась мне после слез и жалоб, после интриг и подкупов. «Не обижай маленького!» — говорила бабушка и натягивала мне ее на голову. Я торжествовал, как будто на моей макушке красовалась королевская корона. «Единорожок», — умилялась Лиза. Ах, Лиза, бедная Лиза! Посмотри на то, что они сделали с твоим домом! Взгляни на свой разоренный будуар! Ломберного столика, служившего тебе ночным, нет, а стоявшие на нем пузырьки и пудреницы разбросаны по комнате, растоптаны варварскими сапожищами. Пол усеян вырезками из газет для садоводов, хранившимися в особом ларце — ларца, конечно, тоже нет. Я вижу, как разочарованно швыряет эти листки гнусный гунн, тщившийся пожить банкнотами, и как летят твои драгоценные вырезки, словно осенние листья. И какой голой выглядит теперь стена без кудрявого кавалера и дамы в длинных белых перчатках — без этой фантазии прабабушкиной сестрицы-художницы, благополучно отбывшей в Париж за шесть лет до исторического материализма. Эту прелестную сцену в саду тоже давно пора было отвезти в город, но без нее здесь было бы как-то не так. Ведь в этом-то вся и радость — приехав весной, открыть дверь и увидеть на стене с отсыревшими обоями этих воркующих рококошных голубков. В детстве я думал, что дама — это Лиза, а вот кавалер в чулках, таких же белых и длинных, как перчатки его прелестной визави, был для меня загадкой. О том, кто это изображен в столь живописной позе за столиком в саду, не могла бы ответить и сама прабабушкина пропахшая красками сестра. Странно, что другую ее картину — висящие груши на фоне неба — не тронули. По-видимому, эта работа, закрывающая дыру на стене в столовой, не удовлетворила эстетических запросов наших гостей. И я их понимаю — так себе груши. Зато в остальном столовая отработана наиболее добросовестно. Из мебели унесено почти все — только огромный, тяжелый, давно приросший к полу советский шкаф предвоенных лет остался на месте.

До конца познать этот объект я никогда не мог. Содержимое шкафа было скрыто от нас за семью замками. Теперь же замки были вырваны с мясом, а внутренности гиганта вывалены на пол. Тайна этого монстра состояла из весьма прозаических вещей: бритвенных принадлежностей, упаковки пулек для тировой винтовки, бутылок с олифой и скипидаром, батареек «Крона», брикетов оконной замазки, изолен-ты, коробочек с шурупами и гвоздями. Это было явно не женское хозяйство. В куче вещей, рядом со старой боксерской перчаткой (а где же вторая?) лежит фотоальбом. Раскрыв его, я наконец понимаю, почему Лиза всегда держала этот шкаф запертым. На глянцевых черно-белых фотографиях Лиза совсем еще юная. Вот она с сигаретой — задумчивая, грустная — смотрит сквозь фотографа. Хм, с сигаретой... Это она-то, проевшая нам с Бобом всю плешь о вреде курения! Вот она улыбается рядом с каким-то брюнетом. А здесь — с этим же брюнетом в свадебном платье. Ну здравствуй, папа, здравствуй, капитан Немо! Так вот ты, значит, какой, затерявшийся в глубинах океана офицер-подводник! Вот ты какой, навсегда улетевший в стратосферу летчик-испытатель! Только на следующей фотографии ты почему-то в железнодорожной тужурке, в коридоре плацкартного вагона. Вот почему Лиза терпеть не может поездов дальнего следования. И никогда никуда не ездит. А наш с Бобом папаша — постарев-

ший, но не утративший донжуанского обаяния, колесит, поди, по России-матушке, продолжая выполнять тяжелую, но почетную мужскую миссию — щедро разбрызгивать генетический материал по пустынным равнинам Евразии...

А может, давно осел где-нибудь, утомленный трудами, сойдя с поезда по дороге из Петербурга во Владивосток, и живет, растя наших с Бобом братьев и сестер. Вспоминаешь ли ты о нас, веселый брюнет, которого Лиза ненавидит так, что даже фото твое показать нам не захотела, придумав отчаянную ложь о трагической гибели семейного фотоальбома? Думаешь ли о сынах своих ты, которого их мать любит до сих пор так сильно, что тайно хранит за семью замками свидетельство потерянного счастья?

Я закапываю альбом в кучу хлама — пусть Лиза сама найдет и спрячет, пусть думает, что я ничего не видел. За окнами — синие морозные сумерки, шестой час. Холод проник мне под одежду, пар валит у меня изо рта, а я все брожу по дому, наступая на разбросанные вещи. В углу красной комнаты, где на бамбуковой этажерке стоял граммофон с зеленой трубой, а теперь его нет, — несколько сдвинутых в круг стульев, пустые бутылки, замерзшие плевки, огарки свечей. Посреди комнаты — куча дерьма, стыдливо прикрытая мятым газетным листком. Здесь был ужин при свечах. Интересно, заводили ли они граммофон? Мы с Бобом любили накрутить ручку и танцевать под беззвучную воображаемую музыку. Пластинки были, разные, да не было иглы — вот и танцевали мы в полной тишине. А сейчас тут — чье-то говно, плевки и окурки. «Как они неосторожны, — подумал я. — Ведь это же улики». Улики? О том, чтобы вызвать милицию, я даже не подумал.

Ментов пришлось ждать часов пять. Я долго грелся в машине и упивался ненавистью. Потом заглушил двигатель, выключил печку и остался в тишине и темноте. Пока холод опять не пробрался в салон, тупо смотрел на освещенное луной синеватое снеговое мясо. Один раз мимо, как призрак, пролетел человек на финских санях. Проехала осторожно машина. Я снова включил печку, и когда опять согрелся, незаметно соскользнул куда-то, где приходилось щуриться от яркого света, где было много солнца, где все оказалось знакомым, даже береза, давно засохшая и сгоревшая в печи, которая уже пять лет как не топится, потому что дымит, и надо бы печника, но все как-то не соберемся... Я подошел к колодцу, открыл скрипучую дощатую дверцу, глянул туда, где должна была быть вода, и увидел там всех — бабушку, дядю Гришу, Боба и еще кого-то, кого я никогда не видел, но знал по рассказам Лизы. Они смотрели на меня снизу и молчали. Они улыбались так, как будто я застиг их врасплох. Долго это продолжаться никак не могло, и в глубине колодца что-то заверещало. Пронзительный крик раздался и с неба, где улыбочиво круглилось намалеванное жидким золотом солнце. Это были менты. Я понял это, но не мог понять, почему я их не вижу. Оказалось, что пока я спал, повалил густой снег, стекла запорошило. Я смотрел свой сон о дорогих мне мертвецах, сам будучи в снежном саркофаге.

— Я сигналю, сигналю... Вы хозяин? — обиженно спросил усатый водитель в шапке с кокардой.

— Я... Здравствуйте.

Из белого уазика вывалились две девицы в телогрейках (у одной в руке тускло блеснул в лунном свете металлический чемоданчик), парень в кожаной куртке, кожаной кепке, с кожаной папкой под мышкой и некто в милицмейском.

— От вас был звонок? — сонно спросил кожаный.

— От меня.

Я подвел всю компанию к окну кухни.

— Ну вот... Надо полагать, влезли в это окно, потом открыли дверь в сад.

— Ведите в дом, — сказал кожаный.

Картина мертвого хаоса ни на кого из группы особого впечатления не произвела. Девушка с чемоданчиком широко зевнула, обнажив плохие зубы.

Смуглый мужик в милицмейской куртке, на которой оказались капитанские погоны, посмотрел на меня, прищурившись, и с многозначительной ехидцей процедил:

— Так, так...

Потом, подойдя ко мне и дыхнув на меня свежим водочным перегарцем, злорадно спросил:

— Через окно, значит... А откуда это вам известно?

Слово «вам» он выговорил с особой издевкой — так, как будто готовился через минуту говорить мне «ты» и бить меня по мордасам.

— Если стекло выдавлено вовнутрь, а входная дверь открыта изнутри, логично предположить... — начал было я, но капитан оборвал меня:

— А кто хозяин? На кого дом оформлен?

— На Лизу... На мою мать. Елизавету Павловну Рукавишникову. Она хозяйка.

— Так-так, — многозначительно протянул пьяный капитан и обвел торжествующим взором своих коллег. Вид у него был такой, как будто в его теле обрела новое воплощение вечно ищущая душа человека с Бейкер-стрит. Его внутренний Пинкертон ликовал: простак-воришка, инсценировавший ограбление собственной дачи, был разоблачен.

— Наркотики употребляете? — продолжал капитан.

— Стоп, стоп, — нетерпеливо встрял кожаный. — Подождите.

Капитан обиженно поджал губы и отвернулся.

— Нужно место... Ну, стол какой-нибудь, протокол писать, — сказал кожаный каким-то извиняющимся тоном.

Потом с мукой в голосе начал канючить:

— Девчонки, а может быть, не я в этот раз буду папирус составлять, а? У меня от холода пальцы не гнутся, блин. Четвертая бумага за день!

В желтом электрическом свете обе девушки выглядели, как подавальщицы в рюмочной. У одной был едва заметный шрам на верхней губе. Другая, с сизыми мешками под глазами, посмотрела на меня, улыбнулась, как старому приятелю, и сказала:

— А может, ну его, протокол-то?

— В каком смысле? — улыбнулся я в ответ.

— В смысле, может, не надо ничего, а?

Девушка потрясла своим серебристым чемоданчиком.

— Ну, фотографировать там и прочее... Экспертиза... — Она посмотрела на меня умоляюще. — Долго это.

— Надо, — зло бросил я и повернулся к кожаному: — А протокол можно здесь.

Для придания своим словам пущей убедительности, взял разделочную доску и резким движением смахнул с заиндепевшей клеенки битое стекло и зернышки крысиного дерьма. Кожаный сел на стул. Остальные — девушки и капитан — выжидающе потоптались, потом разошлись. Я начал диктовать список украденного. Мой визави записывал, то и дело дыша на пальцы и на острие шариковой ручки, отказывавшейся писать.

— ...музыкальная шкатулка, велосипед «Аист», ваза китайская, канапе и кресло красного дерева...

Пьяный капитан, который, судя по всему, был местным участковым, уже меня почему-то не подозревал. Он вообще потерял интерес к происходящему — зевая, бродил по дому, натываясь на углы. Подойдя к нам, облокотился на холодильник и свернул на пол сахарницу. На этот раз она разбилась, песок рассыпался. Капитан зевнул и отфутболил осколки в угол. Когда я встречу его летом, он вспомнит меня не сразу.

— Как идет расследование? — недоуменно переспросит он. — Да оно, наверное, и не начиналось.

В тот день он не будет пьян. Его лицо будет загорелым и не таким хмурым, как сейчас. Он приедет по случаю очередной дачной кражи. В поселке за один день обнесут несколько домов. Это будет потом. А сейчас я смотрю, как в клубах выдыхаемого пара заполняется синими завитушками большой бланк, и продолжаю перечислять:

— Кофемолка ручная старинная, трость с серебряным набалдашником, поддельный Страдивариус...

— Что? — не понял кожаный.

— Скрипка с клеймом Страдивари. Подделка, конечно. Но девятнадцатый век все-таки.

Кожаный оторвался от протокола и посмотрел на меня со злым любопытством.

— Слушайте, а чего вы все это тут держали?

— Сам не знаю... Кое-что, конечно, вывезли.

Как ему объяснить? Какие слова нужно найти, чтобы связь этого дома, этих вещей и тех, кого я только что видел в колодце, стала для него осязаемой? Что нужно сделать, чтобы он понял, как упорно эти вещи сопротивлялись всем попыткам разлучить их с этим местом?

...Я продолжал перечислять пропавшее. Мысленно вернувшись в столовую, вспомнил, что нет бронзовой люстры, висевшей на шести узорчатых цепочках над самым столом. Эта люстра освещала семейные обеды еще тогда, когда в доме не было электричества. Огромная, тяжеленная, изначально она была керосиновой. «Закрывайте веранду!» — всегда кричала Лиза, когда пепельные мотыльки, спавшие на цветных стеклах веранды, начинали слетаться и мелькать вокруг белого абажура, как планеты вокруг Солнца. А однажды нам с Бобом попало за то, что мы раскачали люстру за обедом. Она долго раскачивалась над столом, как маятник Фуко в Казанском соборе. «Она сейчас упадет! Она сейчас упадет!» — отрешенно сложив руки на груди, Лиза повторяла эти слова под скрип бронзовых цепочек.

Облазав комнаты, девицы поднялись в мансарду. За ними проследовал и капитан, не знавший куда себя деть. Наверху что-то стукнуло и покатилося. Потом упало нечто тяжелое. Шум был такой, как будто милиционерши со зла довершают начатое ворами — швыряют на пол вещи, переворачивают стулья, разбрасывают по полу книги. На их месте я бы, наверное, так и делал. Потому что это издевательство — требовать от измученных бессмыслицей существования людей искать похищенный дачный утиль в морозную ночь у черта на рогах...

В мансарде я еще не был и о судьбе прадедовых оловянных солдатиков не знал. Вполне могло быть, что воры их не заметили. Или не обратили внимания на эту мелочь. Так или иначе, полированный ящик, в котором покоилась целая оловянная армия, оказался пустым. Солдатиков не было. Только один — трубач в кивере с обломанным султаном стоял прямо на полу, беззвучно и безнадежно трубя сбор рассеянным по чужим карманам войскам... Кто-то — не помню уже кто именно — рассказывал, что, когда в доме жили немцы, прабабушка каким-то чудом умолила их не забирать мужнюю коллекцию. Видимо, хороший немецкий язык сыграл-таки свою роль. Немцы, которые оказались австрийскими артиллеристами, солдатиков не тронули. Почти не тронули — взяли на память по фигурке, пожили немного и ушли. А в соседней деревне то ли эти, то ли другие расстреляли всех мужчин от шестнадцати до семидесяти. Это, говорят, потому что кто-то убил часового на железнодорожном мосту. От них или от тех, кто был в доме после них, осталась кожаная планшетка, несколько фотографий с видами Альп и большая, как таз, каска с рожками. Из этой каски Лиза в детстве кормила козлят. А еще на березе, которой больше нет, осталась вырезанная ножом буква «V». Мы с Бобом застали ту березу живой. Галочка, остав-

ленная безвестным оккупантом, едва читалась на старом бородавчатом стволе. Сок из той березы был особенно вкусен.

В качестве поощрения за выдолбленную грядку или вычищенный песком и щавелем медный чайник Лиза разрешала нам с Бобом играть в оловянных. Мы расставляли пеструю пехоту в аккуратные каре на большом дубовом столе и по очереди давали ружейные залпы — со всей дури били кулаком по столу у переднего края противника. Гренадерские ряды редели, выигрывал тот, у кого оставался последний солдат.

Помнишь ли ты меня, трубач? Помнишь ли ты своего императора, единственный уцелевший? Слышишь, из трубы граммофона, который больше не стоит на этажерке в Красной комнате, льется чей-то наваристый бас:

И храброе войско разбито,
И сам император в плену!

В плену, в плену! Да, он в плену у этой рухляди, у этого дома, который давно перестоял свой деревянный век, но который стоит, как этот трубач, и трубит во все свои печные трубы посреди снежной пустыни, на трижды проклятой земле, которую замело снегом, запуржило седой пургой, и печальные ветры степные панихиду поют...

Я посетил тебя, пленительная сень...

А, товарищ милиционер, товарищ милиционер... Дописывайте свой протокол, доламывайте свою комедию, а я запру дом на бессмысленный замок, откопаю машину и в неуместно прекрасной зимней ночи поеду в теплую городскую фатеру, где выпью водки с перцем, как люблю, — выпью да закушу фирменным Лизиним огурчиком. И забуду про весь этот бардак и про все, что уже никак не вернуть, а заодно и про укрытые сугробами могилы, которые столько уж лет не соберусь поправить. Бабушка, дед, дядя Гриша, прабабушка... А вот у Боба могилы нет. Его вроде бы сначала должны были взять на флот, дядя Гриша все хлопотал, но потом Боб почему-то оказался в самой что ни на есть мотопехотной части, и, конечно, все кончилось последним письмом с юга, а куда еще он мог отправиться в том проклятом году! Я было хотел ехать туда, искать его, да Лиза — кроткая, тихая — тогда встала на дыбы, давась собственным криком, и я никуда не поехал. Спи спокойно, Боб! Надеюсь, смерть твоя была легкой — как в наших детских играх, когда я окапывался в песочнице, а ты наступал со стороны берез, таился, полз, да все без толку — обнаружив тебя, я кричал: «Убит! Убит!». Когда-нибудь и я присоединюсь к вам, и вы спросите с меня все, что пропало: и музыкальную шкатулку, и трость с серебряным набалдашником, и липового Страдивариуса... Если, конечно, все это сколько-нибудь важно.

Менты уехали. Я вышел на крыльцо. Черные неподвижные ели подпирали низкое небо, усыпанное звездами. За соседними домами качнулся на ветру и погас последний фонарь.

Марина Георгадзе

Из разрушенного рая

* * *

И шли они, каждое в ту сторону, которая
перед лицом его, куда дух хотел, туда и шли;
во время шествия своего не оборачивались.

(Иез. 14; 12)

— Мы идем туда, куда хочет дух.
В ту страну, которая перед лицом,
— так сказали мне звери, каждый о двух головах,
голубые, хвосты кольцом.

Целый день, пока горело село,
целый день, пока умирала мать,
мимо шли торжественно и тяжело
голубые звери, не глядя вспять.

И сверкали их лица как купола.
И была их шерсть голубой как сон.
От столиц и сел, сгоревших дотла
и от каждого листика пышных крон
и от каждого камня в дорожной пыли
уходили они; выходили вон
из вещей и душ, и как танки шли,
направляясь с фронта, а не на фронт.

Мимо шли, куда хочет дух, а не страх,
в направление прямого лица своего
голубые звери о двух головах
на людей похожие больше всего.

И горело село. Я смотрела им вслед.
И не трогал меня человеческий вой.
И веселье, рожденное ранее бед,
поднималось во мне, словно зверь голубой.

1988

Георгадзе (настоящая фамилия — Косорукова) Марина Александровна — поэт, переводчик. Родилась в 1966 г. в Москве. Закончила Литинститут им. М.Горького. В конце 1980-х уехала в Грузию, с 1992 г. жила в Нью-Йорке. Автор книг стихов и прозы «Маршрут» (Нью-Йорк, 1998), «Я взошла на горы Сан-Бруно» (Нью-Йорк, 2007), «Я жить вернусь...»: Стихи. Рассказы. Путевые заметки (М., 2010). Последние годы работала в «Новом журнале». Умерла в 2006 году в Нью-Йорке.

Мы

Дед садился черной птицей
на заснеженный балкон.
Жил на свете, но родиться
не успел до смерти он.

И с печальным удивленьем,
как ворона сквозь стекло,
наблюдал людей движенье,
их цветастое тепло.

То ль его не полюбили,
то ли он не полюбил;
то ли от избытка силы,
то ль от недостатка сил.

На войне пропал безвестно
и вернулся в свой приход,
где посмертное блаженство
словно Грузия цветет.

Мама чиркала в тетради
и стирала все потом.

Не спала ночами, глядя,
как сжигают чей-то дом.

Только ей освободиться
Помогала не война.
Маму мучила больница,
Чтоб не мучилась она.

И теперь глядят упрямо
из овалов на стене
молодые дед и мама,
безнадежные вдвойне.

Деда флаги, мамы стоны —
Все во мне воскрешено.
В сей цепи незавершенной
я — последнее звено.

Из разрушенного рая
Отступаю в третий раз,
Рот руками зажимая,
Отвести не в силах глаз.

1990

* * *

Всю жизнь бы сидеть у синего тела моря,
соленые белые камни перебирать.
И сколько камушков — столько свободных историй
выдумывать с ходу и сразу вновь забывать.

А после — идти за мамой. Она в покое
сидит под пальмой. Ах, нет же, я все забыла:
она умерла, а пальма выросла вдвое
с тех пор, как что-то хорошее в мире было.

А море все так же камушки закругляет.
У моря слишком большое для смерти тело.
И синий прожектор всю ночь по волнам шныряет —
преступников ищет как истину — неумело.

1989

Море в Батуми

Я помню, вдоль берега синий луч «Аполлона»
внезапно высветил камни, солдат, влюбленных.
Как будто конец поцелуям, конец погонам
и сам Спаситель идет наводить законы.

А сверху уже толпою бежали горы,
хватались за сердце, падали, угрожали...
Но тихим звуком во тьме улыбнулось море,
краем улыбки в Турцию заезжая.

1989

Гижи март¹

Как хорошо сказать: я в тех краях жила,
где сумасшедший март — единственный иуда.
А остальные все — красивы добела,
И люди — виноград, и виноград повсюду.

Как хорошо сказать, что я посмела сметь
эпоху и любовь переползти по краю
и близких-дорогих переживая смерть
подумать им вослед: а я — не умираю.

Без отсеченных рук и высеченных глаз,
без тюрем и больниц прожить и тихо сделать
обещанный кувшин, обещанный рассказ
не хуже тех, кто пал от пьянства и расстрела.

А этот бедный сонм талантливых калек —
как будет хлопать он, с планет загробных глядя
на мой побег от бурь, удачливый побег
туда, где я — как кость в прозрачном винограде.

И только раз в году, когда из нижних стран,
пророческий глагол вставляя в пасти кошек,
придет безумный март, железный ураган,
и уши первых роз колючим льдом заложит;
и летние глаза заполонит зима;
мужья уйдут к другим, мужьям изменят жены;
тот прыгнет из окна, а тот сойдет с ума,
и черные ковры повиснут на балконах —

тогда я прошепчу, что не стихия, нет,
смущает наш обряд жары, вина и лени —
то буйствует душа, взыскующая бед;
то мартовской душе мерещится мученье.

1990

¹ Сумасшедший март (груз.).

★ ★ ★

Гурамико Асатиани

Семь дней как родился, семь дней как пустышку сосет —
как будто семь дней разгружает вагоны в порту.
А слово еще не летает над хаосом вод,
в глазах его волны и крик пузырится во рту.

Еще не узнал ни один вавилонский язык,
но жалость, и память, и страсть безымянные в нем
уже разыгрались, и выглядит он как старик —
семь дней как родился, седьмым припечатанный днем.

Назавтра — в острог, а сегодня — уроды в метро.
Спокойнее, если уже ничего не спасет.
С ребенком восточная мать улыбнулась хитро.
Старушка по красному склону к Сиону бредет.

Ребенок еще вне игры — он еще не привык
Словами встречать костоломную эту игру.
Но в уши его словно войско вступает язык
и жизнь расцветает огромной пустышкой во рту.

1990

★ ★ ★

Для чего же ты, ветка, весной расцветаешь
и как ангел дрожишь над моею дорогой?
Я сломаю тебя, непременно сломаю,
я нарушу простейшую заповедь Бога.
«Не убий» — к сожалению, невыполнимо.
Даже если ни танков, ни вертолетов,
то мгновенья проносятся будто машины
и беззвучно взрываются за поворотом.

Приподнявшись на цыпочки, губы кусая,
я ломаю, ломаю тебя точно так же,
как чужих и любимых всечасно ломаю,
как меня обломали уже не однажды,

как мы все, улыбаясь недоуменно,
словно с неба упавшие метеориты,
по миндальной дороге проходим колонной
невиновных убийц и невинно убитых.

1990

* * *

Цаце и Ните

Тифлис клубился, как обман,
и Цаца — старое дитя —
плясала на столе канкан,
короткой юбочкой крутя.
Вот город! Тыщу разменял —
а все витает в облаках.
Вот Цаца! — Бог ей разум дал
или оставил в дураках —
судить не нам, полуживым.
У нас самих горит в глазах.

Мы все до Ниточки хотим
плясать канканы на столах.

А Цаца пляшет на пустом
столе, и призраки мужчин
выщелкивают каблуком —
чтоб призраки веселых вин
в их призрачные рты лились.
И дом летит над головой.
И миражом встает Тифлис,
бессмысленный и дорогой.

1991

Зима в Тбилиси

Дома сгорели — вдоль улиц одни фасады
как будто вдруг понаставили декораций.
И смысл комнат исчез из оконных взглядов —
им только теперь по-небесному улыбаться.

Автомобиль — как обугленная бумажка.
Зеваки текут, карабкаются по грудам.
Они головами качают, руками машут.
Кто сравнивает с Бейрутом, кто — с Голливудом.

Ни комнат, ни крыш — лишь, выпятив грудь, балконы
еще невесомей кажутся и балконней.
На черных фасадах — каких они ждут влюбленных
у выходящих в небо дверных проемов?

Точь-в-точь как в душе: фасады, гарь и руины.
Минуты из крана капаят монотонно.
И фотографию прапрабабушки Нины
в развалинах кто-то ищет как заведенный.

* * *

Как высоко они стоят и строго —
все эти горы! Как смеются реки!
Нам далеко — не то чтобы до Бога,
но даже до земли и человека.
Не херувим с глазами как колеса,
с клыками в розах,
не седьмая кара —
нам скоро станут недоступны слезы
простых окошек,
боль простых ударов.

1989

Максим Калашников

Поле битвы — Единый мир

Нехорошие предчувствия одолевают меня, читатель. Слишком уж многое в текущей реальности заставляет насторожиться. Кажется, я вижу мечущихся вокруг духов войны, распада и смут.

В 1989-м мне довелось побывать на грандиозном концерте группы «Пинк Флойд». Помню, как тогда сердце мое сжалось в тоскливых предчувствиях от композиции «Псы войны» — из альбома восемьдесят седьмого года. На громадном экране, что висел над сценой, из воды — в замедленной съемке — поднялись жуткие, черной масти, собакоподобные существа. Поднялись — и начали свой бег. Запульсировали аккорды мрачного рока. И с каждым из них по бокам сцены вспыхивали факелы в широких чашах. В такт музыке Псы войны на экране мчались по миру, оскалив пасти и глядя на тебя светящимися глазами.

А постаревший Гилмор, закрыв глаза, пел о том, что впереди — Один мир, одно поле битвы. One World — it's a battleground...

Лишь потом я узнал, что слова «One World» — это пароль глобализма, что так будут говорить его столпы. Обрывки той песни вертятся в моем мозгу. О том, что Псы войны не ведут переговоров. Что они будут только брать, а ты — отдавать. Что валютой станут плоть и кости. Что невидимые банковские переводы и телефонные звонки через океаны — это признаки Единого мира, который — поле битвы...

Теперь я понимаю, что песня та — всего лишь уловленная тень теперь уж недалекого будущего.

Псы войны уже помчались по миру. Их видят еще не все, но скоро все изменится. One World — it's a battleground...

Пришествие «вторичного варвара»

Я вижу, как вокруг массой плодится пушечное мясо войн и бунтов, племя разрушителей — порода постиндустриальных варваров. Это — синдром глубокой болезни постмодернистского общества, общества победившего неолиберализма. Пришли те, кого великий русский философ Константин Леонтьев еще в позапрошлом веке назвал «вторичными варварами», знамение глубокого упадка, регресса.

Новые варвары в молодежном обличье появились на руинах СССР. Но они же появляются на Западе.

Облик этого «нового варвара» эпохи «постсовременности» несколько разнится на Западе и на обломках Советского Союза. Но типы этих неовандалов появились как итог разрушения могучих индустриальных цивилизаций. Торжество чистого торгаше-

ства, поклонение золотому тельцу создало своеобразный тип молодежи. Небреженной систематическими знаниями, обладающей хаотично-клиповым мышлением и совершенно неконкурентоспособной с точки зрения технократической эпохи. Эта молодежь не обладает техническими знаниями и навыками советской молодежи, она намертво заражена (в восточном варианте) идеями постсоциалистического этнократизма. Она не в силах даже поддержать в порядке унаследованные от XX века сложные технические системы, не в силах даже воспроизвести то, что умели рабочие и инженеры 1980-х годов. А уж о том, чтобы суметь создать мир Будущего — она и мечтать не может. Это ведь не мобильными телефонами играть, не в Интернете торчать.

Мы не рассматриваем новых варваров в их исламско-фундаменталистском обличье. Это отдельная тема. Мы берем молодежь, по формальным признакам относящуюся к народам христианской культуры.

На развалинах СССР возник свой тип молодого «вторичного варвара»: агрессивно невежественного. Никогда не знавшего, что такое кружок юных техников или клуб ДОСААФ. С одной стороны, такой нью-вандал вроде бы причастен к достижениям высоких технологий (Интернет, мобильная связь, видео- и аудиотехника на сверхмалых интегральных схемах). Он ими умеет пользоваться. Но «вторичный варвар» не умеет все это делать. Зачастую он даже не знает, как работает вся эта техника. Он лишь пользуется плодами чужих умов и высококвалифицированных трудов. А в жизни он совершенно неконкурентоспособен. Так, он бесполезен и как инженер (знаний нет), и как квалифицированный рабочий на передовом производстве (нет профессионального образования и технических знаний). Он не может совершать научных открытий и делать изобретений. Так же беспомощен новый варвар и в гуманитарной сфере.

При этом новый вандал хочет иметь большую зарплату, чтобы получить доступ к курортам и тропическим морям, к массе потребительских благ, к гладким самкам. Но, увы, никто не нанимает его за такие деньги. Кроме того, в постсоветских странах возможности быстрого обогащения 90-х ушли безвозвратно. Правящие элиты уже замкнулись в себе, они передают власть и богатство собственным детям.

Поэтому нью-вандал остро чувствует: его жизнь бесперспективна. Из нищеты ему не выбраться. И он начинает бунтовать. И оттого, что впереди — беспросветье. И оттого, что скучно — хочется «экстрима» и адреналина в крови. Вообще, первым примером такого рода можно считать молодежные беспорядки в центре Москвы летом 2002 года, когда бесчинства неоварваров вызвал проигрыш футбольной команды РФ в Японии. Тогда запылали автомобили, а правоохранные органы оказались в шоке. Все возникло как бы на пустом месте, спонтанно и совершенно непредсказуемо.

Но бунт «вторичного варвара» ведет в тупик, а то и в нисходящую спираль регресса. Ибо новый вандал интеллектуально слаб. Ему кажется, что его проблемы можно решить как-нибудь просто. Например, выгнать всех русских — или, наоборот, чохом изгнать и перерезать всех нерусских. Сломать все памятники Ленину и советским солдатам. Или, скажем, срочно интегрироваться в Евросоюз (и НАТО). Как будто от этого волшебным образом повысится квалификация варвара, а страны Старой Европы (и так стонущие от необходимости везти на своей шее всякие Словакии, Румынии, Польши) начнут щедро спонсировать какую-нибудь Молдову. Будто они сами знают, что делать с собственной молодежью, иммигрантами и бюджетным дефицитом.

Однако неоварвары бунтуют — и становятся политическим фактором. Пешками в руках расчетливых игроков как внутри своих республик, так и извне.

Дети социокультурной катастрофы

Общаясь с разными людьми, я с ужасом понимаю, что процессы отупления и деградации идут гораздо быстрее, чем казалось раньше. Они затрагивают не только молодежь и детей, но и представителей старшего поколения.

Лишенный интеллектуального труда человек умственно деградирует. Для поддержания достигнутых высот мозг требует постоянной работы. Без интеллектуальной работы даже люди с высшим техническим образованием, полученным еще во времена СССР, постепенно глупеют. В нашей деиндустриализованной стране все это принимает формат эпидемии. Этот процесс нарастает как снежный ком. Помноженный на апатию, он усугубляет все остальные проблемы.

Мне, помнящему реалии еще 1970-х, все время кажется, что теперь приходится жить среди существ, все более и более напоминающих недоумков. Напоминающих тем, что у них постоянно упрощается и становится безобразной речь. Тем, что они не знают самого элементарного и почти ничего не читают. Мало того, на глазах растет степень откровенного хамства, неумение по-человечески разговаривать, связно выражать свои мысли.

Сначала были сомнения: а не чудится ли мне, не субъективное ли это мнение уже немолодого человека? Но оказалось, что ощущения не обманывают. Регресс отмечают вполне научные замеры. Работая над этим текстом, я услышал по радио «Бизнес ФМ» результаты опроса работодателей и владельцев предприятий Российской Федерации о качестве молодых кадров. Волосы дыбом встают! Наши девушки и юноши рождения конца 1980-х и начала 1990-х демонстрируют отвратительное качество (между двойкой и тройкой) теоретических знаний и практических навыков, то же неумение связно изложить свои мысли, крайне низкую инициативность...

По данным исследования «Левада-центра» за 2011 год, 62 процента россиян вообще не покупают книг. 45 процентов людей в РФ их не читают, а еще 13 — читают реже одного раза в месяц. Итого — 58 процентов новых неграмотных и малочитающих. Еще в 1994 году таковых было 23 процента (не читающие вообще) и 16 процентов (читающие книги реже раза в месяц). Видел я аналогичные исследования по поколению Запада «Игрек» (родившиеся после 1982 года). Там — весьма схожие показатели. Пришло племя тех, кто не умеет читать и не любит учиться. Это — пустое поколение хипстеров, считающих, что все можно почерпнуть из Интернета. Понятное дело, что из таких неполноценных никак не могут получиться ни новые Ломоносовы, ни просто полноценные граждане, умеющие вдаваться в нюансы политики и экономических программ. Неграмотные с компьютерами, с нетренированными мозгами и отсутствием кругозора, они становятся глупыми людскими отбросами. Естественно, плодovitому исламскому Востоку они не могут противопоставить ни прежней способности западных народов творить чудеса науки и техники, ни пассионарности, ни многочисленности молодых поколений. Капитализму не нужны умные. Новому неграмотному с короткой памятью легче навязывать рекламные штампы и мемы пиара, его легче водить за нос старыми трюками. Ибо нечитающий глупец с атрофированными познавательными способностями не знает того, что было всего двадцать лет назад. Это было хорошо видно на акции «Окупай Абай» в мае 2012 года. Там я впервые пообщался с теми, кто ничего не знает о том, что творили с нами пресловутые «реформаторы» в 90-е. С теми, кто тупо повторяет обанкротившиеся лозунги 1991 года.

«На фоне культурного дебилизма нынешнего полуобразованного и молодого

¹ <http://www.apn.ru/special/article26453.htm>

среднего класса, чудом сохранившиеся деревенские бабули и еще советские профессора и инженеры, кажутся оазисом высокой культуры и духовности. Дитя этой социокультурной катастрофы — современный массовый горожанин, средний класс, агрессивный, бескультурный и примитивный» — пишет социолог Леонтий Бызов в статье «Новорусская нация»¹.

Писатель Игорь Бойков добавляет: «Те поведенческие черты и ценностные ориентиры, которые Бызов выявляет у нынешних «младорусских» (речь, разумеется, идет в первую очередь об обитателях мегаполисов), лишь подтверждают тезис об этнической катастрофе. Воистину, сообщество закоренелых индивидуалистов, пассивных и аморфных во всем, кроме стремления к личной выгоде и материальному преуспеянию, будет беспомощно перед лицом тех вызовов, которые нам бросает история».

С этим трудно поспорить. Как отмечает Леонтий Бызов, «младонационализм» (национал-демократия) мегаполисов крайне близок (близка) либерализму. А логическое завершение либерализма (возведенная в абсолют свобода личности) — это новое кастовое общество, рабство. Как выражение полной свободы сильных, которые получают свободу закрепостить остальных. Как либерализм превращается в новое варварство — с рабством, упадком науки и остановкой технологического развития — исследовал еще Гарри Гаррисон в «Специалисте по этике».

Новые неграмотные

Ситуация в РФ — всего лишь отражение аналогичного западного процесса. В книге Тило Саррацина «Германия: самоликвидация»¹ вычитал: корпорация «БАСФ» с 1975-го исследует грамотность и элементарные навыки счета у соискателей работы. Все эти годы применяются одни и те же тесты. И оказалось, что на протяжении тридцати с лишним лет немцы показывают постоянно падающие результаты! Причем испытания проходили только те, кто учился в немецких школах.

Если в 1975 год выпускники реальной школы давали около 75 процентов правильных ответов в заданиях на грамотность, то в 2008 году — только 58 с небольшим. Цифры для немцев с неполным средним образованием еще страшнее: 51 процент в 1975 году, 36,6 — в 2008-м. Спад поставил 32 и 26 процентов соответственно.

Та же картина — в проверке способности совершать элементарные математические действия. И соотношение процентов правильных ответов в 1975-м и 2008-м годах практически то же самое.

Далее Саррацин приводит жалобы немецких промышленников на то, что ищущие работы кандидаты не в силах ни считать, ни связно выразить на бумаге свои мысли. В 2009-м Германская торгово-промышленная палата опубликовала удручающие данные. Изъяны в знании элементарной арифметики показали 62 процента тех, кто ищет работу в промышленности. 57,9 — в строительстве. В ИТ и СМИ — 37,4 процента. В торговле, отелях и ресторанах — более половины. На транспорте, банках и страховом деле — около 45 процентов.

Есть еще и показатели плохих манер (отсутствие нормального воспитания). Тут цифры по отраслям колеблются от 36 до 67,6 процента.

То есть перед нами — генерация новых неграмотных, созданная в богатой западной стране! Что называется, время — назад. К превращению немцев в скопище неотесанных и необученных особей, в «подлый люд» в средневековом смысле этого слова. Тут поработали и телевидение, и тупое потребление, и Интернет. Анали-

¹ Саррацин Т. Германия. Самоликвидация. — М.: Рид Групп, 2012.

тики «БАСФ» горестно заключают: «В отношении навыков счета использование карманных калькуляторов хотя и является делом практичным, однако из-за недостатка применения забываются общеобязательные правила. Точно так же, судя по всему, обстоят дела с возможностью перехода от элементарного счета небольших целых чисел к конкретному применению в повседневности.

Немецкий язык (как и русский. — М.К.) считается одним из самых трудных, поэтому с учебно-психологической точки зрения мультимодальный (охватывающий как можно больше смыслов и характеристик) метод приобретения знаний обещает наибольший успех. Фактически же как разговорная активность (преимущественно из-за позиции, связанной исключительно с потреблением), так и читательская активность (из-за аудиовизуальных мультимедийных технических средств) пребывают в полном запустении. К тому же, кажется, тщательность и педантичность, столь необходимые при формировании текстов, в наше время вторичны. Достаточно проанализировать с этой точки зрения ежедневные газеты...»

Это — Германия, некогда — страна инженеров и ученых. Еще совсем недавно немец славился как творец машин и технологий, германский университет — как центр передовой науки. Нынче же с этим покончено. Немцы превращаются в тупых овощей с пустыми глазами, уткнувшимися в Интернет, беспомощных без электронных «мозговых костылей». Утрачивающих навыки элементарной человеческой речи, скатывающимся к статусу голых обезьян, уже не умеющих читать.

Вернемся к нынешней Германии. Есть такой термин: «МИНТ-выпускники». То есть выпускники вузов по разделам МИНТ — «математика, информационные технологии, естественные науки, техника». Так вот, в общем выпуске из высших учебных заведений МИНТ-студенты в Германии занимают жалкие 5,8 процента. Все остальные — совершенно бесполезные для научно-технического прогресса гуманитарии, юристы, финансисты, менеджеры. Здесь хуже Германии только Америка: ее процент — 5,5 процента выпускников вузов.

Для сравнения: МИНТы в вузах Японии — 9,5 процента, Франции — 7,2, Швеции — 10,9. В Австралии — 12,6. Наивысший среди стран Запада процент у финнов — 14,1.

Тило Саррацин аргументированно доказывает, что реальные доходы немцев не растут с 1989 года, с момента объединения с ФРГ и ГДР. Рост производительности труда еще удастся удерживать в пределах одного процента в год, но к концу 2010-х нарастающее число стариков и падение доли молодежи в Германии съедят весь прирост производительности. И тогда немцы начнут быстро нищать. Тем более что они уже утратили свои преимущества в качестве человеческого капитала, становясь сборищем потребителей.

Сравним данные немецкого делового сообщества с впечатлениями американских работодателей. В 2006 году ассоциация бизнесменов в США «Конференс бোর্д» выдала в свет доклад «Базовые знания и прикладные умения новых участников рынка труда США XXI века с точки зрения работодателей». Согласно нему, 53 процента опрошенных капиталистов и менеджеров Америки пожаловались на математическую безграмотность американской молодежи, ищущей работу. 70 процентов отметили неспособность молодых американцев критически мыслить. Столько же отметили отсутствие трудовой этики и профессионализма. 81 процент отметил полное неумение молодежи (эпохи Интернета и детей так называемой Информационной эры) письменно выразить свои мысли.

Положение с качеством образования в США еще хуже, чем в Германии. Гораздо более либеральная, нежели ФРГ, Америка столь же самозабвенно летит в ту же бездну оглупления своего населения. Открываем книгу Дамбисы Мойо «Как погиб Запад»¹. Сегодняшняя Америка по числу 24-летних бакалавров в естественных и

¹ *Мойо Д.* Как погиб Запад. — М.: Центрполиграф, 2012.

технических науках (МИНТ) отстают от 16 стран Европы. По заполняемости старших классов юные американцы опустились в 2005 году на 21-е место на планете. Школьники в США учатся 180 дней, в Азии — более двухсот. В Южной Корее дети учатся в итоге на один учебный год (в пересчете) больше, чем американские. Если в США ученики проводят в школе 32 часа в неделю, то европейские — 40 часов. Американский ребенок на домашние задания тратит час в день, китайский — три часа. Замеры знаний американских школьников в точных науках и математике (аналог МИНТ — TIMSS) в 1995, 1999 и 2007 годах дают картину снижения качества школьников в США.

Таким образом, в Америке процесс создания тупой массы населения зашел еще дальше, чем в Германии. Как пишет Д.Мойо, страна несет чудовищные бюджетные и небюджетные затраты «от производства неуспешных и разочарованных молодых людей без всякой продуктивной цели. Так, Запад остается все с новыми и новыми поколениями неудачников, которым предстоит столкнуться на рынке труда с конкурентами из остального мира, которые если и не обойдут их по всем продуктивным пунктам, то как минимум устроят им серьезное испытание».

Не лучше обстоит дело и в Великобритании. Исследования знаний школьников по международному стандарту PISA (математика, чтение и науки) показали, что страна скатилась по чтению с 7-го места в 2000 году до 17-го в 2008-м. По математике — опустилась с 8-го на 24-е место.

Все эти данные неопровержимо свидетельствуют о том, что потребительство, деиндустриализация (пресловутый «постиндустриализм») и спекулятивно-финансовая экономика с развитием «культуры» электронных развлечений приводят к необратимой деградации нации. К атрофии мозгов. Невозможно сохранить качественное образование и науку в стране, из которой уходит реальное производство. Экономика услуг, развлечений и финансов — это новое варварство.

Доходит до смешного. Помните знаменитый тест Алана Тьюринга 1950 года? В нем успешный искусственный разум (думающий компьютер) определяется тем, что вы, общаясь с невидимыми двумя собеседниками, не можете определить, кто из них — автомат, а кто — человек.

На нынешнем Западе тест Тьюринга уже не срабатывает. Американский предприниматель Хью Лебнер с 1991 года проводит ежегодные конкурсы на прохождение испытания по Тьюрингу. Не так давно случился курьез: жюри из людей, сидя в чате и проверяя двоих, сочла машину человеком, а реальную девушку — компьютером. Почему? Потому что программа «Whimsical Conversation» прекрасно имитировала современного подростка или молодого человека в чате. Она использовала примитивный сленг молодежи, распространенные «приколы» и делала грамматические ошибки в предложениях. А девушка, филолог и шекспировед, говорила на литературном языке, логически правильно. Да еще и цитировала наизусть большие отрывки из пьес Шекспира! Потому жюри решило: она и есть машина. Потому что пишет правильно, нормальным языком и еще столько помнит¹.

Тьюринг просто не мог представить себе в 1950 году, что интеллект нынешних поколений Игрек и Зет деградирует и упростится до аналога настольного компьютера. Что нынешние обитатели фейсбуков превратятся в полуграмотных недочеловеков. Что человек, способный грамотно и связно излагать свои мысли, станет буквально чудом...

Страшное для Запада явление: ему не хватает квалифицированных инженеров и МИНТ-специалистов, причем даже в пору падения экономики, когда растет безработица. В 2009-м глава британской Конфедерации найма и занятости Кевин Грин в ужасе произнес: «Если дефицит рабочей силы остался даже во время самого глубо-

¹ См. Сергей Добрынин. Программа поиска мысли. — «Вокруг света», июнь, 2012.

кого спада за сорок лет, то что же будет твориться на рынке труда, когда мы из него выйдем?»

«Самая быстрорастущая категория населения США — да и всего Запада — это неквалифицированные, нетрудоустроенные и недовольные граждане, которые угрожают благосостоянию и экономическому положению страны. Любой экономической системе требуются опытные и прогрессивные работники, а они как раз очень быстро заканчиваются у западной экономики», — пишет Д.Мойо.

И не надо обманывать себя розовыми иллюзиями о том, что Запад производит 50 процентов научной продукции, что у него — якобы лучшие университеты. Все это — не более чем лакированная «липа». Момент, когда Запад самостоятельно не сможет поддерживать даже сегодняшний уровень техники и инфраструктуры, наступит непременно. Это как с усталостью металла: она накапливается — и в один прекрасный момент наступит разрыв. В данном случае — чрезвычайная ситуация в инфраструктуре и научно-технической сфере. Рано или поздно начнется деградация в военно-промышленной сфере, космонавтике, авиастроении. Новое варварство хлынет в реальность как воды, прорвавшие прохудившуюся, изношенную плотину. И вот тогда наступит не только крах. Наступит переломный момент истории. Придется действительно выбирать между тремя невеселыми перспективами: между корпоратократическим, кастовым рабовладением (постдемократией), новым тоталитаризмом и апокалиптическим падением в неофеодальную раздробленность. Падением в мир без науки и техники, в Темные века. Впрочем, как метко выразился Михаил Делягин, «новое средневековье с компьютерами» (корпоратократия, кастовое общество) самито компьютеры сохранит недолго. Весьма скоро оно опустится просто в мракобесное средневековье.

Во всех трех вариантах никакой либеральной демократии не будет даже близко.

Это — зримый конец цивилизации в ее западном варианте. Представьте себе тупиц, не обладающих элементарными, обыденными еще для 1980-х научно-техническими знаниями, которым в руки упадет все то, что создано умными и развитыми людьми XX столетия. Все эти реакторы, атомарины, сложнейшая система электроэнергетики, химические заводы, самолеты и ракеты... Это же серийные бхопалы и чернобыли! Некомпетентность уже нарастает: катастрофа нефтяной платформы «Глубководный горизонт» в Мексиканском заливе летом 2010 года показала, что западные технари допускают самую дикую халатность. И это — в транснациональной «Бритиш Петролеум»! Думаю, что все это — только цветочки новой варваризации.

Паттерны средневекового мышления

Но даже техногенные катастрофы (фактор нового дикаря у пульта управления сложной техникой) — еще не вся беда. Гораздо страшнее то, что воспроизводятся, по выражению Переслегина, раннесредневековые паттерны поведения. Мы опускаемся в варварство и в социальном, и в политическом смысле.

Что такое раннесредневековое мышление, менталитет Темных (VI–IX) веков? Это дичайшее невежество в естественных и точных науках. Это полный вымысел в географии и космографии. Это мышление, простирающееся «не дальше околицы родного села». Это страшная легковёрность неграмотных масс, которых можно без труда завлечь самыми нелепыми слухами и речами. Это представления о том, что вон там, за десятым горизонтом, живут уже не люди, а псоглавцы. Это самые дикие суеверия. Разрыв исторической памяти. Неумение логически мыслить и понимать самые элементарные взаимосвязи вещей и явлений.

А теперь представьте себе подобных варваров (вернее, вторичных варваров, искусственно выведенных) в нынешнем мире. «Постиндустриальный» дикарь порожд-

дает новую политику: грубую, лубочную, с примитивными лозунгами и поиском исключительно простых решений. Самая наглая ложь (при фабрикации нужных картинок) становится обыденной. И очень действенной. Засилье мистики и поповщины. Полная безответственность политики: получив в свои руки старые запасы оружия массового поражения, новый дикарь даже не будет представлять последствий его применения. А даже если и будет — то поверит, будто молитва оградит от радиации. Кстати, рассуждения о сотнях ядерных ударов я уже вижу в Интернете и некоторых невысокого пошиба романах. Черт, а ведь они действительно могут учинить всемирную катастрофу. По незнанию...

Воцарение нового варварства принесет нам как повседневность пытки, этнические чистки, лагеря смерти, самые дремучие расистские предрассудки, межэтническую резню. Репрессии в самой грубой форме опять шагнут в нашу жизнь.

Но и это еще не все! Новые дикари не смогут двигать дальше науку и технику. Наступит не просто застой — а начнется откат назад. Причем стремительный. Цивилизация ведь вообще штука крайне хрупкая. Белые расисты до сих пор задирают нос: мол, китайцы — это не соперники. Китайцы не умеют изобретать нового, они только копируют достижения белого человека. Но ведь на наших глазах, кавалерийскими темпами, разрушается именно научно-техническая мощь западного мира, сама его способность изобретать и разрабатывать научно-технические новинки. А Китай тем временем наращивает силу своего инженерно-технического образования. Честное слово, был бы помешан на теории заговоров, точно сказал бы, что процесс деградации Запада (к коему присоединилась и РФ, и Украина тоже) заказывается и направляется некими китайскими «тайными отцами». Ибо то, что происходит, автоматически переносит центр власти над миром в Поднебесную.

На наших глазах реальностью становятся самые кошмарные антиутопии. Не прилетевший из вселенских далей астероид, не новый ледниковый период и не какая-то страшная пандемия — а деградация людей могут стать причиной Армагеддона.

Конец научно-технической революции

Но вот еще одна проблема: в ходе шоковой терапии и реиндустриализации понадобится новый технологический рывок.

Однако нынешний мегакризис с эпицентром в ядре капиталистической системы (США) порожден как раз тем, что западная финансовая элита придушила в колыбели новую научно-техническую революцию, которая должна была дать плоды в «нулевые годы». Слишком уж неудобны для капиталистических отношений технологии этой, пока несостоявшейся, НТР. Слишком уж удобно чувствовала себя финансовая plutократия в мире, создавшемся после победы над Советским Союзом, никаких радикальных перемен ей не хотелось. Возобладали шкурные интересы, а заодно — и спесь победителей над страшными коммунистами.

Вместо подлинного развития началось передвижение реального сектора в Китай, где роль роботов стали играть местные рабочие. Свертывание стратегических программ (космонавтики и океанавтики) привело к научно-техническому застою и к гипертрофированному развитию телекоммуникационно-информационной сферы, каковая намного обогнала развитие собственно реального сектора. Настал кризис. Суть его описал заместитель директора Института прикладной математики Георгий Малинецкий¹:

¹ Подробнее см. Георгий Малинецкий. Проектирование будущего и модернизация России. — «Дружба народов», 2010, № 9.

«В XX веке происходил переход от IV технологического уклада (определявшимся массовым производством, автомобилями, самолетами, тяжелым машиностроением, большой химией) к V укладу (компьютеры, малотоннажная химия, телекоммуникации, электроника, Интернет). Советский Союз в свое время в полной мере воспользовался нововведениями, связанными с IV технологическим укладом. Новая Россия, погрузившись в пучину безуспешных реформ, пропустила почти все, что связано с V кондратьевским циклом. Сейчас мир начинает переход к VI технологическому укладу, фаворитами которого, судя по всему, станут биотехнологии, нанотехнологии, вложения в человека, новое природопользование, новая медицина.

И кризис в этом контексте связан с тем, что отрасли V технологического уклада уже не могут дать такой же большой отдачи, как прежде (в России уже 150 миллионов мобильных телефонов, заставить человека купить более двух мобильных трудно, произошло насыщение этого сектора рынка). В то же время новые отрасли к большим вложениям, требующим быстрой отдачи, пока не готовы...»

Дополним Малинецкого: все эти технологии новой волны могли родиться как раз в задушенных мегапроектах по освоению океана и космоса. Помимо названных им приоритетов, сегодня миру необходимы принципиально новая (неогневая) энергетика, дешевый выход в космическое пространство (чтобы полеты на околоземную орбиту по простоте и стоимости были сравнимы с перелетом на «Конкорде»/Ту-144 через Атлантику), технологии дешевой и быстрой переброски грузов по планете (скорость — как у самолета, дешевизна — как у морского транспорта), а также безлюдные роботизированные производства.

С высоты прошедших лет видно, что самым дальновидным американским политиком оказался Джордж Буш-старший. Еще в 1989 году он (президент-республиканец) предложил программу возобновления амбициозных космических миссий США на Луну и Марс (Космическую исследовательскую инициативу, SEI). Тогда затея провалилась из-за того, что НАСА потребовало на SEI 541 миллиард долларов в течение тридцати лет. Иными словами, по 18 миллиардов в год. Эти затраты показались конгрессу, который тогда контролировали демократы, настолько огромными, что инициатива была провалена. Конгрессмены еще не знали, что такое астрономические и при этом практически бесполезные расходы.

С начала острой фазы кризиса осенью 2008-го США ради спасения бесплодной банковской системы (по планам Полсона и Гейтнера) было истрачено более 2 триллионов долларов. А затем еще 3 триллиона. То есть почти в девять раз больше, чем могла бы истратить вся программа SEI за тридцать лет. Но если космическая программа (имевшая резерв удешевления за счет новых технических решений) принесла бы Америке тысячи прорывных технологий, то все эти полсоно-гейтнеровские усилия стали бестолковым вливанием огромных денег в бездонную бочку. Все затраты ни на миллиметр не продвинули США на пути к новой НТР и не спасли капитализм от кризиса. Эти деньги просто отняли у ученых, инженеров и промышленников, отдав финансистам. (Мы уже не говорим о том, что республиканская администрация Буша в 2000–2008 гг. выбросила еще несколько триллионов на бесполезные войны в Ираке, на АфПак и т.д.)

Гибель советской космической программы

Сходный процесс наблюдался и у нас — гибель советской космической программы после развала Союза.

Выступая на XXIII академических чтениях по космонавтике в январе 2009 года, патриарх советской космической программы академик Борис Черток поведал о том, что скоро борьба развернется за геостационарные орбиты (ГСО), где должны рабо-

тать уже не просто спутники, а тяжелые орбитальные, многоцелевые платформы, на которых будет размещено оружие нового поколения. Но РФ в этой гонке уже не участвует... «Россия не имеет стратегии развития за пределами ближайших десяти лет. За пятнадцать лет криминальных реформ под лозунгом всеобщего свободного рынка в России не только были разрушены промышленность, сельское хозяйство, дезорганизована армия, но все основное жизнеобеспечение построили на продаже своих природных богатств — прежде всего нефти, газа, леса. Россия — поставщик сырья. На сырьевых сверхдоходах возникла новая элита, класс сверхбогачей и мажоритарный коррумпированный чиновничий аппарат...»

Черток пророчит, что в XXI веке предстоит ожесточенная экономическая и политическая борьба за место спутников связи на ГСО. Космический аппарат, выведенный на ГСО, имеет период обращения равный периоду вращения Земли, и плоскость орбиты его практически совмещена с плоскостью земного экватора. Подспутниковая точка имеет свою географическую долготу — рабочую точку и нулевую широту.

К 2030-м годам, как утверждает академик Черток, ГСО, как наивыгоднейшее место для размещения систем спутниковой связи, исчерпает свой ресурс. Неизбежна жесткая международная конкуренция за место на геостационарной орбите. Международные политические соглашения окажутся бессильными решить эту проблему даже с учетом дальнейшего процесса развития информационных технологий, ибо каждому спутнику на ГСО соответствуют разрешенные площади обслуживания на поверхности Земли.

Значит, придется переходить от спутников к созданию постоянно работающих на геостационарах мощных платформ, способных служить десятилетиями. Платформ, которые можно оснащать все более современными блоками, снимая с них устаревшее оборудование.

По словам академика, в конце 1980-х в Советском Союзе разработали уникальный проект первой в мире тяжелой (20 тонн) универсальной платформы на ГСО. Выводить ее на орбиту хотели с помощью сверхмощной ракеты «Энергия» прошедшей успешные летные испытания в 1987 и 1988 годах. В 1989–1990 годах НПО «Энергия» при поддержке военно-промышленной комиссии Совета Министров СССР делала предложения Германии, Франции и Европейскому космическому агентству о сотрудничестве и совместной работе по созданию универсальной тяжелой космической платформы на ГСО. Решить эту задачу в те годы могла только Россия/СССР, обладавшая уникальным носителем «Энергия». Весьма детальная разработка конструкции платформы и техники выведения вызвали большой интерес у ведущих немецких и французских фирм. Начались совместные работы. Однако расчленение Советского Союза и либерально-рыночные «реформы» 90-х годов разрушили организацию и лишили всякой государственной поддержки производство носителей «Энергия». Оно оказалось уничтоженным. Продолжение работ над тяжелой космической платформой без носителя стало бессмысленным.

Как бы то ни было, но возможности использовать космические программы для новой НТР, открывшиеся в конце 1980-х и начале 1990-х, оказались бездарно потраченными. Теперь же за все это придется расплачиваться опаснейшим системным кризисом.

Системный кризис: точка быстрого разрушения

«Нулевые годы» оказались поистине потраченной даром декадой. Ее финал ознаменовался началом конца капитализма — Великой депрессией-2. Нет сомнений, что в ее бедствиях продлится и второе десятилетие XXI века.

Пора подумать, что ждет нас в это время. Тем более что системный кризис

сегодня скрестился с усилением тенденции, неизвестной в 1930-е, в годы Великой депрессии, — с новым варварством, социальным одичанием. Подумать над этим тем более важно, что РФ, Украина и Белоруссия (пусть и в разной степени) открыты глобальным бурям. Предугадать все немислимо, но все же попробуем прояснить основные моменты наступившей декады.

Поздний капитализм логично упирается в новую кастовую систему. Уже некапиталистическую. И я согласен с историком Андреем Фурсовым: верхи капитализма взяли совершенно сознательный курс на планомерный демонтаж капитализма.

Попробуем вычислить особо суровый момент нынешнего системного кризиса капитализма — точку быстрого разрушения обществ в так называемых «развитых» странах. Прежде всего — в самом ядре капиталистической системы, в Соединенных Штатах. Уверен, что за этим рубежом и должен открыться «дивный новый мир» нового варварства.

В том, что разрушение социумов случится, лично я уже не сомневаюсь. Ибо невозможно так долго и безнаказанно насилловать человеческую природу, как это делалось в минувшие тридцать с лишним лет.

Безусловно, мы не можем с полной определенностью назвать день и час обвала общества привычного типа. Но то, что это произойдет, — достоверно на сто процентов. В самом деле, если вы прочитаете лекции Лестера Туроу 1994–1997 годов, изданные как сборник «Будущее капитализма» в 1997-м, то увидите, что гениальный профессор предвидел происходящее за десять-пятнадцать лет. Дерзнем предположить, что кошмар разразится в 2020-е годы. То есть, тогда, когда рожденным в 1985 году будет тридцать пять лет от роду и больше и когда они начнут занимать высокие посты в бизнесе, политике, государственном аппарате. Тем, кто родился в 1990-м, исполнится тридцать. А поколение рождения 2000 года станет массой входить во взрослую жизнь. По нашим наблюдениям, это — самые изуродованные психически и самые невежественные поколения, подвергшиеся массовой обработке «либеральной машиной». Причем процент новых варваров в этих генерациях крайне велик. Неуравновешенность, безответственность, аутичность, плохое образование и функциональная неграмотность превратятся в новую норму.

Вне всякого сомнения, дегенерация населения в западном мире совместится с другими кризисами — с долговым, демографическим, кризисом исчерпания возможностей капиталистической модели (больше некуда расширяться), с кризисом застоя в научно-техническом развитии, с кризисом и банкротством государства всеобщего социального обеспечения, с болезненной новой индустриализацией и т.д. Получится нечто похожее на эпизод из фильма «Назад, в будущее-3». Помните, как Док бросил в топку паровоза три пиротехнических полена, которые вспыхивали жарким пламенем одно за другим, все сильнее разгоняя локомотив? С загоранием каждого «полена» железный конь рывком наращивал скорость. Нечто подобное случится и с нынешним глобальным кризисом — мы испытаем несколько его ускорений.

Некоторые реперные точки будущего уже известны. 2032 год как точка банкротства пенсионной системы и системы соцстраха США назывался еще в благополучном 1999-м. Думаю, что нынешний колоссальный рост государственного долга Запада сместил эту точку в 2020-е годы. При этом крах социального государства — это сам по себе опасный социально-экономический кризис. Другой репер — превышение государственным долгом США всех допустимых пределов после 2014 года. В этот момент только проценты по долгам вместе с социальными обязательствами разорят казну Америки. Притом что нынешние политики не могут остановить распухание госдолга и пойти на решительные сокращения затрат казны, ибо сие чревато падением и без того плохой экономики, к которому могут добавиться революционные потрясения.

Вот вам уже два «полена» для кризисного «паровоза». Что между ними? Как

минимум — приход к рычагам власти и управления новых варваров, причем на фоне появления массы молодых людей в возрасте от двадцати лет и более (поколение социальных сетей) с игровым и клиповым сознанием, освобожденных от прошлого опыта человечества. Сюда же может вклиниться дефолт США. И мультилокальные военные конфликты с угрозой их перерастания в глобальный пожар. Острый политический кризис в США и распад Евросоюза. Первый после 1945 года военный конфликт с ограниченным применением ядерного оружия. Серия масштабных техногенных катастроф (Фукусима-Чернобыль). Удачная или неудачная попытка провести девальвацию доллара ради сброса непомерных социальных обязательств. Социальные бунты на Западе еще до явного банкротства государств всеобщего благосостояния. Кризис «капитализма без собственников» — мошеннического и криминального капитализма менеджеров-корпоратократов в Америке. И, вне всякого сомнения, — новые экономические спады, осложненные крайне болезненным для капиталистического общества переходом на технологии VI техноуклада. Несмотря даже на то, что сей процесс замедляется...

И, конечно, могут прилететь непредсказуемые «черные лебеди»¹ — некие внезапные катастрофические события. Вроде разрушения банковской системы США с помощью таинственного самособравшегося супервируса-скрипта, о чем так захватывающе написал Андрей Столяров в «Звездах и полосах». Что, в свою очередь, вызывает крах доллара и дает импульс для череды геополитических и геоэкономических потрясений, войн и распадов стран, переходящих в эру мировой революции озлобленных масс. Столяров, как и Сергей Переслегин, видит опасность катастрофического упрощения системы, которая уже перешла порог сложности и стала настолько громоздко-запутанной, что впадает в маразм и бессилие. Это относится и к нелепой финансовой системе, и к государственным бюрократиям, и бизнесу. В условиях системы, ставшей подобием кафикианского замка, ничего путного сделать уже невозможно. Управляющие получают безнадежно устаревшую и искаженную информацию, предпринимая заведомо глупые и несвоевременные действия, каковые лишь усугубляют кризис. Итогом может стать развал и упрощение — вплоть до возврата к докапиталистическим порядкам.

Потому мы и прогнозируем для ядра капиталистической системы два возможных исхода.

Первый — установление в Соединенных Штатах откровенной хунты корпоратократов с приватизацией ими уже самого государства, с размытием грани между властью и корпорациями. С демонтажом всеобщего избирательного права, с введением градации граждан по имущественному положению (как при Солоне в Древних Афинах) и крайне жестокой шоковой терапией с разборкой социальной системы. По сути дела, возникнет кастовая система с новым рабовладением.

Второй — воцарение в Америке некоего нового варианта тоталитаризма технократов, «Ново-Нового курса» с ярко выраженными национал-социалистическими чертами. С уничтожением прежней корпоратократической и финансовой «элиты», с новой индустриализацией.

Как тот, так и другой сценарий потребуют от американцев создания «прикрытия» в виде глобальной мятежевойны, развала Еврозоны и хаоса в РФ, возможно — игры на взрыв Китая изнутри, на поддержку в КНР противоборства между новыми маоистами и партийными капиталистами («наследными принцами»). В случае успе-

¹ «Черные лебеди» — метафора, введенная Нассимом Талебом, эссеистом, математиком и трейдером, для обозначения непредсказуемых событий, представляющиеся совершенно закономерными, но казавшимися абсолютно невозможными, пока они не произошли. Именно они, по его убеждению, дают толчок как истории в целом, так и существованию каждого отдельного человека.

ха это приведет к новой «крестьянской войне» в Поднебесной, что периодически случалось в ее истории. Для перестройки ядра капсисистемы необходимо весь мир по возможности столкнуть в кровь и хаос, оставляя Северную Америку островом относительного спокойствия и благополучия.

Если же оба варианта рушатся, то Америка проваливается в дефолт, в Гражданскую войну-2, что крайне живописно изображено во «Флэшбэке» Дэна Симмонса и в «Распаде» Брюса Стерлинга. На землях бывших США воцаряется неоварварская раздробленность. Причем эта волна грозит распространиться на Европу и постсоветское пространство. Ну Азия и Африка по большей части — уже давно в новом варварстве. И чем больше в Соединенных Штатах «человекозавров» — тем вероятнее такой срыв в Темновековье-2.

Стрелка в красном секторе

У меня практически нет сомнений в том, что даже на Западе установятся тоталитарные режимы. Пусть внешне — со всеми принадлежностями «демократии». И та модель, что осуществляется нынче в Белоруссии или в Китае, станет весьма конкурентоспособной (Путинскую РФ сюда не отношу — сие есть чистый симулякр). Стрелка социально-экономических показателей Запада достигла красной зоны. Избежать катастрофы, не прибегая к крайне непопулярным, насильственно-шоковым мерам, уже нереально.

Мир со страхом следит за продолжающимся ростом государственной задолженности стран Большой Семерки. К 2014 году она достигнет опасного рубежа в 110 процентов ВВП (в среднем). Наступит момент, когда даже выплата процентов по долгам богатых стран начнет опустошать бюджет и уничтожать экономический рост. Что там говорить об основном долге! И ведь не платить нельзя: в долг инвестированы денюжки частных инвесторов, пенсионных фондов и банков. Если не платить процентов, то вызовешь острый кризис всей финансовой системы. По той же причине долги невозможно списать. Если бы один бюджет одалживал другому — тогда можно было бы. А тут — частники! Институциональные инвесторы.

У США вообще критическое положение с долгом. Уже посчитано: даже если повысить налоги в стране вдвое (что само по себе нереально), Америке придется отдавать долги с процентами около семидесяти лет.

В августе 2010 года свою версию развития событий дал американский экономист, профессор Бостонского университета Лоуренс Котликофф. На сайте агентства «Блумберг» он опубликовал статью, в которой утверждал, что Соединенные Штаты — уже банкрот. И ни уменьшение расходов, ни увеличение налогообложения не помогут стране расплатиться по счетам.

Незадолго до того, в июле 2010 года, Международный валютный фонд (МВФ) представил доклад о состоянии американской экономики, где постарался успокоить страсти: «Руководство МВФ приветствует обязательство властей по фискальной стабилизации, но отмечает, что внесение поправок в объеме, превышающем заложенный в бюджет, потребует стабилизации соотношения долга к ВВП». Согласно прогнозам американского Минфина, уже к концу года госдолг страны возрастет до 13,6 триллиона долларов, что превышает 90 процентов ВВП, а еще через четыре года — до 19,6 триллиона...

Однако Котликофф рассматривает этот доклад МВФ как завуалированное признание банкротства Соединенных Штатов, поскольку в нем сообщается, что разница между запланированными расходами, включая обслуживание госдолга, и ожидаемыми доходами в будущие годы «слишком огромна» и, чтобы покрыть этот разрыв, ежегодно необходимо корректировать бюджет примерно до 14 процентов ВВП США.

Иными словами, необходимо нарастить сборы в американский федеральный (без штатных, региональных) бюджет еще на 14 процентов ВВП. Но это невозможно: текущие поступления в бюджет Америки как раз и составляют те самые 14,9 процента ВВП. То есть МВФ признал необходимость удвоения налогов в США ради покрытия дефицита бюджета. Налогов на личный доход, корпоративных и федеральных налогов. Причем, по данным МВФ, чем дольше США будут затягивать с проведением жесткой финансовой экономии, тем больше ее будет реализовать.

«Сошел ли МВФ с ума? Нет, он просто выполнил свое задание, как и бюджетное управление конгресса (СВО) США, опубликовавшее в июне доклад по долгосрочным перспективам бюджета, который обнаруживает еще большие проблемы», — считает Котликофф. Основываясь на данных СВО, он подсчитал, что фискальный дефицит составляет 202 триллиона долларов, что в 15 раз превышает официальный долг США. Почему он настолько огромен? «Все просто. У нас 78 миллионов человек, которые родились в период бэби-бума (1946–1964 годы. — М.К.). Когда они выйдут на пенсию, государство должно будет им выплачивать пособия по социальной защите и медицинским услугам, которые в среднем превышают долю ВВП на человека. Ежегодные расходы на все это составят около 4 триллионов долларов. Конечно, наша экономика будет больше через двадцать лет, но не настолько, чтобы выдерживать эту нагрузку из года в год», — пишет Котликофф.

Это произошло из-за огромной финансовой пирамиды, действующей в последние шестьдесят лет, когда у молодых людей берется все больше денег, чтобы отдать их пожилым, при этом обещая молодым, что их черед настанет, когда они состарятся.

«Эта пирамида когда-нибудь остановится, но будет слишком поздно. Сначала это ударит по пенсионерам, которым значительно урежут пособия. Затем будет астрономическое увеличение налогов, что отрицательно скажется на желании молодых зарабатывать и сберегать. И, наконец, правительство просто включит печатный станок, чтобы расплатиться по всем долгам», — перечисляет последствия Котликофф, добавляя, что эти процессы приведут к росту бедности, налогов, процентных ставок и потребительских цен. «Это ужасная дорога, которая будет все хуже и хуже, и она единственная. И трейдеры, торгующие облигациями, будут толкать нас по этой дороге, когда они очнутся и осознают, что наша фискальная ситуация еще хуже, чем в Греции», — уверен Котликофф.

По его словам, все, что может и должно сделать правительство, это кардинально упростить налоговую, здравоохранительную, пенсионную и финансовую систему, в каждой из которых царит полный хаос. Администрация президента США Барака Обамы занялась было некоторыми изменениями. Скажем, реформой здравоохранения и финансовой системы. Так, в течение следующих десяти лет американской казне по планам Обамы нужно было потратить 940 миллиардов долларов, но в двадцатилетней перспективе принятие закона обернется экономией порядка 1 триллиона. Однако эта реформа заблокирована республиканцами.

Что это значит? Что западные либеральные демократии неизбежно рухнут под тяжестью госдолгов и из-за столь же неотвратимого краха их пенсионных систем. Не зря поколение «бэби-бумеров» называют «слоном внутри удава». Самих-то послевоенных детей до 1964 года было много, а вот они сами оказались чертовски малолетними. Как и последующие поколения белого западного населения. Старая схема «молодые содержат стариков» летит верх тормашками. Пенсионные фонды разоряются: из них уже (например, в Ирландии) откачаны громадные средства на спасение банковской системы. И уже буквально канули в нее, как в прорву. Кроме того, либеральная система поощряла вложения денег пенсионных фондов в ценные бумаги. В расчете на их постоянный рост. Как будто нет в капитализме кризисов, крахов и спадов. Как будто «финансовое казино» — навечно.

Теперь перед Западом — зримая перспектива как минимум долгого застоя в экономике. «Нулевого роста», на либеральном новоязе. Нет прибыльности — нет пополнения пенсионных накоплений, нет удачных спекуляций. Кормить стариков из бюджета — тоже денег нет, дефицит-с! И госдолг дальше не нарастишь.

А это значит, что долговой кризис в странах Запада неминуемо сомкнется с банкротством пенсионной системы. Все вместе это наложится на варваризацию социума. Недаром англичане уже прорабатывают экстренный вариант на будущее: систему раздачи пенсионерам одежды, вещей и минимальных сумм «на прокорм».

Однако, скажите на милость, какой либерально-демократический режим сможет решить эти проблемы? Можете ли вы представить себе западных избирателей, голосующих за уничтожение своих пенсий, радикальное снижение зарплат и пособий, за ликвидацию миллионов рабочих мест в армии и бюджетной сфере? Голосующих за удвоение налогов?

Такой курс под силу лишь крайне тоталитарному режиму. И только он может — в случае чрезвычайных обстоятельств — провести «хирургическую операцию». В виде отмены старых долларов и евро, обнуления долга, введения новых валют. Ибо подобная операция потребует сверхмобилизации «спасаемых стран», превращение их в осажденные крепости, самообеспечивающие себя энергией и продовольствием. Или же в милитаризованные механизмы, способные силой захватить источники нефти и газа за рубежом.

Как вариант — создание Объединенного Запада (США плюс только богатая Западная Европа) в виде прообраза Мирового государства. Но оно тоже будет и кастовым, и тоталитарным. На все обозримое грядущее. Тем более что придется противостоять Остазийской империи — Китаю. И исламским странам тоже. Кстати, в таком варианте лично я не жду создания альянса в виде ЕвроРуси. Скорее, Объединенный Запад и Китай поделят между собою РФ и Казахстан. Так легче и выгоднее.

Если же западные страны начнут распадаться, то на их обломках усядутся диктаторы. Локальные «отцы народа». Ибо обломки попадут в долгий период чрезвычайщины. Там впору будет вводить распределительную и административно-командную систему. Демократии и там не ждите.

Немного о необоснованных надеждах

Сегодня мы то и дело слышим о том, что ничего страшного не происходит. США, дескать, имеют резерв — новый мощный технологический рывок. Он, как нам говорят многие, спасет капитализм — а заодно и цивилизацию. Мол, в Америке — почти 5 миллионов ученых, они еще могут рвануться вверх. К полностью роботизированным производствам. И вообще — к капитализму-2.0.

(Вот только почему-то на рынке не видно телевизоров американского производства, которые якобы собирают в США полностью роботизированные заводы, что-то не летают в воздухе сотнями тысяч аэромобили «made in USA», а темпы НТП в Америке, как мы видели, замедляются, по мнению самих американцев.)

Нам рисуют идиллические картины того, как люди, отказавшись от государств как таковых, живут самоуправляющимися общинами. Информационные сети позволяют им вести дела напрямую друг с другом (peer-to-peer, person to person). Это позволит заменить собой банки, это позволит любому продавцу или производителю найти любого потребителя — и наоборот. Поселения людей автономны: им не нужны централизованные сети жизнеобеспечения. В воздухе летают стаи веселых авиеток-аэромобилей...

Прекрасно! Допустим, Западу удалось избежать губительного влияния деиндустриализации на свою науку, получилось защитить ее от волны новых варваров, от

порчи системы образования. Допустим, он смог собрать в своих университетах и исследовательских центрах лучшие мозги из Индии, Китая, с развалин Советского Союза. Допустим, Запад успеет совершить технологический прорыв.

Но только как дожить до этой поры прекрасной, если на пути к ней новые технологии — VI и VII технологических укладов — превратят в лишних 80–90 процентов населения? Что с ними делать? Ведь при сохранении капиталистических порядков людей просто выставят вон. Ну не нужны они ни в производстве, ни в торговле, ни в строительстве.

Действительно, а что делать с высвобождающимися людьми, коли новые технологии оставляют всего одного-двух работников там, где сейчас требуются десять? Причем везде — и в туризме, и в сфере услуг тоже? При капитализме возможно ограниченное число решений проблемы.

Первое — просто забыть об этих людях. Пусть вертятся, как могут.

Но в этом случае они моментально превращаются в озлобленных новых варваров, отрезанных от источников зарабатывания денег. Конечно, кто-то перейдет на натуральное сельское хозяйство. А часть собьется в стаи, начнет добывать оружие — и начнет разбойничать, мстить, нападать на благополучных. А то и воевать.

Второе решение — забрать этих людей в армию. И начать войны — но не для того чтобы реально что-то завоевать, а просто ради «сжигания» в битвах и многолетних кампаниях миллионов ненужных двуногих.

А это может завести слишком далеко. Мир просто озверееет от чудовищной жестокости и умопомрачительного кровопролития. Один шажок — и война может перейти во всеразрушающую, апокалиптическую фазу. Ведь ты же не заставишь людей воевать кремневыми ружьями и копьями, имея современный набор технологий. Да и война может быстро перекинуться внутрь воюющих обществ, стать гражданской.

Третье — загнать лишних в лагеря смерти, в Освенцимы или Майданеки нового времени. Или принудительно стерилизовать лишнюю биомассу, заодно устроив ей пандемии, дабы выкосить ненужные миллиарды двуногих.

О нравственной стороне такого решения не говорю. О ней никто задумываться не станет. Однако вариант, знаете ли, чреват непредвиденными сбоями в программе. Да и опасен ответной реакцией обездоленных.

Есть и четвертый, гуманный вариант. Основная масса людей превращается в люмпенов. Им придумывают бессмысленную работу и дают продовольственные и вещевые пайки, поощряя бездетность. Но они превращаются в неполноправных, лишенных права голоса. В стадо для полноправных граждан-пастухов.

И это — прямой путь в новые Темные века!

Царство люмпенов

Вы можете себе представить, что ожидает несчастное общество, где 80 процентов живущих вынуждены бить баклуши? Где им скучно и нечего делать?

Посмотрите на нынешних обывателей. Что в Америке, что в Европе, что у нас. Отнимите у них необходимость ходить на работу — что они будут делать? Они ведь уже — новые варвары. Читать они не хотят. Творить? Творчество недоступно большинству. Какая-то часть удовлетворится тем, что будет разводить цветы или что-то мастерить. Но большинство станет сутками напролет щекотать себе нервы, просиживая в онлайн-играх и в виртуальной реальности. Ну, кто-то не будет вылезать из свингер-клубов и БДСМ-салонов. Они станут аналогом римской черни, требующей хлеба и зрелищ. Они захотят «реала».

Скука — вот бич современных нам новых варваров. Им нечем себя занять. Все

быстро приедается. Все время хочется чего-то нового, щекочущего нервы. Как все новой и новой дозы наркотика. Праздность толкает к поискам все более и более «остренького». Вроде реальной охоты на людей (вспомним, как хорваты устраивали туристические поездки для пресыщенных западников: пострелять по живым сербам из засады). А напомнить вам, какой бизнес делался на продаже видео настоящих пыток и убийств из суверенной Чечни в девяностые?

А пример Ливии до 2011 года? Каддафи дал ливийцам все: возможность не работать, давал пособия на каждого ребенка, почти даровой кредит на покупку жилья, огромные подъемные молодым семьям. Ливийцы жили — простите за каламбур — как у Христа за пазухой. Но им было скучно. И они начали бунтовать. Чернь так устроена: то, что ей дают, только сначала кажется благодеянием — и принимается с благодарностью. А дальше люмпен считает, что это — его неотъемлемое право. Что так было и будет всегда. И хочет чего-нибудь «интересненького». Свято место пусто не бывает. Обязательно кто-то воспользуется этой массой изнывающих от скуки бездельников.

Мышление нового варвара, так сказать, «голливудно». Вот простой пример: русский националист Дмитрий Демушкин съездил в Чечню и посмотрел на месте, что там происходит. Нашел, чему можно поучиться у Рамзана Кадырова. Например, тому, как можно за те деньги, за какие в Питере строится один стадион, в Чечне — три стадиона возвести. Естественно, на Демушкина обрушилась волна помоев из стана молодых националистов (среди которых тупого быдла и новых варваров — хоть отбавляй).

Пытается Демушкин общаться с такой аудиторией. Встает молодой и заявляет: «Чечню надо забросать атомными бомбами, а потом — танками раскатать!» Дмитрий чуть не поперхнулся. Попытался он доказать молодым визави: вы понимаете, что радиоактивные следы от нескольких десятков взрывов (а меньше в горной республике не получится) накроют собственно русские регионы? Да вы понимаете, что тогда РФ станет олицетворением мирового зла, ее начнут душить экономическими санкциями, причем вы, молодые, лишитесь многих вещей, к которым уже привыкли. Ну вроде электронных штучек, которые идут из-за рубежа. Но из зала продолжали тупо твердить: атомными бомбами... Гусеницами!

Когда я рассказал об этом Михаилу Делягину, тот невесело усмехнулся:

— Демушкину — тридцать два года? Он в 1979-м родился? Значит, учился еще в советской школе. Да-да, в девяностые, после формальной гибели СССР, еще сохранялось его среднее образование. То есть он обладает логическим мышлением, научен представлять последствия своих действий. А эти молодые — у них нет того образования. Они не представляют последствий того или иного действия. Они воспринимают все как электронную игру, как боевик, как киношный «экшн»...

Хотя пример относится к практике РФ, но таких недоумков полно и на Западе. И вот им не нужно будет работать для пропитания. У них — уйма свободного времени, которое надо убить. И в голове — две извилины. Что делать? Сексом заниматься? Мало. Начнут сбиваться в ночные стаи — и убивать из удовольствия. Но и этого будет мало. Новый варвар легковнушаем. Его можно убедить в чем угодно — он невежествен. Значит, завтра кто-то, к примеру, внушит праздным недоумкам: нужно убивать ученых. Они, видите ли, хотят сделать из нас киборгов. И вообще на божественное замахнулись.

А дальше эту массу легко подбить на беспорядки и бунты. Ибо скучно. И нечем заняться. А психология, образование и потребности — на уровне питекантропов.

Ну, хорошо, с этой массой люмпенов-троглодитов как-то справились. Но что ждет их пастухов? Тоже деградация. Нельзя оставаться островами нормальности среди моря праздных дегенератов, которым нечем заняться. Это и развращает, и наводит на мысли о сбросе лишней биомассы. «Востребованным», образованным

обитателям изолированных от люмпенов поселков будет не до какой-то там космической экспансии и не до великих научных открытий. Они тоже начнут дегенерировать, двигаясь к некоему новому идеалу: лишних — уничтожить, а самим — замкнуться на Земле, причем каждому — рабов и поместье этак по тысяче гектаров. Так, чтобы жить в одиночку, не сталкиваясь с соседом.

Человечество превратится в немногочисленное собрание «элитных» недоумков. Развитие остановится. И это тоже будут новые Темные века. Если же в такой своеобразной цивилизации кто-то достигнет физического бессмертия, но неизбежно столкновение бессмертных «постлюдей» и смертных сапиенсов.

Да, выход из глобального кризиса лежит через развитие технологий VI уклада. Да, в этом — спасение от нового варварства. Для всех — для России, для Европы и для США.

Но это будет означать гигантские политические потрясения. Такой переход — сам по себе опасный кризис. Ведь ресурсо- и трудосберегающие технологии следующей эры сделают ненужными гигантские массы людей. И переход этот можно осуществить только в одном случае: если одновременно будет создано новое общество.

Спасение от Темных веков

Черты Счастливого мира можно отыскать в «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова, в прекрасных, сверхчеловечески сильных землянах из «Часа Быка»:

«Гигантские машины, автоматические заводы и лаборатории в подземных или подводных помещениях. Здесь, в неизменных физических условиях, шла неустанная работа механизмов, наполнявших продуктами дисковидные здания подземных складов, откуда разбегались транспортные линии, тоже скрытые под землей. А под голубым небом расширялся простор для человеческого жилья. Тормансианам открылись колоссальные парки, широкие степи, чистые озера и реки, незапятнанной белизны горные снега и шапка льда в центре Антарктиды. После долгой экономической борьбы города окончательно уступили место звездным и спиралевидным системам поселков, между которыми были разбросаны центры исследований и информации, музеи и дома искусства, связанные в одну гармоническую сетку, покрывавшую наиболее удобные для обитания зоны умеренных субтропиков планеты. Другая планировка отличала сады школ разных циклов. Они располагались меридионально, предоставляя для подрастающих поколений коммунистического разнообразные условия жизни...»

На самом деле первые ласточки VI техноуклада, высвобождающего миллионы работников, уже полетели. Нанотех уже позволяет применять новые материалы — замену стали. Новые неантибиотические лекарства (антибиотики становятся бесполезными против болезней, массой приобретающих вирусную основу) — провозвещают конец прежней фарминдустрии. Новые агротехнологии уже требуют гораздо меньше рабочих рук, чем осталось даже в обезлюдевшей русской деревне. С огромными автоматизированными свинокомплексами справляются пять-шесть человек. Созданные образцы одностадийных нефтеперегонных заводов сокращают надобность в персонале в десятки раз. Современные станки — обрабатывающие центры — заменяют собой по пятнадцать-двадцать человек, работающих на нынешних отдельных станках. Про гибкие роботизированные линии производства уж не говорю.

Меняются и стереотипы поведения людей. Кризис остановил бездумные траты на ненужные вещи типа смартфонов (раз в полгода) и на барахло с брендами. Теперь народ хочет тратить средства на здоровье, на долговечные вещи, на недорогие, но экономичные автомобили. И это тоже высвободит миллионы работников, дотоле

занятых в производстве массы ненужно-одноразовой ерунды, в выпуске избыточных автомашин. Уничтожение спекулятивного финансового сектора (он просто отмирает) выбросит на улицы новые рати ненужных «специалистов» и всех, кто их обслуживал.

Обеднение людей и крах государства всеобщего соцобеспечения на Западе сократит туристическую индустрию. Люди будут меньше ездить по планете.

А дальше — подобного будет все больше и больше...

Перемены неизбежны. Вечно сдерживать технологический прогресс невозможно. Но если его перестать сдерживать, то новые технологии покажут свою полную несовместимость с капиталистическим строем. Они начнут его ломать, усугубляя кризис старой формации. Так уже было в истории — так будет и на сей раз. Новые производительные силы порождают могильщиков старого общества.

Но, видишь ли, читатель, некапитализм — хотя бы изначально — может быть очень разным. С помощью одних и тех же прорывных технологий можно создать и коммунизм, и новый феодализм, и самый лютый нацизм. К новым технологиям нужны и соответствующие общественные отношения. Последние не могут существовать без прорывных технологий (невозможно строить более совершенное общество на технической базе вчерашнего дня), но точно так же и весь потенциал таких технологий не откроется полностью там, где нет подходящего общественного устройства.

Новые технологии грядущей эры — дар и живительный, и весьма опасный одновременно. Напряжение в мире нарастает. Новые технологии, создавая избыточные экономические возможности и высвобождая целые армии людей, уже воздействуют на историю. Даже теперешняя техника вызывает бурный демографический рост на бедном Юге, плодя экстремизм и ускоряя начало Великого переселения народов. Технологии VI уклада рождаются с оружием. С помощью новых материалов и электроники можно даже нынешние виды неядерных вооружений делать сверхэффективными.

Только новый строй, который одни назовут коммунизмом, другие — нейромиром, а третьи — когнитивной эпохой, — в силах превратить технологический прогресс в совершенное благо.

Только строй, что не ставит во главу угла прибыль, способен на такое. Лишь тот строй, для коего мерило всего — Человек.

Даже весьма несовершенный СССР гораздо лучше мог бы распорядиться прорывными технологиями. Ему было под силу зажечь мечтой миллионы сердец — и переучить, переподготовить миллионы высвобождающихся людей. И создать для них новые сферы приложения их сил, умений и талантов.

Можно невиданно расширить сферу образования: так, чтобы один учитель приходился не на тридцать, а на десяток детей. Да придать школам еще и «учителей игр», создав, по сути, «человекостроительные долины». И тогда мы получили бы сверхобразованное, гармонично развитое потомство. Тесно примыкает к этому сфера здравоохранения.

А гигантское новое строительство? А новая урбанизация с созданием футурополисов — усадебных городов и городов-домов нового типа? А гелиотектура, как у Сергея Непомнящего? А восстановление мертвых земель и превращение пустынь в орошаемые сады и житницы? А освоение материкового шельфа? А гигантская сфера научных исследований, сулящих фундаментальные прорывы — и требующих построения целой индустрии добычи знаний? Там ведь — и гигантские ускорители, и грандиозные лаборатории. А сфера освоения космического пространства, требующая не только своей промышленности и мощнейшей науки, но и поистине религиозного рвения (вроде движения крестовых походов) для осуществления дальних миссий? Сюда можно направить высвободившиеся ресурсы, мозги и рабочие руки.

Здесь же — тесно сцепленный с космическим второй Суперпроект: создание нового человечества, следующей расы, достижение физического бессмертия.

А дальше — пусть еще не столь грандиозная, но крайне важная сфера философии. Создания смыслов для человечества. Получение ответов на вопрос: а зачем мы живем во Вселенной, в чем наша миссия? Ибо умным людям понятно, что наука, игравшая ведущую роль в развитии с семнадцатого века, вскоре уступит место лидеру философии. Это неизбежно. Сначала люди должны будут отвечать на вопросы смысла жизни и деятельности, и только потом подтягивать на помощь науку и технологии.

Я не зря привел отрывок из Ивана Ефремова. Тот, кто читал его романы о коммунистическом будущем, помнит, какая сложная гуманитарная структура нарисована в его обществе звездолетов и высоких энергий. Разветвленная и разносторонняя система образования/воспитания. Система инициации юношей и девушек: ввод их во взрослую жизнь через систему подвигов и деяний. Академия Горя и Радости. Надеюсь, вы понимаете, к чему это и зачем.

И это — строй более высокой ступени развития, нежели капитализм. Только он позволит превратить научно-технический прорыв во благо человеку, а не в его гибель. Вот оно, настоящее спасение от Темных веков и волны отвратительного «вторичного варварства».

Александр Зорин

Угол зрения Ефросинии Керсновской

В 1919 году отец Ефросинии был арестован ЧК, ему удалось лишь чудом спастись, и семья Керсновских бежала из Одессы в Бессарабию, где поселилась в своем родовом имении. В 1940 году после аннексии Бессарабии Советским Союзом усадьба была конфискована, а Ефросиния как «бывшая помещица» выселена и ущемлена во всех правах. Зарабатывала на хлеб тяжелым физическим трудом. Летом 1941 года ее депортировали на спецпоселение в Томскую область. Через год она была приговорена к высшей мере наказания за попытку к бегству. Отказалась просить о помиловании, однако расстрел был заменен десятилетним сроком, к которому через два года добавились еще десять лет за «контрреволюционную агитацию».

После освобождения в 1952 году жила в Норильске, а затем в Ессентуках, где в 1964–1968 годах написала свои мемуары. Это две с лишним тысячи рукописных страниц и без малого тысяча рисунков, рассказывающие о детских годах Ефросинии Керсновской в Одессе и Бессарабии, высылке и лагерных мытарствах.

Может ли человек, попавший под поезд, остаться живым? Нет-нет, его не задело буфером, не сшибло под насыпь. Он лежал между рельсами и чувствовал, как над ним тяжело и грозно громыкает смерть. К тому же он знал, что последний вагон оснащен стальным штырем, последней преградой к спасению. Таким человеком была Ефросиния Антоновна Керсновская¹, а поезд, прогромыхавший над нею, — ссылка, лесоповал, ГУЛАГ — власть Советов, выбросившая ее из оккупированной Бессарабии в 1940 году.

Пожалуй, сравнение мое не полно. Человек под поездом недвижим, только чудо может его спасти. Ее и спасло чудо. Но, как отклик на ее беспримерную активность. Выжить — да, чудо; запомнить до мельчайших подробностей круги ада — тоже чудо, свойственное ее феноменальной памяти, но — воспроизвести в сотнях рисунков и в тексте (полторы тысячи страниц, двенадцать толстых тетрадей) — это подвижничество, духовный подвиг.

При выходе на свободу она должна была дать подписку о неразглашении, то есть выбросить из памяти все, что видела и пережила. Это якобы простая формальность, бумажка, которую, страха ради, подписывали все освобождающиеся заключенные. Она не подписала, и ее вернули в зону. Она считала, «человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово». Словами не бросалась. В конце концов, выпустили —

Зорин Александр Иванович — поэт. Последние публикации в «Дружбе народов»: «Сердца избыточный груз...» (2002, № 6); «Без посредников» (2002, № 11); «Нестандартная фигура. Борис Крячко в письмах и воспоминаниях» (2004, № 1).

¹ *Ефросиния Антоновна Керсновская (1907–1994) — писательница и художница, человек нелегкой и героической судьбы.*

с запретом жить в больших городах. Оставшись в Норильске, она тут же взялась за воспоминания. Но чекисты (тогдашний НКВД) держали ее на мушке. Учинили обыск и рукопись, уже большую, изъяли. Сохранилась ли она в их архивах, или давно сожжена в печах первой оттепели? В 1964 году Ефросиния Антоновна принялась за воспоминания снова. Пообещав, матери, что напишет обо всем, что ей рассказывала.

И вот, родилось уникальное в своем роде творение, в равной степени запечатленное в рисунке и в слове. Книга, по силе свидетельства не уступающая солженицынскому «ГУЛАГу». Кстати, и написанная раньше.

Не все можно выразить словом, рисунок не дублирует, а восполняет текст. Уникальность еще в том, что рисунки фиксируют реальность с документальной точностью. Она так и говорит: «пытаюсь "сфотографировать" то, чему я была очевидцем»

Это не комиксы и не лубок. Это шедевры наивного искусства, в котором нет академической выправки, но чувства и впечатления хлещут через край. Магниева вспышка памяти высвечивает сюжетный рисунок. По одному из них, опубликованному в «Огоньке», узнал своих родителей ее крестник. С того времени, когда она виделась с ними, прошло более двадцати лет.

Подобным даром обладал Пушкин. Он рисовал портреты по памяти. Но не столь давней, и в основном рисовал профили. Профиль резче, легче запоминается.

Ефросинию Антоновну никто рисованию не учил и литературному творчеству тоже. Она не была прирожденным художником, хотя в детстве, как многие дети, рисовала. Не чувствовала в себе и писательского призвания. Можно сказать творцом она стала поневоле. Честное свидетельство уже есть творческий акт. Совесть формирует личность, развивая в ней творческие потенции. Ее искусство созревало и совершенствовалось по мере осуществления, и в том виде, в котором дошло до нас, не имеет аналогов. В стиле явлены черты ее характера, а это признак высокого мастерства: динамичный диалог, резкие характеристики, точность и острота взгляда, беззлобный юмор, самоирония. И что более всего характеризует автора — угол зрения, акцентирующий внимание на главном, на жизненно важном.

«Упрямством можно многого добиться: можно победить голод, усталость, страх.... Но нельзя победить смерть. А эта беспощадная компаньонка моих скитаний, повсюду следовавшая по пятам за своей жертвой, вновь приблизилась ко мне и зашагала со мной в ногу. И шаги мои замедлились, ноги чаще стали заплетаться. Все труднее стало вытаскивать их из снега и из валежника. Чаще приходилось садиться, отдохнуть. И все труднее вставать после отдыха.

<...> И вдруг где-то совсем близко заревела корова. Я куда больше была подготовлена к тому, чтобы услышать трубу Архангела. Мычанье какой-то буренушки было полнейшей неожиданностью. Думаю, никакая небесная симфония не смогла бы меня поднять на ноги, а тут я так стремительно вскочила, что если в это самое мгновение Смерть уже склонялась надо мной, то, должно быть, я ее здорово огрела затылком по зубам!»

Художник, она не упускает из вида зрительный план, картину, которая втягивает в себя захватывающей реальностью.

К рисунку она пристрастилась, выполняя в лагерной больнице заказы своего шефа хирурга. Ему нужны были изображения внутренних органов человека для защиты своей диссертации. Позже, ей прислали акварельные краски, и она не расставалась с ними, исхитрившись сберечь драгоценную коробочку от бесчисленных шмонов.

Творчество спасительно в заточении. Оно возможно и там, где личность беспощадно уничтожается. Творчество, духовное трудничество наиболее действенная защита в неволе. Можно создать музей художественных произведений узников — от ГУЛАГа до наших дней.

На судьбу Ефросинии Керсновской несомненно влияло чудесное вмешательство свыше. Ничем иным нельзя объяснить ее многократные спасения. Сорвавшаяся с крутого берега лавина бревен должна бы, размозжив ее, похоронить под собой....

Но она оказалась в прогале застрявших бревен, и лавина прогрохотала над нею. «Крепко за тебя кто-то молится», — вымолвил, побелевший от страха ее напарник. В другой раз она изнуренная зимним бездорожьем и голодом, отведала мерзлой конины. Ничего кроме не могла дать ей хозяйка, мать четырех детей. И мороженое мясо дохлой лошади спасло ее. «Вам удивительно повезло, Фросенька, — говорил ей много лет спустя врач терапевт, — сырое мясо, съеденное малыми порциями, было единственной едой, которая не оказалась для вас губительной». И много других чудесных совпадений сопутствовало ей.

«Повезло» — расхожее объяснение позитивистски настроенного ума. Дед Кравченко, ее напарник, выразился точнее: «ты заговоренная». И действительно, будто Провидение хранило ее, силой духа задавая меру выносливости и защиты: и когда таскала на спине стокилограммовые мешки с цементом, и когда препарировала в морге трупы (1640 вскрытий), и когда защищала кулаками свое и чужое достоинство. Вторую щеку обидчику не подставляла.

Сказались, разумеется, и личные качества: интеллект, физическое здоровье, нравственный стержень.

А что поддерживало духовные силы? Что их питало?

На краю проруби, в которую уже решилась шагнуть, вдруг отшатнулась, увидев глубоко подо льдом свивающееся в воронки, шуршащее течение Стикса. «Боже! — прошептала я, сложив, как в детстве для молитвы руки. — Боже! Укажи, что мне делать? И что бы ни случилось, да будет воля Твоя!» И тотчас почувствовала ласковое прикосновение чьей-то руки... «Мама! Живая или мертвая, но душа ее со мной и молитва ее в критические минуты моей судьбы придает мне силы».

Однако заметим, что первая отрезвляющая ассоциация — Стикс. В переводе с греческого — ненавидный. Река, текущая во тьму преисподней. Культура из закоулков памяти, пронизанная религиозным чувством, подавала ей знаки спасения.

Из провала душевных потрясений она выбирается, можно сказать, усилием голосовых связок, она — поет. Она и на свободе любила петь — в поле, работая в винограднике... Но здесь, за колючей проволокой... Сила духа прорывается в певческом даре... Русские песни не дают ей, смертельно усталой, упасть в штрафном изоляторе, загаженном человеческими испражнениями.

Духовная энергия аккумулировалась в мелодическом звуке. Святой Максимилиан Кольбе в фашистском лагере, в последние дни перед смертью *пел* молитвы. Молитвенный голос поддерживал угасающий дух и его, и его обреченных сокамерников. А ей, в безвыходных ситуациях, на память приходили слова любимых песен, или стихи. Ритм противостоит хаосу. Гармония опровергает абсурд происходящего.

Это наследственное. Мама ее, когда умирала, просила поставить пластинку с оперой «Иван Сусанин». И уже не в силах подпевать, слабеющей рукой дирижировала: «Ты взойди, моя заря, последняя».

Странностью покажется ее беспредельная честность. На кормление больных поросят выделялось молоко, которое она размешивала с кашей и кормила поросят с ложечки. Сама полуголодная, слабая, не смела воспользоваться молоком в свою пользу, слезы текли по ее лицу и она, «чтобы противостоять соблазну», пела.

В кабинете следователя, который «лепил» ей очередной срок, из репродуктора, вдруг, прорвалось до боли знакомое: «Песня Сольвейг», адажио из «Лебединого озера».... Музыка привела ее в чувство, и она уже готовая согласиться с абсурдными обвинениями, решительно их отвела. Она вспомнила вечер в семейном кругу, маму у радиоприемника, «поймавшую» музыкальную радиопередачу. В той же последовательности звучали Григ, Сен-Санс, Чайковский. Музыка была маминой природой — гармонической и счастливой. «Образы, возникшие в душе под влиянием этой музыкальной сюиты, и были тем порывом ветра, который развеял гипноз «духа извращенности», влекущего меня в пропасть». Образы, которые предстали ей впервые в атмосфере любви и семейного благополучия.

Не однажды, измороженная лагерным произволом она повторяла стихи Алексея Толстого:

Дружно гребите, во имя прекрасного,
Против течения!

Культура в необозримо широком спектре была опорой ее духа. Как все дворянские дети она училась в гимназии. Знала языки — английский, немецкий, итальянский, румынский, французский почти так же, как русский. Кроме того, была прекрасно начитана. Ее любимые герои Дон Кихот, д'Артаньян, Жанна д'Арк. Девиз святой Жанны носила в сердце: «Выполняй свой долг и будь что будет». Но надо знать *священные обязательства долга*, чтобы избежать своеволия. Фрося впитала их с молоком матери. Родители научили ее «любить правду и идти лишь прямым путем». «К счастью моральный фактор играл для меня всегда главную роль. Я говорю — «к счастью», потому что он всегда облегчал выбор пути и образ действия. Мне никогда не приходилось мучиться сомнениями и раскаиваться в принятом решении, так как путь, по которому я шла, мог быть только тот, который указывала мне совесть».

Кажется, будто в ее арсенале задействована вся мировая литература. Она обращается к Данте, Шиллеру, Эдгару По, Марку Твену, Дюма, братьям Гримм, Бернарду Шоу, Кипплингу, Бичер-Стоу (к этой с нескрываемой иронией: что стоит жизнь негров в Америке, описанная Бичер-Стоу, в сравнении с жизнью туземцев советского ГУЛАГа), Джеку Лондону, Виктору Гюго, Жуковскому, Гоголю, Лермонтову, Некрасову, Маяковскому (за уничижительную характеристику поэзии которого схлопотала второй срок); приводит примеры из греческой мифологии, из римской истории. Спартанцы были идеалом ее юности. Фон исторических и культурных ассоциаций накладывается на чудовищную картину человеческого безумия, встающего перед глазами.

С Пушкиным не расстается. Пушкинские строчки слетают с ее губ. Иногда неточно, что только подтверждает их привычное употребление. Нет нужды сверяться с подлинником, они давно стали своими. Пушкин для нее своего рода индикатор: «я не встречала, пишет она, ни одного подлеца, который бы умел ценить Пушкина». Неожиданный критерий оценки поэта. И, наверное, точный. Следовательно, назвавший себя поклонником Пушкина, оказался-таки подлецом.

Какое место занимал Пушкин в семье Керсновских, можно судить по слову матери, обращенному к Фросе, когда они расставались. У нее, убитой предстоящей разлукой, вырвалось: «ты мое все». Так сказал Аполлон Григорьев о Пушкине — «наше все». Неслучайный перифраз.

Порой ей кажется, что красота в неволе «перестает существовать». Человек, изнуренный голодом, холодом и невыносимым трудом, не замечает ни красок, ни четких линий. Но это временное затмение. В полутемном бараке она видит луч заходящего солнца. «Сон уже мутит мое сознание, но я сопротивлялась, потому что хотелось еще немного полюбоваться пляской золотых, переходящих в оранжевый цвет пылинок». И это после кошмарного многодневного этапа, где она чуть не погибла. Потребность «полюбоваться» у художника сильнее всех биологических потребностей. Красота неистребима для человека, если не убит орган ее восприятия.

Одним из вершителей ее судьбы оказался ее художественный дар. Уже отбывшая срок, но не выпущенная из лагеря, она часто и подолгу рисовала, сидя на нарах. За этим неуместным занятием ее застало высокое начальство, генерал в золотых погонах. У генерала, видно, был художественный вкус, он оценил ее рисунок, и на следующий день ее освободили.

Убить Хохрина — палача и выроodka, наследие сатанинской власти. И, возможно, убила бы, если бы увидела его глаза, а не голый затылок. На рисунке плешь сияет, как медный таз призывно и беспомощно. Но, не только медный затылок остановил руку с

топором, а внезапная мысль об отце, чей пример был для нее «всегда лучшим компасом». «Папа! Я — не убийца...»

Я уверен, здесь действовала та же сила, что остановила руку праотца Авраама с занесенным ножом. Хотя жертвы далеко не тождественны. Бог не хочет никакой человеческой жертвы. Это был решающий момент в ее судьбе. Испытание, из которого она вышла победителем.

Хохрин — начальник леспромхоза, от него зависели сотни бесправных ссыльных. Он с выгодой для себя увеличивал норму дневной выработки, штрафовал их, обрекая на голодную смерть. Обычный служака, правда, с садистским вывертом, каких власть поставила надзирателями над миллионами арестантов и ссыльных. Много ли в России таких хохриных? Много, миллионы, в чем она убедилась не сразу, ибо не хотела верить.

Она не хотела верить в несметное множество хохриных с первых дней оккупации, когда коммунисты устанавливали в Бессарабии новый порядок. Фрося не верила в силу зла, ибо, как заметила ее опытная соотечественница, по-настоящему с ним никогда не сталкивалась. Кроме того, советская пропаганда умело и тонко облапошивала граждан соседних государств. Фрося вела себя как страус, только пряча голову от грозных событий не в песок, а в работу. Она хотела быть «полноправным полезным гражданином своей страны», и оказалась ее рабом, ее позорным пасынком.

Впервые осознала это, вкусив плоды сибирского гостеприимства. Восемь месяцев она была в бегах, скитаясь по тайге, натываясь на редкие русские селения. И там, где просилась на ночлег, часто слышала: «проходи мимо, или собак спущу». Бежавших советских каторжников местные жители охотно сдавали властям за вознаграждение. Фросе не раз грозила такая участь, и она ночевала в чистом поле — в снегу, в стоге сена, или в тайге под деревом. Человеческий кров — за редким исключением — был опаснее, чем стог сена. Зарыться в родные травы, и поскорее уснуть, слыша, как снаружи беснуется снежный буран. Что есть родина, за которую «можно умереть, если она стоит того, чтобы в ней жить...»? Любящая мать или нещадная мачеха? Или это заснеженное травяное убежище, с душистым, памятным с детства запахом?

А может, Великая Гарь, безбрежная черная трясина? Она брела по ней более суток в полузабытьи, окруженная призраками — обгоревшими пнями. Брела по бугристому ледяному болоту, чувствуя, что Кто-то есть рядом, Кто-то говорит с ней. Мистическое ощущение не покидало ее. Кто-то хранил ее в ледяной пустыне, в недрах обугленной родины. Порой она видела себя со стороны, как души умерших видят покинутое ими тело. Маленькая фигурка, толкалась и двигалась в завалах снежной тайги.

Именно в это время прозорливая гадалка за тысячи километров от беглянки, говорила ее матери, «что видит женщину, перепрыгивающую с льдины на льдину и бегущую через широкую реку». И такое было на самом деле.

«Родина — это мать. Каждому хочется видеть свою мать доброй, умной, справедливой. Хочется доверчиво идти туда, куда тебя ведет твоя мать. И вдруг она оказывается вурдалаком и ведет тебя в трясину!»

В трясину, где правит закон уголовников. За исполнением закона следят назначенцы, как в зоне, поощряемые лагерной властью, урки. Такой закон создает видимость порядка. Начальству, на всех государственных уровнях, только такой и нужен. Без помощи уголовников, социально близких, власть не справляется с бесправным населением.

Модель устрашающего сдерживания существует и сегодня в армии. Дисциплина поддерживается насилием дедовщины. Почему с ней, по существу, никто не борется. Упраздни дедовщину, армия, основной контингент которой собран насильственно, распадется. Не удержатся ни контрактники, ни сверхсрочники.

В ледяные объятья угодила Ефросинья Керсновская, посчитавшая себя однаж-

ды «настоящим советским человеком». Нет, умирать за такую родину она не хотела...

Им, обездоленным, казалось, что каторжная Сибирь страшнее гитлеровских газовых камер, потому что ссыльных душили свои, соотечественники — бесчисленные хохрины.

В кузове машины, увозящей ее из родных мест, она перекрестилась. Инстинктивно, не думая о Божьем благословении перед неведомой дорогой. Вера была ее второй натурой, глубоко и счастливо усвоенная в христианской семье. Не набожность, цепляющаяся за внешние аксессуары, сестра суеверия, а безотчетное действие, послушное воле Всевышнего.

Она не очень хорошо знала Евангелие, с трудом вспомнила Символ веры, могла ошибиться в молитве, завещанной Христом. И ошибку не исправила, когда писала воспоминания. Обращение «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» она полагала первой просьбой, с которой мы обращаемся к Господу. И никто из ее первых читателей не обратил внимания на эту неточность. Это говорит еще о том, что она словами этой молитвы, которая входит в обязательное правило, никогда не молилась. И, наконец, странное утверждение с многоточием: «А вот на вопрос «Что есть истина?» еще никто не ответил...» Ответил Христос — Пилату, своим молчаливым присутствием. А еще раньше ответил своему ученику Фоме: «Я есмь путь и истина, и жизнь» (Ин. 14:6).

Евангелие не было ее настольной книгой. Литературу она знала лучше. Но это была литература, взращенная евангельской вестью. Евангелие не было настольной книгой у русской интеллигенции, которая исповедовала христианскую мораль гуманистического толка. Думая о своей личной и общей беде — о причинах русской трагедии, Ефросиния Антоновна не исключала причастности к ней сословия, к которому принадлежала: «наша интеллигенция все делала для того, чтобы привести Русь к царю Сталину и его опричнине». Эта мысль подтверждает точку зрения Бердяева, которого она наверняка не читала. Бердяев писал: «С русской интеллигенцией в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье: любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине». И тем не менее сквозь тягу к справедливости и общественному добру, воля и совесть Керсновской устремлены к абсолюту. К истине. Почему она и задается вопросом «что есть истина?»

Она может ошибиться в определении. Чувство собственного достоинства, попираемого на каждом шагу, называет гордостью. Но именно достоинство, соизмеримое с высшей божественной ценностью, она, рискуя жизнью, бросается защищать и в себе и в других. Не было Евангелия, но была чуткая совесть, тянущаяся к Христу.

Конечно, здесь имели место и личные качества. Ее таланты и характер, доставшиеся от предков — поляков по отцовской линии и греков по материнской. Не русская по крови, она была воспитана русской культурой, и Россию считала своей родиной, хотя многое не понимала в ней. Почему на плодородной земле люди живут впроголодь? Почему в стране с великой культурой, столько зла и изуверства? Почему на фоне ликующей и богатой природы народ задавлен страхом? Могла бы ответить словами любимого Пушкина: «Сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Но почему же бес главенствует и верховодит в стране, крещеной без малого тысячу лет?..

В Норильске ее удивил молодой человек, считавший, что человечество может спасти только христианская любовь и всепрощение. Такого сочетания она не могла принять, пережившая столько загубленных жизней, встретившая столько извергов и палачей.

Что-то другое удерживало ее на высоте. Не давало опуститься в грязь... Не всепрощение, а защита попорченной чести — рыцарская отвага. Вот случай, который можно считать символическим... Впрочем, символична вся ее жизнь, каждый из поворотов ее судьбы — символ. Колонна женщин возвращается из шахты, со смены.

Дождь размыл дорогу и под ногами хлюпающая жижа. Охранник из блатных, издевательства ради скомандовал: ложись! За непослушание, известно: пуля. Все — кто на коленях, кто, опираясь на руки, кто, полусидя, погружаются в дорожную жижу, она — стоит. «Ложись, кому говорю! Или...» Дуло винтовки, чуть ли не касается ее лица, в глазок прицела она видит мутный зрачок смерти. Но — стоит. И тут выпорхнула из лужи ее напарница, худющая похожая на воробышка женщина. «Нет! Не смеешь ее убивать! Не смеешь!» И конвоир отступил. Одна за другой стали подниматься женщины. Бесстрашие порождает бесстрашие, пусть не у всех.

В той преисподней были люди, которые не шли на поводу у беса. Будто слышали голос Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28).

Чистая душа Дон Кихота оставалась незапятнанной в бесконечных передрыгах и потасовках. Рыцарь печального образа телесные повреждения переносил стоически. Он, перешагнувший литературу, сопутствовал всей жизни Ефросинии Антоновны. В детстве она задала трепку своему старшему брату за то, что тот смеялся над его подвигами. Биться за правду — это без дураков, это серьезно, как бы ни выглядело смешно и дико со стороны. Это запало с детства.

Все, что с ней происходило, она принимала, как волю Божию. Это ли не смирение! Но, не пасуя перед злом. Мать, уркачку, которая пыталась задушить своего ребенка, измордовала, «истрепала, как крысу». Разве подобная реакция противоречит воле Божьей?.. Нисколько. Но Ефросиния сокрушается, и корит себя за донкихотство, не видя пользы от своих усилий. Та самая мать, время спустя, ребенка своего все-таки задушила.

Удары сыплются на нее со всех сторон, ее выбрасывают с работы, с каждого места, где спасала людей и была невосполнимо полезной. Она мешает начальству своей непререкаемой правдой. «Может быть, это было донкихотство, но именно в этом, как и во всем прочем, я компромиссов не допускала».

Когда ее приговорили к расстрелу и — предложили написать просьбу о помиловании, она на поданном чистом листе начертала: «Требовать справедливости — не могу, просить милости — не хочу». «Дон Кихот оставался в своем репертуаре», — оценивает она этот поступок годы спустя. А в тот момент никаких рефлексий. Действие прямое, как копье в руке рыцаря, выбитого из седла.

Рыцарская отвага удерживала на высоте ее противоборство. Не зря среди ее польских предков были рыцари, доблестные свойства которых унаследовали ее дед и отец.

Но при этом она понимала, что «чуть ли не ежедневно пыталась плетью перешибить обух». Что принимает бой «с открытым забралом, более бессмысленный, чем любое из выступлений Дон Кихота». Сознание бесполезности поступка не останавливало ее. По логике и здравому смыслу — да, бесполезно, а по совести — иначе нельзя.

Несколько раз она была на грани самоубийства. Вот и сейчас, овладев пистолетом следователя и уже оттянув предохранитель, на секунду задумалась, куда выстрелить в сердце или в висок? Решила уйти. Бесповоротно. Последней каплей, сломавшей хребет ее выносливости, было то, что увидела в комнате, где проверяют — перлюстрируют — почту. Женщины, обязанные прочитывать письма по заданию: пропускать—не пропускать, большую часть писем не читали, а рвали и сбрасывали в корзину. Это были в основном треугольники, письма с фронта. От защитников родины к своим родным, упрятанным за колючую проволоку. Женщины проделывали это автоматически — серая безликая карательная машина. Керсновскую напрямую их действия не касались, ей никто не писал. Она даже считала себя счастливой оттого, что страдала одна, что никто не разделял ее страдания. Была уверена, что матери нет в живых.

Но сейчас сдалась. Боль за других сломала ее. Свою боль несла, за других не вынесла. И вот мгновение — перед тем, как нажать на курок. В кабинете следователя

раскрытое окно, а в окне «небо голубое, каким оно бывает в начале лета, по нему плывут белые облака, как паруса, надутые ветром. И как было всегда и как всегда будет, — пара ласточек, чье гнездо, очевидно, находилось где-то поблизости, занимались своим радостным трудом: сутились, нося мошек своим птенцам, и лишь изредка усаживались на провода...»

Нотная линия проводов, на которой ласточки как щебечущие ноты. Ассоциативный музыкальный ряд, наполненный непреходящим смыслом. За окном простиралась дивная красота, сотворенная Создателем. «Это и было чудо — красота настоящая, вечная и простая». Впору перекреститься, а у нее в руках пистолет... Нет, она причастна к этой вечной жизни и отречься от нее не смеет! Она отбросила пистолет на диван, и следователь услышал шмякнувший звук. Пусть он распоряжается своим оружием, как хочет.

Жест? Донкихотство? Нет, трезвый, подсказанный свыше, выбор.

Немая сцена, потрясающе выразительная: раскрытая кобура, из которой Фрося двумя пальцами вытянула пистолет, следователь, не заметивший пропажи и склоненный над протоколом; вдруг метнулся ошпаренной кошкой за пистолетом, толком не понимая, что произошло. Откуда он шлепнулся на диван? Керсновская глядит в другую сторону, в окно, спокойная, готовая отвечать на вопросы. А на самом деле видит все в отражении стекла. Но, главное, видит небо и гонимые ветром паруса облаков. *Вот ее угол зрения!* В свете голубого неба кабинет следователя предстает смехотворно нестрашным, а попытка самоубийства — минутным казусом. Этот, который с пистолетом, такого неба никогда не увидит. Как Пилат не увидел Истины, стоящей перед ним.

Нет, она не умрет, испытавшая на грани отчаяния благоговение перед жизнью.

Женщина, обретшая силу и характер мужчины. Фрося и в Бессарабии трудилась за десятерых. Все хозяйство держалось на ней — поля, выпасы, скотина. Когда красноармейцы, застав ее во дворе с вилами, в поту и в соломенной трухе, спросили, а где у вас тут барин? Она, зная цену физическому труду, ответила: «Барин — это я».

Мужское начало заметно в ее натуре. Она, будто подчеркивала его, изображая себя на рисунках в гимнастерке, брюках и сапогах. А уж там, где орудовала кулаками, проявились явно не женские бойцовские качества.

Природа и здесь пришла ей на помощь. У нее исчезла грудь и прекратились месячные. Этот «курьезный — как она пишет — факт самозащиты организма», продолжавшийся четыре года, помог ей адаптироваться в узилище, одолеть начальные тяготы рабства.

На гнусности плотской любви, которой хватает и в неволе, на всякого рода коблов и жучек, смотрела с отвращением. Она была девушкой. Невестой Христовой. Завещала похоронить себя в белых одеждах. Что было исполнено.

Невеста Христова сражалась за дело Христово. Именно сражалась. Самоотверженно и по-мужски. Чего так не хватает теплохладному христианству, не выпускающему Евангелие из рук. Об этом хроническом изъяне писал, вторя Бердяеву, французский философ Эмманюэль Мунье: «Тот, у кого никогда не вскипала кровь, не поймет христианства. Тот, кто никогда не хотел биться за свою любовь, любит наполовину. Тот, у кого никогда не возникало внезапного желания убить, весьма абстрактно представляет себе христианское прощение».

Она не святая, не Жанна д'Арк. И не кавалер-девица Надежда Дурова, к которой благоволил Пушкин. Она дистанцируется и от своего любимого Дон Кихота. Ее противоборство не сравнимо ни с чьим. Как ни с каким другим временем не сравним русский XX век в своих безднах и высотах.

Валерий Столов

Холокост: ожившее Средневековье или явление Модерна?

Существует устойчивый стереотип, восходящему к антигерманской пропаганде времен Второй мировой войны, — попытку «решения еврейского вопроса» в Третьем рейхе рассматривают как «возрождение Средневековья». Первым такое определение дал, по-видимому, не кто иной, как И. Сталин в ноябре 1941 года: «гитлеровцы... устраивают средневековые еврейские погромы...»¹. Мнение это бытует и поныне.

Верно ли оно?

Если всем прочим аспектам агрессивной деятельности Третьего рейха (борьба с политическими противниками и оппозицией, стремление подчинить себе больше ресурсов) искали пусть не оправдание, но хоть какое-то объяснение, то понятие «холокост» стало символом бессмысленной жестокости, в которой выразилась суть гитлеровского государства. А причину, по которой объектом истребительной ненависти этого государства сделались именно евреи, видели в «тяжелом наследии прошлого» — в традиции, возникшей в Средневековье. Таким образом, «окончательное решение еврейского вопроса» приобретало вид закономерного итога извечных гонений — итога, единственно возможного в условиях, когда современный и рациональный подход к проблеме не смог прийти на смену подходу традиционному, архаичному.

Однако сегодня подобная интерпретация этих трагических событий уже мало согласуется со знаниями о них, которыми мы располагаем. Она выглядит слишком искусственной и однобокой; причем это относится как к характеристике гитлеровской Германии, так и ко взгляду на еврейскую историю.

Начнем с последней. Более пристальное знакомство с положением евреев в период, последовавший за распадом Западной Римской империи, несколько разрушает образ вечно страдающего и угнетаемого меньшинства, созданный в XIX веке «плаксивой историографией», как выразился крупнейший историк еврейского народа Сало Барон. Практически до самого наступления Реформации в XVI столетии евреи представляли собой единственный пример религиозного меньшинства в Европе. Спрашивается: а куда же подевались все остальные? Ответ на этот вопрос ясен: они были уничтожены или, в лучшем случае, изгнаны.

Одним из наиболее известных тому примеров является судьба катаров — сторонников религиозного движения, получившего распространение на юге Франции и практически полностью уничтоженного в XIII веке в ходе так называемых Альбигойских

Столов Валерий Борисович — педагог, директор частной общеобразовательной школы. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Доклад на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями города Москвы 6 ноября 1941 года. — *Сталин И.В. Сочинения*. — Т. 15. — М.: «Писатель», 1997. С. 71.

войн, вдохновляемых католической церковью. Можно также вспомнить судьбу мусульман, расселившихся в ходе арабского завоевания Пиренейского полуострова (Конкисты) и полностью исчезнувших из этого региона после христианской Реконкисты. Правда, справедливости ради надо заметить, что по окончании Реконкисты евреи тоже были изгнаны из Испании. Однако в большинстве европейских стран еврейские общины сохранились. И главная причина этого заключается не в какой-то особой выживаемости, а в том терпимом к ним отношении, которое исповедовало христианское общество.

На первый взгляд это утверждение кажется шокирующим, противоречащим тем сведениям о кровавой череде убийств и погромов, которой, как принято считать, отмечена вся еврейская история. О какой терпимости можно в таком случае говорить? Однако так называемая «теология презрения», сформулированная еще на заре христианской эры Блаженным Августином, утверждала: хотя евреи достойны всяческого унижения за грех убийства Христа и отказ признать его Божественную природу, но их при этом нельзя убивать и насильно обращать в христианство, дабы не лишать возможности раскаяния и исправления. По мысли Августина, массовое и добровольное обращение евреев в «истинную веру» станет преддверием конца времен и Второго пришествия Спасителя на Землю.

И в целом эта установка соблюдалась. Так, когда в ходе Крестового похода «освободители гроба Господня» подвергли разорению оказавшиеся у них на пути еврейские общины Прирейнской области, Ватикан разрешил переход обратно в иудаизм тем евреям, которые, спасаясь от неминуемой смерти, приняли крещение. Да и впоследствии нередко встречались случаи, когда евреи, преследуемые разъяренной чернью, находили убежище в домах епископов и монастырях.

В роли покровителей евреев выступали далеко не только представители церкви. Зачастую в этом качестве выступали монаршие особы, которые получали взамен кредиторов, финансирующих их весьма дорогостоящие предприятия (самыми затратными из которых являлись, разумеется, войны). Недаром, описывая правовой статус представителей «Моисеева племени», рукописи того времени называют их «рабами королевской казны». А польские князья даже усиленно приглашали к себе селиться евреев из Центральной Европы, видя в них тот самый городской элемент, наличие которого, как становилось все более и более очевидно, являлось необходимым условием для развития государства. Польшу стали называть «раем для евреев». И их поток, хлынувший в эту страну, был столь велик, что к моменту раздела Речи Посполитой в конце XVIII века между Россией, Австрией и Пруссией, там проживало самое многочисленное в мире еврейское население.

Таким образом, существование евреев в Средние века вовсе не сопровождалось постоянными мучениями, притеснениями и страданиями. В сословном обществе того времени они составляли одну из замкнутых корпораций, имевшую свои повинности и свои привилегии.

Разумеется, безопасным их существование не было. Но у кого в те лихие времена оно было таковым? С другой стороны, как показано выше, невозможность полного уничтожения гарантировалась определенной ролью, отводимой евреям в христианской эсхатологии.

В Новое время, по мере углубления секуляризации, запрет на убийство евреев перестал выполнять свою останавливающую роль. Поэтому, когда в рамках нацистской идеологии выкристаллизовалось отношение к евреям не просто как к «беспольному» народу, но и несущего вред всем прочим одним фактом своего существования, как к «антисе», никакого останавливающего механизма, препятствующего геноциду, не оказалось. Иными словами, холокост стал возможным не потому, что его исполнители действовали «средневековыми» методами, а, напротив, потому, что их методы слишком далеко ушли от средневековых.

Уяснение нами этого обстоятельства позволяет лучше понять и поведение евреев, обреченных нацистами на уничтожение. То спокойствие и готовность к сотрудничеству со своими палачами, которое они зачастую демонстрировали, порождает недоуменный вопрос: понимали ли эти люди, какая участь им уготована? Можно сказать с высокой долей определенности, что нет! Знание собственной истории не могло не привести этих несчастных к мысли, что их враги, как это не раз случалось в прошлом, преследуют некую конкретную цель, которая вовсе не сводится к уничтожению еврейства. К сожалению, дело обстоит именно так.

Но почему те, кто ведал в рейхе «еврейским вопросом», пришли к наиболее радикальному «окончательному решению»? Точный ответ на этот вопрос мы едва ли когда-нибудь получим, но определенные предположения выдвинуть можем. Но прежде необходимо сказать несколько слов о механизмах функционирования гитлеровского государства.

В первые послевоенные десятилетия во многом благодаря кинематографу сформировалось массовое представление об этих механизмах, как об эффективной, четко отлаженной, работающей без сбоев, хотя и бездушной, машине. В отечественном кино этот образ с наибольшей художественной силой воплощен в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Недаром, как говорят, его демонстрация вызвала к жизни первые в СССР подростковые неонацистские группировки: так внешне привлекательна была изображенная в нем работа бюрократического аппарата гитлеровской Германии. Что ж, эстетике в Третьем рейхе и правда придавалось большое значение. А вот что касается функционирования бюрократической машины, то здесь фильм про великого разведчика Штирлица демонстрирует скорее советские, чем немецкие реалии. Один из примеров — эпизод, в котором штандартенфюрер заявляет, что забирает арестованного из тюрьмы, принадлежащей другому ведомству. В тогдашней Германии, для которой была характерна постоянная борьба различных, подчас дублирующих друг друга ведомств, это было совершенно немыслимо.

Если, скажем, в СССР правящая (она же — единственная) партия представляла собой стержень системы государственного управления, то роль правящей партии в Третьем рейхе была более неопределенной. Нередко гауляйтеры (местные партийные руководители) соперничали за власть с бургомистрами, причем это соперничество отнюдь не всегда завершалось в их пользу. Еще более сильная конкуренция наблюдалась среди высших нацистских бонз. Чем это оборачивалось на практике? Достаточно вспомнить, что наряду с «официальной армией», Вермахтом, в Германии существовала еще одна, «альтернативная» — так называемые войска СС, имевшие особую форму, собственное командование и подчинявшиеся напрямую главе СС Гиммлеру. Также военно-воздушные силы, Люфтваффе, возглавляемые Герингом, включали в себя, помимо собственно авиации, также зенитную артиллерию, а в конце войны — еще и пехотные дивизии (так называемые авиаполевые) и ракетные подразделения, обеспечивающие запуск реактивных снарядов «Фау-1» (созданных в пику армии, которая приняла на вооружение баллистические ракеты «Фау-2»).

У исследователей такая странная система ожесточенной конкуренции между различными частями тоталитарного государственного механизма получила название «тоталитарная анархия». Причем, несмотря на очевидный вред, наносимый достижению преследуемых государством целей (безотносительно к оценке самих этих целей), Гитлер сознательно поддерживал эту систему, поощрял конкуренцию между своими подчиненными. Это полностью отвечало его социал-дарвинистским убеждениям. Подобно прочим людям, склонным переносить идею Ч. Дарвина о выживаемости сильнейшего из природной среды в социальную, «фюрер германского народа» рассматривал человеческое сообщество как разновидность животной стаи.

Какое отношение эти реалии нацистской системы имеют к холокосту? Они показывают, что далеко не все, что происходило в ее рамках, директивно утвержда-

лось на самом верху, то есть непосредственно Гитлером. Нередко это было инициативой его подчиненных, которые таким образом пытались доказать свою значимость и важность руководимых ими структур.

Вполне возможно, что и в случае с «окончательным решением еврейского вопроса» мы сталкиваемся с этой же особенностью нацистского государства. Ведь и концентрационные лагеря, и айнзатцгруппы, осуществлявшие массовые казни евреев на Восточном фронте, входили в структуру СС и подчинялись непосредственно его главе Генриху Гиммлеру. Надо сказать, что эта личность довольно сильно отличалась от большинства верхушки национал-социалистов. Прежде всего, он не принимал участия в Первой мировой войне, хотя и встретил ее окончание в школе прапорщиков. Кроме него, среди ближайших соратников Гитлера не были отмечены причастностью к «фронтовому братству» лишь Геббельс (его не призвали в армию из-за инвалидности, которую, впрочем, он тоже любил выдавать за последствия ранения) и Борман, служивший денщиком в тылу (и тоже склонный к придумыванию военных подвигов). Образование у Гиммлера было сугубо мирное — агроном. При этом он был заиклен на вопросах «чистоты крови» и прочей квазинаучной полумистической чепухе. Кстати, сам Гитлер, вопреки распространенному мнению, мистикой особо не увлекался и уж тем более не превращал ее в основу для своих политических шагов.

Вполне возможно, что именно Гиммлер отдал приказ о начале полного уничтожения еврейского населения. Почему? Здесь могли сыграть роль и его навязчивые идеи о необходимости следования принципу «расовой чистоты». Однако не надо сбрасывать со счетов и вполне материальные, конъюнктурные соображения. Демонстрация в разгар войны того, что подчиненные ему эсэсовцы заняты выполнением важнейшей задачи, не уступающей по своей значимости задачам армии на фронте, означало участие в той самой постоянной межведомственной конкуренции, составляющей основу «тоталитарной анархии».

К тому же важно напомнить, что холокост — это не только история убийства миллионов безоружных, невинных людей, но также и история гигантского ограбления. Ведь смерть настигала несчастных голыми в прямом смысле этого слова. Все их имущество отбиралось. Золото, драгоценности, собственность поступали в распоряжение государства. Одежда, мелкие вещи раздавались или продавались за бесценок жителям оккупированных Германией стран, чем «подслащивалась пилюля» их собственного ограбления. Так что уничтожение евреев служило и весьма выгодным коммерческим предприятием. Что также больше соответствует нравам капиталистической эпохи, а не средневековой, когда материальная выгода далеко не всегда становилась ведущим мотивом деятельности людей.

Следует учесть и еще одно обстоятельство, касающееся происхождения идеи об «окончательном решении еврейского вопроса». Со времен Нюрнбергского процесса принято считать, что цель истребления еврейского населения вынашивалась нацистской верхушкой едва ли не с самого момента прихода к власти, а быть может, и еще ранее. Однако впоследствии стало ясно, что это не так. Антисемитизм действительно являлся центральной, интегральной частью нацистской идеологии, но ее практическое воплощение в первые годы после прихода НСДАП к власти не принимало убийственного, истребительного характера. Евреи были лишены гражданских прав — да, это было. Кстати, как заметил по этому поводу один историк, в результате введения в действие Нюрнбергских законов в Германии статус евреев в этой стране уравнился со статусом негров в США. Их активно принуждали покинуть страну — тоже верно. В организации еврейской эмиграции, между прочим, СС тесно сотрудничало с сионистскими организациями, прежде всего, с Еврейским агентством (Сохнудом) — ведь в данном вопросе цели обеих структур совпадали. Активно шел и процесс изъятия еврейской собственности («ариизация собственности»).

Конечно, убийства происходят и в этот период. Их пик пришелся на так называ-

ему «Хрустальную ночь» с 9 на 10 ноября 1938 года, когда десятки евреев были убиты, а 20 тысяч арестовано и брошено в концлагеря.

Когда же возникает идея не просто унижать и притеснять евреев, но уничтожить их поголовно? Может быть, она существовала у лидеров нацистов изначально и лишь ее практическая реализация в силу различных тактических причин откладывалась? Такова была господствующая точка зрения в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны. Однако сегодня мало кто из специалистов ее разделяет. Не найдено никаких документов, которые бы свидетельствовали о том, что план «окончательного решения еврейского вопроса» был составлен загодя и дожидался своего часа в глубоком секрете. Его попросту не было, этого плана. Существовала идея антисемитизма, бывшая интегральной частью, объединяющей вокруг себя различные стороны доктрины национал-социализма. Причем, хотя она уходила корнями в Средневековье, в то же время она была по-настоящему современной. И обвинения, которые она предъявляла евреям, были новые, причем зачастую — диаметрально противоположные. Так, например, евреев обвиняли в том, что они являются символом капиталистического ограбления и одновременно агентами мировой революции.

А после прихода нацистов к власти мы можем наблюдать непрерывную радикализацию, ужесточение отношения к евреям в Германии. Сначала — попытка бойкота товаров и услуг, предлагаемых евреями (не очень удачную, впрочем. Немцы просто не понимали — почему надо отказываться покупать то, что дешево и качественно, лишь потому, что это продают еврею). Затем — ограничение евреев в правах (Нюрнбергские законы). Требования носить на одежде специальный знак (желтую «Звезду Давида»). Отъем собственности, принуждение к эмиграции. Затем попытка обрушить на них «гнев народа» в отместку за попытку убийства германского посла в Париже, предпринятую еврейским юношей Гершлом Гриншпаном — «Хрустальная ночь».

После начала Второй мировой войны гитлеровский режим получил власть над Польшей — страной с самым большим еврейским населением в Европе в то время. В крупных городах оккупационные власти создают гетто, в которые сгонялось это население. Как раз возрождение этого термина, «гетто», — пожалуй, единственный пример прямого обращения к средневековой практике применительно к политике относительно евреев. Но между содержанием понятия «еврейское гетто» в Средние века и в XX веке существует большое различие. В первом случае в гетто никого не загоняли — это была естественная форма проживания меньшинства. Нацистские же гетто являлись по сути своей тюрьмой, и даже их внешний облик подтверждал это: они были обнесены колючей проволокой, охранялись часовыми и т.д.

А затем, с нападением Германии на СССР, началась фаза массовых убийств, осуществляемых участниками айнзатцгрупп в десятках, сотнях городов и местечек, расположенных на территориях, переходящих под контроль немецкой армии. Затем после совещания высших офицеров СС, проведенного под Берлином в январе 1942 года и получившего название Ванзейская конференция, эта практика распространилась и на другие европейские страны. Население гетто свозилось в специальные центры уничтожения, расположенные на территории «Генерал-губернаторства» (так называлась та часть Польши, которая не была включена в состав рейха), где убивались непосильным трудом, голодом и специальными высокотехнологическими методами, обычно — отравляющим газом.

Точное количество жертв «окончательного решения» едва ли когда-нибудь будет подсчитано. Известны однако другие цифры. Германия проиграла ее, и теперь уже ей пришлось принести страшную жертву торжествующим победителям. В 1945–46 годах от 12 до 14 миллионов немцев были насильно изгнаны со своих земель, не менее 2 миллионов из них были при этом убиты. Но это, как говорится, уже другая история.

Илья Смирнов

Мой Китай

В воспоминаниях, дневниках, заметках

Мне довелось немало поездить по Китаю. Китайские города редко бывают привлекательными сами по себе, кроме разве что южных — Ханьчжоу, Сучжоу, но и там примечательна скорее природа, чем собственно городская ткань. А вот храмы везде очаровывают.

«Храмовые» заметки

Клубы ароматного дыма поднимаются к небесам. Это творится молитва. Горят связки курительных палочек. Собственно, «жечь благовония» это и значит в Китае поклоняться божествам. Можно возжечь и свечи, причем обязательно по две, одну или две пары. Издавна повелось осуществлять связь с богами посредством сожжения тех или иных жертвенных предметов. В глубокой древности сжигали настоящие вещи, которые потребны божествам, позднее — их бумажные копии. Так молящиеся обуштраивали быт своего бога, пересылая ему предметы домашнего обихода, фигурки лошадей и слуганок и, разумеется, деньги.

Богов здесь великое множество, и каждый отвечает за свой жизненный участок. Так что, как правило, обращаются к ним с конкретной просьбой: бога богатства просят о деньгах, богиню-чадоподательницу — о даровании обильного мужского потомства, духа домашнего очага — о достатке в семье и так далее. Разумеется, есть и духи — покровители разных профессий.

Если же говорить собственно о вере, то китайцы всегда были не слишком религиозны. Основатели двух главнейших китайских вероучений — Конфуций и Лао-цзы — именно учителя, а не религиозные проповедники и тем более не пророки.

Все китайские храмы похожи друг на друга. Не только те, в которых поклоняются Конфуцию, Лао-цзы или Будде, главам традиционных вероучений. Сходным образом выглядят и мечеть, и синагога. Разве что редкие христианские соборы сохраняют свой привычный облик — их строили европейские миссионеры.

А традиционный храм устроен как усадьба. Издавна культовые сооружения возводились по тем же принципам, что и жилище: вот главный дом, вот флигели. Это ведь и в самом деле дом бога — все китайские боги когда-то были людьми. Да и сделавшись богами, приняли облик не божественный, а чиновничий, то есть опять-таки — человеческий. Порой внутрь статуй богов помещали маленькие искусственные сердце, печень, другие органы, чтобы все у них было «по-людски»; иногда туда же сажали живых насекомых — одушевляли истуканов. Той же цели способствовал обряд «открытия глаз», когда глазам статуи пририсовывали зрачки — бог становился зрячим.

Богов и кормить принято, как людей: им подносят свинину, чай, вино, сладости и фрукты. Будде жертвуют только растительную пищу, сладкую воду и цветы. Впрочем, сами божества, как считалось, насыщаются исключительно духовным экстрактом жертвенной еды, собственно пищу с удовольствием поглощают молящиеся.

Но некоторая специализация храмов все-таки существует. Наиболее практические, рациональные — конфуцианские. Каждый китаец знает начало «Бесед и суждений» Конфуция: «Учиться и повторять выученное — это ли не радость!» Так что конфуцианство — это религия ученых, которые, по мысли патрона, поистине «соль земли», лучшие люди, и культ Конфуция теснейшим образом связан с государственной службой, карьерой.

Споры конфуцианцев с представителями другого национального вероучения, даосами, начались еще при жизни Конфуция и его старшего современника Лао-цзы, отца даосизма. Если Конфуций верил, что вмешательство в жизнь благородного, высокоученого человека способно эту жизнь улучшить, то Лао-цзы и его последователи полагали: чем меньше вторгаться в действительность, тем благотворней и для людей, и для мира. Разумеется, все эти споры были и остались уделом мудрецов; в храмах, куда люди приходят не с рассуждением, а с верой, даосы издавна занялись той сферой жизни, которой конфуцианцы принципиально не интересовались, а именно: всем чудесным, таинственным, волшебным. Конфуций-то терпеть не мог говорить о чудесах. Не любил он и рассуждений о загробной жизни. Зато религиозные даосы подробнейшим образом расчислили всю потустороннюю жизнь: и преисподнюю, которая есть точный слепок с земного суда, и рай для святых праведников. Ну и, разумеется, даосские маги и волшебники всегда славились умением предсказывать судьбу, гадать.

Из дневника 1990 года.

24 января, город Ухань

«Даосский монастырь Вечной весны живописно карабкается в гору. Храмовые залы угнездились по крутому склону. Их череда от подножия к вершине символизирует восхождение к совершенству. К верхнему храму ведет лестница, почти вертикальная. На ней две надписи: «Лестница на Небо» и «Здесь кончается Земля». Во дворах множество чудесных деревьев, на солнцепеке уже раскрыла золотистые бутоны желтая слива мэйхуа. В Небесном храме перила и стерегущие лестницу ритуальные львы шицзу — из голубовато-зеленой поливной керамики. Стены покрыты росписью.

Много зелени. Монахи, молодые и старые, мужчины и женщины в синем облачении, на головах — черные высокие клобуки.

В одном из залов можно погадать. Процедура простая: становлюсь на колени перед портретом Лао-цзы, беру обеими руками высокий деревянный стакан с узкими, тоже деревянными пластинками, и, встряхнув его, даю выпасть одной. Подхожу к монаху, протягиваю выпавшую пластинку. Он открывает особую книгу и находит предсказание, соответствующее знакам на пластинке. Записывает предсказание на листочке и отдает мне. Читаю: "Много денег; крепкое здоровье". Неплохо!

(Надо сказать, что такой обнадеживающий опыт гадания оказался крайне неудачным. Ну, что денег не появилось, как обещал монах, — это ладно, дело привычное. Но когда через неделю, вернувшись в Москву, я сломал ногу, обещание крепкого здоровья показалось чистым издевательством. Хотя, конечно, могло и что-нибудь похуже случиться... — Примеч. 2012 года).

Буддизм, хотя и отдал дань высокому любомудрию, все-таки по преимуществу религия. Буддисты почитают множество богов — Будд и бодхисатв. Главные из них: Будда прошлого, Будда настоящего — Шакья-Муни и Будда грядущего. Последнего узнать очень легко — вот он, толстобрюхий, веселый, смеющийся Милэ. Перед его статуей обычна надпись: «Будда велик и могуч». Бодхисатвы посредничают между Буддами и людьми, творят добро, занимаются земными делами. А помощь людям ох как нужна. Ведь человек живет в страдании, погряз в страстях и пороках. Он пребывает в круговороте превращений, вырваться из которого можно только избавившись от

любых желаний — источника страданий. Необходимо покинуть чувственный материальный мир и перейти в мир нирваны — небытия, угасания, покоя.

Традиционная примета всякого китайского храма — фигуры свирепых вояк, обороняющих молящихся от демонов.

В особом флигеле в стороне от главного алтаря расположен храм пятисот архатов, то есть преемственных во всех поколениях учеников Будды. Вы видите череду золоченых статуй, изображающих людей смеющихся, серьезно размышляющих, грозных. Нет ни одного повторяющегося лица. Каждый из архатов чем-нибудь славен, и облик его отражает какую-то главную его черту, свидетельствуя вместе с тем о многообразии мира. Мастерство безымянных скульпторов-резчиков поразительно. Тончайшие оттенки мимики, позы переданы с редкой точностью и изобразительной силой.

Фигура на перекрестке рядов — знаменитая Гуань-инь, бодхисатва Авалоки-тешвара. Сначала это было божество в мужском облике, затем бодхисатву стали изображать с распущенными волосами и с ребенком на руках. Она сделалась покровительницей матерей и детей. Иногда она именуется тысячерукой Гуань-инь; то, что кажется подобием крыльев за спиной богини, — ее руки. Это символ светлой силы добра и благородства, бесчисленных способов помочь ближним, множественности путей сострадания.

Конфуцианство, даосизм и буддизм со временем слились в «тройственное учение», поэтому и пантеон богов у них во многом стал общим. Собственно, и истоки двух первых верований во многом сходны. Пришедшему из Индии буддизму пришлось приспособливаться, что он и проделал с немалым успехом.

Храмы обычно переполнены. Но верят ли китайцы в своих богов, религиозны ли они — сказать трудно. Если и верят, то как-то уж очень на свой лад.

В первый свой приезд в Пекин я настолько увлекся китайской кухней в сопровождении китайской же водки, что через месяц-другой почувствовал явное недомогание, печень потягивала. Питерская коллега, выросшая в Китае в семье русских эмигрантов, решительно заявила: «Нужно сходить к китайскому врачу». Она же и отыскала удивительного старика — лекаря чуть не в тридцатом колене. Жил он в обычной квартире обычной пятиэтажки недалеко от университета, то есть на пекинской окраине. Потом мы с ним подружились, и я даже осмелился спросить, отчего окружает его такая бедность — пластиковые столы и стулья, ни книг, ни живописных свитков. Оказалось, в «культурную революцию» его родовой дом сожгли хунвейбины, его самого отправили в ссылку, где он провел почти двадцать лет. Били? Нет, этого не было. Наказание назначили изощренное: бедняге запрещалось убивать на себе комаров, которых там, на озере Поянху, полчища.

Он был классический пульсовик — врач, определяющий болезнь по пульсу. Но не только. Когда в Москве заболела моя матушка, он лечил ее заочно и, узнав, что она его коллега, врач, практически бесплатно. Уверен, лет пятнадцать жизни он ей сберег.

Выслушав мой пульс (это продолжалось минут сорок), старик глянул на меня пронзительными своими глазками и произнес: «Хай кэи!» — по-нашему что-то вроде: «Пока сойдет!». Вот уже четверть века с надеждой повторяю вердикт китайского лекаря.

С той поры мне интересна традиционная китайская медицина.

«Лекарские» заметки

В садах и парках Китая в любую погоду вы встретите множество пожилых людей, бодрых, подвижных. Не берусь с определенностью назвать причину их доброго самочувствия. Судя по возрасту, жизнь они прожили, мягко говоря, нелегкую — самые трудные годы пришлось на их юность и зрелые годы. Десятилетиями они недоедали, работали без выходных и отпусков, о бытовых удобствах слыхом не слыхивали. Куда как соблазнительно сказать: дело в том, что большинство из них смолоду занимались

гимнастикой тайцзицюань, а от любых недугов лечились традиционными средствами — травами, настойками, а не новомодными синтетическими препаратами. Не стоит преувеличивать, хотя, вероятно, доля правды в таких рассуждениях есть. Впрочем, что-то, а искусство здешних лекарей не нуждается в похвалах. Оно и так популярно — замечьте, не только среди стариков! — и в Китае, и за его пределами.

Пожалуй, только китайская кухня известна в мире шире, чем китайская медицина. Оно и понятно: все-таки люди, слава богу, чаще едят, чем болеют. Но и китайская медицина вниманием не обойдена: в Москве, к примеру, за последние пятнадцать лет число китайских лекарей стремительно растет. Стоит заболеть, как кто-нибудь из друзей заботливо предложит «замечательного врача-китайца», который будто бы лечит все — от насморка до бубонной чумы.

На другом полюсе столь же оголтелый пессимизм: молодой китайский врач, окончивший курс европейской медицины, в разговоре со мной и слышать не хотел о традиционных средствах, называл китайских лекарей шарлатанами и распространение многих болезней в Китае приписывал убогости национальной лечебной традиции. Разумеется, китайская медицина, как и любая другая, не панацея, но и отвергать начисто многотысячелетнюю лечебную культуру совершенно неразумно.

Философия китайского врачевания сложилась в глубокой древности. Уже тогда лекари полагали, что человеческий организм — это космос в миниатюре и, как все в природе, существует под воздействием двух противоположных начал — инь и ян, темного и светлого, женского и мужского. Инь и ян в гармонии — человек здоров; гармония разладилась — болен, и задача лекаря эту гармонию восстановить.

Издrevле центром медицинской помощи была в Китае аптека. Здесь и определяли болезнь, и назначали лечение, и готовили лекарства. Теперь такое редкость. Почти не встретишь аптечных лавок, где бы осуществлялся, так сказать, «полный цикл» — от выращивания и сбора лекарственных растений, их сушки, приготовления настоек и отваров, пилюль, мазей до составления прямо в присутствии больного лечебных наборов, прописанных врачом. Зато в крупных аптеках врачи традиционной медицины, как когда-то, ведут прием больных; нередки здесь и аптечные молельни, где страждущие могут подкрепить молитвой действие снадобий.

В небольших городках, привлекая туристов, часто устраивают в действующей аптеке музей. Именно тут, если повезет, увидишь старинную печь для отваривания лечебного сырья, особые деревянные корытца с круглыми резаками для измельчения сушеных растений, специальную аптечную утварь.

В витринах — спиртовые настойки на змеях, ящерицах, жабах. Удивляться тут особенно нечему. Европейская медицина не только с древности знает лечебные свойства разных животных ядов, но выбрала змею своей эмблемой. Так что в этом отношении китайцы неоригинальны. Зато они готовят снадобья из скорпионов и сколопендр. Используют яд, самих гадов растирают в порошок и готовят мази, в дело идет даже зола сожженного скорпиона (вылечивает от камней в почках), а масляная настойка на живых пауках — лучшее средство при воспалении среднего уха.

В рецептурных прописях можно встретить вареного японского ужа и порошок из него же; кожу и мясо ежа; мясо выдры; экстракт из свежих улиток; птичий зоб (!); тигра во всех видах. О такой мелочи, как сверчки и прочие жучки-паучки, и говорить не стоит.

Популярнейшие лекарства готовят из перламутра раковин-жемчужниц и из самих жемчужин (лечебными свойствами жемчуга объясняется во многом и его популярность в качестве украшения — мы уже говорили об этом).

Но прежде чем назначить лекарство, нужно распознать недуг. Тут китайские лекари несравненные мастера. За их спиной многотысячелетний опыт. В старину лекарская профессия была, как правило, наследственной, и ребенка с детства ставляли в секреты ремесла. Великие медики определяли болезнь, едва взглянув на больного. Но просто хорошему врачу требуется для этого тщательный осмотр и разговор с пациентом. Нет ни единой черты внешнего облика, которая не могла бы рассказать опытному доктору о состоянии больного: походка, тембр голоса, мимика, жестикуляция, блеск глаз. И все-таки главнейшее средство диагностики — выслу-

шивание пульса. Это целая наука. Различают аж 36 видов пульса, и каждый указывает на определенный недуг. С разными болезнями связаны и разные точки выслушивания пульса: на височной артерии, у крыльев носа, на локтевом сгибе, между большим и указательным пальцами руки, на лодыжке, на запястье, конечно. Все они подробно описаны уже в наставлении XIII века.

Нужно сказать, что, когда китайский доктор укладывает твою руку на особую подушечку и принимается выслушивать пульс, замирает, обратившись в слух и внимание, чувствуешь себя весьма неудобно: кажется, тебя просвечивают до самого нутра, и нет в твоём организме ни одного здорового места.

В больнице традиционной китайской медицины все как в обычном медицинском учреждении: запись на прием к врачу, аптечный киоск. Вот разве что от прилавка аптеки больные отходят с непривычно большими бумажными свертками: китайские лекарства очень объемны. Готовят их не здесь, а в глубине двора, на задах больницы в специальной комнате с широкими столами. Командует несколькими стажерами — мальчиками и девочками — опытный провизор. Он ловко отмеривает на старинном безмене нужную порцию травы или сушеного корня, потом все это распределяется по сверткам, в каждом — ежедневная порция.

Когда-то мне довелось получить в китайской аптеке 21 такой сверток на три недели лечения; семь перевязанных вместе свертков на неделю составляли эдакую сосиску, длинную, но легкую. Для первой недели предназначались свертки с горьким снадобьем, пить его было чистым мучением. Во вторую неделю лекарство почти не имело вкуса, зато всю третью неделю пришлось потреблять на редкость вкусный и ароматный напиток. А сколько шуток я выслушал от своих соседей по университетской гостинице, когда по утрам, следуя указаниям аптекаря, готовил себе на плитке отвар из трав, хвостов ящериц, сушеных морских коньков, камушков и еще многого чего!

Иглоукалывание — чисто китайское изобретение, его принципы описаны в одном из первых лечебников. Считается, что создал его мифический Желтый император чуть ли не в третьем тысячелетии до нашей эры. Механизм действия иглокалывания до сих пор не до конца понятен. В старину думали, что болячки попросту выходят из тела через точки, в которые лекарь вводит иглу. Разумеется, все много сложнее. От врача-иглоукалывателя требуется точнейшее знание нужных точек и их связи с различными органами и системами организма; ошибка может дорого обойтись больному. Еще в XI веке по приказу императора Жэнь-цзуна были отлиты два полых бронзовых манекена в человеческий рост с тремя сотнями отверстий в точках, куда следовало вводить иглы во время лечения. Эти фигуры снаружи облекали бумагой, внутреннюю полость заполняли окрашенной жидкостью, и начинающие лекари должны были по заданию экзаменатора назвать связанные с указанной болезнью точки и без промаха ввести туда иглу: потекла жидкость — значит, попал; сделал это необходимое количество раз и не оплошал — выдержал испытание и можешь открывать практику.

В дополнение к иглокалыванию широко используют прижигание точек моксой и их массаж — ручной путем трения, разминания, похлопываний, щипков; или специальными из сандалового дерева бочоночками — способ их применения напоминает наши банки; а также горячими сухими зёрнами риса, поджаренными каштанами и даже горячим вареным яйцом.

Всякая медицина — последняя надежда больного, все понимают, что лучше вообще не болеть. Так думают и китайцы. С раннего утра старики и молодежь занимаются традиционной гимнастикой, теперь многие бегают. Но искусные китайские лекари вряд ли останутся без работы.

Если китайские города редко красивы той красотой, которой нас привлекают средневековые города Европы, то уж в чем их трудно превзойти, так это в красоте тамошних садов и парков.

«Садовые» заметки

Может быть, «великое в малом» — тот единственный принцип, который объединяет большинство китайских садов. В остальном они необыкновенно разнообразны, столь же не похожи один на другой, как несхожи вкусы их когдатошних хозяев. В старину знатоки с гордостью утверждали, что во всей империи не найти двух одинаковых садов. Разумеется, это так, но не стоит забывать, что разными средствами осуществлялась общая цель — красота. В какой бы китайский сад вы ни вошли, вас поразит его мягкая ненавязчивая привлекательность, умиротворяющая взгляд, изысканные виды — вода, мостики, деревья, беседки. Можно довериться этому первому впечатлению и не прогадать. Именно так поступает подавляющее большинство посетителей. И все-таки попробуем, не мешая взору произвольно скользить по садовому ландшафту, обратить внимание на некоторые существенные детали.

Скажем сразу, те сады, которые сохранились в Китае до наших дней, являются собой весьма позднюю вершину развития садово-паркового искусства. Когда-то, в глубокой древности, сады и парки разбивали исключительно при дворцах государей, и, как и все, что окружало императора, эти парки свидетельствовали о величии власти, ее связи с небом и космосом. Не случайно мифические правители населяли свои парки жертвенными животными, а водоемы — драконами. Позднее дворцовые парки символизировали вселенское могущество китайских правителей: сюда свозили животных, камни и растения со всего света, устраивали горы, на которых якобы обитали бессмертные небожители.

Отзвук этой философии сада можно обнаружить в дворцовых парках Пекина и его окрестностей.

На юге расцвело искусство частного сада-усадьбы. Здесь ученый муж жил, вникал в мудрость старинных книг, встречался с друзьями. Но главное, сад служил ему приютом уединения, где он предавался высокому «отшельничеству духа». Стоит ли удивляться, что непритязательная красота такой усадьбы напрочь отрицала пышную роскошь дворцовых парков, хотя создатели частных садов широко использовали привычные элементы императорского сада: искусственные горы и водоемы, причудливые камни и растения, — но словно бы отшелушивая все неестественное, претенциозное.

Сад — это не слепок природы, но и не нарочитость искусственного, пусть и очень искусного. Нам предлагаются для созерцания горы и воды, леса и горы, но словно бы в чуть более приближенном, даже увеличенном виде. Как на китайском пейзажном свитке художник мог произвольно изменить пропорции объектов, так и создатель сада акцентировал определенные природные свойства. Важно, чтобы сад отражал смену времен года, но сгущая, что ли, приметы определенного сезона.

Если на дворе осень, то, следуя традиции, повсюду будут золотиться хризантемы — «хризантемы осенней нет нежнее и нет прекрасней», написал китайский поэт, но цветы не растут на клумбах, а искусственно собраны в особые композиции. Краснеет клен, и его листья, кружащиеся в воздухе и плывущие по глади водоема, навевают печаль — главное настроение осени.

Зимой вечнозеленый бамбук напомнит о душевной стойкости человека в пору невзгод, потому так привлекает взгляд бамбук под снегом. Весной зазеленеет ива. Она — знак надежды. В старину было принято дарить молодые ивовые ветви тем, кто уезжал в далекие края.

Можно кружить по бесконечным дорожкам, можно остановиться — сад задуман и для неспешной прогулки, и для углубленного недвижимого созерцания.

Сад неотделим от построек — дома, павильонов, беседок; природа и жилище проникают друг в друга, свидетельствуя единство человека и мира. В садовый кабинет приходил хозяин для своих ученых занятий. Здесь его книги, живописные свитки. Их полагалось хранить свернутыми, а любоваться — раскатывая на специальном столике возле окна.

С глубокой древности китайцы жили практически без мебели: спали на специальных циновках на полу и сидели на полу, и еду там же готовили. Многие японцы

живут так и по сей день. Но постепенно под влиянием окружающих народов в обиход китайцев вошли стулья. Сначала раскладные, вроде тех, с какими у нас художники ходят на этюды, а потом и более основательные, со спинкой, позднее появились стулья с подлокотниками — кресла. Вслед за стульями подросла и остальная мебель: столы, кровати, этажерки.

Окна в доме задуманы как своеобразные рамы к картинам природы за стенами жилища. В одном из садов Сучжоу есть длинная галерея с сотнями окон — кажется, что идешь вдоль череды живописных пейзажей, заключенных в причудливые рамы: круглые, многоугольные, квадратные.

На столе ученого — «четыре драгоценности кабинета», без которых человек письменной и книжной культуры не мыслит своего существования: кисть, бумага, тушь и тушечница. Последний предмет — вовсе не аналог нашей чернильницы. Это неглубокая каменная ванночка, где растирали с водой палочку твердой туши. Разнообразные кисти подвешивались на специальной подставке. Хозяин выбирал нужную в данный момент — одну для упражнений в искусстве письма, другую — для заметок на полях книг, третью — для послания другу.

На юге жилище буквально распахнуто в природу. Хотя в зимние месяцы случаются снегопады, отопление в старину отсутствовало. Нет его и сейчас. Прежде грелись возле жаровни с углями, нынче — в ходу электрические обогреватели. Конечно, на севере строили и строят более солидное жилье. Непременный его атрибут — отапливаемая лежанка, вроде русской печи, но много ниже и шире. Без нее северных морозов не пережить.

Но конструкция дома в главных чертах везде в Китае сходна: система колонн и балок, засыпные стены. Все на виду, поэтому каждый ее элемент тщательно обработан и по-своему красив. Изящные крыши, как сказал поэт, «с летящими к небу углами», дополняют изящный облик садовых построек, а их отражение в воде — важный элемент оформления традиционного сада.

Случится поехать в Китай, не минуя его прекрасных садов. С первого взгляда вам, как и мне, вряд ли удастся понять все загадки китайского сада, но, любя его несравненной красотой, будем помнить слова знатока: «Хотя сад создается человеком, в нем само собой раскрывается небесное».

Самые красивые сады прячутся за высокими глухими стенами, и не они определяют облик китайского города. Вот вывески — другое дело.

В Китае царит культ уличных надписей — не заборных, упаси боже, а самых что ни на есть поэтичных и художественных. Чем меньше заведение, тем более пышной будет его вывеска. Крохотная книжная лавка обязательно «Сокровищница письменной культуры», магазин старьевщика — «Древние вещи, прославленные в веках», а уличная забегаловка — «Прибежище пяти вкусов и ароматов». И все это написано изящными знаками-иероглифами и служит украшением любой, самой затрапезной улочки.

«Иероглифические» заметки

Кто не слышал о китайских иероглифах, о «китайской грамоте»; об их нечеловеческой сложности всякий знает с детских лет. Для Китая письменность, иероглифика — не только важнейшая составляющая древней национальной культуры, но мощная скрепа, объединяющая страну, где разнообразие диалектов сравнимо с самобытностью местных кухонь. На слух житель Пекина с трудом поймет шанхайца и вряд ли уловит даже смысл сказанного уроженцем Гуанчжоу. А вот центральную газету или бегущую строку в телевизоре (она обязательна!) поймет всякий грамотный китаец.

Так что иероглифы никак не анахронизм (они, кстати сказать, удивительно легко компьютеризируются), а жесткая необходимость для многоязычной страны. Да и выучиться иероглифам не сложнее, чем привычному нам алфавиту.

Когда-то учиться начинали с трех лет. И не от простого к сложному. Учили наизусть изречения древних мудрецов, хором повторяли за учителем цитаты из ста-

ринных книг. На такое учение уходили десятки лет, но кончившие тогдашний курс становились подлинными знатоками своей культуры. Правда, и было их всего ничего, малая часть населения. Теперь, конечно, не то. Необходима всеобщая грамотность, и учатся все без исключения.

В нынешней школе с первого класса детишки овладевают умением писать знаки своего языка — иероглифы, то есть обучаются той самой китайской грамоте. Не знаю, существуют ли сейчас в российской школе то, что в моем детстве называлось «прописи», то есть специальные тетради с образцово написанными палочками, черточками, а потом буквами, подражая которым следовало заполнять своими каракулями строчку за строчкой. Для китайских детей подобные упражнения неотменяемы. В иероглифе всякая черточка и даже точка обязательны, малейшая оплошность может изменить смысл знака. Последовательность написания всех элементов тоже строго установлена. Иероглиф должен быть вписан в квадрат. В школе — в буквальном смысле: в квадрат прописей и тетрадей. Во взрослой жизни — в квадрат мысленный, хотя почтовая бумага почти всегда разграфлена на квадратики. Так вот, в такой квадрат иероглиф полагается вписывать сверху вниз из левого верхнего угла в правый нижний.

Теперь повторение пройденного происходит при помощи компьютера, знаки проецируются на экран, и дети хором их произносят. Подобное хоровое заучивание — давняя школьная традиция. Но не забыта и старая добрая доска, правда, тоже расчерченная, причем каждый квадрат для точности письма разбит еще на четыре меньших квадрата. В Китае умение писать иероглифы — не только свидетельство грамотности. Это высокое искусство с многотысячелетней традицией.

Наблюдать за работой мастера-каллиграфа истинное наслаждение. Лучше, конечно, если выбран уставной почерк, не требующий стремительного полета кисти, за которым было бы трудно уследить. Калиграф пишет, как было принято прежде, справа налево, тщательно фиксируя концы черт. Несколько минут — и надпись из четырех крупных крепко поставленных знаков готова. Что-то вроде: «Умиротворяющий покой, далекие стремления» — несколько измененные слова древнего философа Вэнь-цзы. И не будучи знатоком, можно оценить гармонию, соразмерность иероглифов, их расположение на горизонтальном свитке. И все без всякой прикидки или предварительной разметки. Для скорописи требуется другая кисть, потоньше. И снова без всякой примерки более тонкой кисточкой мастер стремительно пишет ровную строчку знаков ниже основной надписи. Теперь обязательные печати. Это и подпись, и завершающий графический и цветовой штрих. Рядом с черной каллиграфией алые квадратики печатей очень эффективны.

Разумеется, этому высочайшему искусству не научишься в обычной школе. Большинство грамотных людей просто умеют писать — более или менее четко и разборчиво. Как и у нас: хороший почерк у человека — или пишет как курица лапой. Раньше начинающие каллиграфы долгие годы работали подмастерьями: растирали тушь, готовили бумагу, постепенно усваивали приемы, манеру, стиль.

Однажды мне захотелось посмотреть, чему и как учат юных художников.

Художественная школа города Сучжоу славится своими традициями. Здесь чудесные дети и рисуют с усердием. Но учатся-то они европейскому рисунку! Все ориентировано именно на изучение традиций западной живописи — гипс, перспектива, реалистический портрет, постановочный натюрморт, голова Антиноя.

Это так же грустно, как уже поминавшийся Макдоналдс рядом с китайским рестораном.

Правда, в школе есть специальный класс каллиграфии. Но это не предмет учебного плана, а нечто вроде кружка. Занимаются древним искусством несколько энтузиастов, они уже достигли довольно высокого уровня, а это ой как непросто. Один из юных каллиграфов так и написал: «Море учения — безбрежно». А девушка преподавала мне вертикальный свиток с китайским стихотворением. Знаменитые строки поэта VII века Чжан Цзи написаны уверенной скорописью, выдают руку твердую и талантливую.

Сумеет ли эта молодежь сохранить древние традиции? Кто знает.

Собственно говоря, вопрос этот касается не только высокого искусства, но и

ремесел — несравненного умения сотворить подлинное чудо из предметов каждодневного обихода, чем прославлены китайские мастера.

Люди моего поколения и старше помнят, как в 50-е годы небогатые прилавки советских магазинов вдруг запестрели яркими причудливыми китайскими товарами. Красные, голубые, зеленые вазы из перегородчатой эмали — на них алели пионы, цвели сливы; вышитые скатерти с салфетками — забавные домики изгибали шелковые крыши, и горбились мостики над водой; многоцветные шелковые попугаи мерцали перьями среди цветущих ветвей на шуршащих шелковых покрывалах. И — венец мастерства — резные костяные шары один в другом на подставках. В шарах были высверлены отверстия, и удавалось разглядеть, как ловко они вращались там, в глубине. Даже ребенку становилось понятно — вот истинное чудо умелых рук! Это детское чувство восхищенного удивления переживаешь в Китае на каждом шагу. Самые обиходные предметы здесь, как правило, сделаны со вкусом и мастерством, достойным музейных собраний.

«Ремесленные» заметки

В южном Китае с его изнуряющей летней жарой с древности разного рода опала — вещь самонужнейшая. Сначала это были просто круг из плотной бумаги с ручкой или кусок шелка в раме. Позднее придумали складные веера. Но всегда их стремились как-то украсить, тем более что очень быстро веер превратился в деталь костюма — его носили подвешенным к поясу. Веера расписывали лучшие художники, надписи делали знаменитые каллиграфы, створки изготавливались из дорого дерева, серебра, слоновой кости и непременно с резьбой. Разумеется, в крохотной лавочке не встретить высоких произведений искусства, здешние умельцы копируют старинные образцы, но делают это со вкусом и уважением к многовековым традициям.

Как правило, такой художественный промысел — наследственный, детей с раннего возраста посвящают в секреты ремесла, и с годами они обретают устойчивые навыки для самостоятельной работы. Так, во всяком случае, было в старину.

В любой лавочке вам с гордостью покажут лучшие свои изделия — веера в рамках из резного сандалового дерева с изысканной росписью. Такие веера, конечно, не используют по назначению. Их укрепляют на специальных подставках, и они украшают жилище не хуже живописных свитков.

Вовсе не всегда китайский ремесленник имеет дело с, так сказать, мертвой природой. Издавна особая отрасль ремесла — это устройство миниатюрных садов, выращивание карликовых растений.

То, что во всем мире известно под японским именем бонсай, зародилось в Китае столетия тому назад и называлось «пейзаж на блюде». С невероятным терпением мастер выращивает сосну или бамбук, кипарис, сливу, придавая деревцам причудливую форму, подсмотренную в природе: высоко ценится карликовая сосна с кривым стволом, таким, как у ее «полноразмерной» родственницы, чей ствол изогнулся под ветром, а корни впились в расселину крутой скалы.

Тот же принцип «великое в малом», известный уже нам по большим садам, и его идеальное воплощение — «сад с горчичное зерно» — господствуют в этом тончайшем ремесле. Крохотные скалы придают растительным композициям подлинное величие. Как и природные пейзажи, миниатюрные растения требуют медленного несуетного созерцания. Ничто не должно отвлекать внимания. Потому-то считается, что лучше всего они выглядят на фоне белой садовой ограды.

Иной раз тяга китайцев-ремесленников к миниатюризации мира приобретает почти гротескные формы. Мне пришлось наблюдать за работой мастерицы, к каждому изделию которой обязательно придается лупа, иначе даже человек с самым острым зрением ровным счетом ничего не увидит. Сама она трудится, словно микробиолог, припав к микроскопу. Что заставляет человека принимать такие муки? Желание преодолеть не только сопротивление материала, но и собственного зрения? Не знаю. А спросить было неловко — столько гордости настоящего мастера за свои творения было в ее желании познакомить меня с этим редким ремеслом. Впрочем,

она далеко не единственная — кто-то рисует портреты на рисовом зернышке, другой — пишет что-то, не видимое глазу.

Иной раз китайские умельцы способны удивить не только размером своих изделий, но и используемым материалом. Мой добрый знакомый делает свои композиции из расплавленного сахара. Эдакие «петушки на палочке», ярмарочное детское лакомство, доведенные до всевозможного совершенства. Опять-таки ни шаблона, ни предварительной разметки — только твердость руки, опыт и художественный вкус. Вкус, кстати сказать, не только художественный, а вполне сладкий, только рука не поднимается положить в рот такую красоту.

Грань между ремеслом и искусством в Китае очень зыбкая, уличный умелец работает здесь порой с мастерством истинного художника. Но одно ремесло по рождению принадлежит к трем искусствам — живописи, каллиграфии и поэзии. Это искусство вырезать печати. По значению в жизни китайца личная печать сравнима только с визитной карточкой, без двух этих свидетельств о своей личности китаец — не человек. Печать много древнее визитки; кроме имени, она сообщает знатоку много интересного о своем хозяине: важны и материал — дерево, камень, кость; и размер, и художественное оформление — резная фигурка: знак зодиака или некий символ; разумеется, тип шрифта.

Заказать личную печать несложно, мастерские — буквально на каждом шагу. И товар там не последнего разбора. Но оказавшись однажды в гостях у знаменитого мастера, я не удержался и спросил, может ли он вырезать печать для меня. Он охотно согласился. И весь процесс создания личной печати протекал у меня на глазах, заняв не больше получаса.

Перво-наперво мастер попросил написать мое имя, иероглифами, разумеется. В китайской версии фамилия Смирнов звучит как Сы-ми-фу и записывается тремя иероглифами. Кстати, подбираются они не только по звучанию, но со смыслом, из числа знаков, используемых в фамилиях. Потом мастер поинтересовался, какой шрифт я предпочитаю. Выбираю самый традиционный для печатей почерк — *чжуань*.

Теперь нужно взять специальный справочник и посмотреть, какую точно форму имеет каждый из трех нужных иероглифов при написании этим почерком. На память или собственную фантазию тут полагаться нельзя. Теперь выбирается заготовка. Мне приглянулся крохотный буддийский лев, напоминающий мою собаку — мопса Пончика. Порода-то китайская и выведена именно в подражание священным львам.

Дальше разметка, рисование знаков и собственно резьба. Важна соразмерность иероглифов. Они ведь состоят из разного количества черт, от одной и до десятка с лишним, но выглядеть должны сходно — по высоте, толщине линий, графической ясности. Словом, красиво.

Режет мастер с непостижимой быстротой, хотя движения его руки внешне неторопливы. Ошибка исключена. Одно неверное движение — и все насмарку. Наконец печать готова. Делаем пробный оттиск, предварительно окрасив «рабочую поверхность» специальной красной пастой. Великолепно!

Иногда я в шутку заверяю какой-нибудь документ, кроме привычной подписи, этой печатью. И какой же красивой, совершенной становится сразу самая незначительная бумага! Вот что значит подлинное мастерство.

Сколько ни общаешься с китайцами, не устаешь восхищаться их простодушием, азартностью и любопытством — идеальный национальный характер для всяких игр и развлечений. Их в Китае и в самом деле превеликое множество. Играют все и повсюду. Сейчас, правда, в основном старики. Но еще в конце 80-х в любом уличном закутке, под мостами, во дворах резались в карты люди самых разных возрастов; то там, то здесь попадались бильярдные, где в клубах табачного дыма сражались игроки. Кстати, бильярд, как будто, тоже изобрели китайцы. Во всяком случае, такая версия существует. То же, впрочем, говорят и про шахматы.

«Игорные» заметки

Китайские шахматы внешне скорее напоминают шашки, привычных нам вырезанных шахматных фигур нет, но на деревянных шайбах иероглифами обозначены сходные с шахматными игровые должности: генералы (офицеры), солдаты (пешки) и так далее, по 16 фигур с каждой стороны. Правила и цель игры по-шахматному сложны.

Есть и собственно шашки, по-русски их принято называть «облавыми». В древности наряду с занятиями музыкой, каллиграфией и живописью игра в облавные шашки была частью досуга благородного мужа. Эта игра требует хорошей памяти, решимости и умения разыгрывать хитроумные комбинации.

Ну и, конечно, маджонг, или, в северном произношении, мацзян. Игра широко известна в мире, а уж в Китае — это просто повальное увлечение. Не в последнюю очередь это объясняется гармоничным сочетанием партнерства и соперничества — фактор, необыкновенно важный для китайцев всех возрастов.

Когда-то в мацзян играли сорока бумажными картами, на которых были изображены различные персонажи и цветы. Потом карты заменили прямоугольными костями, напоминающими костяшки домино, и их стало 152. Злые языки уверяют, что сделано это было потому, что азартные шлепки карт по столу недостаточно веселили игроков — китайцы обожают шумное оживление: стук костей мацзяна вполне удовлетворяет эту страсть.

Вообще-то азартные игры «на деньги» с древности находились в Китае под запретом — власти опасались этого повального увлечения: слишком велика роль единичного события — «случая» — в китайском мирозерцании. И то сказать: официальная мораль в Китае осуждала любое соперничество, тем более силовое и коллективное. Конфуций считал, что благородный муж может состязаться только в стрельбе из лука. А лучше — просто стрелять в цель. Иными словами, всякая чистая игра предпочтительнее игры-соревнования.

Правда, все чаще и чаще нынешние китайцы всем играм предпочитают игру на бирже. И, судя по множеству газетных сообщений о потерявших все накопленное за жизнь, отдаются этой игре с традиционной страстью и безоглядным азартом.

Если приходится долго жить в какой-то стране, невольно становишься свидетелем того, что наука этнография называет «обрядами жизненного цикла». Люди женятся, рожают детей, умирают, и все эти события обставляются соответствующими церемониями, много говорящими заинтересованному наблюдателю.

Китай стремительно расстается со своими традициями. Увидеть прежние обряды теперь можно разве что в музее, к примеру, в музее свадьбы. Будто бы дочь некоего состоятельного господина погибла вскоре после свадьбы, и он решил воссоздать самый счастливый и торжественный момент ее жизни. То, что представлено в музее, по правде сказать, бедновато: всего-то жених и невеста, родители да трубачи. А ведь это был едва ли не самый пышный обряд китайского быта.

«Обрядовые» заметки

Ранний, чуть ли не с младенчества сговор родителей или сватовство через сваху; обязательные советы гадателя — без него буквально ни шагу; выкуп за невесту и ритуальные подарки — пшеничные и рисовые лепешки; за несколько дней до свадьбы новые дары: зажаренные целиком свинья, петух и курица, баран; принадлежности дамского туалета.

Но свадебный наряд невесты подлинный — обязательная красная вуаль, оберегающая от сглаза; головной убор в виде короны только угадывается под вуалью. Можно вообразить, как торжественно выглядела свадебная процессия. Впереди шествовали факельщики, за ними музыканты, потом особые персонажи с красными зонтиками и чайниками. Невесту несли в праздничном паланкине. В старину невесту

в паланкине окружали талисманы, а к ее платью прикрепляли два мешочка — один с персиком, другой — с собачьей шерстью. Здесь же обязательно лежало зеркало, отпугивающее злых духов. Вокруг паланкина гремели петарды и хлопушки. Но все это в прошлом.

Уже в пятницу возле дверей трех ресторанов моей гостиницы появились фотографии-извещения, объявляющие о предстоящих в субботу брачных церемониях и ужине. В местном парке развлечений мы оказались свидетелями того, как готовятся эти свадебные (или, точнее, досвадебные) фотографии. Местные фотографы-умельцы — а бизнес этот, судя по всему, весьма доходный — собирают сразу с десятков пар будущих новобрачных и устраивают фотосессию.

Свадебные наряды совершенно европейские, без всяких уступок местным традициям. Думаю, что китайцы старшего поколения невольно вздрагивают при виде молодых пар: белый цвет в Китае — традиционный цвет траура, и белый костюм раньше считался уместным только во время похоронной церемонии. Но что поделашь — необратимо меняются и вещи посущественнее.

Сам свадебный ужин в целом мало отличается от нынешних московских свадеб. Разве что невеста появляется в клубах дыма, словно бы нисходит с небес, дети держат горящие факелы, да жаркие поцелуи пока не в чести: прилюдные объятия еще недавно были вообще немыслимы в Китае. Но прогресс и тут налицо.

Церемонией распоряжается нанятый затейник. Так было и в старину: свадебный церемониал требовал неукоснительного соблюдения в малейших деталях, известных только знатокам.

По сохранившейся традиции, гости подносят новобрачным деньги в красных конвертах и расписываются на листах красной бумаги. Со стороны это выглядит так, словно регистрируются делегаты конференции.

Бесспорное достоинство китайской свадьбы — строгие временные рамки: с 7 до 9 — и все. Молодые уезжают. Гости разбирают со столов остатки угощения. Ни пьяных, ни хмельного пения, ни потасовок. Раньше молодых провожали в спальню покои, отпускали малопрстойные шутки, рассыпали зерно, орехи — все, что сулило обильное потомство. Может быть, подобные обычаи сохранились где-то в глубинке, но в городах такого давно нет.

К слову, в том же городке, где расположился музей свадьбы, находится единственный в Китае музей того, что сами китайцы издавна называют искусством брачных покоев.

Экспозицию не без насмешки поместили в зданиях бывшей женской гимназии. Рекламные брошюры и путеводители, не обинуясь, называют его музеем секса. На самом же деле по большей части это собрание изумительно красивых произведений искусства — фарфора, живописи, скульптуры, — изображающих интимные отношения мужчины и женщины, но в большинстве своем — мужа и жены или наложницы. Неслучайно среди экспонатов — настоящие старинные свадебные паланкины, расписное брачное ложе и другие приметы семейного быта.

А что до изображений, то в старину считалось не только приличным, но и обязательным держать в спальне молодоженов альбом с гравюрами фривольного содержания — «науке страсти нежной» требовалось обучаться столь же тщательно, как и умению готовить или вышивать. А цель была одна — продление рода, той длящейся в веках череды предков, среди которых только и обретал человек, на взгляд китайцев, должные качества самостоятельной личности.

О похоронах писать грустно. И потому, что смерть — вообще событие не из радостных, и потому что этот когда-то важнейший в жизни каждого китайца церемониал почти исчез из обихода. Прежде китаец твердо знал: пройдя до конца свой земной путь, он упокоится на родовом кладбище рядом с предками. Даже если смерть настигнет его на другом краю земли, родственники не пожалеют усилий и денег, чтобы доставить его на родной погост.

Нынче в земле почти не хоронят, а очередь на кремацию растягивается на месяцы. Предприимчивые дельцы сдают могилы внаем на время: хоронишь близкого человека, как полагается, в гробу, в земле; оплачиваешь месяц, два, три — сколько

достанет денег, потом могилу освобождают, усопшего кремируют, а следующий покойник уже дожидается временного пристанища.

На таком макабрическом фоне отродно видеть, как заботливо сохраняются императорские могилы. В этом не только уважение к старине, но и традиционное уважение к старшему в роде, к высшему по месту в социальной иерархии (ну и возможность привлечь туристов, разумеется).

В древние времена было принято снаряжать умершего в путь так, как если бы он отправлялся в долгое земное странствие — все, к чему он привык, должно было быть при нем и после смерти. Традицию человеческих жертвоприношений ученый китаец не принимал и в древности. Поэтому в могилу помещали искусно сделанные фигурки слуг, жен и наложниц, миниатюрные предметы обихода. Всемирно известно грандиозное глиняное войско императора Цинь Ши-хуанди. Оно действительно впечатляет. Меня поразила одна деталь: известного своей суровой жестокостью правителя никто не осмелился спросить, сам ли он собирается после смерти править погребальной повозкой или доверится вознице, поэтому на всякий случай изготовили две разные колесницы. В одной до сих пор, как и две с лишним тысячи лет назад, легко открывается оконце.

Даже знатных людей хоронили скромнее. Им полагались погребальные предметы совсем не помпезные, скорее — изящные: крохотная серебряная мебель, утварь, подлинные головные уборы. Чтобы делать подобные вещи, нужно, по-моему, не просто верить в жизнь после смерти, но и знать о ее полном сходстве с этой жизнью, иначе ни за что не сделать таких надежных, удобных, красивых, а главное — самонужнейших предметов повседневного обихода.

У императора, разумеется, и потребности, и масштабы иные. Тут царство гигантов. С незапамятных времен в загробный мир государя сопровождают величественные каменные чиновники и воины, животные — реальные и волшебные. Они и сегодня сторожат священные дороги к государевым могилам, будь то в окрестностях Пекина или на юге, в Нанкине. Везде захоронение Сына Неба, как величали китайского владыку, должно выглядеть образцовым.

Давно миновала земная слава этих государей. Но величие смерти впечатляет до сих пор. Как и традиционное уважение китайцев к памяти предков.

«Антикварные» заметки

Интересно, что антикварные вещи, о которых пойдет речь дальше, именовались среди знатоков древними игрушками.

В старину страсть к собиранию антикварных коллекций питалась любовью к древности и неприятием суетного мира. Благородный муж, достигнув высот образованности и пройдя все ступени карьерной лестницы, всей душой отдавался изящному досугу. Собственно говоря, это тоже была заповедь Конфуция, который на старости лет стал жить в праздности. Праздность вовсе не означала безделья: постигать великое в малом, далекое в близком, чутко вслушиваться в ритмы природы — вот в чем состояло «сладостное ничегонеделание» китайского ученого.

Собирание антикварных коллекций было знаком возвышенной души, а вовсе не тягой к изящным вещам как таковым. Особенно ценились среди знатоков произведения каллиграфии и живописи. Свитки известных художников стоили целое состояние. Сейчас самые ценные образцы хранятся в китайских и зарубежных музеях. На мировых антикварных аукционах китайские древности лишь немного уступают по цене европейскому антиквариату. Заоблачные цены выставляют на бронзовые жертвенные сосуды и, разумеется, на редчайший фарфор.

На ежесубботнем антикварном рынке в Храме Конфуция есть на что посмотреть. Солидные торговцы держат здесь собственные лавки или даже магазины. Продавцы попроще раскладывают свой товар прямо на земле. Конечно, много разной дребедени, рассчитанной на невзыскательного любителя сувениров. Но по большей части вещи хорошего качества. Завидев иностранца, наперебой начинают предлагать вещицы, как они уверяют, очень древние, XVIII века или даже династии Мин, то

есть не позже середины XVII века. Тут нет злого умысла, это, скорее, такая игра. Никто не настаивает, если видит, что провести «заморского дьявола» не удалось. То же и с ценами. Всучить дешевую вещь втридорога совсем не так увлекательно, как продать что-нибудь после отчаянной торговли — с уходом покупателя, его возвращением, клятвами в подлинности вещи и прочими атрибутами настоящего рынка.

Даже на антиквариат существует мода. Сейчас в большом ходу резные плакетки, будто бы из старых дверей. Их режут в изобилии, искусно старят и ловко сплавляют иностранцам. То же с часами, еще в начале прошлого века бывшими в Китае такой диковиной, что их специально брали в аренду, чтобы сфотографироваться с соблазнительной драгоценностью. Теперь в специальном часовом ряду можно подобрать каретные часы, часы, цеплявшиеся за пуговицу с увеличительным стеклом, каминные часы с боем — и все тикает, звонит, отбивает часы и минуты, но только до гостиницы. Там старинные механизмы мгновенно умирают, и вернуть их к жизни уже не удастся никогда.

Особый угол рынка отведен для поделочных камней. Чтобы разобраться в них, нужно быть специалистом по минералам. Все это какие-то родственники нефрита, который у нас для благозвучия принято называть яшмой. Красноватые, желто-золотистые, зеленовато-голубые до молочно-белого камни разного размера, солидные булыги и небольшие, с куриное яйцо, необыкновенно хороши. Знатоки ценят игру прожилок, мерцание в глубине, размер, наконец. Действительно крупные красивые камни — редкость. Камни выбирают в основном мастера-камнерезы, угадывая в бесформенной каменюге будущего грациозного жеребенка, богиню Гуань-инь или самого Учителя Конфуция. Весьма вероятно, что через месяц-другой купленный камень вернется на рынок, но уже в другой ряд, готовым изделием времени династии Мин или Цин.

Но такое знание вовсе не исключает восхищения вещью. Из вечера в вечер разглядывал я и не мог оторваться от зеленоватой нефритовой лошадки в витрине антикара. Цену он ломил несусветную. А отдал вдесятеро дешевле, правда, плакал при этом настоящими слезами, говорил: «Лошадку жалко».

В антикарных магазинах торгуют не только антикариатом. Здесь можно заказать копии старых предметов мебели. Для туристов попроще — разные шкатулки, европейские шахматы в китайском духе (мы тут же купили несколько партий в подарок друзьям, как выяснилось позже, серьезно переплатив), чашки, чайники.

Но на традиционных этажерках можно отыскать подлинные сокровища: резные фигурки из кости и дерева, фарфоровые флакончики для благовоний — их подвешивали когда-то к поясу вместе с веером, кошельком, печатью и другими нужнейшими вещицами.

Вечером ярко освещенное окно очередной лавки древностей опять манит соблазнительной смесью разнородных и разнотильных предметов. Чего тут только нет. Поразительно, как китайцы помещают рядом вещь тонкого вкуса и нечто оскорбительно нелепое, вроде мраморных шаров, танцующих в струях воды.

А однажды случилось мне набрести на рынок поддельного фарфора. Вот уж поистине верх безвкусицы. Словно бы великое искусство китайских ремесленников враз куда-то испарилось. Были вазы даже похожие на настоящие, но похожие на свой прообраз, как турецкий отель в виде Московского Кремля — на Московский Кремль.

Иными словами: есть подделки и подделки. Благородные копии старинных вещей ласкают глаз. Грубая подделка — будь то якобы древняя ваза или современнейшие часы «Ролекс» — оскорбляет, точно плевок в лицо. Если вы, конечно, цените подлинность.

Кстати сказать, к драгоценной старине относится не только высокое искусство. Не меньше ценятся у знатоков народные лубочные картины, которые в Китае называют новогодними. Их печатают во многих сотнях экземпляров, когда-то перед праздником Нового года ими обклеивали двери, ворота, стены. Их и сейчас делают вручную. Сначала режут доски — для каждого цвета отдельно, потом последовательно на каждый лист наносят сначала черный контур, потом краску за краской; их, как правило, четыре. Большинство картин — благопожелательные ребусы, основанные на особенностях китайского языка: очень многие слова произносятся одинаково. Вот, к

примеру, как объяснял смысл одной из картин своего собрания замечательный китаевед В.М.Алексеев: «...старик с огромным лбом — это дух Южного полюса и звезды Долголетия Шоу-син посылает долгие годы; олень, на котором он восседает, дарует высокие чины с обильным жалованием (ибо олень и жалование звучат одинаково — «лу»). Толстяк-мальчишка держит в руках огромный гранат, раскрывший свои зерна, — желает сотни зерен-сыновей... два совершенно одинаковых мальчика держат в руках: один — коробку, другой — цветок лотоса. Это — символы, превращающие в ребус типичную для китайских картин формулу: единение-согласие — хэхэ. Коробка — хэ и лотос — хэ передаются однозвучными, но графически совершенно различными словами хэхэ».

Повествование мое немыслимо затянулось, пора и честь знать. Но невозможно напоследок не рассказать о том, что еще в древности служило символом Китая и осталось таковым по сей день — о шелке.

«Шелковые» заметки

Если о чем-то слагаются легенды, будьте уверены: это «что-то» весьма существенно для культуры. Китайцам напридумывали десятки полезнейших вещей, но далеко не о каждой узнаем мы из древних легенд и мифов. А вот об изобретении шелкоткачества легенды существуют, и не одна. Вовсе не все они достоверны. Так, рассказывают, будто бы жарким летним днем принцесса по имени Си Лиин-ши отдыхала в саду в тени старой шелковицы, и кокон упал в ее чашку с чаем. Как принцесса догадалась, что надо делать с коконом, история умалчивает, как молчит она и о том, что за чай пила барышня — первые чайные кусты появились в Китае много позже, чем китайцы научились выделывать шелк.

По другой легенде, некая девица сыграла жестокую шутку с конем своего отца и в отместку была превращена в подобие червя в конской шкуре и с лошадиной головой; червь поселился на раскидистом дереве и принялся исторгать изо рта длинную, блестящую и тонкую шелковую нить. Странное существо люди нарекли «шелкопрядом», а девицу стали почитать как богиню шелководства; конская шкура сделалась ее главным атрибутом.

Как бы то ни было, шелк китайцы выделывали тысячелетиями. Тайну его производства строжайше охраняли. И хотя по Великому шелковому пути караваны с шелком добирались до Рима, римляне понятия не имели о том, как делают эту ткань изумительной красоты. Полагали, что «с помощью воды с листьев собирают пух — так получается шелк». Кстати, ближние и дальние народы называли Китай просто: Страна шелка, производя названия эти от по-своему услышанного китайского слова «шелк»; отсюда и современное европейское — China.

Для сотен тысяч китайских семейств шелководство веками было главным источником дохода. В иные времена даже налоги взимали шелком — настолько он был дорог. На старых гравюрах можно разглядеть среди тутовых ветвей сборщиц листьев на корм гусеницам. Потом хитроумные китайцы догадались выращивать низкорослые деревца тутовника, и дело пошло быстрее. Выкормить гусениц было непросто, они чувствительны к температуре, любят только чистые листья. Не угодишь — нипочем не станут вить кокон.

Нынешнее шелковое производство куда как прозаичнее, хотя последовательность осталась той же. Шелковичные черви поедают листья тутовника. Потом белоснежные коконы отбирают и сортируют, распаривают в горячей воде и начинают вытягивать ту самую тонкую и блестящую шелковистую нить. Техника не потрясает воображение, многое, почти все, зависит от проворства работниц, их внимания и умения.

Современные шелковые ткани мало отличаются от тех, что ткали в старину. И тогда уже умели делать одноцветный шелк, узорчатый, газовый, многоцветный с рисунком. Одним из самых «китайских» узоров, легко узнаваемым, считаются стилизованные облака. По преданию, облачной тканью называл шелк великий Желтый импе-

ратор. А внучка Небесного владыки, жившая на берегу Серебряной реки — Млечного Пути, та попросту ткала облака из волшебного шелка — на то она и небесная фея, это ее силуэт за ткацким станком отмечают звезды созвездия Ткачихи.

Шелк и нынче недешев. Особенно в тех магазинах, где бывают иностранцы. Во всем мире сейчас популярны шелковые одеяла — легкие, теплые, натуральнее некуда. Начинку для них готовят вручную на специальных столах: слой за слоем растягивают особую шелковую пряжу. Вот за эту шелковую натуральность и приходится платить тысячи долларов.

Массовые шелковые изделия, конечно, дешевле. Это вовсе не значит, что они плохи. Просто их много. В любом магазине выбор будет примерно одинаков: белье, кофты, куртки, рубашки. Надежнее покупать шелковые халаты. У верхней одежды все-таки странноватый крой, не на всякую европейскую фигуру годящийся. Надевая шелковую одежду, помните, что еще Желтый император повелел людям носить платье из шелка — а был он необычайно мудр и плохого никогда не советовал.

Ну и, конечно, ничто не сравнится по изысканной красоте с ручной вышивкой шелком по шелку. В славном городе Сучжоу работают лучшие мастерицы-вышивальщицы. Впрочем, и мужчины не гнушаются этим ремеслом. До чего же тонкие переливы цвета возникают под руками этих великих умельцев! Порою кажется, что вышивка вступает в соперничество с традиционной китайской живописью: все градации размывов туши воспроизводятся подбором тончайших разноцветных нитей — и еще неизвестно, что победит при сравнении. Чаще всего вышивальщицы копируют живописную классику — пейзажи в жанре «горы и воды» или «цветы и птица». И делается это поистине безупречно.

Правда, массовый вкус теснит и эту заповедную область: заглянешь в специальный магазин вышивок, а там — копии второсортной европейской живописи, и — не знаю, как назвать, реплики? — фотографий кумиров вроде принцессы Дианы. Забавно: одна из виртуозных разновидностей шелковой вышивки — двусторонняя вышивка, вставляемая в поворотную раму, наподобие зеркала психе. Так вот, испод портрета Дианы являет собой... лик принца Чарльза; обычно так вышивают двух шаловливых котят.

Не обойдены вниманием и герои недавнего прошлого: Ленин, Горький, разумеется, Председатель Мао, еще кто-то вышиты с пугающим реализмом, «как живые». Что ж, наши палехские мастера в былые годы тоже писали кого и что ни попадя.

Шелк чтили и уважали, о нем складывали легенды. Особенно таинственные рассказы о «водяном, или ледяном шелкопряде», который будто бы свивал многоцветный кокон — из его нитей можно было делать божественную узорчатую парчу. Впрочем, и не волшебный шелк необычайно красив. Делают ли из него детские башмачки-талисманы (их покупают молодые пары в связи с грядущим прибавлением семейства) или роскошные театральные костюмы — ткань мерцает и переливается, как подлинная драгоценность. Не случайно шелк и ценился наравне с драгоценными камнями. А пожалуй, и выше.

* * *

Так и не научился я за все эти годы смотреть в глаза современному Китаю. Тянет в старину, в древность. Тот Китай мне и ближе, и понятнее. Поэтому и заметки мои в основном о том, что имеет корни в минувшем. Наверное, политолог или специалист в экономике рассказал бы о другом Китае и сделал бы это иначе.

«Мой» Китай стремительно меняется. Он становится органичной частью большого мира, теряя в своеобразии, но что-то и обретая. Процесс этот необратим. Будем же надеяться, что приобретений окажется больше, чем потерь.

Сорок лет я занимаюсь Китаем, а с уверенностью могу утверждать только одно: стоит решить, что постиг китайскую культуру — поэзию, живопись, что-то еще, — как тотчас сталкиваешься снова с чем-то непонятным, необъяснимым, загадочным.

Меня часто спрашивают, люблю ли я Китай? Право, не знаю. Но едва увижу эту страну, ее людей, улицы с яркими иероглифами, услышу китайскую речь, да просто открою книгу старинных китайских стихов, как на душе сразу становится... теплее, что ли.

Хочется верить, что и вам, читатель, передалась хотя бы частичка этого чувства.

Алла Марченко

Свет мой, зеркальце, скажи...

Субъективные заметки о поэзии и критике

«...И писатель, и критик суть плоды одного древа: критик ничем не отличается от писателя, если не считать того, что он пользуется (как правило, но далеко не всегда) иным материалом... Как для писателя главным является распространение личного опыта за пределы собственной жизни, так и для критика — продление своих этических и эстетических построений за границы личных предпочтений».

Андрей Волос, OpenSpace, 08.06.2011

В поэтическом сообществе настроение подавленное. Сборники издаются, но плохо продаются. Поэты, даже обвешанные мелкими премиальными цацками, чувствуют себя маргиналами, сосланными на некий «плавающий остров». Опять начались притихшие было разговоры о кризисе в литературе. Статья Владимира Губайловского в пятом номере «ДН» в этом отношении показательна. Словом, ситуация, оптимизму не способствующая. Однако поэзия, не в пример отечественной прозе, драматургии и прочим родам-видам словесных и несловесных искусств не просто существует, но еще и «вельможится», и с каждым годом «все лучше, все хитрее». Пять лет назад на попытки убедить скептиков, что *поэзия как состояние* («Поэзия как состояние», «Арион», 2008, № 4) в России пропасть не может, они лишь снисходительно улыбались. В 2012-м это почти общее место, в фактах и аргументах вроде и не нуждающееся.

«Поэзия сегодня сногшибательно разнообразна, интересна и не предсказуема».

Андрей Сен-Сеньков в диалоге с Захаром Прилепиным.

«...Сегодня настоящие стихи в силу разных... таинственных причин становятся все более сложно и тонко устроенными».

Дмитрий Веденяпин, «Знамя», 2012, № 2.

«...Поэзия, на данный момент... из всех искусств, может быть, в самом замечательном состоянии. ...В поэзии сейчас присутствует огромный расцвет... И мне кажется, благодаря чему — благодаря тому, что она в конечном счете не востребована».

Александр Танков. Реплика при обсуждении премии «Поэт» в редакции питерской «Звезды» («Премия "Поэт": внешний аудит», февраль 2011 г.).

В конце прошлого года «Общество поощрения русской поэзии» опубликовало материалы этих дискуссий, и питерской, и московской, присовокупив к ним наиболее заметные журнальные публикации — «широкоохватные, проблемно-аналитические». Получилось нечто вроде фрагментарного Зеркала¹, в котором, как и надеялись инициаторы издания, отразились многие особенности литературной жизни первого десятилетия нового века. В том числе и трудно объяснимое противоречие: с одной стороны — духовный (религиозный) подъем и духовная тревога (Ирина Роднянская, «Новое свидетельство»), а с другой — почти полное исчезновение любовной лирики (Марианна Ионова, «...И любовь уходит»). Не оспаривая сделанный Сергеем Чупринным выбор, хочу все-таки подключить к разговору авторов еще нескольких критических публикаций (включая и мои собственные наблюдения). А поскольку ситуация в критике меня интересует не меньше, чем ситуация в литературе, я развернула карманное свое зеркальце так, чтобы в фокусе оказывались два лица: поэта и его критика. На широкоохватный ВЗГЛЯД-2012 я, разумеется, не претендую, но кое-какие соображения попытаюсь озвучить.

Так что же в первую очередь различаешь, когда вглядываешься в сложносоставное отражение? А вот что: хотя поэты и сетуют на равнодушие публики и на критические отделы журналов, их якобы не замечающие, Большое Критическое Зеркало ни о первом, ни о втором не свидетельствует². Наоборот! Если бы происходящее на маргинальных выселках-отрубках совсем уж никого не интересовало, вряд ли прагматичный, «заточенный» на читательский спрос «Октябрь» взялся бы за реализацию предложенного Дмитрием Баком долгосрочного проекта «Сто поэтов». (Что-то вроде портретной галереи реально действующих лиц пиитического «ристалища».) Правда, язвительный Владимир Ив. Новиков, окрестив этот критический сериал «Списком Бака», не без ехидства усомнился: дотянет ли многоуважаемый Дмитрий Петрович до заявленного в плане «американского» числа? Может, и впрямь не дотянет или дотянет, но с натяжкой, а кое-кто из отпортретированных персон еще и надует, сочтя, что выглядит на VIP-парсуне недостаточно авантажно. Но это — неизбежность, зависящая не только от мастерства портретиста — «точности в схожести» (по Парщикovu), но и от фотогеничности модели. И тем не менее: одно то, что обремененный множеством неотложных забот проектор РГГУ по научной части усадил себя за столь энергоемкий труд — разве не доказательство до-востребованности поэзии? Пусть и не прямое, пусть косвенное... Но попробуйте сдублировать *Список Бака* применительно к нынешней романной прозе. Лев Данилкин попробовал, а что вышло? Если исключить несколько общеизвестных имен, числом не более десяти, вышел, увы, клудж, то бишь в перекладе с компьютерного сленга на старорежимный редакционный жаргон — всеобщая смазь: «все конкурирует со всем — и каждый текст

¹ Ситуация — 2011: Современная русская поэзия в зеркале литературной критики. На правах рукописи. — М., 2012.

² Уверяя поэтов, что их жалобы на невостребованность преувеличены, я имею в виду не столько «Большой Филфак» и «экспертное сообщество». (Евгений Абдуллаев. «Знамя», 2011, №1), сколько пожизненных «читателей стиха». «Большой Филфак» то расширяется, то сужается под давлением интернет-моды. Состав экспертного сообщества может то молодеть, то до срока стареть, утрачивая способность «быстро понимать новое». Не каждый же из экспертов осмелится, как Сергей Гандлевский, признаться: «Мой дружеский круг, как и круг любимых стихов, укомплектован. Меня вообще новое в жизни слабо интересует. Я хочу, чтобы все оставалось как есть. Меня не разбирает любопытство» (из интервью с Варварой Бабицкой). А вот число людей, читающих поэтические книги, не увеличивается. Похоже, что это некая постоянная, может быть, биологически заданная величина. Подозреваю также, что таких редкоземельных особей в любой (российской) популяции почему-то меньше, чем урожденных меломанов, т.е. тех, кто не представляет себе жизни без Большой Музыки в своем доме, на каком бы носителе она ни звучала. Так же, кстати, думает и Данила Давыдов: «Тех, кто любит стихи, в каждом поколении процент примерно равный. Это очень небольшой процент людей эстетически развитых. Количество поэтов растет, количество читателей не увеличивается» («Знамя», 2012, № 2).

живет внутри своей ниши» («Новый Белкин», М., 2011). Случаются, конечно, и тут, в мире прозы, аномальные явления, ни в одну из ниш не укладываемые. То «Гнедич» (мини-роман в стихах) Марии Рыбаковой, то «Овсянки» и «Пугало» (мини-проза) Дениса Осокина. Но это, во-первых, штучно-ручные изделия, направления «ристаллического ветра» не меняющие. А во-вторых, литмутанты, зависшие в *междуречье*:

Это как бы ещё не стихи,
Но как бы уже и не проза.
Между.
.....
Это как бы очнувшийся сон,
Но ещё за закрытыми веками.

Светлана Василенко, «Проза в столбик»

Впрочем, тип жанровой прописки угодивших в промежуток маргиналов зависит от выбранной критиком (или читателем) установки. Денис Осокин, рассуждает один из авторов Питербуока, «может начать с формы балконов, а закончить смыслом существования... Наверное, это все-таки более стихи, чем проза» (Генрих Кранц. «В стране анемонов и овсянок»).

Тот же казус с Марией Рыбаковой. В списке претендентов на премию «Нос» ее «Гнедич» назван романом, а премию «Антология» получает как поэтическое произведение.

Казалось бы, ту же тенденцию — взаимотягу к межвидовым скрещиваниям можно разглядеть и в стихопроезе Алексея Алехина. Особенно в «Рукописи, найденной в метро» («Знамя», 2007, № 3). Редакция (в подзаголовке) аттестует публикацию как «роман в прозе», а автор настаивает: «роман в стихах». И «не просто в стихах, а в стихотворениях в прозе — дьявольская разница!». Разница и впрямь есть, хотя, на мой взгляд, и не «дьявольская». Вера Панова, в поисках имени для романизированной повести, изобрела термин: *конспект романа*. А здесь, у Алехина, уже не конспект, а *концентрат*. При такой концентрации любое из положений длиною в абзац, а то и в строку без ущерба для уяснения ситуации можно разбавить. Покруче: новелла. Пожиже: городская повесть. Однако никто из рецензентов на это амбивалентное жанровое новообразование (скорее проза, чем стихи, скорее стихи, чем проза) не отреагировал.

Бак и тот записал в «Ста поэтах» автора концентрат-романа в отряд беспримесных «верлибристов». А на делано недоуменный публичный вопрос — к чему-де русской поэзии верлибры — ответил уклончиво, предложив два варианта. Вариант первый (*неверно, но похоже*): «Богатство флексий и совпадающих с ними корневых клаузул в русском стихе беспримесно, его еще хватит на много лет — думаю, нефтяные запасы истощатся раньше. Однако всегда ведь существует соблазн погреться у огонька, использующего натуральное топливо, а не отложения, свидетельствующие о многовековом умирании живого...» Вариант второй (*и неверно, и непохоже*): «Создание новых конфигураций из привычных контуров слов и вещей — характерное свойство свободного стиха, который дает поэту возможность приобщиться к неведомому в очевидном» («Октябрь», 2009, № 5). Почему *неверно*? Да потому, что и «создание новых конфигураций из привычных контуров слов и вещей» плюс «возможность приобщиться к неведомому в очевидном» — родовое свойство поэзии вообще, на каком бы топливе, дровяном или атомном, ни полыхали ее «всесожигающие костры». Спирт, ежели не разведенный, тоже сгодится — «Сгорая, речь напоминает спирт» (Александр Ерёменко). Короче, как ситуацию ни крути, а из частного вопроса: зачем русской поэзии нужны верлибры? — высказывает наиглавнейший: а она-то сама — зачем? Был у меня когда-то знакомый, коллекционировавший соображения на сей счет — «от Ромула до наших дней». Я тоже как-то попробовала. И зря. Оказалось: мне

(лично) достаточно одного, ереминского, определения сущности (и назначения) поэзии:

Как измеряют рост идущим на войну,
как ходит взад-вперед рейсшина параллельно,
так этот длинный взгляд, приделанный к окну,
поддерживает мир по принципу кронштейна.

Потусторонний взгляд. Им обладал Эйнштейн.
Хотя, конечно, в чём достоинство Эйнштейна?
Он, как пустой стакан, перевернул кронштейн,
ничуть не изменив конструкции кронштейна.

Мир продолжал стоять, как прежде — на китах.
Но нам важней сам факт существования взгляда.
А уж потом всё то, что видит он впотьмах.
Важна его длина, длина пустого взгляда.

Что разницу между поэтом и версификатором делает не «выделка», то есть «мускулатура стиха», а «сам факт существования» «длинного взгляда», подтверждают, кстати, и стихи самого Бака. Как всякий поздний дебют, «Улики» (М.: Время, 2011) требуют отдельного разговора, в данном формате невозможного. Посему ограничусь двумя примерами. Что очевиднее (*глянцеvidнее*) залитературенного «поля Бородина»? Однако и этот «ландшафт» может обернуться неведомым, как это и происходит у Бака. «Отрастив» «длинный взгляд», поэт «приделяет» его (посредством *центона*) к хрестоматийному «кто кивер чистил весь избитый», и хрестоматия (словесная мертвенность) оживает:

Вот музыка полковая
приближается в ночи;
блещет штык и завывает
ветер. Кружатся грачи.

Всполошился стражник чёрный:
на собачьем языке
горн дудит, трубят валторны —
время близится к реке.

Нет покою в мире этом
ни сокровищам, ни снам:
золотые эполеты
вплывь пустились по волнам.

Всё затихло. Шире, шире
по воде идут круги;
люди тёплые, живые
достают до дна реки;

Кивер мертвый, весь избитый
по течению плывет;
пёс с башкою непокрытой
дремлет в будке у ворот...

«Время близится к реке»? Поэтический хронометр с циферблатом, рассчитанным на длинный взгляд, не подвел Бака. Вот уже двести лет, как русское Время к Реке Времен близится:

Река времён в своем стремленьи
 Уносит все дела людей
 И топит в пропасти забвенья
 Народы, царства и царей...

(Г.Р. Державин)

Словом, ежели проигнорировать сам Факт Существования Длинного Взгляда, легче легкого «уподобить» стихи Бака, как это и сделала Марианна Ионова («Новый мир», 2011, № 3), «хрупким, филигранно сработанным языковым машинам с обнаженным механизмом». А как образец языковой машинерии процитировать текст, опровергающий ее же собственное утверждение, будто мужская любовная лирика приказала долго жить («Арион», 2011, № 3):

Голубь, голубь, голубица —
 на ладонь мою, ладонь
 возвращается сторицей:
 белых крылышек не тронь.

Голубица, голубь, голубь...
 приголубить, что сгубить,
 голы сизые глаголы:
 буду, будешь, быть, не быть...

Какой же «надрез» нужно сделать молодым и, казалось бы, зорким глазам талантливого критика, чтобы они разглядели: мастерство не в ловкости обращения со словом, а сизые глаголы Бака потому и голы, что «траектория дня», раскачав, выбрасывает его «я» куда-то туда, где любовь и поэзия (еще не *развенчанные*) собеседуют на голом, *родном когда-то языке*? «Стонет сизый голубочек...» (Иван Дмитриев); «Что целовались не мы, а голуби...» (Александр Блок); «Прощай, моя голубка, до новых журавлей!» (Сергей Есенин). А неотвязный шлягер пятидесятых — «О голубка моя, как люблю я тебя...»?

Но я, увлекшись, отклонилась от брошенной на развилке коллизии — противостояния «рифмачей» и «верлибристов». Равновесны эти «противосилы» или негвесны, то есть сильно неравновесны? Продолжится ли их *тягательство*, или постепенно сойдет на нет? Алексей Цветков убежден, что в русской поэзии нет «корпуса хорошего верлибра». Отдельные удачные опыты (Кузмин, Лимонов) погоды не делают, поскольку свободный стих не соприроден поэзии русского языка. Дмитрий Быков еще категоричнее: «Лучшее, что может сделать человек, — это гармонизировать мир, т.е. писать в рифму». (Не только русский мир, а вообще мир.) Бак, как мы убедились, в рассуждении свободного стиха занимает позицию благожелательного нейтралитета. В «Ста поэтах» он ровно внимателен и к тем, и к другим. Дескать, недавние «спорники» успокоились, разошлись по домам... К тому же он не только портретист и галерейщик (в одном лице), но и картограф, стирающий белые пятна на карте современной поэзии. Вот с какой топографической фигуральности начинается его эскиз к силуэту Сен-Сенькова: «Андрей Сен-Сеньков с самого начала своего присутствия на карте современной поэзии возделывает достаточно отдаленный участок стихотворческого сада в непосредственной близости от аллей визуального эксперимента на манер японских трех- и пятистиший». Имя ближайшей соседки Сен-Сенькова можно и не называть. Только что появилось в изысканном, на японский манер, оформлении полное собрание пятистиший Ирины Ермаковой (она же Ёко Иринати) «Алой тушью по черному шелку». К черно-красным вариациям Ермаковой так и тянет добавить почти монохромные, на рисовой бумаге, «Ориентации (из неизданного То Сё)» Владимира Строчкова.

Она — ему (как бы по-японски):
 Изумрудная жаба —
 Твой драгоценный подарок
 Спит у меня на груди
 Между маленьких двух
 Фудзиям.

Он — ей (как бы по-китайски):
 Вот вечером третьего дня весеннего месяца мая,
 на жёлтой циновке под персиком сидя цветущим,
 при свете пионовой лампы раскинувши свиток,
 люблюсь я рисовой матовой тонкой бумагой.
 У этой бумаги шесть свойств и двенадцать достоинств,
 и восемь разделов, и десять особых условий,
 два способа споров, одиннадцать признаков санкций,
 большой боковик из красивых зелёных юаней,
 невидимый глазу узор в виде чёрного нала,
 сплетённого с листьями трав восемнадцати видов,
 и красная тушь на изысканных круглых печатях.
 («Наречия и обстоятельства»)

Представляю, какой успех имел бы у любителей изящной словесности этот винтаж-маскарад в стиле Инь\Ян! При нынешнем-то спросе на ориентации!¹

Однако японская книжка Ирины Ермаковой — не просто стилизация или визуальный эксперимент. Чем бы ни руководствовалась Ёко Иринати, выбрав именно алую тушь для росписи по черному шелку, мы, читатели, все равно будем воспринимать эти стихи как перевод на русско-японский с русско-грузинского культового, в стиле «гипертрофированного романтизма» шестидесятых, четверостишия Булата Окуджавы: «В тёмно-красном своем \ будет петь для меня моя Дали \ в чёрно-белом своем \ преклоню перед нею главу, \ и заслушаюсь я, \ и умру от любви и печали...\ А иначе зачем на земле этой вечной живу?».

И все-таки Бак прав: откровенно визуальные эксперименты в нынешней поэзии и впрямь отдалены — вот только от чего? От неблагообразия современности? Или от *новой искренности* и *новой социальности* виртуального молодняка, который время от времени вгладь переправляется на плавучий остров Поэтов с айподами, гитарами и гармошками (Марья Куприянова, Игорь Растеряев)? Ответа и на этот вопрос Бак не дает. Подробный разбор причудливых соотношений, стачек и противоборств внутри островного сообщества не входит в замысел его проекта. Ему, повторяю, другой сюжет укоренить надобно — у нас, мол, и Стихи в наличии (в полном ассортименте и на всякий вкус), и Поэты (с лица не общим выраженьем) имеются.

К явлениям того же трендового ряда — знакам, свидетельствующим, что в «стихотворческом саду» и впрямь произрастает нечто непредсказуемое (и питательное), я отнесла бы и пристальное внимание к плодам сего сада критиков последнего призыва — новобранцев 2010-х годов. Не случайно, думаю, и то, что самые неленивые и амбициозные из них (Евгений Абдуллаев, Елена Погорелая, Артем Скворцов, Данила Давыдов) глубже и талантливее выглядят не тогда, когда анализируют осчастливленную престижными премиями прозу, а когда пишут о стихах. Сравните иностранную статью Елены Погорелой о получившем Букера-2009 романе Елены Чижовой в «Вопросах литературы» и ее же рецензию на последний поэтический сборник Марии Галиной в «Арионе». Читая «Вопли», ничего, кроме скуки, не испытываешь. Открываешь «Арион» и удивляешься и тонкости суждений, и верности соображений,

¹ *Пионовая лампа* — в данном контексте свидетельствует, что китаец Строчкова — человек состоятельный, так как пион в старом Китае считался символом богатства. Напоминаю также, что буквальное значение слова «ориентация» (от франц. orientation) — направление на восток.

«походка» фразы — и та иная: не спешная пробежка вдоль сюжетной линии по редакционной надобности (и «на стоптанных каблуках»), а почти что выход на подиум — и кураж, и апломб, и напряжение всех душевных сил.

Статьи и рецензии Елены Погорелой выгодно (с моей точки зрения) отличаются от некоторых работ молодых ее коллег еще и тем, что из них никогда не торчат жестко «концептуальные» или вислые «стиховедческие» уши. Без широкой гуманитарной подготовки в серьезной критике делать нечего. Но когда филолог выставляет за дверь своего собственного внутреннего критика в журнальной статье монографического толка, особенно если пишет о литераторе, еще не имеющем счета в национальном банке идей, ничего внятно-убедительного почему-то не получается. Приведу для примера статью начинающего филолога и поэта Надежды Черных о Владимире Строчкове («Открытая система: Владимир Строчков». «Вопросы литературы», 2011, № 4). Я, каюсь, не ожидала, что именно она скажет то, что давно пришла пора сказать: Владимир Строчков — один из самых необыкновенных поэтов нашего, и не только нашего времени. Неожиданно? Еще бы! Ни выслуг и званий, ни длинного перечня сборников, две книги с интервалом в двенадцать лет. Даже в лауреаты «Андрея Белого» не вышел, застрял в шорт-листе, а по *Московскому* уютно не Гамбургскому счету еле-еле натянул на «специальный приз». Имени Строчкова нет и в таком солидном литературном справочнике, как «Новый путеводитель» Сергея Чуприна. И вот тебе на: один из самых необыкновенных поэтов, то есть — в пересчете на ситуацию 2012 года — реальный претендент на премию «Поэт»? Но сказать мало, надо убедить литературную общественность в справедливости высокой оценки. А это не так-то легко, тем более что Строчков даже в *Списке Бака* выглядит невразумительно. Положив ошуюю соответствующий номер «Октября», а одесную итоговый сборник Строчкова («Наречия и обстоятельства», М.: НЛО, 2006), я поначалу удивилась: лучшие стихи Строчкова — «Хлебный мякиш, сдобный кукиш...», «Физкультурница в мае и пышных трусах...», «Отбывающий пожизненную повинность...», даже «Общевойсковое» — в размер холста не вместились. Бак от Строчкова, по сути, «отписался». Не пошел на более тесный контакт — не житейский, конечно, а сотворческий. Впрочем, особо сочувственные отношения между портретистом и моделью в данном конкретном случае, видимо, и не могли сложиться, ибо для Строчкова и критики, и филологи, и интервьюеры — все, скопом — нечто вроде обитающих на мелководье извилистых креветок. Ты к нему с интересом, а он тебе — в физию:

Решительно литературным сочтя меня трупом
и, стало быть, их коллективной законной добычей,
они ковыряются шустро, разбившись на группы,
в моей подноготной — таков их закон и обычай.

Они колупают меня, от усердия горбясь,
пытаясь усвоить, но тщетны надежды на чудо:
они не осият поэта внушительный корпус,
я слишком велик — не как автор стихов, а как блюдо.

А стоит мне пошевелиться — чуть-чуть, еле-еле —
и разом с ладони слетают креветки
и, задом стремительно пятясь, спасаются в щели,
как мелкие критики и литературоведки.

Жест, скажем прямо, не симпатичный, но характерный. Строчковское «зоильство», несмотря на экстравагантность образного ряда, полностью соответствует общему для членов поэтического цеха предубеждению: из четырехсоставной классической цепочки — поэт-критик-издатель-публика — второе звено необходимо изъять. За полной бесполезностью. И как можно скорее. А эти, которые... пытаюсь «усвоить»,

аж горбятся от усердия, — пусть переквалифицируются в литературоведы, пусть подсчитывают, сколько у Игрека ямба-4, а у Икса — ямба-5... Вот и Надежда Черных, видимо, учитывая немаловажное это обстоятельство (уж лучше прослыть «литературоведкой», чем «мелким критиком»), ориентируется не на «предошущение истины», а на безличный инструментарий: *полистилистика, калейдоскопичность, фасеточное зрение* и т.д. К тому же она — как «специалист» по Строчкову — наверняка помнит, что ее герой Большим Литературоведением не брезгует. Перекладывает на досуге стихами затейливые стиховедческие сюжеты. К примеру, тот, где Трдиаковский, колдуя над шестистопным дактилем, случайно «изобретает» пленительный русский гекзаметр:

Дактиль ползет шестистопный не спеша по стене.
Сделав три шага, замрет; примет три стопки — и замер.
Я же слежу, недостойный: удивительно мне,
как до него не допрёт, что он по жизни гекзаметр.

Короче, загадочный текст Строчкова («Цыганочка с выходом»), хоть и со скрипом, укладывается в «предначертанный круг». Одна беда: текст влезает, а Строчков ускользает *в нети*, вместе с темной тайной своего странного, недоброго обаяния.

И это, настаиваю, не единичный случай.

Даже такой опытный и искусный «плетун» филологических сетей, как Данила Давыдов, попытавшись несколько лет назад поймать в свой «бредень» Александра Ерёмченко, вынужден был признать, что щелкунчика на этот крепкий орешек пока не нашлось: «Отдельные удачные прочтения или, что важнее, интимное читательское соприкосновение с поэтическим миром не создают общей концепции понимания такой сложной фигуры, как Александр Ерёмченко»¹.

Не спорю: и Черных, и Давыдов необычайность явлений, с которыми имеют дело, чувствуют. Но это скорее исключение из общего правила. Потому что, как правило, тексты, в «концепцию» не укладывающиеся, компрачкосы от филологии выбрасывают за пределы «поэтических категорий». Показателен в этом отношении финальный абзац статьи Екатерины Ивановой об Иване Жданове: «Главный смысловой жест Ивана Жданова — это жест выхода за пределы метафоры, формы, физики, реальности. Можно сказать, что четыре «мета», отмеченные Михаилом Эпштейном, образуют смысловой квадрат, который силится разорвать ждановская поэзия. Но что там, *за пределами метафоры?* Очевидно, область чистого смысла, который не может быть описан в поэтических категориях». («Вопросы литературы», 2011, № 4).

Приверженцев Жданова пустотелые «смысловые квадраты» скорее рассмешат, чем обескуражат. Автор хрестоматийных «Холмов» и первый лауреат премии Аполлона Григорьева хорошо известен и «повсесердно утвержден», тогда как Строчков для рядового читателя персонаж неизвестный, и он хотел бы увидеть его «в лицо». А ему вместо резко характерного, может, и не слишком симпатичного (на усредненный вкус) лица предлагают филологическое досье. Скажете, заглянув для уверенности в Википедию, ну какой из Надежды Черных маститый филолог? Использованный ею способ «раскрутки» своего поэта взят напрокат из суперфилологической работы Вячеслава Кулакова «Постскриптум»; фрагмент из нее, где речь идет о Строчкове, о его драматическом и рисковом романе с языком, опубликован в 2007-м «Новым литературным обозрением».

К Строчкову, а также к еще более реальному, на мой взгляд, претенденту на премию «Поэт» — Александру Ерёмченко² мы обратимся еще не раз, а пока продолжу разговор о псевдофилологическом уклоне в нынешней словесности.

¹ Александр Еременко в контексте эпохи. — Современная русская литература: Проблемы изучения и преподавания: Сборник статей по материалам научно-практической конференции 28 февраля — 1 марта 2007 г., Пермь, 2007.

² К счастью, это не только мое частное мнение. Вот что пишет Леонид Костюков: «Был такой исторический момент, когда многие считали Еременко лучшим поэтом России, а некоторые — едва ли не единственным. Для тех, кто успел его полюбить тогда, этот момент не только удаляется, но и длится» («Знамя», 2002, № 9).

В 1998-м Максим Амелин при вручении премии журнала «Новый мир» заявил: «У поэзии есть враги, внешние и внутренние. К разряду внешних можно отнести филологов и историков литературы». Кого из критиков филологического толка в пору первого «амелинского сезона» имел в виду «поэт-лауреат», ума не приложу. Неужели Владимира Славецкого, несколькими месяцами ранее опубликовавшего в «Новом мире» аналитическую, вполне доброжелательную, но отнюдь не апологетическую статью о нем? Впрочем, в 1998-м я не стала бы заступаться за внешних «врагов поэзии». В ту раздрыганную пору неистовые ревнители «метаболизма» (сначала Константин Кедров со товарищи, а затем и примкнувший к ним Михаил Эпштейн) сильно напрягали меня апломбом, с каким выдавали изобретенные ими метавелосипеды за космические корабли, а то и за летающие тарелки. Допустим, такой пассаж. Как пример метаболы (а она, согласно метаманифестациям, тем-де и отличается от метафоры, что расширяет область прямых значений за счет того, что переносные становятся прямыми) Эпштейн приводит трехстишие Ивана Жданова:

Море, что зажато в клювах птиц, — дождь.
Небо, помещенное в звезду, — ночь.
Дерева невыполненный жест — вихрь.

И как же он этот краеугольный тезис доказывает? А никак. «Море», мол, «не похоже на дождь, а небо на ночь, здесь одно не служит отсылкой к другому». Это что же, выходит, что и есенинский «ягненок кудрявый», гуляющий «в голубой траве», метаболы? И это: «И спокойно смотрит вместо месяца отразившийся на облаке тюлень»? Ни тюлень, ни ягненок не похожи на реальные луну-месяц. Однако и здесь переносное значение становится прямым, как, впрочем, и в любой длинной метафоре, когда «*струение* образа» «являет из лика один или несколько новых *ликов*, где зубы Суламифи без всяких *как*, стирая всякое сходство с зубами, становятся настоящими, живыми, сбежавшими с гор Галаада, козами. На этом образе построены почти все мифы от дней египетского быка в небе вплоть до нашей языческой религии» (Есенин, «Ключи Марии»).

Что до Ивана Жданова, то вот уж где все и связано-завязано, и отсылает одно к другому! Море, зажатое в клюве птиц, — к «Морю голосов воробьиных»: «ночь, а как будто ясно»! А сцепившись строеной завязью, море с воробьями и ночью тройным же усилием наводят наш внутренний видоискатель на картину июньской, самой короткой в году воробьиной ночи, в тот промежуток краткий, когда далекая, еще сухая гроза выгоняет спящих воробьев из застрех и они поднимают гвалт. Хляби небесные меж тем надвигаются, темнота становится крошечной, верх (небо) отличаешь лишь по звезде (в ней одной уместяющееся). Но это верхнее (небесное) *тьма* почти безводно: еще не ливень, а редкие, крупные капли. Ловишь их ртом, ладонью, и мнится: тяжелые дожди роняют, разжимая клювики, перепуганные воробьи. И вдруг (откуда ни возьмись) врывается ветер. Набирая ураганную скорость, превращается в вихрь, и деревья начинают жестикулировать. Жест получается неполным — «так мельница, крылом махая, с земли не может улететь». Не знаю лучшего визуального образа воробьиной ночи! Однако тайна сия к метаболическим квадратам отношения не имеет, ибо стара, как тайна поэзии русского языка: «В нашем языке есть много слов, которые как “семь коров тощих пожрали семь коров тучных”, они запирают в себе целый ряд других слов, выражая собой иногда весьма длинное и сложное определение мысли» (Есенин, «Ключи Марии»).

Но это все уже история. Вернемся же в наш новенький молодой век. Сегодня филологи, даже практикующие в секторе «актуальной» словесности, в защите не нуждаются. Поэты их явно предпочитают критикам. Это Ахматова пуще забвения боялась «стать достоянием доцентов», так боялась, что надолго рассорилась с Бори-

сом Эйхенбаумом за его классический «Опыт анализа» (1922). (И руки, мол, не подам!) Нынешним стихотворцам внимание литературоведов не просто льстит — поднимает в собственных глазах. Впрочем, на этот счет уже высказалась Наталья Иванова¹.

Нравится нам, критикам, или не нравится, но произошла рокировка: критики в загоне, литературоведы — в почете. Так что нет ничего удивительного и в том, что и Максима Амелина, не так уж давно, напоминая, называвшего «доцентов» врагами поэзии, ничуть не раздражает «филологический взгляд» на его собственное творчество (см. предисловие Артема Скворцова к «Гнутой речи»). За миновавшее пятидесятилетие убежденный антифилолог настолько «олитературоведился», что включил в Избранное не только пространный опус о придворном описце Екатерины Второй — Василии Петрове, но и вступительную статейку к сборнику «короля графоманов» графа Хвостова. Впрочем, на мой взгляд, литературоведение по-амелински, за которое Алексей Саломатин (автор зубодробительного наскока на Дмитрия Быкова и Бориса Херсонского — «Арион», 2010, № 4), отводя от Амелина обвинение в снобизме, возвел его в четырехсотлетнее дворянство², сильно смахивает на интеллектуальный «снобизм».

Во всяком случае, ничем, кроме как снобизмом (или высокомерием), не могу объяснить ни себе, ни читателям — отчего промеж авторов, на которых Максим Амелин ссылается как на предшественников, нет ни Льва Пумпянского, ни Григория Гуковского? Ведь замечательная работа первого о Третьяковском — богатейший материал для размышления о «русской» одической традиции, а второй еще в 1926-м ввел Петрова в большую литературу («Из истории русской оды XVIII века». — М.: 2001). Ну ладно, допустим, что по понятиям Амелина и Пумпянский, и Гуковский, и Берков — старомодная архаика. Но тогда какая же причина тому, что он лишь мельком упоминает супермодного Андрея Зорина (как автора двух журнальных работ 1997 года)? Не может же он запамятовать, что зоринские публикации в «НЛО» и «Неприкосновенном запасе» продолжались до 2011-го, а «громокипящее» его исследование «Кормя двуглавого орла...» («Русская литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети века XIX века». — М.: НЛО, 2001) взбаламутило литературный пруд? Сильно увеличив фигуру Петрова (ему посвящена целая глава), Зорин осветил ее резким политическим светом. «Благодаря Зорину, — пишет его оппонент Александр Эткинд, — Петров очень интересен» («Новая русская книга», 2000, № 1). И действительно интересен, и не только как советник императрицы. Персонифицируя, к примеру, в оде «На заключение с Османскою Портою мира» (1775) враждебные русской империи силы, Петров изображает Россию окруженной целым сонмом тайных агентов, «повинных одновременно в магии, авантюризме, шарлатанстве, жажде наживы и секретном прозелитизме» (Виктор Живов. «Двуглавый орел в диалоге с литературой». — «Новый мир», 2002, № 2). Усилиями Петрова, продолжает рецензент, «в русской политической мифологии появляется зловещая фигура масона, строящего козни против Российской державы. Эта тема была в дальнейшем подхвачена самой Екатериной в ее антимасонских комедиях». И если бы

¹ См. ее снайперскую перепалку с Ириной Сурат, окружившей Дмитрия Быкова литературоведческой крепостной стеной — и не каменной, а стальной («Летающий слон. Теодицея Дмитрия Быкова». — «Октябрь», 2010, №1). Быкову — хоть бы хны. Не тонет и не сгорает. Ну, впишет в черный список («Я никому не желаю ничего плохого, но считаю, что Бориса Кузьминского, Дмитрия Кузьмина и Вячеслава Курицына не существует в природе») еще одно имя. Только и всего. А вот возведенное Ириной Сурат укрепление, как и следовало ожидать, рухнуло.

² Я имею в виду следующий пассаж из рецензии Саломатина на ту же «Гнутую речь»: «В учености Амелина нет ни грамма модного псевдоинтеллектуального снобизма. Поэт слишком горячо и бескорыстно увлечен своим делом, чтобы быть снобом. Уместней вспомнить позабытое слово “аристократизм”» («Знамя», 2012, № 2).

только в комедиях! Сочиненный Петровым миф о масонском заговоре дал императрице политический предлог для расправы с Николаем Новиковым. Расправы жестокой и не адекватной. «Книги преданы были сожжению. Сам же Новиков отправлен ... в Тайную канцелярию, а потом заключен в Шлиссельбургскую крепость».

Иван Дмитриев, из воспоминаний которого приведены заковыченные слова, а вслед за ним и советская историография, утверждают, что Екатериной двигал страх перед «Французским переворотом». На самом деле причина была сложнее. Государыню бесила независимость Новикова, размах, успешность, а главное, демократизм его книгоиздательских инициатив (заведение во всех губернских городах книжных лавок) делали смешными ее собственные потуги по изданию западных романов для дамского чтения, дамами же и переводимых. Новиков не дилетантствовал — усадил за переводы серьезной литературы и университетских студентов, и семинаристов, и даже церковнослужителей. Причем платил с печатного листа твердую и достойную цену. Настолько достойную, что Карамзин, поработав на Новикова не более года, заработал на двухгодичное путешествие по Европе. Словом, разгром новиковского Дела, под предлогом сотрудничества с масонскими ложами Европы, был гуманитарной катастрофой, последствия которой сказываются до сих пор...

Допускаю, что и демонстративное замалчивание изобретенного Петровым мифа, и игнорирование «шумихи» вокруг книги Андрея Зорина, Максим Амелин мотивирует (речь, естественно, о внутренней мотивации) принципиальным «неинтересом» к идеологическим и политическим аспектам отечественной истории. Петров, мол, истинный лирик, этим и интересен. Так ведь он и для Зорина не просто политолог-международник, с которым и Потемкин, и адмирал Мордвинов, да и сама императрица беседуют на политические темы почти на равных, но и сноровистый стихотворец. Правда, читающая публика к нему почему-то «равнодушна». Почему равнодушна — Зорин не объясняет, но, полагаю, особой загадки тут нет. Просто образованная публика с трудом понимала его, так как давно уже изъяснялась на другом языке, почти не отличимом от языка героини чеховской «Дамы с собачкой»¹. Перечитайте сцену в «Славянском базаре» и сравните монолог Анны Сергеевны с популярным текстом Алексея Петровича Сумарокова, самого активного из «спорников» Петрова:

Не грусти, мой свет, мне грустно и самой,
Что давно я не видалася с тобой.

Муж ревнивой не пускает никуда;
Отвернусь лишь, так и он идёт туда.

Принуждает, чтоб я с ним всегда была;
Говорит он: «Отчего не весела?»

¹ Из опасения, что меня обвинят в натяжке, приведу свидетельство Ивана Дмитриева. Согласно Дмитриеву, образованное русское общество семидесятых-восьмидесятых годов XVIII столетия, т.е. до того, как в Россию хлынули эмигранты из революционной Франции и уроки французского стали баснословно дешевыми, не стыдилось «говорить на природном своем языке», «употребляя возможную сжатость» и «естественный порядок в словорасположении». Амелин на Дмитриева ссылается, и не раз, но почему-то обходит вниманием пример, который тот (в воспоминаниях) приводит для разъяснения своей мысли: «Елагин, помнится мне, третью книгу «Российской истории» начинает так: «Неизмеримой вечности в пучину отшедший князя Владимира дух...» Держась естественного порядка в словорасположении, следовало бы поставить: «Дух князя Владимира, отшедший в пучину вечности неизмеримой», хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и не терпима образованным вкусом». Внимательный читатель Амелина наверняка сообразил, что аналогичную операцию (по восстановлению естественного порядка в словорасположении) приходится проделывать не только ему, но и Скворцову. Иначе до смысла фразы не доберешься.

Впрочем, причина, по какой Сумароков был удален от двора, а Петров, напротив, приближен, к проблеме становления литературного языка отношения не имела. Вот какую Записку получила «Богородица царевна», когда по восшествии на престол (1762) «на три дня (!) во всех московских типографиях допустила свободу печатания»: «Как член общества (писал Сумароков), я желаю, чтобы законы исправлены были... Судьи не боги и не цари, а мы не тварь их и не подданные. Осуждать должны законы, а не они... беззаконники...» Сделав хорошую мину при плохой игре, Екатерина записку о законах как бы одобрила, однако в том же 1762-м Сумарокова отстранили от управления созданным его рвением и талантом столичного театра. Униженный и оскорбленный, он переместился в Москву, где вскорости умер «в ничтожестве». Первого драматурга империи и первого государственного Сумасшедшего хоронили на деньги, собранные московскими актерами... Не правда ли, и эта ситуация нам знакома — и отнюдь не по былинам осьмнадцатого столетия?

По размышлении, я, может, и извинила бы Амелину его брезгливый аполитизм, если бы приводимые им отрывки из Петрова плюс апологетические прибавления к ним либо смягчили, либо усложнили характеристику, данную «карманному стихотворцу» императрицы Пумпянским: специалист по «коронационной лестии», маленькая обезьяна большого Тредиаковского, превзошедшая учителя по стилистической части. Но они, прибавления, не оспорили даже и более мягкое мнение Державина (в передаче Дмитриева): «Державин и приверженные к нему поэты, хотя и не отказывали Петрову в лирическом таланте, но всегда останавливались более на жесткости стихов его».

Еще больше озадачил меня обходной маневр, использованный Амелиным при работе с филологическими источниками в предисловии к сборнику Хвостова. Уж тут-то, как ни верти, ни идеологических, ни политических барьеров-затворов не было. И Е.Сливкин, опубликовавший еще в 1997-м прелюбопытнейший текст «Авторитеты бессмыслицы и классик Галиматый (ОБЭРИУТЫ как наследники графа Хвостова)» («Вопросы литературы», 1997, № 4), и А.Е. Махов и О.Л. Долгий, подготовившие к печати изящный томик «Сочинения Графа Дмитрия Ивановича Хвостова» (М., «Интарада», 1999), подошли к проблеме Хвостова как к проблеме эстетической (Махов — «Это веселое имя: Хвостов»; Долгий — «Тритон всплывает: Хвостов у Пушкина»). Правда, откомментированный Маховым и Долгим Хвостов вышел двумя годами позже подготовленного Максимом Амелиным сборника. Но что помешало ему спустя пятнадцать лет, перепечатывая свой давний текст, вступить в конструктивный диалог с вышеназванными «хвостофилами»? А заодно и потягаться с Пумпянским, для которого Хвостов, как и Петров, один из рядовых одописцев, из текстов которых Пушкин по крупницам, пробуя на зуб, выбирал строительный материал для парадного Вступления к «Медному всаднику» («Медный всадник» и поэтическая традиция XVIII века». — Временник Пушкинской комиссии: М. — Л., 1939)?

Но, может, Амелин и не собирался, и впредь не собирается углубляться в филологические дебри? Рыться в «археологической пыли»? Может, все дело в том, что, решившись на длительное путешествие в прошлое, он ищет и находит в Петрове надежного гида? Товарища по музам, который, как и он, Амелин, ценил бы в стихах не державинский «лирический беспорядок», а «порядок и вес»? Спутника, с которым был бы «одних мыслей»? А кто из нас в таких спутниках не нуждается? Даже Ерёменко, и тот... «Ведь каждый ген, рассчитанный как гений, зависит от числа соударений». Может, и в случае с Петровым амелинский выбор предрешен «числом соударений»? Вчитайтесь в цитируемый им фрагмент из петровского Послания князю Потемкину. Впечатление такое, будто М.А. нас мистифицирует, чтобы устами классика отчитать ветреных «супротивников» и ревнивых «совместников». (Тех, кто «с безыскусной песни легкостью поя», то есть исполняя песни с безыскусной легкостью, считает, что пиитическая *речь*, лишенная *гремушек для ушей*, «чрезъестественна». Тех, кто пола-

гает, будто природа на их «стороне» «выступает». — «Пометы на полях», «Знамя», 2008, № 1):

Выделявать из строк гремушки для ушей,
свистеть, хрипеть, сопеть и вопиять излиха;
Чтоб слог был вдруг казист и громок, как шумиха,
Унывен, аки тон помешанных курант?
Кто мастер, в них играй; мне не дан сей талант.
Сколь мало я во свет богатых рифм ни вышлю,
Мне это не упрек: я так пишу, как смышлю.

Мне где-то (не вспомню где) встречалось предположение, что Державин в «Рассуждении о лирической поэзии» полемизирует с Василием Петровым. Может, и так. В середине 1770-х, когда появилось *Послание* Потемкину, Гаврила Романович еще не был великим Державиным. Но он, книгочей и книжник, работая над «Рассуждением...» (1807–1811), вполне мог приобрести только что, в 1809 году, появившееся полное собрание сочинений Петрова, так что элемент спора, при жизни придворного сочинителя не состоявшегося, не исключен. Во всяком случае, доказывая, что к колыбели Поэта не одна Евтерпа, но и Полигимния (муза музыки) приносит свои дары, Державин употребляет слова и выражения, относящиеся к категории петровских «гремушек для ушей»: свистит, грохочет, мрачно-унылое завывание и т.д. Цитирую: «Знаток и в том и в другом искусстве тотчас приметит, согласна ли поэзия с музыкой в своих понятиях, в своих чувствах, в своих картинах и, наконец, в подражании природе. Например: свистит ли выговор стиха и тон музыки при отображении свистящего или шипящего змия, подобно ему? Грохочет ли гром, журчит ли источник, бушует ли лес, смеется ли роща — при описании раздающегося гула первого, тихо бормочущего течения второго, мрачно-унылого завывания третьего и веселых отголосков четвертой; словом, одета ли каждая мысль, каждое чувство, каждое слово им приличным тоном».

В не имеющем ни исхода, ни значительного перевеса противоборстве, а оно до сих пор напрягает пространство русского стиха, и еще как напрягает: «пишу, как смышлю» (Петров) или «пиши, как живешь» (Батюшков) — Амелин не на державинском берегу. Но вот парадокс: когда-то, до альянса с Петровым, планируя маршрут эвакуации в осьмнадцатый век, он все-таки придерживался противоположной «стороны». Почему я так думаю? А потому, что лучшее стихотворение сборника «Конь Горгоны» «Поспешим \\ стол небогатый украсить \\ помидорами алыми...» не что иное, как Подношение к обеду, который Перводержавный Поэт устроил на свои именины в июле 1807 года. Сначала устроил, а потом и описал в антиоде «Жизнь Званская». Напомню самую знаменитую подробность легендарного Обеда:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны.
Что смоль, янтарь — кра, и с голубым пером
Там шука пёстрая — прекрасны!

Первым, кто получил от хозяина Званки именное приглашение на русские щи с желтком был, разумеется, лицеист Пушкин. Но тот, по молодому недомыслию, фыркнул: «дурной перевод с чудесного подлинника». Повзрослев, стал задумываться... Впервые в «Онегине». Правда, представил подлинник в блистательной, на французский манер, переделке: «Вошел: и пробка в потолок \\ Вина кометы брызнул ток...» Серебряный век державинский сюжет перекладывал-обыгрывал уже с онегинской вариации. Тут вам и устрицы во льду, и ананасы в шампанском, и красная роза в бокале золотого, как небо, Аи...

Октябрьский катаклизм срыл, смысл, сбросил в тартарары весь тот тонкий

культурный слой, который с таким трудом наращивал золотой век. Мы еще прижимали к груди книжки Натана Эйдельмана (про обожаемый девятнадцатый), а Ахматова уже ахнула: пушкинское наследство промотано, не промотать бы державинского: «Ну кто бы мне тогда сказал, что я наследую все это? Фелицу, Лебедея...» Вскоре обозначились и другие претенденты на наследие осьмнадцатого века. Первым объявил об этом Александр Кушнер:

Я в музее сторонкой, сторонкой
Над державинской синей солонкой,
Оттенённой резным серебром.
И припомнится щука с пером
Голубым и хозяин в халате.
Он, столичную роскошь кляня,
Приглашает к обеду меня...

Вторым — Алексей Парщиков. Я имею в виду сцену пира в его поэме «Я жил на поле Полтавской битвы» (Украинское барокко. Начало XVIII в.). Она, к сожалению, так прочно забыта, что придется процитировать хотя бы один фрагмент:

В доме снеди росли, и готовился пир, так распорядился Мазепа,
третий день во дворце блюда стояли, и уже менялся их запах,
мычали коты от обжорства и неподвижно пересекали залы; дичая,
псы задыхались от пищи, под лавками каменели, треща хрящами,
рыбы лежали — пока их усыпляли, они подметали хвостами двор,
зеркала намокали в пару говяжьих развалов, остывал узвар,
тысячи щековин солёных, мочёные губы, галушки из рыбных филе,
луфари и умбрины в грибной икре черствели в дворцовой мгле;
полк мухобоев караулил еду, и гетман ступал в шароварах, как языки,
кривые турецкие вина носили бессонницей трезвые казаки;
столь долгоносые мыши, что, казалось, наполовину залезли в кульки, атели
бесстрашно на солнце закатном, и, если от них вести параллели,
мы наткнемся на красные перцы в бутылках — так же спокойны они,
и ещё: словно жгучие перцы в стремительной водке, мутились свечные огни,
и бурели привезенные из Афона лимоны, были настезь открыты
окна, затянутые холстами, и пышные всюду завиты рулеты,
и рулетики с хреном, обёрнутые салатным листом, и посуды — нет им цены!

Словом, хотя Артем Скворцов и утверждает, будто Максим Амелин — единственный среди современных стихотворцев, кто «неустанно» обращается к XVIII веку «без специального желания что-то спародировать и кого-то чем-то развлечь», опыт больших поэтов доказывает обратное. Даже опыт склонного к пародированию Вл. Строчкова. Не спорю, его вариация на тему русского обеда иронична по форме, но более чем серьезна по содержанию:

На пропитанье соками отечеств
довольно и капусств и огуречеств,
консервативных отческих искусств.
Зимой мы начинаем вынимать их
из трёхлитрова скла и есть и, мать их,
как сладостны они для русских уст.

Что до словесных усилий уже не столько Максима Амелина, сколько людей его веры, позиционирующих себя как специалистов по внедрению в современную речь словаря и синтаксиса «времен очаковских и покоренья Крыма», то они, может, и занимательны для стиховедов и лингвистов, но лично мне приводят на память максимуму Монтеня: «Желание отличаться от всех остальных неприкрытым и необыкновенным покровом одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные

поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов».

Но вернемся к Парщикову. Не помню, когда его «Полтава» была опубликована. Я прочитала ее в рукописи, ходившей меж сотрудников «Дружбы народов», где автор одно время служил. Мы столкнулись с Алексеем лицом к лицу во внутреннем дворе на Воровского, 52. Пока речь шла о том, что в его «Я жил на поле...» Мазепа выразительнее пушкинского и, видимо, ближе к прототипу, Парщиков слушал почти внимательно. Особенно внимательно про «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», незримое присутствие которого чудилось мне и в современных сценах поэмы. Но когда, в связи с Хлебниковым, ляпнула: вот-де и тот предсказывал, что глаз победит слух, Парщиков как-то напрягся и оборвал разговор. Я, помнится, удивилась. И долго потом удивлялась. Он же настаивал, всю жизнь настаивал на приоритете Глаза, на всемогуществе Зрения? «Я стал средой обитания зрения всей планеты»? Теперь, когда после смерти поэта широко публикуются и воспоминания друзей, и его письма к ним, думаю, что, может быть, уже тогда, в восьмидесятых, ему было известно мнение Бродского? Дескать, визуальные и метафорические свои способности Алексей Парщиков развивает в ущерб слуху? Больше того, начав работать над этой статьей, была я почти уверена: и Хлебников не ошибался, почуяв, что глаз победил слух, и Парщиков не преувеличивал, утверждая, что «новая цивилизация стихов» началась тогда, когда «Открылись дороги зрения». Но моя догадка не подтвердилась. Да, «культура, по мере визуализации, становится более «плоской», менее глубокой, и, естественно, читатель уходит от поэтического к визуальному типу мышления»¹. Но это читатель. Причем не постоянный, а временный. В поэтическом же заказнике «визуализация культуры» отнюдь не приводит к «уничтожению слова», а лишь актуализирует извечное противостояние «визуальщиков» и «слушачей». Помните, у Есенина в «Персидских мотивах»: «У всего своя походка есть, \ Что приятно уху, что для глаза...»? Больше того, динамическое неравновесие этих «противосил» на территории Острова Поэтов не ступенчается, а все увеличивается и увеличивается. И это, на мой взгляд, куда более надежный источник словотворческой энергии, чем затянувшиеся на полтора десятилетия сшибки верлибристов с рифмачами, а в последние годы минималистов с приверженцами необарокко. Последних, правда, числом поболее, к тому же излишества нынче в цене. Но я совсем не уверена, что это преобладание надолго. «И самая блестящая речь надоедает, если ее затянуть» (Блез Паскаль).

Проницательные читатели вправе спросить: почему среди критиков, с которыми я как бы беседую, не задействован Игорь Шайтанов, автор самой проблемной статьи в «Ситуации-2011» — «И все-таки двадцать первый...»? Отвечаю. Во-первых, потому, что в оценке творчества поэтов, изобильно публиковавшихся в первое десятилетие нового века, я с ним практически солидарна. Разногласия касаются частных. Во-вторых, потому, что мы выступаем в разных жанрах. Шайтанов — в классическом: «Взгляд на русскую поэзию» первого десятилетия XXI века. Я — в жанре маргиналий, и в прямом и в переносном смысле. И все-таки и с моего «шестка» видно: лирическое возрождение (а не пробуждение, как формулирует Шайтанов) началось гораздо раньше календарного начала нового столетия (и даже раньше срока, который называет Алексей Алехин). С его точки зрения, это середина девяностых², с моей — 1982 год.

1982-й. Осень. Апогей застоя. Мертвая зыбь. Гвоздь киносезона: «Полеты во сне и наяву». Шесть миллионов зрителей, 3% от числа жителей. Шесть миллионов убежденных: так жить нельзя. Окуджавское: «Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!» — что-то вроде масонского приветствия. А ведь и впрямь произошло. Сославшись на воспоминания очевидцев, рискну даже назвать календарную дату:

¹ Из выступления Александра Шишкина на «круглом столе» в рамках Международной выставки-ярмарки осенью 2011 г. (Цит. по: «Знамя», 2012, № 2).

² «Нынешний этап русской поэзии начался в 90-е... XX века, и у меня есть ощущение, что вместе с ним этот век пока еще в поэзии длится, а чего-то специфически нового для XXI в. ней пока не появилось» («Вопросы литературы», 2012, № 1).

скорее всего — 10 ноября 1982 года. В этот день, по закону «странных сближений», связались неправильным, зато прочным *пиратским узлом* три события. Два вроде бы незначительные, третье судьбоносное. Начну с незначительных. В каком-то особнячке, кажется, неподалеку от цитадели Союза писателей (Воровского, 52) комсомольцы устроили вечер поэзии. Обычно на подобные мероприятия (в гостинице «Юность», в главной резиденции ЦК ВЛКСМ) гостей пропускали по списку. На этот раз вход был, видимо, свободный. Иначе не объяснить, как там оказались Александр Ерёменко и его «дебильная» Муза, да еще и в сопровождении «непреднамеренно хипповой» свиты...

Туда, где роща корабельная
лежит и смотрит, как живая,
выходит девочка дебильная,
по жёлтой насыпи гуляет.

Её, для глаза незаметная,
непреднамеренно хипповая,
свисает сумка с инструментами,
в которой дрель, уже не новая.

И вот, как будто полоумная
(хотя вообще она дебильная),
она по болтикам поломанным
проводит стёршимся напильником...

Её мы видим здесь и там.
И, никакая не лазутчица,
она шагает по путям,
она всю жизнь готова мучиться,

но не допустит, чтоб навек
в осадок выпали, как сода,
непросвещённая природа
и возмущённый человек!

На том-то вечере Ерёменко и избрали Королем поэтов. Представляю, в каком шоке были хозяева особнячка. Они-то рассчитывали на явление очередной «комсомольской богини». Но ожидаемых «гонений» (со стороны КГБ) не последовало. Расходившиеся с «коронации» поэты запомнили, что по Садовому кольцу на дикой скорости мчались стада мотоциклистов. Утром загадка разъяснилась. Оказалось, в тот день, 10 ноября, умер Брежнев, а мотоциклисты развозили по городу знаки траура. Комсомольским деятелям стало не до дебилов, причем надолго, на целых три с хвостиком года. За это смутное время на карте русской поэзии самообозначилась Узловая станция: *Александр Ерёменко. Король поэтов*. Безвокзальная, но опутанная множеством «путей сообщения». Ежели ехать назад, придется, доехав паровичком до перрона «Александр Блок» и остановки «Николай Некрасов», пересестись «в телегу», дабы «проселочным», «дожелезным» путем добираться до «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть»... А если двинуться в противоположную сторону, в ближайшее будущее, да еще и скорым, уже тепловозным поездом, без проблем довезет до конечной. На глаз, станция как станция, вот только название странное — «Кыё! Кыё!». Дебильной девочки что-то не видно, но младший братец ее тут как тут:

По колена стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку.
Возле моста, напротив трубы, извергающей пену
и мыльную воду бань, напротив заброшенного погоста
и ещё не взорванной церкви на том берегу...

Впрочем, сюда, в Чухонцевскую глухомань, можно добраться и почтовым, переходя на малую скорость то у полустанка «Улей»¹ (что на Ногатинской набережной), то у платформы, где вместо расписания выведено фломастером на пожелтевшем полуватмане:

Мы с Ирою К. танцевали,
Целуясь то в щеки, то в губы.
А душу мою разрывали
Ерёменко медные трубы².

Не исключается и прогулочный морской маршрут. Но — не советую. Невеселым окажется путешествие. Вот как описал виртуальную встречу со своим Королем самый верный из его оруженосцев Михаил Поздняев:

Он залег на дно и, красиво,
по-королевски,
руки-ноги раскинув,
зрит через толщу вод,
как плывёт высоко над ним ледокол
«Гандлевский»
и навстречу крейсер «Кибилов»
с рёвом плывет...

Впрочем, сам Ерёменко никогда залегшим на дно себя не чувствовал. Думаю, и сейчас не чувствует:

Я сидел на горе, нарисованной там, где гора.
У меня под ногой (когда плюну — на них попаду),
шли толпой бегуны в непролазном и синем аду,
и, как тонкие вши, шевелились на них номера.
У меня за спиной шелестел нарисованный рай,
и по краю его, то трубя, то звеня за версту,
это ангел проплыл или новенький, чистый трамвай,
словно мальчик косой с металлической трубкой во рту.

До горы, нарисованной там, где гора, ни одним видом общеизвестного транспорта не дотянуться. Так что лучше садитесь на Пятсот веселый, а высадившись в *Кыё! Кыё!*, ищите конечную остановку рейсового автобуса. Другим транспортом до рабочего поселка *Владимир Строчков* тоже пока не доехать:

Вот и вышли они из полуподвала в люди,
подавали надежды, лапку, пальто, потом не стали.
Пробовали и бросили вскоре гобои, окарины и лютни,
машут жестаами, как шестами.

И не то чтобы вышли сразу из полуподвала в князи,
но и не так, что побои лютые, злые руки,
просто нету у них других инструментов для связи
с нами, у которых эти, словом, звуки...

Помолчите, лучше послушайте, что вам руками машут
ветряные мельницы, ветлы, люди и семафоры.
Вы потом успеете досказать всё ваше,
а пока, говорливые, дайте немому фору.

¹ Имеется в виду книга Ирины Ермаковой «Улей».

² Фрагмент из стихотворения Бориса Рыжего.

Елена Мариничева

Над пропастью в овсе?

Роман «Записки украинского самашедшего» («Записки українського самашедшого», Київ, 2011) — первое прозаическое произведение знаменитой поэтессы Лины Костенко — шестидесятницы, участницы правозащитного движения, чье имя в советские годы было внесено украинскими партийными чиновниками в «черные списки» (см. «Рух опору в Україні», Київ, 2010, ст.338). В новое время Лина Васильевна Костенко — крупнейший моральный авторитет. Ее публичная лекция «Дефект основного зеркала», посвященная судьбам Украины и ее восприятию за рубежом, стала своего рода ключом для понимания «гуманитарной ауры» нового государства.

В последние годы — вплоть до выхода «Записок» — поэтесса вела затворнический образ жизни, не давала интервью, не издавала новых сборников. И вот появляется роман. Роман, который мгновенно становится бестселлером: резкий, во многом публицистичный, описывающий Украину на переломе столетий, — так, как ее видит и чувствует интеллигентный, немного растерявшийся в абсурдистской действительности человек, от лица которого — в форме дневника — и написана книжка.

Как только «Записки» вышли из печати, Лина Костенко отправилась в поездку по нескольким городам Украины — представлять свой роман на встречах с читателями. Свидетельство очевидца: «Внутри (городского театра, где проходила встре-

ча с поэтессой. — Е.М.) пройти не удалось. И не только нам... Шикарные букеты роз, книги нового романа Лины Васильевны в руках, но не хватало тяжелой артиллерии, ведь дальше порога мы не попали (зал был набит под завязку). Штурмом пытались взять «бронированную» дверь театра! Криками «Ганьба!» и патристическими запевами «Ще не вмерла України!» (из блога харьковчанина: <http://jedenfr.livejournal.com/1424.html>)

Читатели ломались на встречи с автором «Записок», книгу рвали из рук, издательство срочно допечатывало тиражи, а украинское писательско-критическое сообщество взбурлило, резко разошлось в оценках романа.

Юрий Винничук (писатель):

«...С публицистической точки зрения все это вторично и давно понятно: сидим в дерьме. Я несколько раз пробовал читать, но мне не интересно, хотя есть люди, которые говорят, что роман их потряс... Куда ни пойду — всюду лежит на видном месте заложенная листочком бумаги книжка Лины Костенко, как свидетельство того, что в этой семье читают. Честно говоря, меня просто злость берет, что такой интересный человек в таком солидном возрасте написал сочинение на злобу дня, а не для вечности. Гора тужилась, тужилась и наконец родила мышку».

Иван Дзюба (философ, литературовед):

«...Я начинал читать роман с некоторым опасением: первые страницы напоминали хронику происшествий. Но с каждой новой страницей эта хроника напол-

Лина Костенко. Записки украинского самашедшего: Роман. На укр. яз. — Киев, 2011.

нялась рефлексиями рассказчика и становилась рентгенограммой души нашего современника. Насыщенный глубокими, часто горькими раздумьями о понижении человечности в современном мире и о бытии в этом мире Украины, роман поможет украинцам в их усилиях хотя бы отчасти понять самих себя. А если он будет переведен на другие языки — что очень желательно и важно, — он поможет миру увидеть Украину и самих себя украинскими глазами».

Юрий Володарский (литературный критик):

«...Слишком много в ее (Лины Костенко. — Е.М.) памфлете банального старческого брюзжания».

Так что же за книжку написала Лина Костенко? Чем явились ее «Записки» для украинского общества, для литературы вообще — «памфлетом» или «рентгенограммой души нашего современника»? Я бы ответила на этот вопрос примерно так: это и «рентгенограмма души», но это и «памфлет». Потому что выбран уж очень противоречивый предмет для художественного описания: образ постсоветского интеллигента на фоне катаклизмов, происходящих в стране и в мире. В романе соседствуют: невольный крик отчаяния — и дидактические сентенции, трезво-ироничный взгляд на мир — и растерянно-абсурдистский внутренний монолог, стремление обрести себя, собрать воедино — и фрагментарность, разорванность сознания. В общем, все то, из чего и состоит «герой нашего времени», обретающийся сейчас на постсоветских просторах не только Украины, но, конечно, и России тоже. Лина Костенко вольно или невольно попала в болезненный нерв нашего существования, отсюда, мне кажется, и множество резких нападок на ее роман на Украине (это притом что и сейчас, спустя более года после их появления, «Записки» одна из самых востребованных украинских книг). «Записки украинского самашедшего» — честная, но очень нелюбимая книжка.

Итак, роман написан от лица 35-летнего программиста, в форме дневника,

который тот ведет на переломе столетий, описывая личные переживания, пытаясь разобраться в сложных отношениях с женой, делясь горькими размышлениями о событиях на Украине, в России и в мире, стремясь преодолеть собственный душевный кризис. Когда-то он был научным работником, защитил диссертацию, потом стал зарабатывать программированием, потом оказался безработным и, наконец, пристроился чинить компьютерную технику. Вот и вся «карьера». Неудачник, так сказать. Или мягче — «неуспешный в профессии»: ни за границу не уехал (а мог! с его-то программистскими умениями!), ни в бизнес не ушел («Я никуда не уехал. Я надежная единица электората, по таким, как я, еще не одна обезьяна выдерется на верхние ветви власти»). И все же есть у него одна несомненная «удача» — умение сохранять в замороженной постсоветской действительности способность «жить и мыслить на собственный страх и риск» (выражение Андрея Синявского).

Внимательный читатель, в свой дневник он записывает калейдоскоп происшествий, вырванных из бесконечной трескотни мировых новостей и сплетен, заполонивших газеты и интернет-ресурсы:

«В Нидерландах разрешили однополые браки,

Скандинавы скрестили телефон с компьютером,

Шотландцы — картошку с медузой,

Китайские мыши отрастили человеческое ухо,

Таиландская принцесса видела мамонта».

На фоне этого мирового шума реалии родной страны обретают особенно горький смысл:

«Обрастаем абсурдом. Ядерное оружие отдали, державу разворовали, ждем инвестиций в свою экономику. Танки продаем в Пакистан, гладильные доски покупаем в Италии. Проводим военные учения, а ракетой попадаем в собственные Бровары».

Герой описывает украинские нелепицы, с горечью высмеивает их:

«Перед выборами прохиндеи продуцируют идеи...»

«Парламент мордуется в прямом эфире. Президент сказал, что нам необходима политреформа и почему-то перекрестился...»

«Несколько депутатов стабильно отсутствуют. А те, что ежедневно в телевизоре, — спуют, куняют, таскают друг друга за волосы, выступают, жмут на кнопки, перетасовываются в большинство и меньшинство и неустанно хлопочут о народе. Хотя чего о нем хлопотать? Он плохой. Он весь век стоял на коленях, он спит, у него препаскудный менталитет, у него ужасающая история, которую невозможно читать без брома, у него продажная интеллигенция, у него нет элиты, он раздал своих гениев в соседние культуры, а сам сидит яко наг, яко благ, неконкурентоспособны...»

Украинские проблемы и противоречия, над которыми автор «Записок» постоянно размышляет, мучают его, подобно невидимому чудовищу из рассказа американского писателя-фантаста Амброза Бирса: «Есть у этого писателя такая фантазмагория, когда один человек страдал, мучился, а никто не понимал, почему, — думали, может, он сумасшедший. Когда он шел через овсяное поле, то вдруг начинал как-то странно себя вести: будто что-то отталкивал, с чем-то боролся — вырывался, падал, поднимался. Это были рывки и движения борца во время смертельного поединка, но противника не было видно, поэтому казалось, что его сводит судорога, либо это какой-то припадок безумия — он борется неведомо с чем. И падает замертво на вытоптанном поле. А дело все в том, что есть субстанции, незримые для постороннего глаза. И вот эта клятая тварь, это чудовище Амброза Бирса — как раз такая субстанция. Как и наши, часто неподъемные для психики, украинские проблемы. Они преследуют нас, терзают, они кромсают нас и изматывают, но со стороны их не видно, и мы гибнем на своем овсяном поле, неведомо чем растерзанные».

Вот так, «над пропастью в овсе», проходит жизнь героя «Записок», и он все

больше ощущает себя загнанным в глухой, безнадежный угол: «Я всегда был нормальным человеком. И вот вдруг на переломе столетий почувствовал дискомфорт, крыша поехала, обратился к психиатру, но отклонений в психике он не нашел. Сон у меня нормальный, руки не дрожат, только чувствую какое-то беспокойство, словно какие-то фантомные боли души. Началось это с того, что я вдруг захотел на Канары. Потому что вычитал в одном журнале, что там высоко в горах есть племя, где не разговаривают, а пересвистываются. И я подумал — вот бы и у нас не говорили, а пересвистывались. Потому что столько уже наговорено, до полной потери смысла. Да еще на каком-то языке недочеловеческом, на суррогате украинского и русского — мешанка, плебейский сленг, наследие рабского духа, от чего на лице общества лежит знак дебилизма... Если б еще на таком языке разговаривали люмпены или бомжи, а то ведь по всей вертикали, начиная с президента. А он же гарант Конституции, что же он мне гарантирует? Лучше буже пересвистывались в его кабинете...»

Независимость, о которой мечталось, ради которой отдавали жизнь и талант поколения украинцев, на деле обернулась «лицом общества с печатью дебилизма». Это приводит умного, совестливого, интеллигентного героя в отчаяние. Он вспоминает значимые вехи своей жизни. В частности, студенческую «революцию на граните», во время которой он познакомился со своей юной и прекрасной женой. Тогда казалось, что судьба новой державы — в руках ее граждан. Но романтический порыв захлебнулся в нечистых политических играх, в цинизме и лицемерии власти, в равнодушии общества, в отстранении граждан от участия в управлении своей страной, с чем они быстро и смирились: «Настала какая-то собачья старость идей. Никто ничего не хочет. Никто ни за что не борется. Только наши политики за власть над нами». Кстати, скажу, что вслед за Иваном Дзюбой я бы тоже очень хотела, чтоб роман Лины Костенко перевели с украинского — и, в частности, на русский. Потому еще, что

из странных, ломаных линий его сюжета, из воспоминаний и размышлений главного героя складывается достаточно ясная, объемная, в том числе и историческая, картина, представляющая страну, которую мы здесь, в России не знаем и не понимаем. Проясняется канва внутривнутриполитических событий начала 2000-х. Нуда, слышали, мелькало в телевизоре: «голова Гонгадзе», «революция на граните», «тарашанское тело» и прочее — вплоть до «Майдана». Роман Костенко дает возможность узнать, что же на самом деле стоит за этими словами, увидеть события, по-разному преподносившиеся в российских средствах массовой информации, глазами украинского интеллигента.

«Пока у нас шумели про вызовы времени, время нас таки вызвало. А мы не готовы. Мы никогда ни к чему не готовы», — констатирует герой в своем дневнике, который, кстати сказать — и это отмечали некоторые украинские критики, — похож на блог в Живом Журнале или в другой социальной сети. «Жизнь проходит — счастья нет... мы уходим в Интернет», — иронически писал русский поэт Владимир Друк. Высказаться, выговориться, быть услышанным хоть где-то, хоть кем-то — эта страсть, характерная для немого времени, охватила сейчас многих. Правда, от социального одиночества livejournal-жизнь спасает все равно плохо. Фатальная разобщенность людей — еще одна очень важная тема романа: «Мы задышаемся в резервации, а в резервации резонанса нет». Жена советует ему попробовать издать дневник отдельной книгой или хотя бы поместить в виде связанной рукописи в Интернете. «А зачем? — думает он. — Для того, чтоб кто-нибудь бросил под текст «коммент»: «киса-куку-ты-с-какого-города»?..

Герой романа трагически одинок. Он не в состоянии выбраться-вырваться из собственной ватной бездеятельности. Но самая большая его беда — разлад с женой, которая, как ему кажется, глубоко в нем разочаровалась: «Я ощущаю банкротство собственной судьбы — быть униженным в глазах женщины, которую любишь...», «Я не могу ничего изменить, ни

на что повлиять. Мужчина должен чувствовать себя победителем, а я в основном побеждаю себя самого... У меня давно нет дружеского круга. Рвутся и рвутся отношения между людьми».

Интеллигентный, тонкий, совестливый и благородный — вот каков современный «украинский самашедший», который уже в петлю готов лезть от унижающего сознания того, что в «вымечтанной, независимой державе» от него ничего не зависит, который с ужасом понимает, что падает в собственных глазах и в глазах жены, немеет и замыкается в себе. Угроза крушения семьи усугубляет и делает совершенно невыносимым как внутренний душевный кризис, так и абсурд окружающего: «Мы можем потерять Украину. Мы фактически ее уже теряем. Мы неспособны противостоять, не знаем, на кого опереться в этом обществе, — оно шаткое, оно инфицировано тленом мертвых идеологий, а ведь мы вроде граждане свободной страны — что же сделали мы сами? Ублюдочные катастрофисты своих личных драм». Стиль «Записок» начинает сбиваться, он все больше становится похож на стиль гоголевского сумасшедшего. Кажется, крах — личный, психологический — неизбежен. Но героя спасает то единственное, что способно спасти человека — любовь. Они с женой все-таки прорываются друг к другу из пелены одиночества. Одновременно как будто начинает рассеиваться и абсурд окружающего. Приближается время надежды, приближается всеукраинский «Майдан».

Сейчас, после зимних и весенних митингов в Москве, я перечитывала «Записки» с удвоенным интересом. Много в романе перекликается с сегодняшними нашими российскими реалиями, когда после многолетней апатии началось движение, пробуждение общества. И да, наша гражданская активность тоже полна противоречий, как это было в Украине. Герой отмечает в своих «Записках»: «На митингах много флагов. Неестественное соединение коммунистических, красных, с национальными. Впервые в Украине такая политическая идиллия: объединились левые и правые, серые, белые и волоса-

тые, все требуют правды, все несут транспаранты. Жена просит меня туда не ходить. Она не боится, она не верит: слишком много красной свитки, — говорит она. — Солопий Черевик испугался бы» (жена героя «Записок» филолог, изучает творчество Гоголя, в этой фразе вспоминает его фантазмагорическую повесть «Сорочинская ярмарка»).

Наступает «время Майдана». Но и теперь героя не оставляет его «самашед-шесть», — в этом слове кроме переключки с «Записками сумасшедшего» Гоголя есть и отсыл к суржику, но есть и утверждение некоторой самости, существования вне толпы, горьковатой способности даже в минуты общего подъема смотреть вокруг трезво и критически:

«...Я пошел бы на баррикады. Но у нас в какую ситуацию ни вступишь, гарантирована провокация. Ты бросишься на баррикады бороться за правду, за справедливость, «за вашу и нашу свободу!» — я очень люблю этот лозунг польских повстанцев, — но рядом вдруг вынырнет идиот и понесет такое, с чем ты себя никак не сможешь идентифицировать. Я ничего не боюсь. Я боюсь только причастности к идиотам»... «А собственно, за что мы боремся? За то, чтобы президентом был тот, а не тот? Лично я без иллюзий»... «Плечом к плечу стоят люди... Они радостные и раскованные. Я, к сожалению, не такой. Я не поддаюсь общему настроению, меня с души воротит, когда людские массы скандируют чье-то имя... Все равно за власть будет стыдно... А вот за Украину стыдно уже не будет, и мое сердце среди этих людей».

Спокойный и сознательный отказ от иллюзий, наряду с пониманием, что «за Украину стыдно уже не будет», становится фундаментом как наполненного абсурдом мира романа, так и драматического внутреннего мира главного героя. Борьба с «чудовищем Амброза Бирса» — украинскими изматывающими проблемами, не только непонятными, но даже не видимыми со стороны — продолжается.

Повествование заканчивается на Майдане, во время гражданского и душевного подъема, пережитого Украиной осенью 2004 года. Своего несчастного сумасшедшего Гоголь приводит к полному безумию. «Украинский самашедший» сквозь подобие безумия проходит, минует его. «Дом ли то мой синеет вдаль?» — с тоской восклицает гоголевский Аксентий Иванович в момент просветления в финале знаменитого произведения. Ну а герой Лины Костенко — находит ли он в конце ее романа путь к обретению дома для своего «я»? Несмотря на барабанную финальную фразу — «Линию обороны держат живые», — роман однозначно ответа на этот вопрос не дает.

Будь моя воля, я бы поставила финальной фразой предостережение Поэта, где в размышлениях героя романа явственно слышится голос самого автора — Лины Костенко. Это предостережение от социального и психологического сумасшествия — отчуждения людей друг от друга — в масштабах государств, в масштабах всей планеты: «Пропадем ведь, сгинем, прикованные к своим державам, коалициям, идеологиям и предрассудкам, как те сумасшедшие к койкам»...

Вадим Муратханов

Поэт на пути к метатексту

Глеб Шульпяков — из тех поэтов, что пишут мало. Как замечает сам автор, в год у него набирается стихов на одну подборку. Выходящие с интервалом в пять-шесть лет книги — вехи на пути, представленные одной узнаваемой рукой, но не похожие друг на друга.

Первая книга Шульпякова — «Щелчок» — отличалась обилием крупных нарративных текстов, написанных белым стихом. В «Желуде» поэт обратился к малой форме — емким восьми- и двенадцатистрочным стихотворениям, которые стали своего рода фирменным знаком лирики Шульпякова. В этих стихах время сжималось до состояния ускоренной съемки. Но несколькими поэмами с автобиографическим сюжетом была продолжена и «нарративная» линия.

Третья книга — вышедшие в начале этого года «Письма Якубу» — одновременно и продолжает, и разрушает поэтику предыдущих двух.

Место крупных, развернутых текстов, написанных белым стихом, занял верлибр. Временами он тесно граничит с прозой и эссеистикой, и здесь, очевидно, скачивается растущий опыт Шульпякова-прозаика, автора трех романов. Если «Джема-Аль-Фна» — классический верлибр, а в социально заостренной «Елке на Манежной», где выступление националистов показано глазами отца и ребенка, стихотворный ритм и напряжение достигаются через мерцающий в скобках хронометраж, то заглавный текст — «Письмо Якубу» — может быть воспринят и как записанное в столбик эссе:

Странное это было чувство, Якуб!
За десять лет, что мы не виделись, я
объехал полмира, был одинок, несчастен,
влюблен
и счастлив, у меня родился сын и вышло
несколько книг — а ты все так же сидел
в клетке,
распустив красный хвост...

(«Письмо Якубу»)

Шульпяковская силлаботоника малых текстов в новой книге также подвергается некоторой деконструкции. По сравнению с короткими стихотворениями «Желудя» они нарочито статичны. Текст герметичен — часто это одно непрерывное предложение, обходящееся без заглавных букв. Картинка, успевающая рассмотреть саму себя, пока длится фраза:

ворона прыгает с одной
тяжелой ветки на другую —
здесь что-то кончилось со мной,
а я живу и в ус не дую,
небытия сухой снежок
еще сдувая вместо пыли, —
так по ночам стучит движок,
который вырубить забыли
(«Ворона прыгает с одной...»)

Язык (алфавит) всегда был одним из главных героев лирики Шульпякова. В новой книге язык словно испытывается на прочность: ему предлагается существовать в отсутствие человека. Буквы пересыпаются из ладони в ладонь — в надежде обнаружить между ними какой-то сухой остаток, независимый от субъективного взгляда. Мотив исчезновения — словно пришедший из романов Шульпякова «Цунами» и «Фес» — проходит через всю

Глеб Шульпяков. Письма к Якубу. — М.: Время, 2012.

новую книгу («и вырастает из огня / пейзаж, в котором нет меня»; «человек на экране снимает пальто / и бинты на лице, под которыми то, / что незримо для глаза...»; «Я хотел найти себя, но стал всеми!»).

Пейзаж меняется от стихотворения к стихотворению, но в каждом из них автор словно пытается выяснить: как выглядит мир, когда за ним некому наблюдать? И исчезновение бога из этого мира оказывается столь же трагично, как конечность земного бытия отдельного человека.

...я не сомневался:
 всему вокруг
 — облакам и соснам,
 валунам и даже
 голубым лужам
 (не говоря обо мне)
 есть причина.
 Что мир кем-то
 вызван к жизни.
 Но, как иной отец,
 Уходя из семьи,
 Забывает детей
 — так этот кто-то
 Забыл про нас.
 Не помнит.
 (*«Искусство поэзии»*)

В последней на данный момент книге стихов Шульпякова минимум внешних эффектов. Минимум действия, способного отвлечь от мысли о главном. Цитаты — только скрытые (бродский бог, который в деревне живет не по углам; ахматовская поэзия, которая «растет из ничего»), не тянущие на себя одеяло читательского внимания.

Человек остается с самим собой —

 и остается собой
 (*«В деревне»*)

Слишком мало времени до исчезновения, чтобы потратить его на что-то еще.

Сейчас, после выхода «Писем Якубу», можно говорить о возникновении в творчестве Глеба Шульпякова некоего метатекста. В «Джема-Аль-Фна» герой теряет себя в разноголосице восточного города, и этим сюжетом стихотворение перекликается с романами «Цунами» и «Фес». «Случай в Стамбуле» отсылает к первой большой прозе автора — «Книге Синана». Несколько «сельских» стихотворений в начале «Писем» светятся отраженным светом «Моей счастливой деревни» — одного из лучших эссе Шульпякова последних лет:

в моем углу — бревенчатом, глухом —
 такая тишина, что слышны крови
 толкание по тесным капиллярам
 да мерная работа древоточцев...
 (*«В моем углу — бревенчатом, глухом...»*)

В упомянутом эссе читаем: «Изба есть механизм, усваивающий время... Естественное старение материала — то, как оседают венцы или замысловато тянется трещина — как уходит в землю валун, на котором крыльцо — как древесина становится камнем, куда уже не вобьешь гвозди, — во всем этом я вижу время, его равномерное, слой за слоем, откладывание в прошлое».

За полтора десятилетия работы Глеба Шульпякова в литературе корпус его текстов также обрел черты единого, цельного сооружения, впитавшего свое время. И процесс возведения этого здания, как представляется, еще далеко не завершен. Пишет ли автор стихи, эссеистику или прозу — парадокс в том, что чем глубже погружен в себя герой Шульпякова, чем полнее уединен, оторван от социума и сосредоточен на «вечных» вопросах, тем созвучнее он эпохе.

Дмитрий Шеваров

Утренняя книга

Ему хотелось собрать возле себя всех самых-самых. Любимые должны жить рядом...

Гузель Агишева. Из рассказа «Спасибо за компанию!»

Редко можно встретить книгу, которая беседует с тобой, видит тебя, берет за руку. И с ней хочется говорить о чем-то важном, существенном, родном. Хочется что-то рассказать о себе.

Теперь я понимаю, почему к Гуле Агишевой всегда так тянутся люди. Особенно старики и дети. Она умеет слушать и слышать. Вот и в книге ее — голоса, голоса, голоса... Но это не коммунальная квартира. Здесь никто друг друга не перебивает. И у каждого — своя интонация.

А интонация — эта такая необъяснимая вещь, без которой нет литературы, да и жизни нет. И это то, что сейчас со страшной силой исчезает, испаряется. Телевидение, радио, Интернет переполнены звуками слов, но это «муки зву» (так и называется один из Гулиных рассказов), в них нет интонации.

«Интонация вдоха» — это тоже название одного из эссе Агишевой. А термин этот, как рассказывает Гузель, принадлежит Шаляпину.

Но не о Шаляпине речь, а о Гуле, о ее книге. В нее вошли рассказы, эссе, текущие заметки, две повести и много щемящих, родных голосов. Многие из них в жизни, увы, умолкли навсегда, а на этих страницах мы слышим их, причем в такой точ-

ной и тонкой передаче, на какую не способен ни один диктофон.

«...Следующим утром решила дойти до Георгиевской церкви, где летом похоронили Савву Ямщикова... Вот и Маленец, пронзенный косыми лучами света... Кричу уже по привычке: "Пушкин, ты здесь?!" И вдруг откликается! "Здесь!" Решила и Ямщикова позвать. Но как? В жизни с ним были на "вы", хотя и по имени. Но тогда и Пушкину надо бы "вынуть", а это уже не то. И я впервые к Савве:

— Савва, ты здесь?

— Здесь, — отвечает.

Изумительный миг. Пронзительный по откровению и счастью.

Здесь они, все здесь, хотя и ушли — кто давно, кто недавно. Навсегда близкие наши люди».

Гузель Агишева родилась в Уфе. Там прошли ее детство и юность. Мне кажется, это страшно важно для понимания ее книги. Этот короткий вздох на полпути из Европы в Азию, из прозы — в поэзию: Уфа...

В этом сокровенном городе, широко разбросанном по берегам быстрой реки Белой, я жил на студенческой практике осенью 1983 года. Тридцать лет прошло. Очень хотелось бы снова туда вернуться, но, читая Гулину книгу, понял: **туда** не вернуться. Тот город, где я шуршал листьями в парке имени Луначарского, где дождь всю ночь шумел в кронах старых

Гузель Агишева. Утренние слова: Повести и рассказы. — М.: ИЦ «Москвоведение», 2011.

кленов и лип, — тот город уплыл вниз по течению времени. Остались в пожелтевшей тетрадке семнадцать счастливых автобусных билетов, временное удостоверение от газеты «Советская Башкирия» и квитанция за оплату комнаты в общежитии Уфимского института искусств. Там по утрам пела скрипка на втором этаже.

Еще помню, как рано утром опаздывал на поезд, который должен был увезти меня в село Буздяк, и я бежал по улице Пушкина в носках. Сандалии держал в руках, поскольку они мешали набрать скорость.

Вспоминаю обо всем этом, потому что Гуля жила тогда где-то рядом. И, возможно, я даже пробежал мимо нее в носках. (Но встретились мы только через шесть лет — когда стали собкорами «Комсомольской правды» и нас поселили в гостинице «Юность»).

А еще остались в тетрадке стихи Назара Наджми про уфимские липы:

Годы, как кони, —
Скрываются с глаз,
Блещет узда золотая...
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
В белых цветах утопая.

Так вот Гулина книжка: это такое парижское кафе на уфимской улице, где-то под необъятными цветущими липами. Все болтают за столиками и, кажется, — о пустяках. Такая невыносимая легкость бытия.

И очень важно, что эти липы помнят девятнадцатый век, Аксаковых... Мне по-

чему-то кажется, что именно благодаря прикосновению к старым деревьям мы и припоминаем XIX век. Упадут эти липы, и руки уже не вспомнят.

Гулины пальцы помнят клавиатуру XIX века. Первые свои рассказы она печатала на дедушкином «Ундервуде» 1885 года. Один из рассказов она послала в ленинградский журнал. Вскоре Гуля получила ответ из редакции за подписью Довлатова. Сергей Донатович служил в этом журнале и одной из его обязанностей было читать рукописи и отвечать авторам. В литературе он был человеком суровым, но ответ был сочувственный — мол, «что-то в этом есть». Возможно, думаю я, его тронул и обратный адрес: какая-то школьница из Уфы. А в Уфе Довлатов родился осенью сорок первого года. Вслед за Пушкиным он любил странные сближения.

Полюбит их и Гуля. Проза ее — это сближение, причудливая переключка людей, стран, эпох, красок и даже вещей. Под ее рукой все они рифмуются друг с другом, и возникает ощущение гармонии. Хаос остается за акварельной обложкой.

И нарисовала эту акварель тоже Гузель Агишева. Ведь по первому образованию она — художница. Акварель считается одной из самых сложных живописных техник, потому что здесь, как в судьбе, — ничего нельзя переделать, перерисовать, исправить. В акварели всегда много грусти и много воздуха. Вот так связано одно с другим.

«Не будем г'устить», — как говорит один из героев книги. Пусть останутся только утренние слова.

Анна Апостолова

Солнце, уменьшенное до яблока

Поэт — российский немец Роберт Вебер (1938 — 2009) писал на немецком языке и русскому читателю был известен в переводах других авторов, например Евгения Витковского. Но, как выяснилось, в последние годы жизни Роберт Вениаминович подготовил рукопись книги «В точке пересечения»/ «Im Schnittpunkt», в которую вошли как его немецкие стихотворения, так и их русские авторские варианты (это именно варианты, а не просто переводы). Причем русские тексты Вебер поставил впереди немецких, подчеркивая значимость, приоритетность русского языка в рукописи.

Эту книгу поэт создает, живя в Германии: в немецком окружении парадоксальным образом его поэтическая русская речь оживает, выступает на передний план сознания. В рукописи много доказательств тому, что Вебер не ставил перед собой цели дать точный перевод своих изначально созданных на немецком стихотворений. Наоборот — он демонстрирует суверенность русских и немецких текстов. Это заметно уже по названию первого из двух составляющих книгу циклов «Звучит над миром вечный звездный хор...» / «Schon spielt den allerletzten Sternentraum des Vollmonds zartes Waldhorn hoch und flott...», повторяющему первые строчки стихотворений «Сельская увертюра» / «Dorfouvertüre». Немецкий вариант буквально переводится так: «Уже высоко и бойко играет нежная валторна самую последнюю звездную мечту

полной луны...» — и, как видим, не соответствует русскому.

Более того, автор намеренно придает русскому тексту дополнительную «русскость», а немецкому — «немецкость». В немецком стихотворении героиню зовут Эмма («Heidelbeeren»), а в его русском варианте — Лиза («Черника»), причем в контексте игривости девушки и ситуации, происходящей в лесу, это имя влечет за собой образ пушкинской «барышни-крестьянки» Лизы. В немецком произведении «Sternenträume» нет упоминания березы, а в его русской версии «Звездные мечты» береза возникает дважды в разных контекстах: «Пятый сажает у школы березку...», «Порой человеку достаточно хлеба, телеэкрана и шума берез». В русских стихах Вебер иногда использует русскую сказочную интонацию: «Жила-была женщина старая. / Очень старая женщина. / И была у нее черная корова». Или воссоздает узнаваемый русским ухом ритм: стихотворение «An Grovmutter A.A.P.», созданное пятистопным ямбом, на русском языке звучит в такт есенинскому «Белая береза / Под моим окном...», написанному певучим трехстопным хореом:

С чем сравнить нам, бабушка,
всю твою судьбу?
Да хотя бы с радужной
яблоней в саду.

(«Бабушке А.А.П.»)

А порой поэт шалит с русской строкой, допуская в нее вольности: вместо «скрипичного оркестра кузнечиков в лесу» («Das Streichorchester der Grashüpfer im

Роберт Вебер. В точке пересечения. Im Schnittpunkt / Под общ. редакцией Е. Зейферт. — М.: МСНК-пресс, 2011.

Wald») в стихотворении «Земля» появляется «лосей любовный стон».

Образной системой и формой, стилизацией и игрой с читателем поэт утверждает: у меня два читательских адреса, русский и немецкий. Русские и немецкие стихи у Вебера соседствуют друг с другом, но не копируют друг друга. Ткань книги, с одной стороны, создана нитями разных языков, с другой — внутри рукописи словно живут две книги — одна на русском, вторая на немецком языках.

Роберт Вебер родился в Павловском Посаде под Москвой. Раннее детство его прошло в Сибири, отрочество — во Владимирской области, студенческие годы — в Москве. Учился в Первом медицинском институте, в Московском институте иностранных языков. Работал учителем, литературным сотрудником. В 1970-1980-е годы. Р. Вебер был председателем комиссии по советской немецкой литературе при Союзе писателей СССР, корреспондентом газеты «Neues Leben» (Москва).

Автор книг «Verheissung» («Обещание», 1972 — вариант этой книги на русском языке в переводе Евгения Витковского вышел в свет в 1980 г.), «Fragen an das Leben. Miniaturen und Skizzen» — «Вопросы к жизни. Миниатюры и очерки» (1980), «Reise in die Erinnerung» — «Путешествие в воспоминание» (1983), «Wer lenkt die Welt? Gedichte und Erzählungen» — «Кто правит миром? Стихи и рассказы» (1986), «Russlanddeutsche Fabel» — «Российско-немецкая басня» (1993) и другие.

Интересно сравнить немецкую и русскую книги — «Verheissung» и «Обещание». В немецком варианте — 61 стихотворение, в русском — 57. Некоторых произведений из русской книги нет в немецкой, а отдельных из немецкой — в русской. Однако основной состав текстов в книгах совпадает, сохранены и значимые композиционные элементы.

В 2002 году поэт уехал на историческую родину в Германию, где его творческая активность по разным причинам значительно уменьшилась. Парадокс судьбы Роберта Вебера — после обретения российско-немецкой литературой свобо-

ды печати, прежде активный участник литературного процесса, автор многих книг, в 1990-2000 годах он крайне редко публиковался. Трагически ушел из жизни в 2009 году.

Поэт собирает свою последнюю книгу из ранее опубликованных и еще не известных читателю стихов. Узнаваемы стихотворения из книги «Обещание» — «Домик из песка», «Жанне», «Обещание», «Лебе-ди», а также из других книг. Показательно, что произведение «Schädne»/«Лебе-ди» замыкает три сборника — «Обещание», «Verheissung» и «В точке пересечения»/«Im Schnittpunkt», по сути, став лебединой песней автора.

Стихам Вебера свойственна легкая пафосность, идущая от восторга перед миром. К сожалению, порой, будучи обращенной к советским ценностям, она кажется излишней. Неактуально и изображение места поэта в обществе как человека, занимающегося только своей, стихотворной деятельностью, например, в обобщенном сопоставлении с людьми другого рода деятельности («Астрономы и поэты»). Ушли в невозвратное прошлое описания ситуаций типа:

Мы утром идем на работу —
в движеньях — размах.
В гуде эфира
бодрящие марши и вальсы.
Пчелиную радость труда
ощуаем в руках,
медово-густую энергию
в кончиках пальцев.

(«Провода»)

Но большинство стихотворений Роберта Вебера интересны современному читателю.

Творчество Вебера — мир верлибра, оригинальных, авторских метафор.

Отдельные стихотворения представляют собой развернутые метафоры, как, к примеру, «О судьбе моего народа»/«Vom Schicksal meines Volkes». «Сухие семена / выжатого лимона / в теплом песке / на берегу утренней Волги...»/«Die trockenen Samen / einer ausgequetschten Zitrone / im heißen Sand / am morgendlichen

Wolgaufder...» Лирический герой бережно собирает сухие семена лимона и отправляет их вниз по реке — навстречу недоверчивому Солнцу.

Нередко метафора создается по типу овеществления отвлеченных понятий:

...все падает на землю:
серые секунды дождевых капель,
оранжевые минуты березовых листьев,
алые часы поздних яблок.

...все поднимается к небу:
синие секунды испаряющихся снежинок,
зеленые минуты березовых почек,
белые часы яблоневых лепестков.

(«Направление к земле и небу»)

«Человеку достаточно кусочка неба, а человечеству нужна вселенная» («Звездные мечты»). В своем мировидении Роберт Вебер сохраняет восторг первоклассника, осознавшего, что мы «живем на круглом свете» («Дети и космос»). Его излюбленный субъектный ракурс — с позиции человека, находящегося возле земли, как у глобуса. Характерен и обзорный, панорамный взгляд сверху, когда аэродромы воспринимаются как «ладони больших городов». Мотивы полета, высоты, тяги к небу, превращения рук в крылья сочетаются с другим субъектным ракурсом — взглядом человека, живущего на земле, вверх:

Землянин,
почему ты все внимательнее
смотришь в небо?

(«Гнезда»)

Взрослые любят
поднимать детей к небу:
«Дотронься до твоей звезды!
Тогда тебя ждет счастье!»
Быстро становятся дети взрослыми —
они вырастают высокими
уже потому, что
так часто смотрят в небо...

(«Дети и космос»)

Направлением мечты в книге становится вертикаль, приземленности — горизонталь («В точке пересечения»).

Художественный мир книги, начинающийся со стихотворения «Земля» / «Erde», — это даже не земной шар, а Вселенная, Вселенные. Человек здесь в первую очередь — землянин. Объекты поэзии Вебера — Солнце, Луна, Земля, звезды, другие природные объекты:

Перед глазами мелькают
голубые реки, моря, океаны,
зеленые луга и леса,
оранжевые пустыни,
белые вечные льды,
серые степи,
коричневые горы,
красные железные дороги и границы,
фиолетовые кружочки городов и точки сел,
синие имена человеческих поселений ...

(«Дети и космос»)

Солнце и Луна в художественном мире Роберта Вебера уменьшаются до точки («Многоточие» / «Auslassungspunkte») или до зрачка («Гнезда»). Солнце может быть размером с яблоко («Плоды, стволы, корни» / «Früchte, Stämme, Wurzeln»), а Луна — с зерно («Все полно ожиданием» / «Alles ist voller Erwartung»). Даже в своем масштабе Земля воспринимается лирическим героем целостно, полностью: «...Землю потомку смогу завещать целиком» («У глобуса»).

Вселенского масштаба достигает и тема любви, семьи: «И когда ты проснешься, / свежая-свежая, / как новорожденная, / мне вдруг снова покажется, / что это ты правишь миром...»

Тема тепла у Вебера напрямую связана с рецептом творчества. Лирический герой «просеивает золотые песчинки времени», «самые ценные остаются на ладони». Он хочет подарить этот «маленький клад» людям.

Старики
меня поучали в детстве:
«Храни,
никому не раздаривай сердце!
И набирайся ума!»

А я их все трачу и трачу.

А я отдаю их всем —

Задарма.

И становлюсь богаче!

(«Ум и сердце»)

Поэт задает недоуменный вопрос: «Но как же можно раздаривать себя экономно?» Роберт Вебер даже предлагает поэтическую гипотезу возникновения человеческого тепла: раньше Земля была раскаленной, и ее тепло сохранилось в ладонях жителей. В этом контексте душевно теплым становится обращение «земляне», «Mitmenschen» (это слово везде передается широко как «сограждане»). Вебер предпочитает оптимистические финалы произведений. Даже если стихотворение называется «Невезение», оно все равно заканчивается вполне оптимистично.

Несмотря на пристрастие к верлибру,

Роберт Вебер — поэт «аполлонический». Он любитель продуманных композиций, построенных на повторах, единоначатиях, лексико-синтаксических отражениях частей текста друг в друге. Тройственность элементов отражается в композиции и даже заявлена в названиях стихотворений: «Плоды, стволы, корни» («Früchte, Stämme, Wurzeln»), «Дома, деревья, книги» («Häuser, Bäume, Bücher»), «Земля, вода, воздух» («Land, Wasser, Luft»). Излюбленный свободный стих Вебера сближает его с современной германской стиховой традицией.

Осмелюсь предположить, что в сознании русского и немецкого читателей бытуют разные Роберты Веберы. Эта книга-билингва — с одной стороны, шаг к объединению образа Вебера в читательском сознании, с другой — еще более стойкое разведение «немецкого и русского Веберов» по разным полюсам.

Никогда и всегда

Рубрику ведет Лев Аннинский

Однажды все станет никогда.

Или всегда. Что, собственно, то же самое.

Галина Щербова. Три желания

Начну ab ovo. Что по латыни означает: с яйца.

Девочка, родившаяся на заре Первой Оттепели, вырастает и осознает себя на заре Второй Оттепели критически мыслящей читательницей — на заре Третьей Оттепели, то есть Перестройки, искушенным филологом — на заре... на вечерней заре Советской власти... Пережив все эти зори, она вспоминает сказочку, которую слышала с детских лет. И реагирует:

— Вы мне сказочку, а я вам — про жизнь. Жили мы — бессмысленно и бездумно. Какой-то недостижимый правитель (допустим, Рябой) или правительница (Ряба) имели для нас план светлого будущего, модель золотого века, образ всемирного счастья. И вот мы, как полные дураки, стали крушить эту мечту, лупить золотой образ светлого будущего. Рябой вседержитель шевельнул пальцем (словно мышка хвостиком), мечта разбилась вдребезги, смысл пропал, образ будущего исчез. Вместо него мы получили возможность удовлетворить, наконец, наш бранный аппетит: вместо золотого века (золотого яичка) схватили яйцо простое, которое можно быстро пустить в яичницу. То есть потребить. И вся перестройка.

Блестящий парафразис сказки о курочке Рябе и золотом яичке! Реакция поколения XXI века на век XX. Год написания — 2002-й. Смена эпох. Кризис высших целей. Вопрос: куда делся смысл бытия? И еще два вопроса... которыми мучились русские интеллектуалы два прошедших столетия и перед которыми они (то есть Мы: мое поколение «последних идеалистов», выросшее на попытках на эти проклятые русские вопросы ответить) в отчаянии — от того, что невозможно ничего сделать, пока не найдены виноватые, а виноватых в русской душе либо сроду не водилось, либо в покаянную виноватость осаживается все, — без краев и границ.

Так как же новое поколение в лице его лучших представителей справляется с этой двуединой загадкой? А никак. Оставляет без интереса. Виноватых не ищет. К немедленным действиям не зовет. Созерцает и размышляет.

Созерцает бытие и размышляет о том, в чем его смысл. Если же смысла нет, то какой смысл в том, что его нет.

Замечательная проницательность и блестящее мастерство Галины Щербовой видны, конечно, и в пересказе сказочки. Но чтобы не оставлять с ней читателя в этом олеографическом заказнике, приведу пример ее суждения о таком несказочном властителе дум скептического XX века, как Сальвадор Дали.

Манипулируя формой, Дали построил мир незбылемый и убедительный. И далеко не сразу стало ясно, что это бутафорский мир абсолютных пустот и черных дыр, заслоненных кривыми зеркалами, где отражается до неузнаваемости искаженная обыденность. В ледяной пустоте за зеркалами лишь сквозящий ветер издевательского безразличия. Там нет даже того бесформенного ужаса, который поджидает человека в неизвестности. Мир Дали бездуховен. Автор сознательно лишил его души, создал без любви, без ненависти, без какого-либо человеческого чувства...

Зритель ищет в картинах Дали смысл и, не в силах его постичь, считает, что философская идея слишком сложна для понимания. Зритель возвышенно озадачен. Он преклоняется перед великим художником, который вложил в произведение мысль такой силы, что она непостижима, недоступна простым смертным.

Но мысль может быть непостижима в двух случаях: если она глубока и если ее нет. У Дали ее нет. Он этого и не скрывает. Более того, он открыто насмехается над теми, кто, не веря в обман, продолжает ее искать. Здесь главный трюк аттракциона. Люди по простоте душевной привыкли искать за формой содержание, и если содержания нет, они придумывают его, пускаясь в философствования космического масштаба. Дали с непревзойденным изяществом обманывает дважды: в первый раз, когда ничего не вкладывает в свои тщательно написанные полотна, а второй раз, когда вынуждает доверчивого зрителя работать за него — впихивать в причудливую оболочку собственное содержание.

Три прозрения сквозят в этом этюде Галины Щербовой.

Во-первых, точность видения, позволяющая разглядеть издевательскую пустоту там, где принято видеть смысл бытия.

Во-вторых, признание того, что прошедшие века оставили в наследство людям именно такой вот аттракцион: исчезновение смысла там, где он вроде только что был.

В-третьих, уверенность в том, что без смысла дело не обойдется и обернется бытие таким смыслом, который сейчас зияет обманной пустотой.

Рассуждать на эти темы и, тем более, предлагать ответы на эти вопросы может любой человек, наделенный философским интересом к сути бытия. От природы таким интересом наделен (должен быть наделен) каждый. Вопрос только в том, что природа столько же наделяет, сколько и отнимает, а угадать, где что — где истина обладания, а где самообман — жизни не хватит.

Делиться такими размышлениями с другими и убеждать других может только тот, у кого талант писательства совмещается с философским складом ума: одно другому не дает покоя.

Этюды читаются легко и воспринимаются остро. Успех коварен: окончательных ответов на философские вопросы не бывает. Тем более в той части литературы, которая по традиции оставлена крутым творцам мужеска пола — в противовес соблазнительной мягкости и податливости «женской прозы».

Будто бы философский склад не свойствен женскому характеру — предрассудок этот опровергнут уже хотя бы тем фактом, что богиней мудрости в изначальном греческом пантеоне (сохраняющем для нас значение непреходящей нормы и образца) навечно назначена женщина.

Галина Щербова разделяется с понятием «женской прозы» парой фраз из анекдота:

— Почему говорят о женской логике?

— Потому что мужской вовсе нет.

А что есть? Изначальное расслоение бытийных параметров:

Мужчина прямолинеен. Женщина циклична.

Так и хочется добавить: а это не то же самое?

То же. С тем уточнением, что прямое не исчезает, а если исчезает, то кажется, будто навсегда. Цикличное же исчезает каждый раз, как кажется, навсегда, а притом возрождается — всегда.

Этот двудный взгляд спроецирован у Галины Щербовой на вопросы, шилом сидящие в меняющемся и неизменном синодике нашего бытия (всеобщего значимого, но русского в особенности).

За что погиб Пушкин?

Надо ли подавать нищим?

Есть ли Бог, и если есть, то участвует ли в нашей судьбе?

Пушкин-человек и Пушкин-гений — две ипостаси, в принципе трудно соизмеримые — в личности Пушкина сосуществовали в уникальном единстве. Дантес убивал не гения, Дантес убивал человека. Если бы промахнулся, то Пушкин-человек убил бы Дантеса, в котором не было гениальности, а человек действовал по людским (природным, диким, звериным, естественным) законам.

Но по этим же законам и чернь светская травила Пушкина, глумилась над Пушкиным-человеком. А народная любовь к гению? А она как-то помимо этого глума пребывала в сознании того, что гений — это «навсегда», «всегда»...

«Дантес всего лишь исполнитель, взявший на себя мокрое дело. Он в этой роли мерзок, но его человеческие колебания, его импульсивные поступки легко понять и объяснить. И отпустить ему грех легче, чем простить равнодушие и ханжество громадной махине — земле русской, от которой мы неотделимы. Вся вина, лежащая на ней, — наша. На нашей совести гибель Пушкина. Очень уж любит наша земля глумиться над своими солнцами. Чтобы непременно погубить, а потом вволю наплакаться в раскаянии, в умышленно позднем прозрении. Но все это до явления нового солнца, на которые богата, потому и не ценит».

Пушкин-гений — это то, что навсегда?

Есть чем утешиться.

А глум повседневной реальности — это тоже навсегда?

Есть повод для безутешности.

Вы подаете нищим, без которых немислим современный русский пейзаж (не только русский и не только современный, но тем существеннее вопрос)?

«Спасенье не в том, что ты спасешься, а в том, что ты спасешь».

Так кого же ты спасешь, если из каждых двоих просящих один — ряженный, деланный, глумящийся над твоей сердобольностью, а другой — действительно несчастный, обездоленный, и не различишь, где кто? Тем более что, по точному диагнозу Галины Щербовой, человек, действительно безнадежно несчастный, никогда не пойдет просить, то есть выставлять напоказ настоящий ужас своего положения и состояния.

«Без денег живет тот, кто умеет жить без денег. А кто не умеет, тот просит. Но далеко не всегда просит тот, у кого денег нет. В этом деле важно, как себя поставить. Удивительно, но те, кому я помогаю, на поверку живут лучше меня».

Так на что же делать ставку, подавая (или не подавая) несчастным: на сиюсекундное утешение души — я помог одному из несчастных, которые *всегда* были, есть и будут, и идеального спасения не будет *никогда*?

«Это попытка достичь идеала лучших утопий: распределения по совести. По-божески».

По-божески? Я с особым интересом вчитываюсь в те этюды Щербовой, где она вытаскивает на свет божий основные вопросы философии.

Кто кого создал и по какому образу?

«Не человек по образу бога, а бог по образу человека, потому что иного бога человек не способен был бы воспринимать, признавать и почитать. Никто не знает, каким был бог до сотворения человека. Таким, каким мы его себе представляем, он стал после сотворения человека. Мало ли каким он хотел видеть человека, возможно, совсем не таким. После сотворения он должен был умерить энтузиазм в поиске своего образа, чтобы человек был уверен в родстве с создателем и не заподозрил, что на самом деле он подкидыш, произошедший от обезьяны».

Допустим, обезьяна — такое же законное явление природы, подвешенное на тысяча первой ветке Древа Жизни.

Но если Древо уже пребывает в нашем сознании, то ничто не отнимет у нас этого вечного бытийного места — места в Пространстве, за которое мы так бьемся (за место под Солнцем), не замечая того, как утекает из нашего бытия Время (сквозь пальцы утекает) и, кажется, исчезает вместе со Смыслом жизни навсегда.

Можно утешиться, вообразив счастье в виде птицы, из хвоста которой надо успеть выдрать перо. Или найти себе царевну, да еще не раздавить случайно, пока она притворяется лягушкой. Или, сидя на печи, ждать, пока она поедет. А если упадет тебе в руки золотое яичко, то попытаться расколотить его в надежде употребить, наконец, в яичницу.

Соблазны никогда не уйдут из нашего бытия, полного раздалбывания преходящих ценностей и ожидания дармовых подачек.

Но вера в то, что есть настоящий смысл бытия, — должна быть всегда.

Хотя в известном смысле это и впрямь одно и то же.

Summary

TATYANA MOROZOVA (1956–2011). August Follows August. IGOR KUZNETZOV. The Route.

Tatyana Morozova was a person of rare versatility: prosaist, painter, political technologist, theorist of the «mass» genres in literature and author of bestsellers... What is astonishing: she has realized herself practically in all these roles — in spite, thank to and in defiance of the times. Her passing away was unexpected... We publish here her long short story and the memoir long short story of her husband which are followed by the essay of Alla Marchenko on Tatyana's works and some paintings of Tatyana herself.

POETRY

«The story of this life is where is its subject» — under this line from INNA LISNYANSKAYA's collection of poems which will surely rejoice our readers all poetical collections of this issue may be united: pierced with mental anguish lyrics by OLEG KHLEBNIKOV, relaxed monologues by ANDREY GRITZMAN, «quiet» verses by VADIM MURATKHANOV and tragic premonitions of MARINA GEORGADZE.

ALLA MARCHENKO. «Mirror, Light of My Eyes, Tell Me...»

«Though poets are complaining of the public's indifference and critical sections of magazines as if taking no notice of them, Big Critical Mirror does not witness either of the first or of the latter», — maintains Alla Marchenko analyzing critics' comments on the poetical «current» of the last years.

MAXIM KALASHNIKOV. The Battlefield Is the Single World.

In his article the publicist M. Kalashnikov discusses various aspects of the «new barbarism» which from his point of view is impending on the Western civilization including Russia.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2012 году
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 123995 ГСП-5, Москва, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.06.12. Подписано в печать 20.07.12. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1. Уч.-изд. л. 23. Тираж 2000 экз. Заказ 9190. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93; тел.: (496)20-685; (495)745-84-28; факс: (49638)21-682; www.oaompk.ru, e-mail: oaompk@oaompk.ru